

И А
КРЫЛОВ
I

И А
КРЫЛОВ



1945

Печатается по постановлению
Совета Народных Комиссаров СССР
от 15 июля 1944 г.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

И. А. КРЫЛОВА

Под редакцией
ДЕМЬЯНА БЕДНОГО

ОГИЗ
Государственное издательство художественной литературы
1945

И. А. КРЫЛОВ

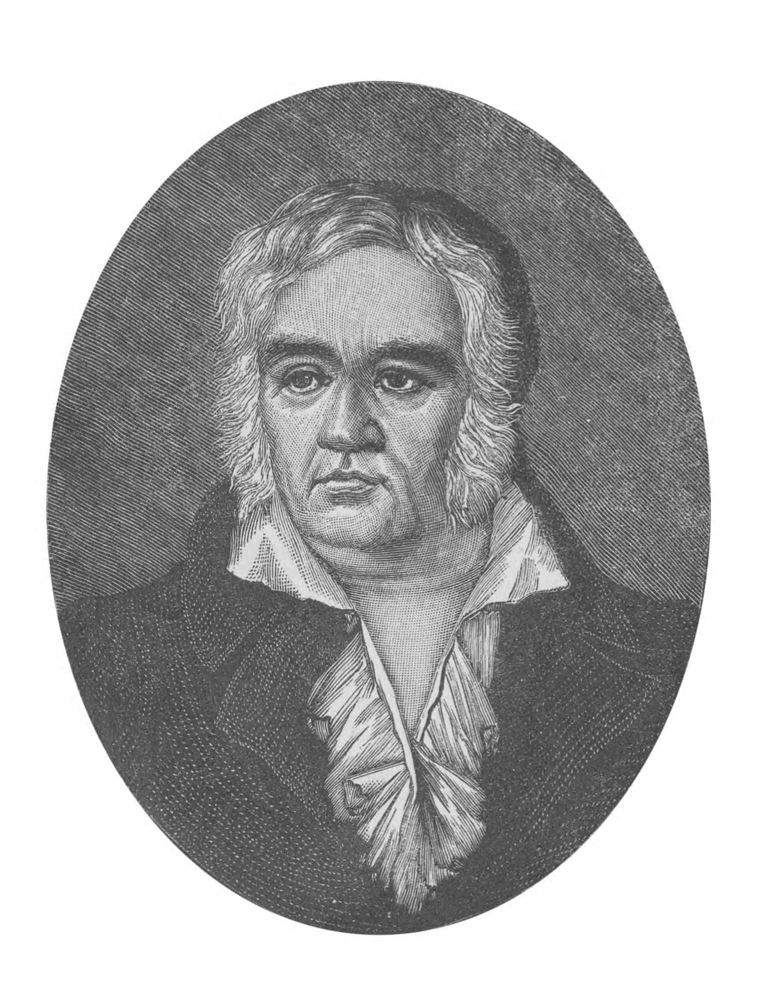
СОЧИНЕНИЯ

ТОМ I

ПРОЗА

Редакция текста и примечания
Н. Л. СТЕПАНОВА

ОГИЗ
*Государственное издательство
художественной литературы
Москва*



ОТ РЕДАКЦИИ

Настоящее издание Полного собрания сочинений великого русского писателя-баснописца Ивана Андреевича Крылова осуществляется по постановлению Совета Народных Комиссаров СССР от 15 июля 1944 года.

При жизни Крылова собрания его сочинений не издавалось. Многие прозаические произведения, пьесы и стихотворения Крылова оставались затерянными в периодических изданиях конца XVIII и начала XIX века, а частью были известны только в рукописных списках и копиях. Многократно печатались лишь сборники его басен, последнее издание которых было подготовлено Крыловым незадолго до смерти и вышло в конце 1844 года.

Первое собрание сочинений Крылова вышло в 1847 году под редакцией известного историка литературы П. А. Плетнева. Плетнев, близко знавший Крылова, написал его биографию и произвел большую подготовительную работу по собиранию материалов для этого издания. Он извлек из журналов, альманахов и рукописей многочисленные забытые и неизвестные произведения Крылова. Все сочинения были разделены им на три тома: в первом помещена проза, во втором — поэзия и в третьем — драматические произведения. Однако в условиях того времени Плетневу не удалось достигнуть полноты издания, так же как и дать окончательно выверенный текст, благодаря чему его издание имеет ряд существенных недочетов.

После выхода издания Плетнева в течение ряда лет в печати опубликовывались многочисленные дополнения и находки новых текстов Крылова. В частности, были опубликованы пьесы «Кофейница» и «Подщипа», не вошедшие в собрание сочинений 1847 года.

В 1859 году вышло второе издание собрания сочинений Крылова, почти не отличавшееся от первого, а к 50-летию со дня смерти великого баснописца, в 1894 году, появились «Собрание сочинений Крылова» в издании журнала «Родина», «Сочинения Крылова» в издании журнала «Север» и другие, представлявшие сокращенное повторение издания Плетнева.

Первым опытом научного издания сочинений Крылова было вышедшее в 1904—1905 годах под редакцией В. В. Каллаша четырехтомное «Полное собрание сочинений И. А. Крылова» (изд. акционерного общества «Просвещение»). Оно явилось результатом большой, многолетней работы редактора и включило много нового материала, весьма существенно дополнив издание Плетнева. В него вошли не только все художественные произведения Крылова, но и его письма, а также некоторые варианты черновых автографов басен. Сочинения Крылова были снабжены историко-литературными примечаниями и пояснительными статьями.

С матриц этого издания литературно-издательский отдел Комиссариата Народного Просвещения выпустил собрание сочинений Крылова в 1918 году.

Настоящее собрание сочинений Крылова включает все его художественные произведения, переводы и письма. Издание состоит из трех томов. В первый том входят прозаические произведения Крылова, его журнальная проза, в основном хронологически ограниченная последним десятилетием XVIII века; во второй — драматические произведения (1783—1807); в третий — басни, относящиеся в подавляющем большинстве своем к последнему периоду творчества Крылова, и его стихотворения. В третий же том входят письма, официальные записки и проч.

Сочинения Крылова в пределах каждого тома располагаются в хронологическом порядке; для басен сохраняется порядок, установленный самим Крыловым в издании 1844 года.

Настоящее собрание сочинений И. А. Крылова дополнено рядом вновь опубликованных и новонайденных материалов, ставших известными после выхода издания Каллаша. Кроме того, включены произведения, относительно которых можно предположить авторство Крылова.

Все тексты сочинений и писем сверены по сохранившимся автографам и авторизованным изданиям и освобождены от сторонних и цензурных искажений, погрешностей и неточностей в тех случаях, где удавалось это сделать. В издание введен ряд новых вариантов, извлеченных из черновых рукописей и прижизненных публикаций.

Материалы каждого тома делятся на две группы. В основной раздел тома входят все законченные художественные произведения Крылова. Второй раздел включает дополнительные материалы: переводы, произведения, приписываемые Крылову, незаконченные отрывки и пр.

В число приписываемых Крылову произведений включены лишь те из них, принадлежность которых ему является достаточно убедительной и аргументированной.

Сохраняя основные особенности языка Крылова, редакция печатает тексты по общепринятым в настоящее время орфографическим нормам, отказавшись от буквального воспроизведения архаической и противоречивой орфографии изданий XVIII и начала XIX века.

Издание снабжено примечаниями, приводящими основные данные об источниках, по которым печатается текст, историю его публикации, данные о первых сценических постановках, объяснения ряда намеков и имен.

Крылов является глубоко народным писателем, великим представителем русской культуры. Еще при его жизни Белинский, откликаясь на выход издания басен Крылова, писал о творчестве великого русского писателя-баснописца:

«В его духе выразилась сторона духа целого народа; в его жизни выразилась сторона жизни миллионов. И вот почему еще при жизни его выходит *сороковая тысяча* экземпляров его басен, и вот за что, со временем, каждое из многочисленных изданий его басен будет состоять из десятков тысяч экземпляров. Вот и причина, почему все другие баснописцы, вначале пользовавшиеся не меньшею известностью, теперь забыты, а некоторые даже пережили свою славу. Слава же Крылова все будет расти и пышнее расцветать до тех пор, пока не умолкнет звучный и богатый язык в устах великого и могучего народа русского»* .

В наше, советское время басни Крылова вышли в стотысячных тиражах. Многочисленны издания его басен на языках народов

---

* Полное собрание сочинений В. Г. Белинского, под ред. С. А. Венгерова, т. V, Спб., 1901, стр. 266.

Советского Союза. Настоящее Полное собрание сочинений И. А. Крылова должно дать советскому читателю исчерпывающее представление о его многосторонней творческой деятельности — поэта-баснописца, прозаика, драматурга. Сатирическая проза Крылова, его пьесы и стихи во многом дополняют и обогащают представление о Крылове-баснописце, показывая внутреннее органическое единство всего творчества великого русского писателя.

Настоящее издание выходит под редакцией Демьяна Бедного при участии Д. Д. Благого, Н. Л. Бродского, Н. Л. Степанова.

ПОЧТА ДУХОВ,

или

Ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами

ИЗВЕСТИЕ О СЕМ ИЗДАНИИ

Повторять здесь известие, выданное о сем издании, было бы излишним, если бы не удостоверял самый опыт, что подобные листки большею частию бывают утрачиваемы, почему за небесполезное почтено в начале самого издания поместить оное, дабы каждый из читателей мог видеть предмет издаваемой переписки славного в своем роде волшебника, с некоторою притом, по случившимся обстоятельствам, против выданного известия нужною для сведения переменою.

Секретарь недавно приехавшего сюда арабского волшебника Маликульмулька, имеющего великое отвращение к бешеным домам и расположившегося несколько времени прожить здесь инкогнито, сим объявляет, что он по намерению и обещанию своему начал выдавать переписку сего знатного в своем роде господина с водяными, воздушными и подземными духами. Издание сие будет очень любопытно для тех, кои не путешествовали под водою, под землею и по воздуху. Он уверяет, что сочинители сих писем—все духи очень знающие и что сам Маликульмульк—человек пресамолюбивый, который всегда говорит хорошо только о себе, отзывается иногда об них не худо и сказывает, будто многие из них очень добрые духи; но только иные не любят крючкотворцев, ростовщиков и лицемеров; а иные не жалуют щегольства, волокитства и мотовства, и оттого-де они никак не могут ужиться в нынешнем просвещенном свете видимыми: почему ходят в нем невидимками и бывают иногда так дерзки, что посещают в самые критические часы комнаты щеголих, присутствуют в кабинетах вельмож, снимают очень безбожно маски с лицемеров и выкрадывают иногда очень на-

хально и против всех прав общежития из записных книжек любовные письма, тайные записки, стихи и проч., — чем-де многие делают беспокойства в любовных интригах и плутовствах, а потому нет почти ни одной новоприезжей на тот свет тени, которая бы не подавала на них челобитной Плутону или бы через него не пересылала их к Нептуну, не могущим однако ж со всею своею властию унять сих шалунов. Итак, г. Маликульмульк бранит только сей их поступок, однако ж признается, что он сим похищениям и входам без докладу обязан многими весьма любопытными письмами, которые от них получает и делает благосклонность прочитывать без остатку.

Вот что объявляет секретарь ученого, премудрого и богатого Маликульмулька и прибавляет к тому, что как он не имеет достаточного числа денег для напечатания сих писем (ибо-де место секретаря у ученого человека очень бесприбыльно), то просит почтенную публику, чтобы желающие читать и получать ежемесячно издаваемое им собрание сих писем благоволили подписываться в Санктпетербурге в Луговой Миллионной под № 77, в книжной лавке книгопродавца Миллера, заплатя наперед деньги за каждый экземпляр годичного издания на александрийской бумаге по 7 руб., на любской по 6 руб., а на простой комментарной по 5 руб. В Москве в его же Миллеровой лавке, состоящей на Покровке, в 5 части, во 2 квартале, в доме г. бригадира князя Голицына, а в других городах у губернских г. почтмейстеров, с пересылкою как в Москву, так и во все другие города против вышеозначенного двумя рублями дороже, т. е. на александрийской бумаге по 9, на любской по 8, на простой по 7 руб. Ежели же кому будет угодно отозваться прямо чрез Санктпетербургский почтамт к самим издателям, со вложением денег и с означением своих имен, откуда и будет им доставляемо. Имена подписавшихся будут припечатываемы при каждой части, которые состоять будут из четырех месяцев. Подписка же на сие издание продолжится во весь год.

Сверх того, тот же секретарь ученого Маликульмулька говорит: слух-де носится, что некоторые из издателей собирают по подпискам деньги и прячутся с ними, не издавая обещанных книг, или когда и выдают, то в течение издания прерывают оные, а тем не выполняют своих обещаний, нимало не страшася справедливого порицания публики, хотя, впрочем, и не слышно, чтоб имели они сильное покровительство волшебников, а потому-де он, издатель сих листов, как своим секретарским именем, так тем, что служит у знатного волшебника, а паче тем, что по обещанию своему не вы-

дал первого сего месяца к первому числу генваря и очень может быть подозрителен, то во оправдание себя уверяет, что он, в противность секретарей всего света, не на корыстолюбии основал свое предприятие, но к удовольствию, а, если можно, и к пользе своих соотечественников. Неисполнение же обещания случилось по непривычному еще его искусству в гадательной науке, отчего не мог он предузнать последовавших обстоятельств, намерению его воспрепятствовавших, но впредь обещается в исходе каждого месяца во все течение года выдавать издания сего по одной книжке, переплетенной в бумажку.

ВСТУПЛЕНИЕ

Стужа, дождь и ветер, соединясь, самый лучший день изо всей осени делали самым несносным для пешеходцев и скучным для разъезжающих в великолепных экипажах. Грязь покрывала все мостовые; но грязь, которая своим цветом не так, как парижская догадливым французам, не приносила новой дани нам от Европы, а делала только муку щеголям, у которых, как будто в насмешку парижским и лондонским модам, ветр вырывал из рук *парасоли*, портил прическу голов и давал волю дождю мочить их кафтаны и модные пуговицы. Все торопились добраться до домов, и многие бранили себя, что, понадеясь на календарь, вышли в хороших нарядах.

В такое-то прекрасное время возвращался я от его превосходительства господина Пустолоба, к которому осьмой месяц хожу по одному моему делу и который мне во сто пятнадцатый раз очень учтиво сказал, чтоб я пожаловал к нему завтра. Лестное приказание из уст вельможи, если оно говорится не во сто пятнадцатый раз! Что до меня, то я, возвращаясь от него, бранил сквозь зубы его, все дела на свете, самого себя и проклятое *завтра*, для которого всякий день я должен был переходить пешком добрую италиянскую милю.

Ненастье умножалось, я был беден, а потому имел мало знакомых и перепутий; но, к счастию, увидел старый развалившийся деревянный дом, в котором (почитая его пустым) не думал никого обеспокоить своим посещением; и подлин-

но, это были пустые хоромы, где я нашел убежище от дождя; но не нашел его от беспокойных моих мыслей.

«Как! — говорил я сам в себе, — есть такие люди, которые имеют богатый доход, великолепный дом, роскошный стол за то только, что всякий день нескольким моим братьям беднякам учтиво говорят: *придите завтра*, думая им этим делать великое одолжение. О! что до меня, то я клянусь, что в последнее имел честь быть в прихожей его превосходительства. Пусть легковерные просители изо всех улиц сходятся или съезжаются на дрожках, в каретах, пешком и на костылях слушать его учтивые *пожалуйте завтра*, а я скорее соглашусь умереть с голоду в своем шалаше, нежели замерзнуть в его прихожей. Лучше иметь дело с чертями или с колдунами, нежели с бестолковыми...»

«Конечно, — сказал мне некто, — если ты обещаешься мне усердно служить, то увидишь, что колдуны и черти не столь вероломны, как о них думают, и что, по крайней мере, ни от которого из них ты не услышишь по одному делу сто пятнадцать раз *завтра*».

Я оборотился назад, чтоб увидеть, от кого был сей голос; но в какой пришел ужас, увидя старика с седою бородою, большого роста, в некотором роде шапки конической фигуры, в платье, усеянном звездами, в поясе, на котором изображены были двенадцать знаков Зодияка. В руках он имел трость, которая была очень хорошо свита, по подобию наших модных соломенных тросточек, из трех ветвей: из черной, красной и зеленой; на шее, как щеголеватая красавица, имел он повешенный несколько заржавелый железный медалион на цепочке того же металла, который, однако ж, ценил он дороже всех европейских медалионов вместе. По всему этому наряду нетрудно было мне догадаться, что это волшебник; а испужаться еще легче, для того, что я с природы труслив и с младенчества боюсь чертей, колдунов, пьяных подьячих, злых вельмож и проч., и проч., и проч.

«Милостивый государь! —сказал я ему, весь в страхе, — я вас благодарю за предложение, но...»

«Я вижу, — перервал он, — что я тебе кажусь несколько непригож и что ты меня боишься».

«Признаюсь, сударь, — отвечал я ему, — что я, в первый раз видя ваш мундир, не могу удержаться от стра-

ха; конечно, вы иностранный, а может быть, и житель того света».

«Я Маликульмульк, — отвечал он, — и ремеслом волшебник; имя мое известно во всех трех частях света: в воздухе, в воде и в земле; у меня в них есть довольно пространные владения, и если ты примешь на себя название моего секретаря, то я отвезу тебя в свой увеселительный дом, находящийся в Харибде, и оттуда пройдем мы богатою подземною галлереею в великолепные мои палаты, стоящие под горою Этною».

«Государь мой! — отвечал я, — это не лучший способ склонять в свою службу людей с тем, чтоб их изжарить или утопить; правда, у нас иногда секретарей морят с голоду, но, по крайней мере, принимают их всегда с хорошими обещаниями...»

«Не опасайся, мой друг, — отвечал Маликульмульк, — ты увидишь, что в моих домах так же весело и спокойно, как в самых богатых ваших чертогах, и ничуть не жарко, так что один из ваших философов, тому уже несколько веков назад, вступил в мою службу управителем дома под Этною. Я думаю, вы все того мнения, что он сгорел; а вместо того ему там так показалось прохладно, что он выбросил назад оттуда свои туфли и ныне живет у меня очень спокойно; смотрит за моим домом и за библиотекою, которую я уже девять тысяч лет сбираю. Он делает критические замечания на всех древних и новых философов, на все секты и на все науки, которые, может быть, скоро выдут в свет. Итак, ты видишь, что если бы было ему жарко, то бы он, конечно, не принялся за такую беспокойную работу, от которой можно вспотеть и в самой Гренландии. Я тебе обещаю не меньше выгодное содержание и дам тебе свободу жить, где ты ни пожелаешь».

С сим уговором согласился я вступить в службу почтенного Маликульмулька и, не хотя переменять жилища, выбрал к тому сей город.

«Если бы, — сказал я ему, — был у вас также и здесь какой-нибудь увеселительный дом, то бы я с охотою согласился в нем вам служить. Пожалуйте, господин Маликульмульк, — продолжал я, — купите себе здесь какой-нибудь дом, только, прошу вас, на истинные, а не на волшебные деньги, для того что здесь профессоров этой

науки очень не любят и часто секут розгами или сажают в бешеный дом, да и мне, новому вашему секретарю, от того не безопасно, ибо здесь живут люди, а не волшебники, и им очень не мудрено сделать ошибку и высечь одного вместо другого».

«Не опасайся, — сказал мне волшебник, — мы будем веселиться и не будем подвержены никакой опасности; я имею здесь несколько увеселительных домов в самом городе, и тот, в котором мы теперь, из самых лучших».

«Как! — вскричал я с удивлением, — вы шутите: я не знаю, как для вас, а для меня дом с провалившеюся кровлею, с развалившимися печами, с худыми полами и с выбитыми окнами в ненастное время ничуть не кажется увеселительным: этот дом годен только на дрова, в нем не согласится жить и сторож академической библиотеки».

«Ты иного будешь мнения о моем богатстве, — сказал Маликульмульк, — когда увидишь сей дом хорошими глазами».

Тогда он полою своей епанчи потер мои глаза. В какое ж после сего пришел я удивление, увидя себя в великолепнейших чертогах! Золото и серебро блистали повсюду; картины, резьба, зеркала придавали великолепный вид сим комнатам, которые за минуту пред тем казались мне пустыми сараями; словом, пышность сего дома могла поравняться с пышностию первейших дворцов в Европе.

«Вот что я тебе дарю», — сказал мне милостивый Маликульмульк.

Я благодарил его так, как мог, и обещал исполнять ненарушимо его повеления.

«Позволь, мой благодетель! — вскричал я, — чтоб в сию же минуту позвал я к себе обедать некоторых из богатых и гордых моих знакомцев, которые ставили великим одолжением, когда удостоивали меня своею беседою, скучною для меня так же, как для них скучны философические книги или, лучше сказать, как для сонного судьи приказ».

«Я тебе никогда не советую этого делать, — отвечал волшебник, — для них комнаты сии ничуть не переменили своего вида и покажутся такими же, какими они доселе тебе казались; с помощию только моей епанчи, над которою я трудился три тысячи лет, могли бы они видеть их такими, каковы они есть, но я не хочу всему городу

насильно протирать глаза: оставь, друг мой, думать людей, что ты беден, и наслаждайся своим богатством».

«Ах! я вижу, что оно мечтательное», — вскричал я с неудовольствием.

«Нет, — отвечал он, — все, что ты видишь, очень истинно; *перипатетизм* один может заставить почитать несчастием самое блаженство. Почему ты предпочитаешь те комнаты, которые искусством людей сделаны в несколько лет, тем, которые я делаю в одну минуту? Если я властию моею могу этот дом привести в прежний свой вид, то время не может ли разрушить также очарование самых лучших художников и превратить обработанные ими вещи в первобытное состояние, которое будет небольшая кучка земли? Правда, люди все будут думать, что ты не богат, но с первейшими богачами не то ли же случается? Они и сами иногда почитают себя бедными, а философы почитают их нищими, и эти люди умнее тех, которые им приписывают название богачей; все богатство Креза не могло уверить Солона, что Крез был богат; а Солона бы и ныне не посадили в бешеный дом, хотя бы, может быть, и заставили его быть помолчаливее. Итак, ты видишь, что истинное состояние человека не потому называется богатым или бедным, как другие о нем думают, но по тому, как он сам почитает».

«Так поэтому, — отвечал я, — должен я питаться пустою мыслию, что я богат, между тем как, может быть, стою здесь по колени в грязи, в пустых покоях и мерзну от стужи и от ветров».

«Чувствуешь ли ты это?» — спросил он меня.

«Нет», — отвечал я.

«Так поэтому, — продолжал он, — ты глупо сделаешь, когда это будешь воображать, а как ты боишься бедности, то вот тебе деньги», — сказал он, выдвигая большой из стола ящик с самыми полновесными червонцами».

«О теперь-то я богат», — говорил я с восхищением, принимая деньги.

«Да знаешь ли, что они такое? — говорил он: — это изрезанные кружками бумажные обои».

«Господин волшебник! — сказал я с сердцем, — не этою ли негодною монетою даешь ты своим секретарям жалованье? Я сойду с ума прежде, нежели соглашусь принять твои бумажные вырезки за наличное золото».

«Не опасайся, — отвечал он, — я с тобою только пошутил: я ненавижу обманов и не буду тебе платить обоями, вместо денег; в этом доме тебе в них и нужды не будет, старайся только реже из него выходить, ибо, как скоро ты выдешь на улицу, то очарование в глазах твоих исчезнет».

После сего нам собрали на стол; мы очень хорошо обедали, и я, по привычке спать после обеда, лег на самую мягкую постель, какою бы и самая богатая духовная особа не погнушалась, а Маликульмульк пошел в свой пребогатый кабинет, который за час казался мне разломанным курятником.

Прежде, нежели заснул, делал я тысячу разных рассуждений, остаться ли мне в новом моем звании, которого еще не знал должности, и быть ли довольну мнимым своим богатством? «Что, — думал я сам в себе, — если я ел только черствые корки гнилого хлеба, тогда, когда казалось мне, что утолял свой голод вкуснейшими пищами, и почитал Маликульмулькова повара искуснее всякого француза? И что, если в самую сию минуту лежу я на голых и на мокрых досках, между тем как воображаю, что лежу на мягких пуховиках, которые бы могли сделать честь кровати и богатейших восточных государей? Не смешно ли будет, когда за это буду я отправлять тяжелую секретарскую должность? Но надобно и в том признаться, что я совершенно доволен. Пусть люди будут меня почитать бедным, что мне до того за нужда! Довольно, если я для себя кажусь богатым. Правда, всякий станет такому мнению смеяться: но смешно ли бы было, когда бы меня посадили в великолепную тюрьму и называли бы меня свободным, но не позволяли бы мне выходить из комнаты ни на три шага, а, между тем, весь бы свет думал, что я счастливейший смертный, — был ли бы я оттого в подлинну счастлив? Нет, конечно; поэтому и ныне я не буду беден оттого, когда меня почитать таким будут». Итак, я решился остаться в сем доме; а, сверх того, название секретаря льстило меня новыми доходами, ибо я слыхал, что оно очень прибыльно и что все секретари истинно богаты, не выключая из того числа и секретарей академий.

Итак, выспавшись спокойно, не так, как секретарь, который еще исполняет сие звание и от времени до времени боится, чтоб не быть ему повешену, но так, как секретарь, который, насладясь уже выгодами оного, вышел в отставку,

пользуется плодами плутовства, не страшится более виселицы и спит спокойно, не воспоминая о своих челобитчиках. Выспавшись, говорю я, таким образом, встал я с моей пышной постели (а, может быть, и с голых досок), вошел в кабинет Маликульмулька исполнять его повеления, и он мне в коротких словах объявил мою должность.

«Я, — говорил он, — своими знаниями приобрел нескольких друзей, которые живут в разных частях света, близ моих владений, а как поместья мои отсюда очень не близки, то я утешаюсь тем, что, не видя их, получаю от них письма и сам отвечаю им на оные; но как мне уж тринадцать тысяч лет, и, следственно, в таких пожилых годах иногда склонен я к лени, то ты должен будешь писать то, что я тебе буду сказывать, и читать мне их письма. Я позволяю тебе списывать и для себя те, которые более тебе понравятся; прочее ж время все в твоем распоряжении».

«Почтенный Маликульмульк! — говорил я ему, — когда вы позволяете мне списывать ваши письма, то позвольте их также издавать в свет и тем уверить моих соотчичей, что я имел честь быть вашим секретарем, которые без сего доказательства почтут сию историю сказкою, как обыкновенно привыкли называть невероятные дела; а, может быть, меня посадят в дом сумасшедших». Сверх того, говорил я ему, что, служа у него в секретарском чине, я ничем иным не буду пользоваться, кроме своего жалованья, для того, что у него ни подрядов, ни откупов, ни поставок никаких нет, и мне будет стыдно сказать, что я, быв секретарем у такого знатного человека, ничем не поживился, между тем как некоторые секретари самых последних мест, с помощию хорошей экономии, получая по 450 рублев в год жалованья, проживают ежегодно по 12 000 рублев и строят себе очень порядочные каменные домы. Господин ворожея говорил мне, что он здесь расположен жить *инкогнито*, однако ж я ему доказал, что лучше быть славным, нежели неведомым, — и говорил ему, что сам Цицерон радовался, когда некто из стихотворцев зачал описывать его дела; что Сенека говорил, что он не для чего другого учился философии, как только для того, чтоб люди это знали, и что сам господин Эмпедокл, управитель его увеселительного дома, изволил соскокнуть к нему для того, чтобы быть славным.

Маликульмульк смеялся сим мнениям и, наконец, для меня склонился, чтоб его и приятелей его письма были издаваемы в свет. Я было намерен был попросить у него на то и денег, но опасался, чтоб он мне не дал изрезанных обоев вместо червонцев; а я столько люблю всех своих земляков, особливо же типографщиков, что никогда не намерен обмануть их столь бесстыдным образом. Итак, решился лучше деньги на расход типографий для издания сих писем занять от читателей, нежели выпустить такие деньги, за которые бы я, как не имеющий никакого законного права, ни власти выдавать фальшивых денег и, как секретарь Маликульмульков, должен был отвечать, между тем как он спокойно бы по воздуху, по воде или по земле уехал в свои владения.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ПИСЬМО I

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Вот первое письмо, любезный и премудрый Маликульмульк, которое я к тебе пишу после нашей разлуки. Я было хотел тебя поздравить с новым годом, но не знаю, которому ты веришь календарю: Юлианскому ли, или древнему Римскому; а, может быть, ты и того мнения, что год со всякого нового дня начинается. Я бы желал уверить тебя о моем к тебе дружестве, но мы с тобою столько знакомы, что можем оставить для других такие учтивости, которыми ныне почти все письма наполняются; итак, лучше скажу тебе новость, и какая ужасная перемена делается в аде!

Вчерась минул срок полугодовому отсутствию Прозерпинину. Плутон с нетерпеливостию ожидал ее возвращения; вдруг предстала перед него одна тень, одетая в скороходское платье, и докладывала, что Прозерпина прибыть изволила. Минуту спустя богиня сама входит в нынешнем французском платье, в шляпке с перьями и в прекрасных башмачках, которых тоненькие каблучки придавали ей вершка три росту. Бедный Плутон оледенел, увидя ее в сем наряде; мы сами несколько оторопели; некоторые из нас говорили очень тихо: «Конечно, она сошла с ума», а другие кричали во все горло: «Богиня еще прекраснее!» Но все с нетерпеливостию ожидали, чем все это кончится.

«Здравствуй, мой ангел! — сказала, подошед к своему мужу, Прозерпина, и присела перед ним два раза. Признайся, — продолжала она, — что я не без пользы возвратилась к тебе с того света! каково тебе кажется это платье, эта чёска, эта шляпка, эти высокенькие башмачки? Знаешь ли, что все это последней моды и взято из французских лавок?»

«Друг мой! — говорил, почти всхлипывая, бедный Плутон, — что тебе сделалось?.. здорова ли ты?.. Ах! я ведь говорил, что частая перемена воздуха может повредить мозговую перепонку. Любезная Прозерпина! опомнись, что ты! Ах, зачем ты ездила на тот проклятый свет! Я предчувствовал...»

«Как зачем? — перехватила речь его Прозерпина, — знаешь ли ты, что я там в нынешнюю поездку выучилась петь и танцовать: посмотри, как чисто делаю я *аглинские па* в контрдансе».

В минуту подхватила она близ ее стоящего Сократа и принудила его пропрыгать с собою *аглинские прогулки*. Диоген хохотал во все горло и говорил, что это прекрасная пара, а Плутон бесился и не знал, что делать; он шепнул тихонько Цицерону, не может ли он уговорить жену его отстать от таких дурачеств. Цицерон подошел к ней со всею важностию, достойною римского оратора и сенатора.

«А! здравствуй, дедушка, — сказала она ему, — послушай, мне есть до тебя маленькая просьба, и мне ужасть хочется, чтоб ты ее исполнил: напиши, пожалуй, похвальную речь французским торговкам; ты не поверишь, как я и они будем тебя благодарить, твои *филиппические речи* стоили тебе головы, а за эту речь, о которой красоте я уверена, подарю я тебя последней моды *фраком и аглинским гарнитуром* пряжек. Признайся, что это очень щедрая плата».

«Богиня! — сказал Цицерон, — могу ли я верить своим глазам, чтоб ты, будучи бессмертна, пленилась дурачествами существ, которые едва живыми назваться могут?»

«О! ты скучишь своими нравоучениями, жизнь моя, — отвечала Прозерпина, — оставь их. Знаешь ли, что ты был бы нестерпим в нынешнем свете, и разве одними твоими острыми словами мог бы сыскать благосклонность у женщин, которые ныне решат судьбу ученых людей».

«Богиня, — говорил Цицерон, — сия вредная язва не

заразила ли и мое любезное отечество? Ах! я бы лучше желал еще шесть раз быть из него изгнан и двадцать раз быть удавлен, по приказанию новых Антониев, нежели видеть такую странную перемену».

«Ты не поверишь, — отвечала Прозерпина, — в каком совершенстве ныне Италия! Правда, ты не найдешь там ни одного Катона, ни Юлия, ни Брута, ни древнего Тарквиния; но, если б ты знал, как там хорошо сочиняют оперы *буффо*, то бы ты сделался театральным *буффоном.*— Жизнь моя! — продолжала она, оборотясь к Плутону, который смотрел на нее, вытараща глаза, — сделай милость, заведи здесь оперный театр; я на себя беру выписать актеров, музыкантов и хороших капельмейстеров».

«Богиня! — вскричал с сердцем Плутон, — ты, наконец, досаждаешь мне своими вздорными предложениями и сама не знаешь, что хочешь делать».

«Выбрить тебе бороду, радость моя, — отвечала с нежностию Прозерпина, — и нарядить тебя во французский кафтан. Ах! ты не поверишь, как прекрасны нынешние мужчины с выбритыми бородами; я видела своими глазами целые города, наполненные Нарциссами и Адонисами; и уверена, что ты с выбритою бородою так же прекрасен будешь, как Ганимед; прибавь же к тому французский кафтан, тупей *алакроше*, модные пряжки и щегольскую французскую шпагу. О! мужчины так стали хитры, что умели сделать прелестными в глазах женщин и шпаги свои. Ты не увидишь более тех старинных саблищ, которые весом тянули столько же, сколько те, которые их носили, но увидишь маленькие прекрасные шпажки, которые, ничуть не ужасая, делают только украшение и включены в число *галантерейных* вещей. Да, в число *галантерейных* вещей! Лучшие шпаги и лучшие тросточки продаются в аглинских магазинах».

Представь, мудрый Маликульмульк, каково было для нас видеть такое сумасбродство! Радамант, Эак и Минос жались как можно более, желая сохранить судейскую важность и чтоб не треснуть от смеха; сам Плутон половину плакал и половину смеялся; однако ж ничем не мог уговорить Прозерпины, чтоб скинула она свое *фуро*, а особливо, чтоб испортила прическу своей головы. «Как! — говорила она,— я буду ходить с растрепанными волосами в такое время,

когда последняя театральная девка имеет у себя французского парикмахера! Нет, если ты хочешь, чтоб я осталась здесь, то неотменно выпиши мне парикмахера, портного и купца с *галантерейными* вещами, а без того я в сию же минуту еду в Париж».

Плутон морщился, сердился, смеялся, но, наконец, должен был согласиться на ее требование.

Кого же бы ты думал, выбрали доставить таких надобных людей?.. Меня, ученый Маликульмульк! Поздравь меня с должностию модного поверенного Прозерпины. Я скоро еду набирать лучших искусников. Весь ад теперь в смятении от этой перемены, и я скоро, может быть, уведомлю тебя, чем это кончится.

ПИСЬМО II

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Два дни тому назад, мудрый и ученый Маликульмульк, как поутру очень рано пролетал я чрез Париж, где, рано взлетев на самый верх одной колокольни, сел я там на несколько времени для отдохновения, ибо я тогда чрезвычайно устал, облетев, менее нежели в двенадцать часов, около пятисот миль, и притом еще должен был столько же пролететь до того места, куда предприял я свое путешествие. Сидя наверху сей колокольни, обозревал я обширное пространство всего города, и тогда пришла мне в голову та же мысль, которая заставила некогда Ксеркса проливать слезы. «Когда я помышляю, — говорил сей монарх, осматривая свои войска, — сколь кратка жизнь человеческая, тогда прихожу в крайнее смущение от соболезнования и не могу от слез воздержаться, что из сих многих миллионов людей, стоящих теперь пред моими глазами, чрез сто лет ни одного в живых не останется». — «Ежели бы все люди, — говорил я сам в себе, — обитающие в сем городе, помышляли о своей плачевной участи и о конце своей жизни, которого вскоре ожидать они долженствуют, то, без всякого сомнения, скоро вышли бы они из своего заблуждения и оставили бы все суетные свои попечения, которыми непрестанно себя занимают. К чему служат все труды, приемлемые сими не-

счастными? Вместо того, чтоб наслаждаться немногими минутами их жизни, над коими они суть совершенные властители, они изнуряют себя великими трудами, потеют и мучатся для приобретения благополучия в такое время, которого никогда они не увидят и кое совсем не для них предоставлено. Они тогда престают существовать на сем свете, когда думают начинать только наслаждаться исполнением своих предприятий».

Алчные и корыстолюбивые купцы, которые день и ночь обременяют себя труднейшими заботами о своей торговле и которые здоровьем своим и покоем жертвуют ненасытному желанию собрать богатое имение, умрут прежде, нежели удовольствуют свое желание, а чрез то более будут чувствовать скорбь и сокрушение, что во всю жизнь свою бесполезно трудились; если же и случатся между ими таковые, которые прежде своей смерти удовлетворят свою алчность, то и для тех то время, в которое будут они наслаждаться сими сокровищами, приобретенными с толикими трудами и беспокойством, покажется столь коротко, что ни к чему более не послужит, как к приумножению их мучений, возбуждая в них большее сожаление о лишении богатого своего имущества, коим столь маловременно они наслаждались.

Человек, который видит себя лежащего на одре смертном, тем более несчастлив, что с изнурением своего здоровья приобрел богатство и что не во всю жизнь свою находился в бедности; ибо, оставляя сей свет, чем менее в нем теряет, тем меньше о нем сокрушается. Лудовик XIV, умирая, лишался с жизнию государства. Герцог теряет менее, нежели государь; купец бедный теряет меньше, нежели богатый. Бедность есть такая вещь, которая всего способнее может произвести философов. Человек, обладающий богатым имением, редко захочет преподавать другим нравственные наставления. Сенека, быть может, один, а Эпиктетов найдется две тысячи.

Ежели бы люди, мудрый и ученый Маликульмульк, устремляли некоторое внимание на бедность и на низкость своего состояния, то постарались бы отвратить полезнейшими своими размышлениями те бедствия, которым подвергла их судьбина. Вместо того, что поступками своими унижают они свое состояние, которое учинилося уже совсем презрен-

ным, подражали бы они столько, сколько было бы им возможно, мудрым сильфам, кои единственно стараются только о том, чтоб исполнять и любить добродетель, и ожидают без страха и суетного желания того, что небо для них определило. Слабые человеки, будучи весьма отдалены от того, чтоб во всем поступать с благоразумием, все равно трудятся о учинении себя несчастнейшими. Кажется, что они со утешением умножают свои бедствия, кои по собственному их злоупотреблению присоединены к человеческой природе и коих горесть единые токмо философы услаждать умеют. Без сомнения, ты, мудрый Маликульмульк, много раз рассматривал те несчастия, которым подвержен весь род человеческий, но не знаю, приметил ли ты когда, что все люди, в каком бы состоянии ни были (выключая из того числа немногих только любомудров), суть равно несчастны в глазах истинного философа. Начнем сие исследование с государя.

Таковой государь, который, будучи окружен блистательным двором своим, единственно предается без всякой умеренности различным забавам, оставляя своим министрам все попечение о своем государстве, может ли быть счастлив? Равным образом и тот, который, для удовольствования непомерного своего честолюбия, разоряет свое государство и приводит в крайнюю погибель своих подданных, не может назваться благополучным. Таковые государи, предающиеся страстям своим, сами чувствуют, сколько поступки их противны истинной чести, целомудрию и человеколюбию; ибо такова есть участь всех людей, порабощенных своим порокам: что бы они ни делали, однако ж не могут толико быть ослеплены, чтоб иногда тлеющая искра их совести не представляла им от времени до времени страшной истины. Некто из ученых мужей справедливо сказал, что «совесть может быть закрыта завесою, потому что она не бог, но что она никак не может совсем истребиться, потому что происходит от самого бога». Преступник, сколько бы ни старался и сколько бы ни прибегал ко всем способам, могущим совершенно успокоить его смущение, однако ж никогда до того не достигнет, ибо внутренние угрызения совести, подобно тем хищным птицам, которые по баснословию терзали грудь Промефееву, непрестанно сыскивают свою пищу, и сердце, терзаемое ими, во всякое время претерпевает несноснейшие мучения. Великие и малые люди равно бы-

вают подвержены внутреннему угрызению своей совести, коль скоро сделаются преступниками.

В каком бы состоянии человек ни был и какое бы лицо ни представлял, но ничто не может его избавить от терзания возмущенной его совести: «Повсюду, где нет истинной добродетели, порок обитает, а с ним купно и внутренние угрызения, всегда за ним последующие». Тщетно порочный государь мыслит, под защитою своего самодержавства, успокоить страх свой, который посреди величества его, славы и беспечности повсюду за ним следует и непрестанно его мучит и терзает до самого того времени, когда лишится он жизни, а вместе с оною и пышных своих забав, смешанных со многими скорбьми и мучениями. Мудрый философ может ли почесть благополучною столь неспокойную и бедственную участь?

От государя обратимся к придворному. Какое его состояние? Он есть невольник, носящий на себе золотые оковы! Под пышною наружностию суетного величия он сокрывает тягостные попечения и несноснейшие скорби. Сколько таких придворных, которые в жизни своей не проводят почти ни одного дня, не будучи терзаемы честолюбием, желанием приумножить свое могущество и страхом лишиться милости своего государя? Можно ли таковую жизнь почесть счастливою, в которой надлежит быть непрестанно в мучительном беспокойстве и в недоверчивости ко всем тем, с коими имеешь обхождение, льстить своим неприятелям, не иметь ни одного истинного друга и во всем поступать по своенравию и по прихотям другого человека? Наконец, после столь мучительной и беспокойной жизни постигает смерть, которая стремительно разрушает все принятые меры, делает бесполезными все усильнейшие старания и оставляет единое токмо прискорбие, что в толиком злоупотреблении препровождаемы были краткие дни его жизни, которую прожил он, будучи всегда невольником, когда мог бы наслаждаться спокойною свободою. Нужно ли было родиться на свет, единственно для того, чтоб играть столь мучительную ролю в своей жизни, которая кончится столь скоропостижно?

Здешние духовные особы не могут почесться ни благополучнее, ниже спокойнее светских! Они приносят к подножию жертвенника терзающее их честолюбие. Они непре-

станно помышляют о приумножении своего богатства. Скупость есть порок, свойственный большей части французских духовных. Надменный прелат всегда бывает смутен, печален и задумчив, но что б такое могло возмущать его блаженство? Он хочет быть архиепископом! Когда поступает он в сие достоинство, то и тогда кажется столько же печален, ибо желает кардинальства; потом получает кардинальскую шапку, но беспокойства его не уменьшаются, потому что думает быть папою. Наконец, не избавившись от сердечного сокрушения, он умирает с сожалением, что не мог удовлетворить всех своих желаний. Сто тысяч ливров годового дохода и пышные титулы *преимущества* и *высокомочия* не могли учинить его благополучным, и со всем его богатством он был беднее крестьянина, живущего при умеренности спокойным и довольным в своей хижине.

Деревенский священник ропщет непрестанно на свою судьбину и жалуется, что ему жить нечем. Чрез несколько времени получает он богатый приход, оставляет деревню и переселяется в город. Ужели он сим удовольствован? Нет! он хочет быть настоятелем; потом получает и сие достоинство, однако ж желание его еще не удовольствовано, ибо чем более он возвышается и чем больше доход его возрастает, тем больше алчность его приемлет новые силы. Ежели бы он, подобно тому кардиналу, достиг до ближайшей степени к папскому достоинству, то и тогда не был бы доволен; если бы поступил он и еще далее, хотя бы сделали его папою, то и в то время доходы его казались бы ему умеренными.

Вот сколь велико человеческое ослепление, мудрый и ученый Маликульмульк! Они бросаются непрестанно от одного состояния к другому и во всех сих различных переменах не менее суть несчастны. Поелику ищут они своего удовольствия в вещах суетных, скоропреходящих и неосновательных, а потому вместо истинного блаженства ничего другого не находят, кроме непостоянства, скуки, зависти, преступления и внутреннего угрызения, которое повсюду за ними последует.

Истинное и ни с чем несравненное блаженство состоит в любви к добродетели и в собственном спокойствии своего духа. Кто твердо уверен в сей истине, для соблюдения которой

во всем поступает по мудрым и нужным правилам, тот совершенно благополучен и провождает жизнь без смущения и беспокойства; не страшится смерти и ее не желает; но ожидает спокойно всего того, что небо ему предопределит с его жизнию, ведая, что когда оная кончится на здешнем свете, тогда наступит другая, чистейшая и светлейшая, и что сия будущая, совершенно блаженная жизнь будет наградою за мудрое поведение на сем свете.

Люди должны бы были непрестанно помышлять о двух вещах: во-первых, о краткости здешней жизни, а, во-вторых, о бесконечном продолжении будущей. Тогда не предалися бы они безумным помышлениям, причиняющим им несносные мучения, тогда сказали бы они сами себе: «Как! для приобретения вечного блаженства предоставлено нам трудиться несколько только минут, а мы расточаем сии счастливые минуты в суетных желаниях и в предприятиях, которые тогда же исчезают, когда исполняются! Будем лучше помышлять о доставлении себе вечного жилища и не будем напрасно терять сих минут, от употребления коих зависит наше бесконечное блаженство».

ПИСЬМО III

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

Пожалей о мне, любезный Маликульмульк, пожалей о своем бедном Буристоне, узная его несчастие; несчастие, которое едва ли с кем-нибудь из моей братьи когда случалось. Но почто удручать тебя моими пустыми жалобами? Они могут в мыслях легковерного увеличить мою беду; но в мыслях премудрого человека останутся одним пустым звоном. Итак, приступлю к делу и буду требовать твоей помощи; ибо не утешение, но помощь нужна несчастным.

Наш общий знакомец Зор писал к тебе о сумасшествии Прозерпины, но он еще не о всем тебя уведомил. Богиня вскоре после того вздумала переменить вид своего двора. Между тем как Зор полетел в свет набирать разных модных искусников, она новоприбывшему в ад французскому портному велела на скорую руку обмундировать семь греческих

мудрецов и славнейших в древности женщин, как-то Семирамиду, Клеопатру, Лукрецию и прочих. Она еще более хотела: она неотменно желала, чтоб они завели между собою любовные интриги, и чтоб, не выключая и важного Солона, все сделались волокитами. Тысячу раз она смеялась над стыдливою Лукрециею и над Виргиниею, что они дичились в новых нарядах и не давали рук своим обожателям; она отдала их под смотрение доброй Клеопатре, которая обещала сделать из них таких придворных вертопрашек, которым бы и лучшие европейские дворы завидовали.

Школа началась балом, богиня сама открыла его с Плутоном, и потом Лукреция с Сократом танцовали менует: говорят, будто он уже за нею и машет. Радамант, Минос и Эак, которые также приглашены были на сей праздник, потеряли всю свою важность, коль скоро увидели тут Александра Великого, Цесаря, Помпея, Брута, Катона и Фемистокла с римскими весталками, прыгающих *галопада*, который искусные музыканты играли *аллегро престо*. Бедные наши судьи, забыв придворную благопристойность, надрывались от смеха, и как им никогда не случалось так долго смеяться, то этот смех превеликою кончился бедою: Минос получил колику, толстый Радамант получил одышку, а у бедного Эака лопнул пузырь, и они, кое-как дошедши до своих постелей, сказались больными. И таким образом заседание адских судей перервалось, и некому было отправлять суд над ежечасно прибывающими сюда теньми.

На другой день послали Иппократа их освидетельствовать, который донес, что у двух из них лопнули мозговые перепонки, а у третьего разорвалась в ушах барабанная кожица; следственно, двое сошли с ума, а третий оглох и не может выслушивать оправданий. Плутон взбесился, услышав сию ведомость, и чрезвычайно бранил свою жену, обвиняя ее в сем несчастии. Прозерпина извинялась, как могла, и старалась доказывать, что сии судьи, несмотря на их повреждение, были еще годны для исправления своих должностей и что она, путешествуя по свету, никогда не видывала, чтобы отставляли судей, у которых повреждены мозговые перепонки, или у которых лопнули в ушах тамбурные кожицы, но упрямый Плутон, не слушая сих оправданий, решился посадить на место старых новых судей. Всем

намерении призвал он меня и велел мне как можно скорее лететь в свет и сыскать трех честных и беспристрастных судей, у которых бы мозг был в хорошем положении и которые бы притом не были глухи. Представь, любезный Маликульмульк, как я остолбенел, услыша такое препоручение! «Ваше адское величество, — сказал я Плутону, — дарования мои так слабы, а должность, налагаемая вами на меня, так трудна, что я не надеюсь отыскать вами желаемых редкостей; итак, осмеливаюсь просить у вас увольнения от толь тяжкого труда и поручения оного такому духу, который более меня имеет дарований». — Но я только терял слова, и старик мой был неумолим; он доказывал, что ему неотменно нужно, чтобы продолжалось заседание, и для того надобны три честные человека, искусные в законах и без всякого корыстолюбия.

Вот какая поручена мне должность, любезный Маликульмульк, не несчастливый ли я бес? Где сыщу я три такие чуда? Я б лучше согласился быть Танталом или Иксионом, нежели искать такие редкости; однако ж с богами шутить дурно: надобно повиноваться, и я намерился чрез три часа отправиться на землю; а между тем хотел посоветоваться с некоторыми теньми, которые у нас славны мудростию; но заприметь, любезный Маликульмульк, как пример начальников развращает подчиненных! Я уже не нашел здесь ни одной тени, которая бы не старалась подражать Прозерпине и не занималась бы модами и чёскою. Я подошел к Гераклиду, думая, что сей печальный философ может мне подать наставление, но и тот у нас не без дела. Прозерпина по частому его плаканью заключила, что он может быть очень хорошим трагическим актером, и потому я нашел его занятого учением какой-то плаксивой роли из новых трагедий. «Ах! — подумал я сам в себе, — сколько на земле в нынешние веки умирает таких людей, которым нужен бы был один слабый пример их владетеля, чтобы сделаться Цицеронами, Катонами и Демосфенами, и которые вместо того проводили всю жизнь свою в вымышлении новых нарядов и над чёскою своих волос!» Я перебирал в уме многих древних государей и видел, что Виргилии, Горации, Вароны, Расины, Боалы и Молиеры бывали по большей части только тогда, когда жили Титы и Лудовики XIV, или когда они не боялись рассердить тем, что они умны,

того, кто может у них отнять умы вместе с головами. Наконец, рассуждения мои кончились тем, что мне надобно было отправиться в свет, не получа ни от кого никакого совета, о чем я очень печалился, как вдруг увидел пред собою Диогена и Демокрита, которые хохотали во все горло.

«Скоро ли ты отправляешься, — спросил меня Демокрит, — искать нам честных судей?»

«Ах! — отвечал я, — в сей же час, но не знаю, каким образом окончится моя поездка, только думаю, что мне вечно в ад не возвращаться».

«Не отчаивайся, — сказал Диоген: — ты очень уже худо думаешь о свете; я, напротив того, от всех новоприбывающих сюда судей слышу, что там ныне в судах все честные люди и что несколько уже тому назад веков, как бездельники и крючкотворцы выгнаны из приказов. Я советовал бы тебе лететь на север, там, может быть, найдешь ты надобное тебе число таких судей...»

«Я верю, — сказал Демокрит, — что ныне правосудие не с молотка продается», — и захохотал во все горло.

«Ах! — отвечал я печально, — и я верю тебе, Диоген, но скажи мне, отчего это, что с того света большая часть судей приходит к нам в богатых кафтанах, а тени челобитчиков являются сюда нагие; а часто и те самые из них, которые выиграли свой иск, приходят в одних рубашках!»

«Любезный друг, — отвечал Диоген, — ты уже знаешь от Прозерпины, что значит слово *мода;* итак, может быть, ныне на земле такая мода, чтоб челобитчики ходили полунагие, а судьи в богатых платьях: вить надобно же чем-нибудь различать состояния...»

«Так, так, — перехватил Демокрит, — видно, что это самая полезная мода, для того, что она уже давно в употреблении».

«Оставьте ваши шутки, — сказал я им, — и скажите мне лучше, каким образом могу я отыскать такие редкости; вы были на земле и можете меня просветить в сем случае».

«С охотою, — сказал Диоген, — во-первых, старайся сыскать такие приказные места, которые слывут нажиточными, и в них ищи судей, которые бы были бедны и имели бы богатых челобитчиков: это первый знак, что судья не-

корыстолюбив. Потом, как скоро ты увидишь, что его подьячие не пьяны, то это значит, что он умеет ими управлять. И, наконец, ежели ты увидишь, что у него случится дело знатного богача с невинным бедняком и простолюдимом, и если богач проиграет свое дело, то я даю тебе совет, не мешкая ни минуты, звать его сюда».

Демокрит ни в одном слове не спорил с словами Диогена, но только говорил, что это найти очень трудно, однако ж желал мне всякого счастия и, смеясь дурачествам Прозерпины и чудному предприятию Плутона, удалился от меня с Диогеном к Прозерпинину уборному столику.

Вот, любезный Маликульмульк, мои обстоятельства. Признайся, не в жалком ли я положении: право, я боюсь, чтоб не расстаться навсегда с адом; итак, прошу твоего совета и, надеясь на твой разум, ожидаю от тебя сей помощи.

ПИСЬМО IV

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Когда я размышляю, мудрый и ученый Маликульмульк, о поведении большей части людей нынешнего света, то признаюсь, что не только извиняю, но даже хвалю поступки и образ мыслей тех людей, которым дают название *мизантропов* *. Все то, чем их упрекают, есть некоторым образом хвала их добродетели. Какой смертный, следующий путем истины, не возгнушается тех гнусных страстей и пороков, коими свет сей преисполнен? Возможно ли, чтобы сие не учинило его суровым, унылым и задумчивым? Напрасно думают, будто люди всегда и во всякое время были одинаковы. Я утверждаю, что слабые смертные никогда не были столь глупы, безумны, порочны и столь достойны сожаления, как ныне. Весьма нужно, чтобы в каждом государстве поболее было сих мизантропов, дабы люди могли пользоваться наставлениями, упреками и колкими насмешками сих угрюмых философов.

Так, мудрый и ученый Маликульмульк, я весьма в том

---

* *Мизантроп* — нелюдим, или человеконенавидец.

уверен, что ничто не может быть столь полезно для благосостояния общества, как великое число сих мизантропов; я почитаю их за наставников и учителей рода человеческого. Одна половина света, занимаясь безделками, повержена ныне в совершенное ребячество, а другая одержима бешенством! Итак, должно поступать с людьми или как с младенцами, или как с бешеными. Обыкновенные философы, мудрецы и ученые не могут более быть их путеводителями; все их премудрые поучения не сделают никакого впечатления над развращенными их умами, надлежит употребить на сие гораздо строжайших наставников — одним словом, таких, каковы мизантропы.

Возмогут ли все наставления Сенеки и Эпиктета произвесть какое действие над глупою головою петиметра? Сделают ли они его разумнейшим? Заставят ли быть полезным обществу, и не принимать более на себя тех смешных телодвижений и ужимок, чрез кои уподобляется он обезьяне? Без сомнения, все речи сих великих философов останутся безуспешны. Тщетно будут они прославлять пред ним добродетель и описывать всю гнусность пороков: он, насмехаясь как им самим, так и их словам, вместо ответа сделает, может быть, несколько странных прыжков или пропоет какую песенку из новой оперы. Но мизантроп, привыкнувший не обинуясь говорить истину, есть человек, могущий заставить сего шалуна войти в самого себя. «Поступки твои,— скажет он ему, — забавляют меня несколько минут, но, наконец, становятся несносны. Признаюсь, что ты очень забавен, и я не могу смотреть на тебя без смеха, однако ж напоследок ты чрезмерно наскучишь. Хочешь ли, — скажет он ему, продолжая свою речь, — чтоб я говорил с тобою чистосердечно? Мне весьма удивительно, что по сих пор ты и тебе подобные не предложили еще правительству, дабы учреждено было особое собрание, где вознаграждались бы все модные ваши дурачества. Я уверен, что тогда был бы ты из числа первейших, могущих льститься восчувствовать на себе опыт сего столь благоустроенного заведения; потому наиболее, что нет никого даже и из твоих сотоварищей, кто бы мог с таким искусством, как ты, делать страннейшие телодвижения, шаркать ногами, кривлять рот, обращать по-модному глаза, болтать то, чего сам не понимаешь, смеяться без намерения, печалиться без причины и лгать с таким уве-

рительным видом и смелостию, как другой говорит правду».

Сии язвительные шутки, мудрый и ученый Маликульмульк, произнесенные с насмешливым видом такого человека, каков мизантроп, делают больше впечатления и более поражают сердца, нежели наилучшие философические речи. Все сочинители нравоучений и все проповедники не возмогли еще отвлечь ни одного петиметра от его глупостей; напротив того *Мизантроп* Молиеров более сделал добра Франции, нежели проповеди Бурдаловы и прочих ему подобных проповедников. Итак, когда простой список произвел столь много пользы, то что должно ожидать от подлинника?

Врожденное людям самолюбие управляет с самого почти младенчества всеми их деяниями. Нельзя сыскать лучшего средства к исправлению их погрешностей, как изобразя гнусность тех пороков, коим они порабощены, обращать их в насмешку и чрез то уязвлять сродное каждому человеку тщеславие. Никто не может исполнить сие с лучшим успехом, как мизантроп; следовательно, нет человека, который столько бы полезен был обществу, как он.

Когда я взираю на сих людей, кои, не беспокоясь нимало о том, что будут об них говорить, не опасаясь злобы и ненависти своих сограждан, с презрением и смело осуждают все то, что видят в них худого, — тогда кажется мне, будто вижу врачей, окруженных множеством больных, кои, видя, что не хотят они пользоваться обыкновенными способами, принуждены бывают для спасения их жизни давать им против воли лекарства, хотя поистине не весьма вкусные, но способные восстановить их здоровье.

Пусть осуждают, сколько хотят, грубость и странные, по мнению некоторых людей, поступки мизантропов, я буду всегда утверждать, что почти невозможно быть совершенно честным человеком, не быв несколько им подобным. Неужели должен я почитать за добродетель подлое ласкательство придворного, готового всегда ублажать не только слабости своего государя, но даже и тех людей, от кого оп надеется получить какое благодеяние? Достоин ли моей похвалы тот французский аббат, который, желая снискать благосклонность своего епископа, превозносит до небес его глупости, который хвалит в нем добродетели, коих он ни-

когда не имел, и который расточительность его называет нелюбостяжанием, невежество — простосердечием, а злость и суеверие — священною ревностию? Нет, премудрый Маликульмульк, я чувствую, что неприличность сих гнусных нравов возмущает мою душу, и потому стократно более предпочитаю сим подлым льстецам мизантропа, человека угрюмого, нетерпеливого и бешеного, буде хотят, чтоб я его так назвал, но коего сердце наполнено притом справедливостию, чистосердечием, добродетелию и который неспособен ни лгать, ни притворяться.

Если бы при дворах государей находилось некоторое число мизантропов, то какое счастие последовало бы тогда для всего народа! Каждый государь, внимая гласу их, познавал бы тотчас истину. Один мизантроп истребил бы в минуту все те злодеяния, кои пятьдесят льстецов в продолжение целого месяца причинили. Министры, судьи, вельможи, одним словом, все те, коим вверено благосостояние народное, трепетали бы при едином названии мизантропа. «Надлежит исполнять, — сказали бы они, — со всевозможною ревностию возложенные на нас должности. Ничто не может остановить сего ужасного предвозвестника истины. Скоро глас его раздастся повсюду и, достигнув престола, известит государя о всех тайных наших делах. Если не ужасаемся мы оскорблять истину и добродетель, то да страшимся, по крайней мере, необузданного языка мизантропова, и когда пристрастия и пороки усыпили уже нашу совесть, то надлежит, по крайней мере, стараться, чтоб не подозревал он ни в чем нашей честности».

Мизантроп не только может споспешествовать пользе народной, но и благосостоянию самого государя: он научал бы своим примером как придворных, так и подданных, что усердие и ревностные услуги должны быть оказываемы единственно государю, а не его вельможам. Я помню, что читал я некогда прекрасное описание о мизантропе, находившемся в службе Лудовика XIII. Сей человек, имея при дворе немалый чин, не оказывал никогда ни малейшего почтения кардиналу Ришелье. «Я его не боюсь и не почитаю», — сказал он некогда, разговаривая о сем министре. «Я служу королю; ревность и усердие мое оказываю только одному ему; а в прочем мало беспокоюсь, любит ли меня кто или ненавидит». Сии слова привели в великое удивление кар-

динала: он велел сказать сему мизантропу, что если он один только раз скажет ему: «Господин кардинал, я ваш покорнейший слуга и прошу вашего покровительства», то постарается он снискать ему счастие и навсегда останется его другом. На сие предложение мизантроп ответствовал, что он служит королю, а не господину кардиналу, и что не имеет нужды ни в чьем покровительстве, кроме своего государя. Что ж касается до дружбы сего министра, то он столько ее не уважает, что если б король приказал ему убить господина кардинала, то не преминул бы он в четверть часа исполнить сие повеление. Один только мизантроп может иметь столь бескорыстные и столь преданные к своему государю чувствования. Я повторяю еще, мудрый и ученый Маликульмульк, чтоб быть совершенно честным человеком, надлежит быть несколько подобным мизантропу.

Наконец чрез название мизантропа не разумею я здесь того бешеного и несноснейшего врага самому себе и всему роду человеческому, который ненавидит людей за то, что они люди. Я желаю, чтоб тот суровый и задумчивый мудрец, о коем я говорю, ненавидел только пороки, сожалел о порочных и чтоб, упрекая людей, зараженных оными, поставлял главнейшим своим предметом их исправление. Между мизантропом, коего писал Молиер, и тем бешеным афинянином, о котором Плутарх нас уведомляет, находится величайшее различие. Весьма несвойственно приписали Тимону название *мизантропа*, надлежало бы лучше назвать его *лютым зверем* или *разъяренным медведем*. Должно ли почитать человеком того, который был свирепее льва и кровожаждущее тигра? Сей изверг человечества, о котором я говорю, жил один в загородном своем доме близ города Афин, где не имел ни с кем больше знакомства, кроме одного только Алцибиада. Когда вопрошали его, почему, ненавидя вообще всех людей, предпочел он сего молодого грека прочим людям, то ответствовал он на сие следующее: «Я люблю и имею знакомство с Алцибиадом для того, что предвижу заранее те бедствия, которые причинит он некогда всей республике. Не думайте, чтобы дружество меня с ним соединило: нет! меня прельщает только тот огонь, которым от него вся Греция воспылает».

Ненависть Тимонова к своим соотчичам простиралась до такой крайности, что всякое зло, им причиненное, при-

водило его в восхищение. Рассказывают, что в саду загородного его дома было несколько деревьев, на которых отчаянные люди оканчивали обыкновенно дни свои удавкою. Он, имея намерение вырубить сии деревья, дабы на том месте построить некоторое здание, пошел прежде в Афины, где созвал весь народ на большую площадь. Греки, пораженные необычайным сим созывом, бежали туда толпами; однако ж весьма худо награждены были за свое любопытство. Тимон уведомил их, что он заблагорассудил через несколько дней срубить деревья, находящиеся у него в саду и для того заблаговременно дает знать, буде кто имеет желание удавиться, то чтоб не теряли времени. После сей прекрасной и трогающей речи распустил он своих слушателей. По моему мнению, весьма бы хорошо сделали, если б сего красноречивого оратора убили они в ту ж минуту каменьями.

Сих извергов человечества надлежит истреблять со всевозможною поспешностию, опасаясь, дабы яд пагубных их предрассудков не повредил людей, наклонных и без того более ко злу, нежели к добродетели. Каких следствий долженствовала ожидать Греция от учрежденной там цинической секты? Итак, когда нашлись столь глупые и столь безумные люди, кои при глазах целого народа не стыдились отправлять бесчиннейшие деяния, то легко может также случиться, что соберется когда-нибудь скопище подобных Тимону бешеных людей, кои, объявя себя явно смертельными врагами человеческого рода, увещевать будут всякого с ними встречающегося, дабы он без дальнего размышления как возможно скорее удавился.

Я думаю, ты согласишься со мною, мудрый и ученый Маликульмульк, что афиняне весьма бы благоразумно поступили, если бы они наказали смертию Тимона за дерзновенную его речь. Кажется мне, что довольно уже я изъяснял, какое великое различие находится между сим беснующимся и мизантропом: один ненавидел людей, а другой ненавидел только их пороки. Наконец, остается нам желать, премудрый Маликульмульк, чтоб небо ниспослало людям друга, такого мудрого мизантропа, который, уличая их в погрешностях, побуждал бы чрез то к исправлению оных.

ПИСЬМО V

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

Отсутствие мое из ада, мудрый и ученый Маликульмульк, есть главнейшая причина моего молчания. Я принужден был более двух месяцев пробыть в Париже. Тебе известно, что со времен великого Агриппы, открывшего людям тайну вызывать нас против воли на тот свет, нередко мы принуждены бываем, оставляя мрачное наше жилище, исполнять их повеления.

Некоторый стихотворец, коего обстоятельства были в великой расстройке, принужденным себя нашел страшнейшими заклинаниями призывать нас к себе на помощь. Веелзевул, услыша томный голос сего питомца муз, приказал мне осведомиться немедленно, чего он желает. Исполняя сие повеление, предстал я пред него в виде таможенного сборщика.

«Что тебе надобно? — сказал я ему, — я тот бес, коего ты призывал; говори, желания твои будут исполнены».

«Я вижу, — ответствовал стихотворец, запинаясь от робости, — что ты наивеличайший плут и обманщик из всего бесовского вашего рода, ибо наряд твой показывает мне, что ты и в аде отправляешь такую должность, которая на здешнем свете ничего доброго не предвещает. Итак, возвратись опять в прежнее свое жилище: я не столь глуп, чтоб положился на обещание беса, отправляющего столь скаредную должность».

«Ты несправедливо рассуждаешь, — ответствовал я стихотворцу, — о моих качествах; знай, что в аде все дела делаются не так, как на вашем свете: у нас наичестнейшие бесы, коих верность нимало неподозрительна, употребляются обыкновенно для сбору доходов; и когда ученый человек, а особливо стихотворец, потребует нашей помощи, то всегда посылается к нему бес откупщик или таможенный сборщик, ибо нам известно, что голод и жажда суть главнейшие нужды, в коих должно им помогать».

«Когда так, — сказал стихотворец, — то сделай милость, употреби как можно скорее известные тебе средства для утоления моего голода. Целые два дни наблюдаю я поневоле наистрожайший пост; если б ты не подоспел ко

мне на помощь, то принужден бы я был продать на рынке последнее мое имущество, т. е. чернильницу, и, думаю, что в тогдашнем моем положении охотно бы уступил ее за двухкопеечный калач».

«Ты будешь удовольствован, — ответствовал я голодному питомцу муз. В самое то время увидел он в своей комнате стол со множеством кушанья. — Ешь, —сказал я ему, — а после поговорим о твоих делах».

Он с великою охотою повиновался моему приказанию и кушал с такой умеренностию, что я опасался, дабы не лопнул у него желудок.

Когда перестал он есть, потому что более уже в него не шло, то спросил я его, чего еще он от меня желает?

«Я желал бы, — ответствовал он,— чтоб снабдил ты меня знатною суммою денег, дабы не имел я более нужды беспокоить тебя моими просьбами, и чтоб в последующее время не умереть с голоду».

«Сие нетрудно сделать»,— сказал я ему, отдавая большой кошелек с полновесными червонцами.

«Не привидение ли это? — вскричал он с восхищением.— В самом ли деле существует сие золото, которое я вижу; не сонное ли мечтание льстит мне благополучием, которое вскоре, может быть, исчезнет?»

«Не опасайся, — ответствовал я, — все то, что ты видишь, есть истина, и нет тут ни малейшего обмана».

«Но скажи мне, что это за бумаги, которые в комнате твоей повсюду разбросаны?»

«Это, — ответствовал стихотворец, — оды, сонеты, мадригалы и баллады, которые сочинил я в похвалу многих знатных особ».

«Так неужели, — сказал я, — с помощию красноречия и толиких лжей не умел ты сыскать себе пропитания? Повидимому, все те, коих осыпал ты похвалами, не весьма были тароваты».

«Я подносил свои сочинения, — ответствовал стихотворец, — тем, коих щедрость и великодушие как в городе, так и при дворе до небес превозносили; однако ж получаемые мною награждения не соответствовали гремящей о них славе. Один только недавно разбогатевший господин, которого отец был конюхом, подарил мне шесть луидоров за то, что вывел я его родословную от великого Могола. По не-

счастию, проговорился я о сем подарке некоторому моему приятелю, такому ж нищенствующему стихотворцу, как и я был до сего времени, который столь неотступно ко мне приставал, что я принужден был дать ему взаймы два луидора. Получа оные, выкупил он тотчас свою трагедию, бывшую в закладе у служителя некоторого комедианта, отдал ее на театр, надеясь, что принесет она ему очень много барыша; по при первом представлении ее освистали. После чего приятель мой чрез несколько дней умер с печали, а мои деньги также за ним во гроб последовали».

«Для чего же, — спросил я у стихотворца, — будучи так несчастлив в ученых своих делах, не принялся ты за другой какой промысел? Мне кажется, что состояние сытого извозчика гораздо предпочтительнее состоянию голодного стихотворца. Прилепляясь к музам, чаще делают себе вред, нежели пользу».

«Возможно ли, — ответствовал мне ученик Аполлонов,— чтоб человек, привыкнувший взирать на себя, как на некоторый род божества, мог упражняться в постыдном каком промысле? Тщеславие и пристрастие к стихотворству управляли всеми моими деяниями. Сии слабости свойственны не только мне, но и всей моей собратии; нет ни одного из нас, который бы не поставлял себя выше всего на свете. Когда сравниваем мы Гомера с Ахиллесом или Августа с Виргилием, то делаем сие нарочно для того, чтоб усугубить собственную нашу славу. Если б найден был такой способ, чтоб человек мог пробыть без пищи, то я уверен, что большая часть писателей предпочли бы свои дарования престолам величайших государей. Скалигер говорил, что он охотнее бы согласился быть Горацием, нежели Неаполитанским и Сицилийским королем. Однако ж, думаю, если б случилось ему быть в такой крайности, в какой находился я, до твоего ко мне прибытия, то переменил бы, конечно, свои мысли».

«Утешься, — сказал я стихотворцу, — впредь не будешь ты иметь ни в чем недостатка».

Сказав сии слова, хотел было я от него удалиться, но он усильно меня просил, дабы позволил я ему представить к себе некоторого его приятеля, желающего вступить в приказную службу. Я не премину уведомить тебя после, мудрый и ученый Маликульмульк, о разговоре, который был у нас с сим человеком.

ПИСЬМО VI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Вчерашнего дня, любезный Маликульмульк, вылетел я из своего жилища на свет для набрания надобных людей и для закупки уборов, о которых, при самом моем отправлении из ада, препоручено мне было. Имея множество денег, при которых, как сказывают, нет ничего в свете невозможного, ты подумаешь, что я в одну минуту мог исполнить желание Прозерпины, но как ты удивишься, когда узнаешь, что ничего нет труднее таких препоручений.

Вылетев на поверхность земли, устремился я прямо к средоточию роскоши, то есть к большому великолепному и многолюдному городу Европы. Жители оного могут, по справедливости, почитаться ныне поравнявшимися с самими теми, которые в сей части света издавна почитаются образцами новых изобретений, и кои стараются весьма искусно выводить истинную добродетель. Их-то философии обязан ныне свет многими так называющимися *людьми без предрассуждения*, которые за кусок золота в состоянии продать своих друзей, родню или и все свое отечество, для того только, чтоб посредством оного показаться в хороших нарядах и великолепных колесницах. По таковым подлинникам можно судить и о сколках, не уступающих образцам своим в свойственной им доброте, и наверное угадать, что я, сыскав столь честные селения, не почел за нужное лететь далее, а избрал сей город лавкою своих покупок.

Чтоб знать вкус в нарядах, надобно непременно хорошее знакомство, а чтоб иметь оное, нужны деньги, почитающиеся всеобщим ключом, которым ныне заводятся большие часы света. Следуя сему правилу, я принял вид молодого и пригожего человека, потому что цветущая молодость, приятности и красота в нынешнее время также в весьма немалом уважении и при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса, а при столь выгодной наружности не позабыл я представить себя в богатом кафтане, в котором, может быть, почли бы меня за какого-нибудь ученого, если б не был он весь в золоте. Не успел я показаться в сем виде в одном из тех трактиров, в которых приезжие находят себе пристанище, как премножество мо-

лодых людей кричали мне свои приветствия, и каждый из них предлагал мне тысячу услуг. Петиметр обещавал меня познакомить с своим портным и парикмахером, пьяница хотел вести в такой трактир, в котором продаются лучшие вина, а картежник шептал мне на ухо, чтобы итти с ним обыгрывать его знакомого наверную, но я проницанием своим узнал, что он такими услугами разорил уже не одну дюжину безумцев.

Все вообще спрашивали меня, кто я таков? откудова приехал? и какая моя надобность? — «Милостивый государь! — сказал мне один из них, находившийся с растрепанными волосами, который был уже вполпьяна и допивал шестую порцию пуншу, — не тяжба ли какая причиною вашего сюда приезда? Если так, то я охотно предлагаю вам свои услуги: дядя мой знатный человек, и он за удовольствие себе почтет склонить судей на вашу сторону, были б только худы обстоятельства вашего дела! Вам стоит токмо уступить дядюшке половину иска, и я вас уверяю, что спорная земля ваша. Вы можете узнать от других, что в 15 лет по вступлении его в свою должность он тысячу дел поворотил на такую сторону, на какую ему захотелось; впрочем, если вам нужда, то я уверяю вас своим и дядюшкиным честным словом, что он, за весьма сходную цену, согласится уморить в тюрьме ваших соперников». Я благодарил сего доброго человека и признавался ему, что мне нет нужды в его услугах; это его несколько рассердило, и он в молчании принялся допивать шестую свою порцию пуншу.

Я не успел еще отблагодарить сего услужливого человека, как вошел в комнату, с опухлыми глазами, с расстегнутым камзолом и с обкусанными губами молодой человек и спросил чашку шоколаду; я бы почел его за какого-нибудь питомца муз, если бы поданная ему в долг чашка шоколаду не опровергла сего мнения, ибо мне известно от теней, переселяющихся в ад, что в свете все ученые весьма малую имеют доверенность. Я сел подле его в намерении свести с ним знакомство, и, подлинно, мы недолго были с ним в молчании; он первый начал разговор следующим образом: «По моему мнению, государь мой, нет никакой науки труднее той, которая учит, как жить в свете! Чорт меня возьми! — вскричал он, — если не сущее дурачество делают те, которые предписывают тому правила».

«Это правда, государь мой! — отвечал я, — ибо правила могут быть непременными в одной только математике, но в повсечасно переменяющихся случаях их соблюсти неудобно, и правила, касательно до общежития, так же способно предписать, как удобно шить кафтаны по одной мерке на весь город; однако ж, со всем тем, должно в жизни предполагать главнейшие начала, которым следуя, можно приноравливать оные к случающимся обстоятельствам. Например, если кто положит себе правилом быть тем довольну, что имеет, и сносит великодушно случающиеся несчастия, почитая их неизбежными в сей жизни, тот...»

«Эх, государь мой! — перехватил он речь мою, — это то же, как бы кто сказал, что немудрено познать систему света, нужно только выучить математику и физику! Слово *выучитъ математику* произносится очень легко, но в нем замыкается тысяча препятствий, и его не так-то удобно можно исполнить. Многие философы говорили, что надобно быть всем довольну, признавая, что в сем общем положении много заключается, но на самом деле не легко оное исполнить, я сам по себе это знаю; взяв от отца 1000 рублев на год, я приезжаю сюда в намерении не желать ничего более и, подлинно, я думаю так несколько месяцев, но, наконец, нахожу знакомцев, которые твердят мне беспрестанно, что я беден, что граф Беспутов имеет в десять раз лучшее содержание, нежели я, и все это заслужил только тем, что родился от знатного отца; что молодой Бесчетнов имеет лучших лошадей в городе и прекрасную любовницу, а сделал важного для отечества только то, что посредством своих денег надел на себя военный мундир, довольно порядочной степени, и умножил тем число титулярных служивых. После сего говорят мне, чтоб состояние свое поправил картами, и доказывают ясно, что ничего нет легче, как выиграть 10 000 рублей в один вечер. Я этому верю, беру карты, меня вводят в один дом, где указывают мне собрание сих счастливцев, из которых большая половина сидели в отчаянии, без кафтанов и без камзолов; это меня несколько устрашило, но приятели мои принимаются за убедительные свои доказательства и говорят, что когда двое играют, то неотменно должно, чтоб один из них проиграл, а другой выиграл. Сии самые полунагие служат доказательством, что есть счастливцы, которые у них все выиграли, после чего я сажусь и проигрываю свой

годовой доход, потом на 3000 даю векселей. Теперь скажите, могу ли я быть довольным моими обстоятельствами? Однако ж, сударь, — продолжал он, — если вам угодно, и когда есть у вас деньги, то вы можете сделать и свое, и мое счастие: пойдемте только в тот дом, где пополам, конечно, мы отыграем у сих счастливцев, чего они меня лишили, а, может быть, что и во сто раз более у них у самих выиграем».

Он бы еще далее продолжал свою речь, если бы не вошел тогда один его знакомец, который нечто шепнул ему на ухо, и мой несчастливый картежник бросился стремглав из комнаты, сказав нам, что он идет вновь спорить со счастием. Лишь только он вышел, то его друг, который на несколько времени оставался с нами, зачал говорить с другими своими знакомцами, и я слышал, как они сговаривались обыграть того молодого человека, за которым тот же час вышли. Вот, ученый Маликульмульк, малая картина людей. Ныне весь свет играет в карты, и всегда двое продают третьего. Я писал о сем к Диогену и заключил, что можно судить по картам и о политике, но он отвечал мне, что в его время не играли в карты и не знали политики, и потому просит от меня другого сравнения; но оставим это и возвратимся к моей повести. Лишь только вышла толпа соединенных сих картежников, то вошел в комнату пребогато одетый человек. «Вот, — думал я сам в себе, — тот, кого мне надобно, от него неотменно получу я сведение о модах». Ветродум, так он назывался, зачинал говорить о тысячи разных предметах и ни об одном не оканчивал; он садился для того, чтобы сделать из себя хорошую фигуру, и с намерением пил, чтобы иметь случай делать приятные ужимки. Между сотнею сделанных им мне вопросов был для меня самый нужный: «зачем я приехал в город?» На что я ответствовал ему, сколько мог учтиво, сказав, что я богатый дворянин и приехал в сей город затем, чтоб по просьбе моих родственников вывезть им модных уборов и...

«О! что до этого принадлежит, — вскричал он, — то вы ничего лучше не сделаете, как если адресуетесь ко мне. Я вас, в два часа, коротко познакомлю с моей тетушкою, которая уже тридцать лет учится науке нравиться и почитается здесь во всем городе первою щеголихою. Вы, кроме ее, не получите ни от кого подробнее наставления о нарядах.

Да, это женщина такая, которая делает честь своему полу и живет прямо щегольски: днем спит, ночное время проводит в забавах; туалет ее занимает 4 часа; обеденный и вечерний стол 5; 9 часов она провождает во сне, а прочее время употребляет для своих веселостей; словом, это *беспримерная женщина*, и мы завтра у нее обедаем».

После сего он, схватив мою руку, потряс оную и скрылся от меня, как молния, сказав, чтоб я на другой день дожидался его в том же месте. Итак, любезный Маликульмульк, я остаюсь в нетерпеливости сделать сие знакомство, и в первом письме подробнее уведомлю тебя о сей *беспримерной женщине* и о сем молодом ветренике, которые, может быть, будут служить образцами для всего ада.

Я повстречал своего брата Буристона, он очень невесело ходит и не надеется, чтоб мог скоро исполнить приказания Плутоновы так, как и я Прозерпинины.

ПИСЬМО VII

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Пробывши несколько дней в сем городе, мудрый и ученый Маликульмульк, и летая некогда над садом, усмотрел я в одной темной аллее женщину, показавшуюся мне старее шестидесяти лет, которая говорила с великою горячностию с одною молодою девушкою, имеющею не более шестнадцати или семнадцати лет, слушавшею ее, краснеясь и с потупленными глазами; любопытствуя услышать, что разговаривают сии две женщины, я, подлетев, сел подле их, и разговор их показался мне очень чудным.

Старуха была из числа тех торговок, продающих модные женские уборы, кои получают более прибытка от переноса любовных писем, от склонения молодых девушек к любви и от назначения любовникам свиданий, нежели от продажи кружев, чепчиков и модных шляпок, а молодая девушка, разговаривающая с нею, была золотошвейка. Она имела вид тихой, скромной и постоянной, однако ж была одета богатее, нежели как бы было пристойно ее состоянию.

«Послушай, Лизынька, — говорила ей старуха, — ты не должна надеяться, чтоб господин Расточителев непрестанно осыпал тебя своими подарками. Вот уже он подарил тебе два платья, три куска полотна и восемь империалов на твои забавы; ты все это через меня получила, но целый уже почти месяц ты мне обещаешь приехать со мною к нему и по сю пору не исполняешь своего слова. Не стыдно ли тебе обманывать такого честного господина, который дарит тебя столь щедро и ищет только случая сделать тебя счастливою? Ты сама, душенька, теряешь свое счастие, и ежели еще поступать будешь таким образом, то после сама раскаешься, но тогда уже будет поздно. Г. Расточителев говорил уже мне о Маше, ему скучно твое упорство, и ежели он однажды увидит эту девку, то она, конечно, заступит то место, которое для тебя готовилось; тогда прощай платья, уборы и все забавы, ты ничего уже иметь не будешь, а попрежнему будешь провождать всю жизнь свою от утра до вечера в шитье золотом и будешь видеть Машу, которая ничем тебя не лучше, одетую в богатое платье и ездящую по всем позорищам, так, как знатную барыню! Так, душенька, она будет, как знатная барыня. Да знаешь ли ты, что г. Расточителев намерен для тебя нанять великолепный дом, дать тебе богатый экипаж и определить доход на всю твою жизнь. Это между нами сказано: я почитаю тебя девицею скромною и не опасаюсь, чтобы ты ему о том пересказала: я чрез то лишилась бы совсем его доверенноети и, желая тебе услужить, потеряла бы в нем хорошего покровителя. Ты меня знаешь, я не захочу тебя обманывать. Поверь, друг мой, что все это я делаю единственно из дружбы к тебе; мне очень досадно, что ты лишаешь себя такого благополучия. Посмотри на всех оперных девок: они великолепием своим кажутся графинями, но что были бы они без любовников? Им не на что бы было купить и башмаков! Подумай о своем счастии, ты находишь такого честного и щедрого человека, который из золотошвейки хочет сделать тебя подобною знатным госпожам, а ты не склоняешься на его предложение; ты в этом случае очень неразумна: не стыдно ли тебе? Я, право, думала найти в тебе больше разума и рассудка!»

«Ах, боже мой, госпожа Плутана! — ответствовала молодая девица: — я очень бы желала быть другом

господину Расточителеву, да он требует от меня того, на что мне очень трудно согласиться и что меня чрезвычайно оскорбить может. Ежели то правда, как ты мне сказываешь, что он столько меня любит, то для чего же все то, о чем ты мне упоминала, не хочет он сделать, не требуя от меня ничего, единственно только для того, чтоб меня тем больше одолжить? Ежели бы я чувствовала к господину Расточителеву столь великую любовь, какую чувствует он, по уверению твоему, ко мне, то я не требовала бы от него ничего такого, что бы ему не нравилось, и не стала бы просить его о таком снисхождении, которое бы его огорчило и повредило его честь. На что он хочет, чтоб я к нему приехала? Не видит ли он меня всегда на гулянье, в церкве, на улице и в окошке? Я, для угождения ему, когда он стоит в своем окне, всегда стараюсь из нашего окна ему показываться, и мне кажется, что он имел довольно уже времени на меня насмотреться».

«Ты рассуждаешь,—сказала старуха,—так, как трехлетний младенец. Неужли ты думаешь, что г. Расточителев может быть доволен одним только на тебя смотрением? Ежели бы ему нужно было только это, то нашел бы он множество статуй гораздо тебя прекраснее, на которые смотря мог бы довольствовать свое зрение, ничего не тратя. Нет, душенька! Для него нужна красота одушевленная; ты показываешь в себе совершенную невинность, однако ж на самом деле ты не так проста, какою себя показать хочешь; в твои лета можно уже знать, что мужчины любят женщин не с тем, чтоб только на них смотреть. Неужели ты боишься два часа пробыть наедине с г. Расточителевым? О! поверь мне, я тебе в том порукою, что такие свидания не так опасны, как ты думаешь, и точно тебя уверяю, что ежели ты два раза таким образом будешь иметь с ним свидание, то в третий раз для самой тебя столько же казаться будет приятно, сколько и для него. Спроси у Наташи, которая очень часто видалась с г. Ветрогоном, хорошим приятелем г. Расточителева, — имеет ли она причину жаловаться на первое уединенное свидание, которое она с ним имела».

«От этого-то самого, — ответствовала девушка, — что рассказывала мне Наташа, я и боюсь быть наедине с г. Расточителевым. Я никак не могла бы снести, ежели бы он

стал со мною так же поступать, как приятель его поступал с Наташею... Подумай, госпожа Плутана, хотя я и бедная золотошвейка, однако ж столько же уважаю моею честию, как и знатная госпожа. Слава богу, доныне я ни в чем упрекать себя не могу и могу побожиться без угрызения совести о моей невинности».

«Я очень в этом уверена, — говорила старуха, усмехнувшись, — и ежели бы ты не была такова, то бы я за тебя не отвечала г. Расточителеву; но неужели ты хочешь навсегда таковою остаться? Скажи мне, душенька, что лучше, быть честною и целомудренною, но худо одетою, бедною и от всех презренною девушкою, или без целомудрия быть богатою, одеваться в блистательные наряды, жить в великолепном доме и ездить в богатом экипаже, я об этом спрашиваю собственного твоего мнения? Посмотри на старую свою мастерицу, у которой ты учишься шить золотом: она поныне сохраняет свое целомудрие, но почти умирает с голоду; завидуешь ли ты ее жизни? Взгляни, напротив того, па Любострасту, которая никогда не думала о своем целомудрии: какой имеет она богатый доход! Не захотела ли бы и ты жить так роскошно, как она? Ты слишком уже уважаешь своим целомудрием. Ах, друг мой! поверь мне, что большая часть девушек очень мало о нем думают, в твои лета оно было бы для них столько же тягостно, как сохранение тайны для болтливой старухи. Ежели бы я сама была на твоем месте, то право бы не раздумала продать честь свою за такую дорогую цену. Упорство твое кажется мне очень смешным. Каждый день девок по двадцати, а иногда и больше, сами просят меня, чтоб я нашла для них такого честного человека, который бы захотел взять их к себе и доставил бы им порядочную жизнь в свете. Мы ныне живем, благодаря просвещению, в таком веке, в котором оставили уже все глупые нежности и предрассудки. Те, которые злословят девок, живущих на содержании, и говорят об них худо, делают то единственно из зависти и из ревности; они сами очень охотно хотели бы быть на месте тех, которых осуждают. Поверь, радость моя, что было очень много девушек, гораздо лучшего перед тобою состояния, которым я доставила выгодные места; а ты не больше, как бедная золотошвейка, но так много уважаешь своею честию и упорствуешь последовать примеру других. Ты хочешь в себе по-

казать более целомудрия, нежели графиня Ветрана, княжна Щепетихина и прочие. Ты с ума сходишь, душенька, в тебе нет ни малого рассудка. Мне надобно над тобою сжалиться и постараться привести тебя на истинный путь. Обещайся мне, что ты сдержишь свое слово и сего же дня вечером поедешь со мною ужинать к г. Расточителеву. Я тебе буду вместо матери, почитай меня истинным своим другом, который хочет сделать тебя благополучною. Ежели ты будешь во всем следовать моим советам, то я постараюсь, чтоб через два месяца было у тебя до тридцати великолепных платьев, дюжин по шести всякого белья, самого лучшего и тонкого, и несколько бриллиантов. Уверь только меня, что ты не будешь впредь так глупа и станешь во всем меня слушаться».

«Ах, госпожа Плутана, — ответствовала молодая девушка закрасневшись, — я сама вижу, что ты ни говоришь, для меня очень полезно; признаться, я чрезвычайно люблю наряды и для того желала бы пользоваться любовию г. Расточителева, но я все боюсь той страшной минуты, когда буду с ним наедине. Желала бы я, ежели бы то было можно, чтоб ты не отходила от меня ни на минуту».

«О! ежели только этого тебе хочется, — сказала старуха, — то я не отрицаюсь тебя удовольствовать. Г. Расточителев имеет ко мне совершенную доверенность, и мое присутствие нимало его не потревожит». — «Однако ж я прошу тебя, — говорила девица, — что ежели...» — «О! будь уверена, — перервала речь ее старуха, — что я тебе ответствую за твою безопасность и надеюсь, что ты со временем за все то сама будешь меня благодарить, когда, следуя моим советам, увидишь себя живущую в роскоши и веселостях».

После сих слов старуха вышла из сада, и девушка за нею последовала в великом смущении; они обе сели в наемную карету и поехали в улицу... А я, мудрый и ученый Маликульмульк, опять поднялся на воздух, проклиная эту проклятую старуху, адскую фурию и сообщницу злых духов, которая старалась хитрыми своими словами склонить к потерянию добродетели бедную и целомудренную девку. Я желал от всего моего сердца, чтоб эта старая хрычовка, рано или поздно, получила достойное наказание за свои злодей-

ства и чтоб ее хорошенько выстегали прутьями и засадили бы на всю ее жизнь в смирительный дом.

ПИСЬМО VIII

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

Когда воображаю я, мудрый и ученый Маликульмульк, что человек ничем другим не отличается столько от прочих творений, как великостию своей души, приобретаемыми познаниями и употреблением в пользу тех дарований, коими небо его одарило; тогда, обратя взор мой на жилище смертных, с сожалением вижу, что поверхность обитаемого ими земного шара удручается множеством таких людей, коих бытие как для них самих, так и для общества совершенно бесполезно, и кои не только не вменяют в бесчестие слыть тунеядцами, но по странному некоему предубеждению почитают праздность, презрение наук и невежество наилучшими доказательствами превосходства человеческого.

Деревенский дворянин, который провождает всю свою жизнь, гоняясь целую неделю по полям с собаками, а по воскресным дням напиваясь пьян с приходским своим священником, почел бы обесчещенным благородство древней своей фамилии, если б занялся когда чтением какой нравоучительной книги, ибо с великим трудом едва научился он разбирать и календарные знаки. Науки почитает он совсем несвойственным упражнением для людей благородных; главнейшее же их преимущество поставляет в том, чтоб повторять часто с надменностию сии слова: *мои деревни*, *мои крестьяне*, *мои собаки* и прочее сему подобное. Он думает, что исполняет тогда совершенно долг дворянина, когда, целый день гоняясь за зайцами, возвращается к вечеру домой и рассказывает с восторгом о тех неисповедимых чудесах, которые наделали в тот день любимые его собаки: словом, ежедневное его упражнение состоит в том, что он пьет, ест, спит и ездит с собаками.

Дворянин, живущий в городе и следующий по стопам нынешних модных вертопрахов, не лучше рассуждает о науках: хотя и не презирает он их совершенно, однако ж почитает

за вздорные и совсем за бесполезные познания. «Неужели,— говорит он, — должен я ломать голову, занимаясь сими глупостями, которые не принесут мне никакой прибыли? К чему полезна философия? Ни к чему более, как только что упражняющихся в оной глупцов претворяет в совершенных дураков. Разбогател ли хотя один ученый от своей учености? Наслаждается ли он лучшим здоровьем, нежели прочие? — Совсем нет! Ученые и философы таскаются иногда по миру; они подвержены многим болезням, по причине чрезмерного их прилежания; зарывшись в книгах, провождают они целые дни безвыходно в своих кабинетах, и, наконец, после тяжких трудов, живучи во всю свою жизнь в бедности, умирают таковыми же. Куда какое завидное состояние. Поистине, надобно сойтить с ума, чтоб им последовать. Пусть господа ученые насыщают желудки свои зелеными лаврами и утоляют жажду струями Иппокрены; что до меня касается, я не привык к их ученой пище. Стол, уставленный множеством блюд с хорошим кушаньем, и несколько бутылок бургонского вина несравненно для меня приятнее. Встав из-за стола, спешу я, как наискорее заняться другими веселостями: лечу на бал, иногда еду в театр, после в маскарад; и во всех сих местах пою, танцую, резвлюсь, кричу и всеми силами стараюсь, чтобы, ни о чем не помышляя, упражняться единственно в забавах».

Вот, премудрый Маликульмульк, каким образом рассуждают о науках большая часть дворян. Сколь достойны они сожаления! Если б сии ослепленные глупым предрассуждением тунеядцы могли когда почувствовать сие сладчайшее удовольствие, сие тайное восхищение, которое люди, упражняющиеся в науках, ощущают, то перестали бы взирать на них, как на несчастных, лишенных в жизни сей всякого утешения. Науки суть светила, просвещающие души: человек, объятый мраком невежества, во сто раз слепее того, который лишен зрения от самого своего рождения. Гомер хотя и не имел глаз, однако ж все видел: завеса, скрывающая от него вселенную, была пред ним открыта, и разум его проницал даже во внутренность самого ада.

Если дворяне, праздно живущие в деревнях и следующие модам нынешнего света, будучи предубеждены в пользу своего невежества, мыслят столь низко и столь несвойственно с званием своим о науках, то и служащие в военной

службе иногда подвержены бывают равному заблуждению. Жизнь сих людей, в мирное время, протекает в различных шалостях и совершенной праздности: биллиард, карты, пунш и волокитство за пригожими женщинами, — вот лучшее упражнение большей части офицеров. Ученый человек, в глазах их, не что иное, как дурак, поставляющий в том только свое благополучие, чтоб перебирать беспрестанно множество сшитых и склеенных лоскутков бумаги. «Какое удовольствие, — говорят они, — сидеть запершись одному в кабинете, как медведю в своей берлоге? Зрение наслаждается ли таким же удовольствием при рассматривании библиотеки, как и при воззрении на прелести пригожей женщины? Вкус может ли равно удовольствован быть чтением книг, как шампанским и бургонским вином? Осязание бумаги с такою ли приятностию поражает наши чувства, как прикосновение к нежной руке какой красавицы? Слух равное ли ощущает удовольствие от звука ударяющихся математических инструментов, как от приятного согласия оперного оркестра? Чернила и песок такое же ли испускают благовоние, как душистая наша пудра и помада? Какую скучную жизнь провождают ученые! Возможно ли, чтобы человек, для приобретения совсем бесполезных в общежитии знаний, жертвовал для них своим покоем и веселостями».

Так рассуждает пустоголовый офицер, превозносящийся своим невежеством. Равным образом и сластолюбивый богач, пользуясь оставшимся после отца награбленным имением и получая пятнадцать тысяч рублей ежегодного доходу, нимало не помышляет о науках. Роскошь и нега в такое привели его расслабление, что потерял он почти совсем привычку действовать не только разумом, но и своими членами. Препроводя во сне большую часть дня, едва лишь только откроет он глаза, то входят к нему в спальню три или четыре камердинера, кои, вытащив его из пуховиков, составляющих некоторый род гробницы, где ежедневно на двенадцать часов он сам себя погребает, обувают его, одевают и, наконец, сажают в большие кресла, на которых дожидается он спокойно обеденного времени. За столом просиживает он три или четыре часа и наполняет свой желудок тридцатью различными ествами, над приготовлением которых трудились во все утро пять или шесть поваров.

После обеда садится он опять на прежнее место, где засыпает или забавляется рассказами нескольких блюдолизов, привлеченных в его дом приятным запахом его кухни. Потом подвозят ему великолепный экипаж; два лакея, подхватя под руки, сажают его в карету, с такой же трудностию, как бы несколько сильных извозчиков накладывали на телегу мраморную статую. В сем положении ездит он по городу до самого ужина: свежий воздух возобновляет в нем охоту к пище, и движение кареты способствует его желудку варить пищу, коею он во время обеда чрез меру был отягощен. Возвратясь домой, находит он у себя великолепный стол, и, просидев за оным до полуночи, ложится опять спать.— Вот точное описание повседневных упражнений роскошного сластолюбца. Итак, если во всю свою жизнь ничего он более не делал, как только спал или, подобно расслабленному, пребывал в бездействии, то можно ли будет сказать после его смерти, что он когда-нибудь жил на свете?

Бесконечно бы было, мудрый и ученый Маликульмульк, если б начал я исчислять слабости или, яснее сказать, дурачества некоторой части земных обитателей; а скажу только, что глупое их против наук предубеждение заставляет меня думать,что на земле столь же мало людей, которые бы прямо могли называться людьми, сколь не много сыщется беспристрастных судей и некорыстолюбивых секретарей.

ПИСЬМО IX

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Кто бы поверил, любезный Маликульмульк, что должность, возложенная на меня Прозерпиною, есть самая трудная из всех должностей! Я мучусь, как Тантал, и что еще страшнее, то опасаюсь, чтоб и мое мучение не было бы так же бесконечно, как и его. Уже несколько дней тому, как надеялся я по обещанию Ветродума сделать знакомство с его теткою, но, не видя и самого его по сие время, принялся было закупать наряды. Всякий день в великом множестве покупаю их по последней моде, завертываю и укладываю, но лишь хочу оные отправить, как вдруг услышу, что вышли вновь уборы самого лучшего вкуса и последней моды.

«А те уборы, — спрашиваю я, — которые вчера столь много превозносили?»

«О! Ничто не может быть их глупее!—ответствуют мне.— Благоразумная женщина нынешнего света лучше согласится десять раз в день убрать модным образом голову своего мужа, нежели остыдить себя, показавшись в общество во вчерашнем уборе!»

После такой прекрасной ведомости я с досадою кидаю свою посылку и набираю множество новых нарядов, которые на другой день так же становятся негодны, а я остаюсь в отчаянии исполнить желание Прозерпины.

В таких-то хлопотах вздумал я загладить свою скуку каким-нибудь веселым препровождением времени, которое бы подало мне лучший способ узнать нравы и обычаи сего государства. Я хотел для сего читать их книги, но во многих писателях нашел или пристрастных льстецов, сокрывающих пороки своих одноземцев, или гнусных сатириков, которые ругают свое отечество без всякой другой причины, как только чтобы показать остроту своего пера; а потому я оставил сие упражнение и решился не в кабинете своем и не по нраву своего трактирщика судить об общем нраве всего государства, но захотел для сего вмешаться сам в общество, чтоб иметь о нем лучшее понятие, и для того выбрал я себе в проводники одного молодого и знатного человека, с которым надежен я иметь вход во многие домы. Ты, может быть, подумаешь, что проводник мой преважная особа? Нет, друг мой! это молодой повеса, препровождающий всю свою жизнь в шалостях, которыми утешает он своих родителей, пленяет женщин, разоряет легковерных заимодателей, изнуряет себя, отчего часто бывает болен и тем хвалится, как заслуженный воин своими ранами. Ему хотя не более двадцати лет, однако он успел уже более тридцати смуглых женщин сделать столь белыми, как хлопчатая бумага; надобно тебе знать, любезный Маликульмульк, что белый цвет здесь в превеликой моде и что все молодые люди сего города с великою жадностию его себе приобретают; и в короткое время надеяться должно, что сей белый цвет сделается здесь природным или наследственным, ибо более нежели две трети из жителей сего города успели уже по сие время записать себя в число сих белолицых. Но, оставя это, возвратимся к моему проводнику.

С такими-то хорошими качествами во многих знатных домах его уважают и удивляются его разуму, учености и дарованиям; часто ничего незначащее приветствие, сказанное им, почитают за острое слово, и если он улыбается, то зачинают все хохотать во все горло, ожидая с терпеливостию, когда он откроет причину своей улыбки, если ж кто с подобострастием спросит у него о причине оной, и когда господин сей ответствует «так!», тогда начинают удивляться премудрой его молчаливости, а вместо его приходит в замешательство и краснеет сделавший ему вопрос. Припрыжкин, это имя моего знакомца, имеет отменное велеречие; он часто рассказывает то часа по три, что другой на его месте сказал бы в двух словах, ибо он имеет отличное дарование убивать свое время: поутру занят он зеркалом, потом несколько часов занимается столом, после чего развозит вести по городу, а остающееся от сего время играет в карты, предается чувственным забавам, ужинает и ложится опять спать, чтобы на другой день по обыкновению своему встать около полудни и препроводить в таких же упражнениях весь день, в каких препроводил прошедший. Вот, любезный Маликульмульк, важнейшие его дела, от которых, однако ж, не остается ему и столько времени, чтобы мог он вспомнить, что он живет на свете.

Я уже наперед воображаю, что ты или станешь меня бранить за такое худое товарищество, или подумаешь, что в сем городе нет ни одной путной головы; напротив того, ученый Маликульмульк, здешняя земля в произведении хороших умов есть самая обильная, и я могу тебе начесть в сем одном городе человек десяток очень неглупых людей. Но участь оных почти одинакова во всем свете. Мне случалось видать в самых знатнейших домах портреты ученых людей, хотя те самые ученые совсем не имели входу и в их прихожие. Здесь в большом свете почитается за невежество, чтоб не знать по названию вновь выходящих творений или чтоб не знать имен современных писателей, но чтоб читать те сочинения, то считается за потерю времени, а чтоб иметь знакомство с авторами, то почитается подлостию, ибо в сих случаях сравниваются они с рукомесленниками, которые, однако ж, несравненно более выигрывают в своей жизни, нежели ученые.

Я уже сказал тебе, любезный Маликульмульк, что на-

добны деньги, чтоб иметь хорошее знакомство, а ученые вообще почти все бедны; притом же тебе известно, сколь давно они в побранке с фортуною, которая смотрит на их сатиры и брани точно так, как рослый драгун на брехание маленькой постельной собачки, и для того почти всегда

Фортуна жалует рассудку вопреки,
Чтоб были счастливей разумных дураки.

Вот тебе и стихи, любезный Маликульмульк, ожидал ли ты когда от меня оных; извини, однако ж, я теперь в таком городе, где эта язва во всей своей силе свирепствует, а каким образом я сделался стихотворцем, о том я тебе расскажу в свое время, но между тем я должен возвратиться к своей повести.

Молодой Припрыжкин, как новоприезжему, желая показать редкости сего города, возил меня в лучшие аглинские магазины и во французские модные лавки, где, наряду с прочими такими же ветрениками, каков он, платил за дурачества тяжелые подати иностранцам, покупая двухрублевую вещь за десять и за двадцать рублев. Он доставлял мне редкие товары и одевал меня по вкусу искусных торговок.

«Любезный друг, — сказал он мне вчера: — ты еще ничего лучшего здесь не видал, если не видал наших маскарадов; сегодня я тебе покажу подлинно стоящее любопытства зрелище, соответствующее великолепию сего обширного города».

«Я согласен, — сказал я, — и теперь же начну для того одеваться».

«Оставь, пожалуй, это на мое попечение,—отвечал он,— ты оденешься под моим смотрением, как первый щеголь; я теперь еду к себе и через минуту пришлю к тебе француза, первого парикмахера в сем городе; но как ты еще человек без опытов в большом свете, то нужно, чтоб я сделал тебе одно замечание: пожалуй, обходись с ним как можно поучтивее; правда, хотя он ремеслом и парикмахер, но он француз, притом же и превеликий богач, имеющий тысяч до девяти в год доходу, а у нас не всякий и заслуженный генерал столько имеет; прибавь к тому, что многие знатные люди почитают за удовольствие быть вписанными в алфавитную роспись счетной его книги, по которой можно заподлин-

но видеть, сколько он честен; хотя некоторые и говорят, что сей парикмахер грабит, обирает и обманывает людей, но тем, однако ж, он не менее славен, почему и должно иметь к нему некоторое уважение, особенно за то, что он благодетельствует молодым людям, давая им в долг разные галантерейные вещи, которые потом променивают они, с уступкою трех доль, на наличные деньги; иногда же ссужает он и наличною монетою, разумеется, что под порядочный заклад и с получением умеренных процентов, но лучшее и главнейшее его достоинство состоит в том, что он помогает нам в наших любовных интригах. Представь же, если столь полезный человек будет раздражен гордостию простого приезжего дворянина и оставит сей город, то тем заставишь ты осиротеть всех наших молодых щеголей, и наши головы потеряют без него три четверти своих дарований!»

Я обещал молодому Припрыжкину всевозможное уважение к его французскому парикмахеру, и из почтения к оному, конечно бы, не сел в его присутствии, если бы искусство его того не требовало. Потом он вышел, и полчаса спустя вошел ко мне ожидаемый француз: прибор его соответствовал чистоте его ремесла, а его лицо изображало важность, приличествующую глубокомысленному министру; и сколько наружность доказывала его состояние, столько поступки опровергали сии доказательства. Мне казалось, что я видел в нем знатнейшего придворного, переодетого в парикмахерское платье.

«Пожалуйте, сударь, уберите мою голову», — сказал я сему почтенному искуснику (приметь, любезный Маликульмульк, хорошо ли я играю лицо повоступающего в свет деревенского дворянина), потом сел я без всякой заботы и отдал на его попечение свою голову, ожидая ее перерождения под его гребенкою.

Скорее всего можно познакомиться с французом: в нем нет ни гордости, свойственной гишпанцам, ни врожденной немцам угрюмости, ниже той подозрительной улыбки, которая в поступках сопровождает всегда италиянцев; кажется, природа одарила его столь выгодною наружностию, под коею должна храниться истинная добродетель и честнейшая в свете душа, но, напротив того... Однако ж оставим это, я не хочу никого вооружать против себя, и если мало могу сказать доброго о французах, так, право, это самому мне до-

садно. Что касается до сего парикмахера, то признаюсь, что он показался мне знающим во всех частях: едва успел он взять в руки свои гребенку, как заговорил о политике. Он перебирал правительства разных народов, делал заключения, давал решения и с такой же легкостию вертел государствами, как пудреною кистью. Вся министерия была ему открыта, и когда дело доходило до утверждения каких-нибудь из его решений, тогда сей незастенчивый человек, нимало не краснеясь, говорил, что с таким и таким его мнением согласен такой-то министр, такой-то сенатор и такой-то генерал, которым он чешет головы. Он уверял о себе бесстыдным образом, что многие вельможи, производя при нем ежедневно сокровеннейшие дела государства, нередко советуются с ним о важнейших пунктах министерии и часто делают свои решения по его мнениям; но сколько для меня ни страпен свет, однако ж со всем тем я за грех почитаю верить, чтоб здешние министры управлялись французскими парикмахерами. Напоследок кончилась чёска моей головы, с коею кончились и политические разговоры; а все это стоило мне пяти рублев, после чего мы откланялись друг другу с великою учтивостию.

Вскоре потом прибыл ко мне г. Припрыжкип, и я, под его руководством одевшись, поехал с ним в то собрание, которое он превозносил столько похвалами. Мы остановились у большого освещенного дома, где, вышед из своей кареты, вошли в комнаты, которые наполнены были разного звания и состояния великим множеством людей, имевших на себе странные одежды, составленные большею частию из некоторого рода лоскутков, а лица их покрыты были безобразными личинами, в коих многие казались страшилищами, похожими на тех злобных жителей Тартара, которые адским судом определены для истязания человеческих теней, заслуживающих оное. Я не знаю, для того ли они наряжаются таким образом, чтоб показать себя в настоящем своем виде по расположению своих душ, сходствующих, может быть, с тою приемлемою ими безобразностию; или что они любят быть неузнаваемыми и казаться всегда в другом виде, нежели каковы они есть в самом деле. Если сие замечание справедливо, то можно сказать, что весь свет наполнен чудовищами, или что сей свет есть не что иное, как обширное здание, в котором собрано великое множество

маскированных людей, из коих, может быть, большая часть, под наружною личиною, в сердцах своих носят обман, злобу и вероломство; но оставим такие замечания, для самого меня неприятные, о истине которых ты сам по прочтении моего письма, может быть, удостоверишься, и возвратимся к моей повести.

Не успели мы войти в комнаты, как Припрыжкин, сказав мне, где и как со мной сойтиться, скрылся от меня, как молния; а я, оставшись один, начал прохаживаться по обширным залам, в коих, несмотря на безобразные личины людей, веселие и радость повсюду были ощущаемы, и вольность казалася быть душою всего маскированного собрания, так что сие привело меня в несказанное удивление; мне представилось тогда, что люди не иначе умеют пользоваться собственною своею свободою и удовольствиями, как прикрывая себя такими личинами. Едва кончил я сие замечание, как вдруг услышал шум в ближней комнате. Я бросился узнать тому причину, но уже действующие лица были уведены, и оттуда возвращалась толпа молодых людей, которые хохотали во все горло.

«Позвольте спросить, — сказал я первому встретившемуся мне, — что было причиною сего шума».

«Ничего, сударь, — отвечал он,— это сущая безделица, — это небольшая шутка, которую я сделал с моею теткою: добренькая старушка была смертельно влюблена в моего егеря, но, по несчастию, имеет она ревнивого мужа, который не допускает ее до таких малозначащих вольностей. Приметя любовь ее, я выдумал способ получить посредством оной деньги и уговорил своего егеря, чтобы он старался иметь с нею здесь свидание. Благосклонная тетушка, согласясь на его предложение, свела здесь с мужем своим свою приятельницу, одетую в одинаковое с нею платье, сама между тем ускользнула с своим Адонисом; тогда не медля подослал я своего друга, который в сих местах надзирателем благопристойности, а он, схватя наших любовников, отвел их под арест».

«Ах! — вскричал я, — и вы имели удовольствие так бесчеловечно сшутить с вашею тетушкою».

«Какой вздор! — отвечала мне маска, — я хочу только иметь деньги: тетка моя хотя очень скупа, но верно за выкуп свой и любезного егеря заплатит хорошие деньги,

которые я, разделя с Надзором, смотрителем здешней благопристойности, — получу верный способ блеснуть хорошими нарядами или видеть в новом экипаже мою любезную Антилукрецию».

После сего он скрылся и оставил меня удивляться пронырству своего ума и слабости его тетушки.

Позадумавшись несколько, пошел я вперед, как вдруг ударился лоб об лоб с отчаянным человеком, который, сорвав с себя маску, бегал по комнатам, как бешеный.

«Государь мой! — сказал я, — мне думается, что в таких пространных залах можно ходить, не стучась лбами; в противном случае это собрание может только быть выгодно одним рогатым лбам».

«Ах! сударь, — отвечал мне сей господин, — извините мой проступок; отчаяние мое причиною сей неосторожности: я обманут самым гнусным образом».

«Как, — сказал я, — в здешнем благородном обществе могут быть обманщики...»

«Ах! я вижу, — вскричал он, — что и вы человек новоприезжий. Признаюсь, что я сам был лучшего мнения о сих собраниях, докуда несчастным опытом не узнал своей ошибки. Отец мой был богатый дворянин, он недавно умер, а я со всеми его деньгами приехал сюда из отдаленного города, чтоб вступить в службу. Игра, пагубная страсть молодых людей, не умедлила овладеть мною; я вошел в число бродяг, которые, гоняясь за счастием, лишаются пропитания. Несколько раз испытав несчастие проигрыша, наконец, собрав последние свои деньги и приехавши в сей проклятый дом, сделал банк в *макао*; незнакомая маска села подле меня и просила принять ее в десятую долю; видя деньги, 1000 рублев, я согласился сделать это удовольствие и начал метать карты. Множество незнакомых людей зачали понтировать, но я приметил, что многие брали у меня деньги, не ставя карт, а другие сдергивали свои карты, когда оип проигрывали, и скрывались в толпе людей. Раздраженный таким гнусным обманом, бросил я карты и хотел рассчитаться с моим товарищем, который записывал мой проигрыш и выигрыш, как вдруг увидел, что ни денег, ни его со мною нет. Вообразите мое удивление и горесть, быв не только что обокраден, но и лишен надежды узнать и наказать этого бездельника»

«Я сердечно сожалею о вашем несчастии, — отвечал я, — и дивлюсь, что в подобные общества пускаются такие плуты; я до сих пор думал, что ворами опасны только большие дороги».

«Ах! государь мой, — вскричал сей несчастный игрок, — благодаря правительству сии бездельники все согнаны с больших дорог, но, по несчастию, они умножились в городах, и города ныне гораздо опаснее, нежели большие дороги». — После чего пошел он от меня, продолжая свои восклицания.

«Вот сколь прекрасны сии собрания, — думал я сам в себе, — которые столь торжественно выхвалял мне Припрыжкин и кои способствуют только обманывать мужей, грабить ближнего и делать дурачества!» Скажи мне на сие, любезный Маликульмульк, не справедливы ли давишние мои замечания, по коим можно видеть, что люди для того единственно выдумали сии собрания, чтоб, ходя под гнусными личинами, удобнее могли производить без зазрения совести безумное свое своеволие, и что сии маскарады есть картина света, представленная в малом виде? Но если ты захочешь сравнить оную с ее подлинником, то оная не иначе почесться может, как слабым сколком... Но закроем сие завесою. — Я скажу тебе однако ж, что сколь веселие, радость и свобода ни кажутся душой таковых собраний, но я твердое положил намерение никогда вперед не заглядывать в такие места. Вскоре потом встретился мне Припрыжкин, и мы с ним выехали из маскарада.

«Сии-то собрания, — сказал я ему тогда, — так тебе нравятся!..»

«Ах, нет! — вскричал он, — я сегодня очень худо награжден».

«Как, и ты не доволен? — перехватил я речь его. — Но что ж этому причиною?»

«Представь мое несчастие, — сказал он, — посредством давишнего парикмахера назначено мне было от одной прекрасной девушки здесь свидание, чему я охотно поверил, зная, что ничего нет легче в здешних маскарадах, как дочке отвязаться от матушки, которая часто сама только того и метит, чтоб увернуться от дочки. Приехавши сюда, увидел я мою красавицу, ходящую уже одное в белом капуцине; я с нежностию схватил и пожал ее руку, она мне отвечала

тем же: это был наш условный знак; при таком взаимном согласии нам скучными показались все залы, и мы шли в уединение; наконец вошли в отдаленную комнату, но, опасаясь, чтоб кто не подслушал наших речей, я делал ей любовные изъяснения *пантомимами*, и мы до тех пор оные продолжали, как, наконец, вынуждена она была сбросить маску. — Но в какое пришел я удивление, когда вместо воображаемой красавицы увидел старую мумию лет во сто; с досадою и страхом бросился я от нее, как от мертвеца, и, тысячу раз проклиная ее, жалел, что потерял с старою хрычовкою то время, которое назначено было для прелестной молодой особы. — Вот чем только не нравятся мне сии проклятые маскарады!»

«Но неужели женщинам они приятны?» — сказал я.

«О! это совсем другое, — ответствовал Припрыжкин: — женщина может весьма великодушно снести несколько таких ошибок, но молодой щеголь не всегда с успехом может загладить такую погрешность».

Вот тебе, любезный Маликульмульк, краткое начертание предметов, попавшихся мне на глаза, и я надеюсь вскоре еще уведомить тебя о новых людских дурачествах.

ПИСЬМО X

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

До сих пор я всегда удивлялся мнениям тех философов, которые душу человеческую уподобляли жизненным силам скотов, но я не знаю, любезный Маликульмульк, случалось ли тебе видать смешные поступки тех господчиков, которых в свете называют *людьми, любви достойными, веселыми и знающими светское обращение*; взирая на них, ты сам мог бы иметь справедливую причину почесть их в равной степени с обезьянами, и я удивляюсь, что те философы, для лучшего убеждения в своих мнениях, не объяснили, что они говорили то, сравнивая петиметра с обезьяною, ибо надлежит признаться, что, взирая на петиметра и на обезьяну, можно подумать, что или душа обезьяны духовна, или душа петиметра вещественна, потому что, по примечанию моему, обе сии души имеют одинакие между собою свойства, одина-

кие движения и одинакие страсти, а посему должны иметь и одинакую сущность и быть равно или вещественны, или духовны. Итак, ежели полагать, что душа петиметра есть духовна, то надобно думать, что и душа обезьяны есть такова же. После сего первого предложения остается теперь доказать сходственность мыслей, чувств и склонностей между обезьяною и петиметром; и нет ничего легче, как сделать сие доказательство. Я поставляю себя на одну минуту на место философа, утверждающего сие мнение.

«Не правда ли, — вопрошаю я, — что не должно и не можно иначе судить о естестве души, как по видимым в ней действиям и движениям, ибо существенность ее не может быть видима никакими глазами. Итак, посмотрим, какие суть действия и движения души петиметра? — Она, управляя телом, в котором имеет свое пребывание, иногда заставляет его свистать, иногда понуждает его танцовать, прыгать, скакать, вертеться, и все сие заставляет делать без всякой побудительной причины и столь поспешно, что всякий может приметить, что разум и рассудок нимало не вмешивается в сии прыжки и обороты. Подобно сему я вижу и обезьян скачущих, прыгающих и вертящихся, и когда рассматриваю внимательно все сии их движения, то нахожу точное подобие разных кривляний и прыжков молодого вертопраха, находящегося среди женщин».

Но поступим далее с сим точным и справедливым сравнением. Когда обезьяна смотрится в зеркало, тогда, прельщаясь собою, удвоивает она смешные свои коверкания, оказывает всю свою легкость в вертении и прыгании, ворчит сквозь зубы нечто совсем невразумительное, чего бы и подобная ей другая обезьяна никак не могла понять. Петиметр точно так же, взирая на себя в большое стенное зеркало, представляет те ж самые движения и обороты; он всего вокруг себя осматривает, множество раз на все стороны повертывается, поднимает и опускает голову, коверкается, кривляется, ломается; говорит не имеющие смысла некоторые невразумительные слова, которые никому другому не могут быть понятны, как разве такому же петиметру, ибо он говорит *о прическе своих волос*, *о курчавости своего вержета*, *о размере своих буклей*, *о ленточном бантике* и о прочем подобном сему вздоре. Итак, в ком можно найти столь совершеннейшее сходство?

Обезьяна обыкновенно бывает непостоянна, изменчива и злобна; она кусает и раздирает платья на тех людях, кои, засмотревшись на ее скачки и кривлянья, по неосторожности подходят к ней очень близко. Петиметр делает точно то же: забавные и увеселительные зрелища, которые он смешными своими кривляньями представляет другим людям, покупаются от оных весьма дорогою ценою, ибо, вышед из дома, в котором оказывал он все свое искусство в модных прыжках и оборотах, повреждает он честь тех людей, коих он видел, и злословит хозяина и хозяйку того дома. — Словом, ничто не может укрыться от его ядовитого языка, который, если не больше, то по крайней мере столько же может быть опасен, сколько и зубы самой злейшей обезьяны.

После столь ясного сравнения, в чувствах, в поступках и в склонностях, не можно ли по справедливости заключить, что души обезьяны и петиметра суть одинакой сущности? — Признаться, мудрый и ученый Маликульмульк, что я почти убежден сим мнением. Я знаю, что в оном встречается превеликое затруднение, ибо, следуя оному, надлежит признать душу петиметра вещественною, потому что душу обезьяны никак не можно почесть духовною. Итак, взирая на таковые странные и смешные поступки петиметров, не иначе можно их почитать, как совершенными ветряными мельницами или часами, заведенными глупостию и вертопрашеством. Наконец, нет ничего легче, как доказать самыми истинными опытами, что душа разумного и постоянного человека совсем другого свойства, нежели как душа петиметра, ибо известно тебе, мудрый Маликульмульк, что не можно полагать нималого сходства между душою такого философа, каков был Эйлер, и между душою обезьяны, заключенной в теле модного вертопраха.

ПИСЬМО XI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

На сих днях, любезный Маликульмульк, я был с моим сотоварищем у одного богатого купца, который праздновал свои именины; ты, может быть, удивишься, что столь знатный, в своем роде, человек, каков мой приятель, удостоил

своим посещением торговца, но это удивление уменьшится, когда ты узнаешь, что он должен имениннику по векселям шестьдесят тысяч рублев и для того часто пляшет по его дудке.

Здешние заимодатели, имеющие знатных должников, имеют по большей части то одно утешение, что пользуются вольностию напиваться иногда с ними допьяна и вместо платежа денег получают от них учтивые поклоны и уверения о непременном их покровительстве.

Именинник, как видно, был великий хлебосол; он имел у себя за столом немало гостей, между коими занимали первое место один вельможа, человека три позолоченных придворных и несколько начальников сего города, да из числа известных мне по своим именам, о которых я нарочно наведался, чтоб мог тебе обстоятельнее пересказать о любопытном их разговоре, были г. Припрыжкин, Рубакин, драгунский капитан, Тихокрадов, судья, и художник Трудолюбов; я, как ты можешь себе представить, был также не из последних и сидел подле хозяйского сына, мальчика прелюбезного, лет четырнадцати, который был доброю надеждою и утешением в старости своего отца.

Стол был великолепен, и Плутарез (так назывался именинник) кормил всех очень обильно; веселие в обществе нашем умножалось с приумножением вина; разговоры были о разных предметах, и попеременно говорили о политике, о коммерции, о разных родах плутовства и о прочем.— Вельможа, одетый с ног до головы во французский глазет и убранный по последней парижской моде, защищал пользы отечества и выхвалял любовь к оному; судья ставил честь выше всего на свете; купец хвалил некорыстолюбие, но все вообще согласны были в том, что законы очень строго наказывают плутов и что надобно уменьшить их жестокость. Вельможа обещал подать голос, чтобы уничтожить увечные и смертные наказания, исполняемые за грабительства и за плутовства для их искоренения, за что многие из гостей, а более всего судья Тихокрадов и наш хозяин Плутарез, очень его благодарили, и хотя сей вельможа, как я слышал, ежедневно делает новые обещания, однако ж старых никогда не исполняет, но гости не менее были и тем довольны, что остались в надежде, для которой нередко просители посещают прихожие знатных особ.

5*

Но как в столь большом собрании разговоры не могли быть одного содержания, то, наконец, речь зашла о хозяйском сыне. «У тебя прелюбезный дитя, — сказал Рубакин Плутарезу, — и он может со временем быть тебе утешением, но записан ли он где и который ему год?»

«Тринадцатый, ваше высокоблагородие», — отвечал хозяин.

«Неправда, — сказал Рубакин, — ему точно четырнадцатый, и я очень помню, что он родился тогда, когда ты был еще у нас маркитантом, в чем и сама покойница твоя жена была бы со мной согласна».

«Сомневаюсь, — отвечал хозяин, — моя жена, не тем будь помянута, была превеликая спорщица».

«Разве с тобою, — сказал Рубакин, — но что касается до нас, то я уверяю тебя, что ни один наш офицер не скажет, чтоб она с кем-нибудь из них споривала; и мы во всем столько были ею довольны, что когда ты от нас поехал, то вообще все более жалели об ней, нежели о тебе; итак, спорщицей назвать ее ты не можешь. Я думаю, что ты и сам помнишь, как любили ее в полку, и что она не одною ротою ворочала. Правду сказать, если б ты не сделал дурачества и не уехал тогда от нас, то я бы голову свою дал тебе порукою, что твой Вася (имя хозяйского сына) о сю пору был бы уже адъютантом. Ведь ты помнишь, как полковник наш жаловал покойницу твою Борисовну и как ты по милости ее был им покровительствован, так что ты, без всякого опасения, месяца по два сряду довольствовал весь полк протухлою и негодною пищею, а все с рук сходило; и можно сказать, что это не житье тебе было, а масленица: ты сам, думаю, признаешься, что тогда ты густо понабил свой карман».

«То правда, ваше высокоблагородие, однако ж вы уже весьма много возвеличили мою покойницу, приписывая ей такую в полку власть; иной из этого и невесть что подумает: ведь злых людей в свете много, — мало ли что и в полку тогда об ней говорили, а оттого и полковница и наши офицерши ее терпеть не могли, но все поистине понапрасну: виновата ли она была, что всегда, когда ни случалось ей хаживать к ним на поклон, заставала дома одних только их мужей, а они случались или у обедни, или где и в другом месте, но как, бывало, к кому ни взойдет, то хотя жены и дома нет, так муж без того уже не выпустит, чтобы чем-нибудь не попотчевать, потому что она, покойница, и сама была гостеприимна...»

«Мудрено ли, братец, — сказал толстый судья, — что твоя жена была в такой силе; я сам человек женатый и могу не менее похвалиться своею женою, которая, несмотря на то, что я был еще копиистом, но и тогда имела уже множество челобитчиков и давала часто решения на важные дела, которые едва вверяли мне набéло переписывать; а вся сила состояла в том, что она хорошо стряпала кушанья для нашего судьи и понаслышке знала несколько законов, почему казалась весьма знающею; и в ней столько наш судья был уверен, что по ее словам, как по Уложенью, вершил челобитчиковы дела; в чем, право, не всякой и знатной женщины послушают».

«Morbleu! — сказала сидевшая подле меня кукла в золотом кафтане, — и эта мелочь хочет ровнять своих жен с знатными госпожами. J'enrage! Клянусь, что если б захотел я в отмщение употребить силу моей тетушки, то бы завтра же улетели к чорту этот маркитант, судья с своею женой и со всею своею челядью. — Можно ль только иметь терпение слушать такие *импертинансы*! И как сметь сравнивать силу подлых своих жен с силами почтенных дам, которых могущество доказаться может тысячей счастливцев, которые по их милости делают фигуру в большом свете и которые прежде того ничего в оном не значили. — Я, сударь! я сам, — сказал он, оборотясь ко мне, — есть неоспоримое доказательство силы своей тетушки. Представьте, нет еще года, как я сюда приехал из деревни. Быв благородным и молодым человеком, вы можете угадать, что я за нужное почел, чтоб пользоваться порядочным экипажем, достать себе чин, не вступая в службу, которая сопряжена со многими трудностями, предоставленными для бедных токмо дворян. Но как вам покажется? Не прошло еще и десяти месяцев по моем приезде, а я начал уже повелевать четверкою лошадей, не имея никакого понятия о службе, кроме того, что она не может быть для меня приятна, потому что моему дяде, служившему капитаном, на прошедшем сражении прострелена голова, и он лишился жизни, с которою я нималого не имею желания так скоро расстаться».

«Но, скажи мне, — спрашивал один из придворных хозяина, — для чего оставляешь ты сына твоего в праздности? Он уже в таких летах, что может вступить в службу или по крайней мере считаться в оной».

«Милостивый государь, — отвечал Плутарез: — это правда, что Вася уже на возрасте, и я не намерен, всеконечно, оставлять его без дела, но я еще не избрал род службы, в которую бы его определить».

«Друг мой, — сказал придворный: — оставь это на мое попечение, ты можешь быть уверен о моей к тебе благосклонности, имев явное доказательство, что из дружбы к тебе я не совещусь занимать у тебя деньги и быть должным оными, а потому не можешь сомневаться о моем участии, какое приемлю я в счастии твоего сына. Дело состоит только в том, чтоб ты дал двадцать тысяч в мои руки, которые употреблю я в его пользу: помещу имя его в список отборного военного корпуса; сделаю его дворянином и потом пристрою его ко двору; словом, я поставлю его на такой ноге, чтоб он со временем мог поравняться с лучшими, делающими фигуру в большом свете. Сколь же такое состояние блистательно, ты сам оное знаешь, и надобно только иметь глаза, чтоб видеть нас во всем нашем великолепии, на усовершение которого портные, бриллиантщики, галантерейщики и многие другие художники истощают все знание и искусство, чтобы тем показать цену наших достоинств и дарований... Богатые одежды, сшитые по последнему вкусу, прическа волос, пристойная сановитость, важность и уклончивость, соразмерные времени, месту и случаю; возвышение и понижение голоса в произношении говоримых слов; выступка, ужимки, телодвижения и обороты отличают нас в наших заслугах и составляют нашу службу. — Грамоты предков наших явно всем доказывают, что кровь, протекающая в наших жилах, издавна преисполнена была усердием к пользе своего отечества, а наши ливреи и экипажи не ложно доказывают о важности наших чинов в государстве. Какое же состояние может быть завиднее и спокойнее нашего? — Правда, что философы почитают нас мучениками, однако ж то несправедливо, а зато и мы считаем их безумцами, пустою тенью услаждающими горестную и бедную свою жизнь. Итак, друг любезный, что тебе стоит двадцать тысяч? Не сущая ли это безделка в сравнении с тем счастием твоего сына, которое я сильнейшим своим предстательством обещеваю ему доставить, а знакомые мои, танцмейстер, актер, портной и парикмахер, чрез короткое время пособят мне сделать из твоего сына блистательную особу в большом свете».

«Как сударь, — вскричал Рубакин, — вы называете блистательным то состояние в большом свете, в котором люди за свои достоинства обязаны некоторым искусникам? Но из вашего мнения можно действительно доказать, что те самые искусники несравненно должны быть знатнее тех своих кукол, которых они украшая, дают цену их достоинствам и... но что об этом много говорить! Нет, любезный Плутарез, если ты хочешь, чтоб сын твой был полезнее своему отечеству, то я советую тебе записать его в военную службу. Вообрази себе, какое это прекрасное состояние, которое, можно по справедливости сказать, есть первейшее в свете, потому что не подвержено никаким строгостям, ниже каким опаспостям, сопряженным с придворною жизнию. — Военному человеку нет ничего непозволенного: он пьет для того, чтоб быть храбрым; переменяет любовниц, чтобы не быть ничьим пленником; играет для того, чтобы привыкнуть к непостоянству счастия, толь сродному на войне; обманывает, чтобы приучить свой дух к военным хитростям; а притом и участь его ему совершенно известна, ибо состоит только в двух словах: чтоб убивать своего неприятеля или быть самому от оного убиту. Где он бьет, то там нет для него ничего священного, потому что он должен заставлять себя бояться; если же его бьют, то ему стоит оборотить спину и иметь хорошую лошадь; словом, военному человеку нужеп больше лоб, нежели мозг, а иногда больше нужны ноги, нежели руки, и я состарелся уже в службе, но всегда был того мнения, что солдату не годится умничать. Итак, ты ничего умнее не сделаешь, как если запишешь своего сына в наш полк; ты же человек богатый, почему можешь сделать ему хорошее счастие: деньги только нужны, а прочее я беру на себя и уверяю тебя, что твой сын сам будет тем доволен».

«Государь мой, — сказал, улыбаясь, Тихокрадов: — вы с таким жаром говорите о своем звании, что слушатели могут подумать, будто статское состояние и в подметки вашему не годится, хотя, не распложая пустых слов, я могу коротко сказать, что, служа в сем состоянии, обязан я оному знатным доходом, состоящим из десяти тысяч; вступая же в оное, не имел я ни полушки; итак, сие одно довольно могло бы доказать, что перо гораздо полезнее, нежели шпага, но я не люблю жарких споров, а держусь лучше

основательных доказательств. Я не отрицаю выгод военного человека, но знаете ли, что статское состояние есть соборище лучших выгод из всех других состояний?»

«Как! — вскричал Рубакин, — вы подьячих сравниваете с воинами? Но можете ли вы в том успеть? Одно это, когда мы возьмем какую крепость, сколько приносит нам славы, и сколько потом чувствуем удовольствия, обогащая себя всем, что только на глаза наши тогда ни попадется. Кто другой может иметь такую волю, чтоб без малейшего нарушения права присвоивать себе вещи, никогда ему не принадлежавшие?»

«Постойте, постойте, — перервал с скоростию Тихокрадов, — дайте мне докончить: вы тогда сами увидите, правду ли я сказал. Статский человек столько же казаться может блистателен, сколько и придворный: он так же может приобретать себе дарования пособиями тех самых искусников, которые своим искусством составляют достоинства большей части придворных, чему многие из наших судей могут быть явным доказательством, а иные столько же в том себя отличили, что лучше знают, как одеться по последней моде и сообразно годовому времени, нежели отправлять по-надлежащему свою должность и вершить судебные дела. — Статский человек столько же может иметь тогда славы, сколько и военный, когда он, сообразив все последствия и проникнув в существо дела, разрушит все хитросплетения гнусных лжей, покрывавших мраком целый век или и более истину, которой определением своим доставит принадлежащую ей справедливость.

Что ж принадлежит до обогащения его, то он имеет еще то преимущество, что, не отлучаясь за несколько сот или тысяч верст и не подвергая себя столь видимой опасности, какой подвергается воин, может ежедневно обогащать себя и присвоивать вещи с собственного согласия их хозяев, которые за немалое еще удовольствие себе поставляют служить оными и почитают за отменную к ним благосклонность, если от них оные принимаешь. Сверх того статский человек может производить торг своими решениями точно так же, как и купец, с той токмо разницею, что один продает свои товары по известным ценам на аршины или на фунты, а другой измеряет продажное правосудие собственным своим размером и продает его, сообразуясь со стечением обстоятельств и случая, смотря притом на количество приращения

своего богатства. Если вы против сего скажете, что все это не позволено законами,то по крайней мере должны в том признаться, что в свете введенные обыкновения столь же сильны, как и самые законы; сказанные же мною выгоды статского человека издавна между людьми вошли в обычай, и ныне они столько же употребительны и извинительны, сколько простительно придворному не платить своих долгов, а купцу иметь окороченный аршин и неверные весы, или сколько сему последнему позволительно, обогатив себя чужими деньгами и надавав в приятельские руки пустых на себя векселей, избавиться тем от платежа истинных своих доходов. Итак, видишь ли, друг мой, — продолжал он, оборотясь к хозяину, — что я не солгал, и ты весьма несправедливо сделаешь, если предпочтешь какое-нибудь состояние статскому, в котором он может быть столько же знатен и блистателен, сколько и придворный; столько же обогащать себя всем, что ни увидит, сколько и воин, и с такою же способностию торговать, как и купец. — Не отлагай же долее, отдай его в мой приказ и будь уверен, что я выведу его в люди. Не думай, чтоб я это обещал из одной только учтивости: нет, мне ничего не стоит доставить ему чин, чему явным доказательством мой дворецкий, которого за усердную его ко мне службу сделал я секретарем. Итак, когда я дворецкому доставил такое счастие, то будь уверен, что тебе, как моему другу, могу более услужить; нужно только потерять тебе несколько тысяч при его производстве, так и дело с концом; но поверь мне, что сын твой со временем, когда будет на судейском стуле, издержки сии возвратит тебе всотеро».

«Что до меня касается, — сказал Трудолюбов, — то я вместо того, чтобы защищать выгоды своего звания в моем отечестве, при первом же случае постараюсь из оного удалиться и возвратиться в Англию, где знают лучше цену моего художества и где за оное получал я во сто раз больше, нежели здесь, хотя я никакой не примечаю разности в моем искусстве, а сие меня столько опечалило, что, не размышляя нимало, предался я пьянству; знаю, что разумному человеку сие непростительно, но что уже делать, когда, о том я скоро думав, сделался теперь совершенным пьяницею: известно, что скорость не одному мне, но многим причинила пагубу. Итак, любезный Плутарез, если ты хочешь сына своего сделать счастливым каким-нибудь художеством, то или

пошли его для работы в чужие краи, или не вели ему ни за что приниматься, потому что здешние жители своих художников и их работу ни за что почитают, а уважают одно привозимое из-за моря. Я могу сказать, что мое искусство всегда почиталося из первых, и в Англии от оного многие обогащаются; я сам со временем, может быть, был бы из первых там богачей, если б не принужден был сюда выехать».

«Нет! милостивые государи, — сказал хозяин, — я свое состояние всем прочим предпочитаю и оставлю навсегда в нем своего сына. Правда, хотя я и не дворянин, но деньги все мне заменяют».

Я увидел, любезный Маликульмульк, что он говорит правду, ибо, процветая в избытке, живет он, как маленький царек. Придворные, ученые и художники ежедневно ищут в нем благоприятства: первые просят у него в прозе в долг денег, вторые ищут награждения за подносимые стихи, а третьи ожидают, чтоб он употребил их к своим услугам; итак, придворным дает он по тщеславию, ученым по великодушию, хотя, впрочем, никогда не читает их стихов, а третьим, льстя пустою надеждою, отказывает, сохраняя тем домашнюю свою экономию.

ПИСЬМО XII

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

И надежды нет, любезный Маликульмульк, чтобы я мог скоро возвратиться в ад. Сколько здесь ни обширны фабрики правосудия, но почти на всех обрабатывается оное довольно дурно. Одно только несколько меня утешает, что мне есть из чего выбирать; ибо на всякие 30 000 жителей наверное находится 20 тысяч судей; но если ты меня спросишь, найдется ли в сих 20 тысячах хотя 2 десятка мудрецов или, лучше сказать, хотя 1 добродетельный и знающий судья, то я для решения сего вопроса покорно попрошу у тебя дать мне 500 лет сроку. Впрочем, ты из маленького случая, о коем я тебя здесь уведомлю и которому я сам был очевидным свидетелем, увидишь, правду ли я думаю.

Последуя предписанию Диогенову, вылетев на землю, вошел я в одну из славнейших лавок Фемисы; увенчанные

перьями головы судей, с которых уже давно сошли волосы, делали рост их величественным, и хотя толстые их туловища не предвещали судейской заботливости, но впалые глаза, казалось, были у всех притуплены на чтении законов. Судейская зала, правда, хотя не соломою, а шелком и золотом была украшена, однако ж со всем тем пол, забрызганный чернилами, доказывал их трудолюбие; над дверьми, на восковой, но сделанной под мрамор доске — Фемиса держала следующую надпись:

Хранящий истины уставы,
Законы ты мои внемли:
Не продавай своей расправы,
Не будь здесь пьян и не дремли.

Я едва мог разобрать сию надпись, для того, что судьи очень жарко топят залу и восковая доска сделалась так гладка, что почти ни одного слова не было порядочно видно; со всем тем мне это подавало очень хорошую надежду, как вдруг вошел в залу толстый купец, который тянул за собою бедного человека.

«Рассудите меня с этим негодяем, — кричал сей брюхан: — он украл у меня из кармана платок, но ваше правосудие, конечно, не допустит, чтоб было в самом городе такое нам утеснение от сих наглецов, и я требую, — продолжал он, — чтоб его осудили вы по всей строгости законов».

Судьи, нимало не медля, приговорили бедняка сего повесить, и толпа народа нетерпеливо дожидала уже сего позорища.

«Почтенное собрание, — сказал тогда судьям бедняк,— ваша воля ничем не может быть оспорима; но неужели правосудие сначала наказывает преступника, а потом уже рассматривает существо его дела? Нет! ваше звание обнадеживает меня, что вы, конечно, благоволите, чтоб я оправдался...»

«Чтоб ты оправдался, — сказал один из них, смотря на солнце, — да знаешь ли ты, что уже теперь полдень и что тебя скорее можно повесить, нежели выслушать твои оправдания, которые у всех преступников бесчисленны».

«Постойте, — сказал бедняк, — одна минута терпения не нанесет вреда вашему желудку и спасет несчастного от строгого наказания. Признаюсь, я украл платок, но скажите, когда вы, не желая вытерпеть двух минут голоду,

хотите похитить у отечества, может быть, полезного ему гражданина, то мог ли я, три дни быв без пищи, не украсть, наконец, сего платка, потеря которого ничего не стоит сему богачу. Знайте, что я никогда не имел сей склонности, родясь с способностями к живописи, которые подкрепя наукою и усовершив в чужих краях, возвратился я назад с успехом, надеясь иметь безбедное пропитание в своем отечестве.

Мои картины хотя всеми были здесь одобряемы, но порочили их тем, что они не были Апеллесовы, Рубенсовы и Рафаэловы или, по меньшей мере, не были иностранной работы, и для того никто не хотел их иметь в своих галлереях. Это меня лишило бодрости, предало унынию и повергло в отчаяние и нищету, так что я, не имея никакой надежды поправить свое состояние, имея престарелых родителей и малолетных сестер на своем содержании, на которое при нынешних обстоятельствах и дороговизне истощив все, что имел, и сам, наконец, умирая с голоду, принужден был сделать сие преступление. Итак, рассмотрите теперь, я ли виновен, что по необходимости прибегнул к пороку, или вы, гнушающиеся художествами ваших соотечественников? — Я ли, который старался в своем отечестве поравнять вкус живописи со вкусом других народов, или вы, платящие мне за то неблагодарностию? Наконец я ли, который собою подкреплял надежду своих художников иметь со временем в нашем отечестве Мишель-Анжелев, или вы, которые своим нерадением и презрением погашаете в них весь жар к трудам и усовершению их дарований?»

Судьи признавались, что он изрядно говорил и мог бы по красноречию быть хорошим стряпчим, но как они не знали ни Мишель-Анжелев, ни Рафаэлев и не понимали о живописи, то из всех его слов заметили только то, что он признался в краже, за которую закон наказывал виселицею, вследствие чего и не хотели отменить своего приговора; некоторые только из сожаления хотели, чтобы вместо виселицы отрубить ему голову, а другие, боясь петли и топора, приговаривали засечь его до смерти розгами. — Я между тем удивлялся строгости судей и признавал сам в себе, что, хотя они не совсем были правы, однако ж порок всегда наказываться должен и ничем не может быть извиняем.

«Вот, — думал я, — наконец, те судьи, из которых, может быть, я выберу надобное число Плутопу».

В сие время, когда они еще спорили, какую помилостивее положить ему казнь, отворилися двери залы, и вошел богато убранный господин; все судьи перед ним встали, приветствовали его своими поклонами и просили его сесть. Бедняк, думая, конечно, что это был их начальник, бросился перед ним на колени и просил о своем избавлении.

«Что стоит прощение сего бедняка?» — спросил с гордостию богач.

«Милостивый государь, — сказал один из них, — если бы этот живописец был в состоянии заплатить 200 небольших листов здешнего золота, то бы не был наказан; но он очень беден, и для того мы приговорили было его к виселице, однако ж некоторые из нас, по мягкосердечию своему, присуждают отрубить ему голову, а другие засечь розгами; и вот уже полчаса, как о том у нас происходит спор, какою смертию его наказать, но еще ни на чем не решились».

«Вот двести листов, — сказал богач, подавая оные, — отпустите его и примитесь лучше за мое дело. А ты, друг мой, — сказал он живописцу, — подожди меня: мне нужен человек твоего искусства размалевать паркет в моей прихожей».

Живописца выпустили, и сей редкий искусник, который бы мог сделать честь своему отечеству, дожидался своего избавителя, чтоб итти за ним рисовать холст для обтирания ног пьяных служителей, а судьи, чтобы скорее приняться за дело сего господина, не медля нимало, приговорили к виселице еще десять бедняков, которых некогда им было тогда выслушать. Определение о том заключили они в следующих словах: «Хотя сущность их дел нам неизвестна, но в предосторожность, чтобы другие не надеялись на оправдание, повелеваем всех их перевешать, а рассмотрение сих дел отлагаем до предбудущего заседания».

«Кто это такой, — спросил я у одного из стоящих близ меня, — который столь щедро выкупил живописца и перед которым судьи так благоговеют?» — «Это один преступник, — отвечал он мне на ухо, — который судится в некотором похищении и грабительстве, и вот уже лет двадцать, как это дело тянется». — «Как, — спросил я, — и его по сих пор не повесили! Разве он похитил меньше,

нежели золотник меди?» — «Нет! — отвечал он, — на него донесено, что он покрал из государственной казны несколько миллионов в золоте и серебре и разграбил целую врученную ему область». — «Пропащий же он человек, — сказал я, — его, конечно, уже замучают жесточайшими казнями». — «Напротив того, — отвечал он, — он уже оправдался перед правосудием, и это ему стоит одного миллиона, а чтоб оправдаться в глазах народа, то он делает такие выкупы, каким освобожден живописец, и взносит на содержание сирот немалые суммы денег, и через то, в мыслях некоторых людей, почитается честным, сострадательным и правым человеком; из доносчиков его большая половина перемерли в тюрьме, а оставшие завтра утоплены будут в море, если только не успеют они подкупить своих надзирателей и скрыться побегом; но я вижу, — продолжал он, — что вы недавно приехали на наш остров; поживите-тко у нас подоле, так и увидите всего поболе».

«Но и сего для меня довольно, — сказал я. — Мне удивительно, как можете вы жить в такой земле, где чуть было не засекли розгами бедняка, не евшего трое суток, за то, что вытащил он у богатого купца платок; где прежде вешают подобных ему, нежели рассматривают их дела, и где преступникам, обворовавшим государственную казну на несколько миллионов и разграбившим целую область, судьи кланяются чуть не в землю».

«Друг мой, — сказал мне мой новый знакомец: — это не так удивительно, как ты думаешь; в том только вся сила состоит, что прежде, нежели хвататься за какое ремесло, надобно оное рассмотреть со всех сторон. Сей живописец хватился за воровство, но с самой бесчестной и низкой стороны. Если бы он, например, вступил с каким-нибудь купцом в товарищество, хотя бы то было со мною, то бы ты увидел, что, под моим богатым предводительством, мы могли бы обманывать тех, кого нельзя грабить, и грабить тех, кого нет нужды обманывать, а со всем тем остались бы у всех островских жителей в почтении; но чтоб было для тебя сие понятнее, то расскажу тебе повесть сих жителей, которую слышал я от своего деда, а ему рассказывала об ней покойница его бабушка. Пристрастие к плутовству есть природное свойство здешних жителей, и мои земляки уже давно им промышляют. В старину оно было во всей своей силе; но как

просвещение начало умножаться, то наши промышленники приняли на себя разные имена, первостатейные сделались *старшинами* и *законниками*, другие *купцами*, а третьи *ремесленниками* и *поселянами*; но, переменя звания, жители не переменили своих склонностей, и плутовство никогда столько не владычествовало над ними, как по сей перемене, так что, наконец, претворилось оное в совершенный грабеж, которому, однако ж, даны самые честные виды; одно только старое воровство запрещено, а, впрочем, кто чем более крадет, тем он почтеннее; опасно лишь тому, кто в сем хранит умеренность: украденное яблоко может стоить головы, а миллионы золота принесут уважение».

«Так поэтому, — сказал я, — никто не может иметь никаких собственных своих выгод, потому что вы друг у друга только что перекрадываете?»

«Нет, — отвечал он, — мастеровые имеют некоторые только способы к плутовству, купцы вдесятеро того больше, а законники и старшины употребляют все средства и способы к своему обогащению, и для того все купцы и мастеровые стараются у нас, разбогатев, купить себе между судьями скамейку; отчего произошло, что ныне у нас с лишком во сто раз больше судей, нежели было прежде».

Представь, любезный Маликульмульк, каково было мое удивление, услышав о столь развращенных нравах сих островитян. Я было не медля хотел уже отправиться на север, по совету Диогенову; но любопытство, а паче некоторый луч надежды, что между таковым множеством судей, может быть, сыщу я трех знающих и добросовестных, удержали меня несколько на сем острове. Расставшись с моим знакомцем, лишь только успел я выйти на улицу, как встретившийся со мной рассерженный человек, державший в руках своих бумагу, просил меня просмотреть, какова его челобитная, которую подавал он на нововышедшую в свет сатиру.

«Государь мой, — отвечал я ему, — я не знаю ни сатиры, ни вашего дела».

«О сударь! — сказал он, — это дело требует непременного отмщения. Сатира эта написана на рогоносца, а жена моя точно доказывает, что это на меня».

После чего подал он мне свою челобитную, с которой копию, как любопытную вещь, к тебе посылаю.

Судей собрание почтенно,
Внемли пиита жалкий глас,
И рассуди ты непременно
С сатириком негодным нас;
Он смел настроить дерзку лиру
И выпустить во свет сатиру,
Где он, рогатого браня,
Назвал глупцом его безбожно,
Жена ж моя твердит неложно,
Что это пасквиль на меня.
Второе, он сказал нахально,
Что всем рогатым чести нет,
Хотя признаться непохвально,
Но это точно мой портрет.
А третье, тот его рогатый,
Лишь красть чужое тароватый,
Не может сам писать стихов,
А вам весь город это скажет,
И всякий стих мой то докажет,
Что я и был и есть таков.
Прошу ж покорно, накажите
За пасквиль моего врага
И впредь указом запретите
Писать сатиры на рога.

Может быть, любезный Маликульмульк, после уведомлю я тебя, чем эта странная тяжба кончится.

ПИСЬМО XIII

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

Осматривая многие города, вздумалось мне в сем городе прожить несколько времени. Приняв на себя вид знатного путешественника, познакомился я со многими здешними жителями, которые со всех сторон осыпают меня превеликими ласками и приглашают во все лучшие собрания модных своих госпож и петиметров, где с великим примечанием рассматриваю я хитрости женщин и вероломство мужчин. В одно время случилось, когда я туда вошел, то речь шла о некоторой графине, о которой все говорили с превеликою насмешкою, несмотря на то, что в глаза ей все показывались друзьями.

«Я не знаю, — говорила одна молодая госпожа, — откуда графиня берет свои пустые рассказы, которыми всег-

да нам наводит скуку; по чести, в ее лета не позволялось бы такое пустое болтанье».— «Никак, сударыня, — сказал один петиметр с насмешливым видом, — ежели только это правда, что лета бывают причиною охоте скучать в собраниях своим болтаньем, то графиня давно уже имеет сие право».—«Куды какой ты насмешник, — подхватила другая госпожа, — я знаю графиню, она еще не так стара, чтоб ее считать в числе болтливых старух. Она вышла замуж в тот год, как я родилась: ей было тогда двадцать четыре года, а мне теперь только тридцать два».— «Как сударыня, — вскричал один вертопрах, с видом превеликого удивления, — вы кажетесь еще совершенным младенцем, а говорите, будто вам тридцать два года; это мне кажется столько же удивительным, как и то невероятным, чтоб графине было пятьдесят шесть лет, хотя она и сказывает всем, что ей не больше сорока».

В ту самую минуту, как спорили о летах сей графини, вошла она в собрание; каждый перед нею переменил свои слова. «Ах! боже мой, любезная графиня, — говорила ей та самая госпожа, которая за минуту перед тем столь щедро награждала ее пятьюдесятью шестью годами, — какой у тебя сегодня прекрасный цвет в лице, как ты кажешься прелестна, никто не скажет, чтоб тебе было тридцать лет».

«Однако ж, мне больше тридцати, — сказала графиня вполголоса, усмехаясь, прищуривая глазами и кусая себе губы, чтоб сделать их алее. — Я совсем не спала нынешнюю ночь, — продолжала она, — и поутру вставши страшилась сама на себя взглянуть в зеркало; по чести! я не хотела никуда сегодня показаться, но, имея чрезвычайное желание быть с вами вместе, решилась, наконец, сюда приехать».

«Мы бы очень много сожалели, когда бы лишены были вашего приятнейшего для нас присутствия, — вскричал тот петиметр, который пред ее входом язвил ее жестокими насмешками, — потому что никто не приносит столько удовольствия в собраниях, как вы, сударыня! Чорт меня возьми! если я не гораздо приятнее слушаю те небольшие повести, которые вы иногда изволите нам рассказывать, нежели лучшие басни Бокасовы и де ла Фонтеновы».

Я чрезвычайно удивлялся, слушая сии разговоры, наполненные гнусного ласкательства и притворства, и почитал оное непростительным вероломством. Мне очень каза-

лось странным, что здесь, по заочности, столь язвительно насмехаются над такою особою, с которою всякий день бывают вместе и которую называют именем друга; а еще того страннее, что в глаза ту же самую особу осыпают чрезвычайными похвалами. Сии похвалы я почитал не иначе, как несноснейшим оскорблением, потому что они заключали в себе скрытыми те самые насмешки, которые пред ее входом насчет ее были произносимы.

Как скоро вышел я из сего собрания, то не мог воздержаться, чтоб не открыть моего удивления одному коротко мне знакомому графу. «Ежели все люди, — говорил я ему, — с которыми вы живете, обходятся с вами с таким притворством, то вы великого сожаления достойны и ни на чьи слова не должны полагаться. Кто может вас уверить, чтоб не говорили когда и на ваш счет таких же язвительных насмешек, какие говорены были насчет графини? Эти люди, имеющие столь злобные и коварные сердца, называют себя ее друзьями, равно как и вас уверяют в своей дружбе».

«Я уже знаю, — ответствовал мне граф, — каким образом я в таком случае поступать должен. Мне довольно известен свет, чтоб не допустить себя обмануть никакими тщетными уверениями дружбы и пустыми похвалами, произносимыми без мыслей и без всякого основания. Я сам, сообразуясь с обычаем и модою, часто хвалю то, что мне кажется смешным, и после охотно откажусь от тех похвал, ежели потребуют от меня истинного в том доказательства».

«Но к чему нужно сие притворство? —спрашивал я его.— На что непрестанно изменять чувствам своего сердца? Ваши уста поэтому никогда не произносят того, с чем согласуется ваше сердце; и искренность,которая почитается самонужнейшею добродетелию для общежития, совсем вам неизвестна».

«Что ж делать, — говорил он мне, — такое здесь заведено обхождение; притворство почитается теснейшим узлом всех здешних сообществ. Здешние жители, приметя в себе, что они не могут быть способными истинно любить тех людей, с коими обращаются, начали употреблять притворство вместо истинной любви. Хитрость заступила место истины, а ласкательство место чистосердечия; и, наконец, нужда сделала сие притворство извинительным».

Вот, почтенный Маликульмульк, какие главнейшие причины вежливости и учтивства, которые столь много ува-

жаются между здешними согражданами, и коими они не иному чему одолжены, как искренности и чистосердечию, которых они лишены и вместо которых оные употребляют. Все их обязательные и учтивые уверения, их ласковые приемы и льстивые слова суть следствия их притворства. Философ должен похвалы их и вежливость почитать ядом, положенным в напиток, имеющий самый приятный вкус.

В здешней стороне каждый человек ни о чем более не старается, как о том, чтоб наружно обласкать всех, попадающихся ему навстречу: одному он учтиво кланяется, другого осыпает льстивыми словами и потом обнимает с знаками искреннейшей дружбы особу, очень мало ему знакомую. Все здешние жители в искренности и чистосердечии могут почесться Титами, и всякому по наружности их покажется, что они почитают те дни, в которые не удастся им никому оказать благодеяния, днями в жизни их потерянными; но если войтить во внутренность их расположения, то найдешь совсем тому противное. Они чрезвычайную имеют склонность к злословию и почитают то для себя великим утешением, когда на чей счет удается кому из них сказать острое слово. Здесь очень часто друг своим другом жертвует удовольствию вымолвить в обществе вертопрахов острую и забавную шутку. Здесь мало сыщешь такого дружества, которое не было бы при случае подвержено насмешкам, и также очень редко найдешь таких людей, которые были бы столько счастливы, чтоб имели такого, кому бы могли открыться в своих несчастиях и вверить свои тайны. Ежели истинные друзья повсюду редки, то здесь они всего реже.

Критический и злословящий дух, обладающий всеми здешними жителями, делает их принужденными во всех своих поступках. Они друг за другом во всем рачительно примечают; они знают, что все окружающие их взирают на них завистливыми и злобными глазами, что самомалейшие их движения будут обращены в насмешку; и для того во всех публичных собраниях, в позорищах и на гуляньях, во всем наблюдают они превеликую осторожность, в походке, в смехе, в произношении голоса, а паче всего в нарядах. Женщины употребляют на то чрезвычайное искусство, так, что полководец в собрании военного совета не столь рачительно располагает и советует о удачном успехе назначаемого сражения, как здешняя щеголиха распоряжает

своими горничными девками при надевании на себя своих уборов, спрашивая у них поминутно, пристало ли ей надетое платье и к лицу ли чепчик, или шляпка? Все сему подобное привлекает на себя ее внимание. Она двадцать раз посмотрится в зеркало прежде, нежели совсем бывает отмалевано ее лицо разными притираньями, помадами, румянами и прочим, и прежде, нежели все уборы ее приведены бывают в совершенный порядок. Каждый цветок, каждая ленточка и даже каждая булавочка должны быть осмотрены, помещены ли на своем месте.

Женщина скорее согласится пробыть десять лет запертою, нежели на одну минуту показаться на гулянье без убору. Здесь часто в летнее время собираются в саду, где бывает обыкновенное сборище петиметров и щеголих, которые простирают свое злословие и насмешки над всеми попадающимися им навстречу. В прежние времена очень часто случались в сем саду любовные приключения, повреждающие честь мужей, и тут непрестанно происходило сражение у любви с Гименом. Мне некто рассказывал весьма забавное случившееся тут приключение. Один любовник, скрывшись некогда в темной аллее сего сада, дожидался своей любовницы, которая обещалась туда приехать к нему вечером под видом прогулки. Она сдержала ему свое слово, выпросившись у своего мужа, который тем охотнее па то согласился, что сам имел назначенное свидание с своею любовницею в том же саду. Лишь только жена его уехала, то он не медля сам отправился к своей любовнице. Место, избранное им для любовного собеседования, было неподалеку от того места, где жена его имела свидание с своим любовником; двое или трое прогуливающихся в сем саду, нечаянно подошед к тому месту, где происходили сии два любовные свидания, воспрепятствовали их забавам и принудили их итти искать другого выгодного места; но в какое пришли они удивление по выходе на большую дорогу, где при лунном сиянии узнали они друг друга и увидели, что оба мужчины были мужья, разменявшиеся своими женами. При такой нечаянной встрече они не могли вдруг удержаться, чтоб не оказать явным образом своего прискорбия и удивления, так что другие, находившиеся тут в саду, слышали взаимные их друг другу делаемые выговоры и упреки, и на другой же день сие приключение многим сделалось известно. На-

конец, сии несчастные мужья принуждены были предать совершенному забвению взаимную свою досаду и внутренно утешались только тем, что один другому заплатил одинакою монетою.

ПИСЬМО XIV

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Получив вновь повеление от Прозерпины, чтоб при искании модных искусников постарался я как можно скорее доставить ей разных модных уборов, сколько ни было мне досадно сие подтвердительное повеление, напоминающее мне о невозможности возвратиться скоро в ад, однако ж должен непременно выполнить волю своей богини. Для сего выбору вошел я в лавку к одной француженке, торгующей модными уборами, сделавшись невидимым нарочно для того, чтоб без всякого обману узнать, которые уборы были больше в моде. В то время в лавке случилось множество щеголих, выбирающих для себя разные уборы. Сначала я очень обрадовался такому случаю, надеясь от них узнать цену и достоинства сих уборов, и которые из оных были больше в моде и один перед другим предпочтительнее; однако ж никак не мог удовольствовать своего любопытства, потому что все они были разных мнений: одна из них больше хвалила *токи*, другая *чепчики*, иная *шляпки*, иная *тюрбаны*, а иная *каски*, так что на выборы их я никак не мог положиться, и криком своим чуть было они меня не оглушили. Наконец, купив каждая, что ей было надобно, вышли они все из лавки; модная торговка также ушла в другую комнату, и я, оставшись один, размышлял, какой бы найти способ, чтоб, не обманувшись, узнать, которые уборы предпочтительнее других и в какое время с лучшим успехом могут быть употребляемы, как вдруг услышал, что в шкапу самые сии модные уборы начали между собою разговаривать, а тебе известно, почтенный Маликульмульк, что мы имеем способность слышать и разуметь разговоры всех, даже и неодушевленных вещей. Они спорили между собою о их друг перед другом преимуществе. Разговоры сии показались мне очень забавными; я слушал их с великим удовольствием и почитаю за долг сообщить тебе оные.

Аглинская шляпка.

Может ли какой убор быть лучше меня! и есть ли что-нибудь на свете прекраснее аглинских мод?

Французский ток.

Куда как ты забавна с твоею Англиею! Поверь мне, моя голубушка, что хотя агличане и берут в некоторых случаях преимущество перед французами, однако ж то, конечно, не с стороны уборов и хитрых выдумок щегольских мод.

Покоевый чепчик.

О чем вы, друзья мои, спорите! Поверьте мне, что между нами нет никакого различия, и мы друг перед другом не можем иметь нималого преимущества, потому что ежели какой головной убор к лицу одной женщины, то к другой он совсем не бывает приличен; все зависит от расположения лица, каким образом убор бывает надет, и от глаз любовников, ибо женщины желают только нравиться своим любовникам и во всем полагаются на их вкус.

Аглинская шляпка.

В этом-то ты больше всего обманываешься: любовникам не нужны излишние уборы, а им нужна горячность сердца; о уборах судит только публика, нежность же модной щеголихи не имеет в оных нималого участия, а действует одно только самолюбие; — да, одно только самолюбие и тщеславие; они-то больше всего ею обладают и располагают ее вкусом. Для нее лестнее привлекать на себя внимание многочисленного собрания, нежели нравиться одному воздыхателю: и главная цель ее нарядов состоит в том, что она желает нравиться многим, а не одному. Это только одно всех женщин побуждает к нарядам, и они очень мало заботятся о том, что скажет им любовник о их уборах; им нет никакой нужды в излишних украшениях для препровождения приятнейших минут с любимым человеком, а напротив того, в любовном свидании лучшим украшением почитаются природные прелести, без всякого искусства в уборах; тут наряды делают только излишнее беспокойство и помешательство.

Покоевый чепчик.

Однако ж со всем тем, госпожа шляпа, ты должна при-

знаться, что некоторые женщины, надев на себя или шляпу, или другой какой головной убор, кажутся другим чрезвычайно смешными, и очень часто тот самый их убор делает их дурными, и для того-то лучше бы было, когда бы всякая женщина старалась избирать такие уборы, которые были бы ей к лицу, а не такие, которые больше в моде, в чем просила бы совета у искренней своей приятельницы, или бы следовала вкусу модных торговок, доставляющих им сии уборы.

Аглинская шляпка.

Можно ли положиться на вкус модной торговки! Она всегда больше выхваляет те уборы, которые хочет скорее сбыть с рук! Она, без всякого сомнения, каждой женщине будет говорить, что этот убор к ней ужасть как пристал, хотя бы в нем казалась она совершенным страшилищем.

Покоевый чепчик.

Ну, так пусть она полагается на вкус своего хорошего друга, то есть обладателя ее сердца.

Аглинская шляпка.

Вот то-то хорошо! Обладатель сердца способен ли в уборах подавать советы, когда всегда судит он о сем пристрастно, наблюдая собственную свою пользу! Ежели он к любовнице своей ревнует, то, конечно, не присоветует ей надеть такой убор, от которого бы она казалась прелестнее, боясь, чтоб она не понравилась многим мужчинам и не привлекла бы на себя их взоры.

Покоевый чепчик.

А всего лучше, если она будет советоваться с своим зеркалом.

Аглинская шляпка.

Вот другая глупость: советоваться с своим зеркалом! Как это забавно! советоваться с зеркалом! то-то изрядный советник! Есть ли хотя одна и самая гадкая женщина, которую бы зеркало не уверяло, что она довольно хороша?

Покоевый чепчик.

О! постой, что ж бы ты сказала, когда бы она потребо-

вала советов у своих горничных девок, непрестанно ее окружающих, так, как то делают многие здешние щеголихи?

Аглинская шляпка.

Да! это прекрасная выдумка; следуя таким советам, может она надеяться хороших успехов в своих нарядах, чтоб сделаться или совсем гадкою, или не столь пригожею. Сколько раз случалось мне слыхать, что женщина говорила другой женщине: «Ах! как это к тебе пристало! ужасть, ужасть, жизнь моя! Где ты купила этот чепчик? Ах! как он прекрасен!» и проч., а в самое то время внутренно радовалась, что тот убор, в противность ее похвалам, был совсем не к лицу.

Покоевый чепчик.

Ну, так пусть делает она то, что хочет.

Французский ток.

Ты очень хорошо судишь, будучи по справедливости назван покоевым чепчиком! Ну, можно ли тебе вмешиваться в наши разговоры? Как тебе с нами ровняться? Мы, по крайней мере, бываем на позорищах; являемся при дворе и торжествуем на балах. Мы можем себя почитать лучшим украшением для всех щегольских нарядов; но ты, бедняк! ни к какому платью не годишься, кроме как к утреннему *дезабилье*. С тобой только можно показаться при уединенном завтраке. Тебя надевают без всякой осторожности, так, как накидывают на шею платок, нимало не примечая, каким образом ты надет бываешь. Ты всегда прикрываешь волосы, совсем не причесанные, почему никак не можешь ровняться с щегольскими уборами, и не иначе можешь почитаться, как спальным чепчиком; итак, пожалуй, скажи, имеешь ли ты право вмешиваться в наши разговоры?

Покоевый чепчик.

Я тебе прощаю, почтенный ток, в твоих грубых и язвительных против меня словах; но ежели, по-твоему, я ни в чем не могу ровняться с вашими достоинствами, то для чего же меня положили в один с вами шкап?

Французский ток.

Ведь надобно же тебя куда-нибудь положить; но, на-

ходясь в нашем почтенном сообществе, ты должен себя помнить и перед нами молчать.

Покоевый чепчик *(с лукавою усмешкою).*

Итак, я замолчу, ибо ежели бы я захотел сделаться нескромным, то мог бы насказать множество любопытных случаев, которым очень часто бывал я очевидным свидетелем и которыми вы никак похвалиться не можете; вы, конечно бы, позавидовали моему счастию. Разумеешь ли ты меня, гордый ток? дерзкий ток? грубый ток? неловкий ток?.. Да знаешь ли ты, что покоевый чепчик бывает свидетелем многих приятнейших приключений, которых тебе никогда видеть не удастся. В любовных уединенных свиданиях не почитают за нужное иметь на голове своей такой щегольской убор, каков ты, господин ток. Тогда почитают тебя самым неловким и скучным украшением и из уважения к тебе не дерзают предаваться приятным и нежным любовным восторгам, чтоб не измять твоих пышных кружев и лент, а потому ты присутствуешь только при скучных и безмолвных свиданиях, в которых соблюдается превеликая благопристойность. Такие тягостные церемонии охлаждают чувства и удаляют сладостное восхищение любви. Но покоевый чепчик— ха, ха, ха! —покоевый чепчик, любезный мой ток, нарочно сделан для любовных утех и нимало не препятствует свободнейшему между любовниками обращению. Ежели когда он беспокоит, то снимают его безопасно и кладут на уборный столик; а после опять надевают на себя без всякой осторожности.

Блондовая косынка *(во время разговоров спит и храпит:* хрр, хрр, хрр*).*

Аглинская шляпка.

Вот как спокойно почивает наша любезная соседка; желала бы я и ее вмешать в наши разговоры... *(Будит ее.)*

Косынка.

Ох!.. Кто это?.. Кто это мешает мне спа... а... а... *(зесает)* а... ать? Я так спокойно спала, а эти глупцы мне помешали; правду говорят, что...

Аглинская шляпка.

Ты очень неучтива, что спишь в такое время, когда мы разговариваем о таких важных предметах!

Косынка.

Ну! что такое, о чем вы говорите? посмотрим!

Аглинская шляпка.

Мы спорим о нашем друг перед другом преимуществе... И каждый из нас доказывает свои права...

Косынка *(сонным голосом)*.

Да, это очень хорошо, например, говорить о правах и преимуществах тогда, когда я здесь... Это было еще ваше счастие, что я спала!

Аглинская шляпка, ток и покоевый чепчик *(все вдруг вскричали с сердцем)*.

Как! что такое она хочет сказать?

Косынка *(с насмешкою)*.

Да, это нетрудно угадать... Кто из вас может иметь право при мне превозноситься своим достоинством? Вы прикрываете только головы и волосы; но я! какие прелести собою охраняю? Разве я не бываю покровом тем прелестным грудям, которые почитаются гораздо превосходнее тех мест, которые вы собою украшаете?

Покоевый чепчик.

О! пожалуй, столько не говори, любезная моя приятельница, и не наговори уже слишком много. Что такое прелести, о которых ты нам с таким восхищением выражаешь!.. Тебя покупают только на то, чтоб ты пышностию своею делала пустой обман, а не для прикрытия прелестных грудей... Поверь, что мне все это довольно известно...

Косынка *(захохотав)*.

Я, сударь! о! я вам божусь, что никакого обмана не делаю, а груди, прикрываемые мною, в самом деле таковы, каковыми я их представляю...

Шляпка, покоевый чепчик и ток *(все в один голос)*.

О, ты совершенная обманщица, госпожа косынка! Тебя по справедливости так называть должно!

Косынка *(взяв на себя важный вид)*.

Ну, ну, перестанем горячиться; не ко всякому слову, друзья мои, надобно привязываться... Вы чувствуете сами, что... когда я говорю... что я не делаю никакого обмана... то это только так говорится... а в самом деле я хотела сказать... что не делаю почти никакого обмана... Однако ж, по крайней мере, вы можете признаться, что я более вас приношу пользы. Вы все, головные уборы, ни к чему больше не служите, как только для одного украшения, и не охраняете ни от дождя... ни от ветра... ни от холодного воздуха... Но я охраняю прекрасную грудь от простуды, а что еще и того лучше, от дерзких взоров нескромного мужчины... Итак, я бываю защитницею стыда и целомудрия и орудием благопристойности.

Покоевый чепчик.

Не верьте ей, не верьте; она лжет! Вот какой делается она набожною! Вот какая притворщица!.. А я со сто раз видал совсем тому противное, что она изволит рассказывать!

Косынка *(с досадою)*.

Как! ты смеешь сказать!.. Ах, какое поношение!.. Как! я не бываю покровом благопристойности?

Покоевый чепчик *(с насмешкою)*.

Так, моя голубушка, так; тебе, конечно, надлежало бы это делать, но сколько раз видал я, что ты совсем не исполняешь сей должности! Ведь кто имеет глаза, тот ясно видит, что ты...

Косынка.

Ну, посмотрим же, господин прозорливец, что такое ты видел?

Покоевый чепчик *(унизив голос)*.

Не видывал ли я множество раз, что ты открывала свободный путь дерзновенной руке... которая тихо проходила промежду твоими складками, и ты то ей позволяла... Ты,

как казалось, без всякой упорности допускала откалывать булавку, которою ты была приколота... и утешалась смущением и стыдливостию той красавицы, на которой ты надета и которую при тебе так нагло оскорбляли... По сему малому твоему сопротивлению можно видеть, что ты сама соучаствовала в том малом почтении, которое тогда было ей оказываемо. Итак, скажи теперь, хитрая обманщица, когда пригожая женщина надевает тебя на свою грудь, не говорит ли она тебе: «Я надеваю тебя для того, чтоб ты охраняла меня от стужи и от дерзких покушений воздыхателя?»

Косынка.

Право, ни одна женщина никогда мне этого не говаривала.

Покоевый чепчик.

Однако ж, без всякого сомнения, каждая красавица с таким намерением тебя на себя надевает.

Косынка.

Пусть так, но я зато не берусь, чтоб я одна могла воспротивиться против двух рук, из которых каждая во сто раз сильнее меня. Ежели сама красавица не захочет сделать мне нималой помощи, то как можно требовать от меня, чтоб я одна устояла против сильного приступа? При таком случае сердятся, ворчат, краснеют, усмехаются, притворяются, будто досадуют, будто хотят кричать, и думают, что тем подают мне великую помощь! А я, как вы сами можете посудить, лучше соглашаюсь тогда совсем оставить мое упорство, нежели довести себя до того, чтоб меня разодрали, чтоб сорвали меня с груди и изорвали бы в клочки. Вам легко говорить, друзья мои, но если б вы были на моем месте, то поверили бы, что такое упорство могло бы стоить моей жизни, а вам известно, что всякому своя жизнь всего дороже на свете.

Сей разговор прервался, наконец, приездом многих щеголих, которые закупили всех спорщиков и спорщиц вместе... Графиня купила ток, княгиня аглинскую шляпку, безыменная и вертопрашная кокетка подцепила покоевый чепчик, а актриса взяла косынку, которая, повидимому, пойдет вместе с нею на театр играть ролю. Бедные уборы, видя столь близкую разлуку и не имея надежды когда-нибудь увидеть-

ся, прощались с такой нежностию и ласкою, каких никогда не оказывают между собою те, кому они достались. По выходе из лавки приезжих щеголих с их покупкою, вышел и я, надеясь впредь найтить какой-нибудь способ, узнав совершенно достоинство и преимущество уборов, сделать доставлением их угодность Прозерпине.

Желал бы я, любезный Маликульмульк, как можно скорее исполнить препорученные мне дела и, не занимаясь больше разными пустяками, возвратиться в ад, однако ж видно, что мне здесь довольно еще будет дела.

ПИСЬМО XV

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

Пробыв несколько времени в сем городе, отправился я в другой и хочу уведомить тебя, почтенный Маликульмульк, о некоторых в дороге случившихся приключениях.

Не доезжая за несколько верст до ***, при входе нашем в один постоялый дом или, лучше сказать, в один трактир, услышали мы вместе с другими дорожными моими сотоварищами превеликий шум и увидели множество людей, собравшихся толпою у ворот соседнего дома. Мы хотели узнать о причине сего собрания, и некто из числа оных уведомил нас о сем следующими словами.

«Государи мои, — говорил он нам,—дом, у которого собралась сия толпа народа, принадлежит г. Людомору, здешнему аптекарю, который в искусстве своем очень прославился. Он сегодня застал свою жену в любовном обхождении с своим сидельцем, отчего пришед в превеликое бешенство, ухватил старое свое ружье и хотел из него застрелить своего соперника; но ружье, будучи разумнее и снисходительнее его, не согласилось выстрелить, так что раза с два спускал он курок, однако ж кремень всегда осекался.

Любовник между тем выскочил в окно на улицу, а жена криком своим созвала всех своих соседей, которые, сбежавшись, увидели г. Людомора в исступлении, с ружьем в руках, поражающего любезную свою супругу претолстою дубиною, и с великим трудом могли ее освободить от его бешенства».

«Какое ж сделают наказание, государь мой, — говорил я, — сей жене за измену к своему мужу?»

«А какое ей делать наказание? — ответствовал он мне.— Она еще будет жаловаться на своего мужа, который, не имея никакого свидетеля того оскорбления чести, которое, по его уверению, сделано ему от его сидельца, принужден будет давать ей ежегодное содержание у ее родственников, куда она от него удалилась...»

«Помилуйте! что вы говорите? — вскричал я. — Как можно принуждать мужа платить наличными деньгами жене за ее неверность?»

«Так повелевают наши законы, — ответствовал он мне,— и наши законоискусники, будучи сами снисходительнейшими мужьями, не одно уже дело решили в силу сих законов».

Что подумаешь ты, почтенный Маликульмульк, о замешательстве и беспорядке, царствующих во нравах и обычаях здешних жителей? Они ежедневно твердят о благонравии и похваляются соблюдением правил хорошего поведения, а неверность жен и мужей почитается у них за ничто. Ветреность и непостоянство женщин служат им вместо забавы, и они в собраниях только для увеселения о том друг другу рассказывают. Один офицер, бывший в дороге моим сотоварищем, смеялся моему удивлению. Его слова столь глубоко впечатлелись в мое сердце, что я, сколько могу припомнить, выражу тебе точно теми словами, какими он со мною говорил.

«Видно, — сказал он мне, — что вы сюда приехали совсем из другого света. Как! непостоянная женщина приводит вас в такое удивление? Вы без сомнения, к сему привыкнете, когда поживете сколько-нибудь у нас и забудете столь многоуважаемую вами строгую добродетель».—«Неужели,— говорил я ему, — здесь часто случаются такие происшествия, о каком теперь нам рассказывали?»—«Нет,— ответствовал он мне, — не все мужья бывают так глупы, как г. Людомор, а обыкновенно не открывают пред целым светом домашних своих обстоятельств».

«Поэтому видно, — говорил я,—что брачные обязательства здесь очень мало уважаются; по моему мнению, они должны бы были составлять блаженство в человеческой жизни, а не несчастия».—«О, как вы ошибаетесь! — сказал он мне. — Мы уже привыкли к таковым несчастиям.

Участь наших соседей, наших сродников и наших друзей приуготовляет нас с самой юности к сношению собственной нашей судьбы и лишают всякого огорчения. Знайте, что брак у нас почитается некоторым родом торга. Здесь берут жену, равно как бы покупали кусок материи: одну покупают мерою на аршины, а другую ценят без меры полновесными червонцами».

«Из сего я заключаю,— ответствовал я ему,—что здесь жена должна очень мало любить такого мужа, который, женясь на ней, ничего в ней не искал любви достойного, кроме ее богатства, и она не должна нимало сожалеть о лишении такого супруга».

«О, конечно! — сказал он мне захохотав. — Здесь очень мало вдов умирает от печали, лишившись мужей своих; однако ж при похоронах соблюдают они превеликие церемонии. У нас, как скоро какая женщина лишится своего мужа, то вы сначала, увидя ее огорчение, подумаете, что все несчастие ее совершилось, потому что она тогда запирается в своем доме, из которого выносят все обыкновенные украшения и в коем все стены обвешиваются черным сукном; тогда всякий бы подумал, что она живая заключилась в гробницу. При малейшем воспоминании о покойнике глаза ее делаются двумя источниками, из которых истекает вода в превеликом изобилии. Ее вопли и отчаяние оказываются явно пред всеми, но ежели кто увидит ее наедине, то приметит, что с самого первого дни она внимает утешения от искренних друзей своих. Друг или приятельница прилежно стараются ей представить, что она еще в таких летах, в которых не должна быть вживе погребенною; они ей говорят: «Ты еще молода, прекрасна и любви достойна; неужели ты хочешь скрыть от света все твои прелести: очень мало сыщется мужчин, которые не почли бы себя счастливыми, чтоб заступить место умершего твоего супруга; поверь мне, сударыня, что я тебе подаю совет от искреннего сердца; тебе известно, какие имеет о тебе мысли такой-то граф или князь; он чувствовал к тебе любовь еще при жизни твоего мужа, так неужели ныне не пожелает с великим удовольствием занять его место?» Вдова при сих словах потупляет глаза и жеманится. После того любовник делает ей благопристойное посещение, и его присутствие совершенно ее уверяет так, что, наконец, прежде еще, нежели погребение умерше-

то совсем кончится, вдова избирает уже себе другого мужа».

Слышанное мною от сего офицера о их женщинах возбудило во мне превеликое желание узнать о свойствах их обстоятельнее.

«Государь мой, — говорил я ему, — сказанное вами рождает во мне любопытство. Не прогневайтесь, что я, будучи здесь иностранцем, осмеливаюсь вас просить о уведомлении меня подробнее о здешних женщинах, и я буду вами очень одолжен, когда вы, подав мне лучшее сведение, через то доставите способ судить о них по их достоинству».

«Наши женщины, — ответствовал он мне, — могут быть разделены на два рода: первый заключает в себе всех вообще светских женщин, а во втором считаются набожные. Их образ жизни в двух столь различных состояниях стремится однако ж к одной цели, и хотя разными путями, но всегда кончится ветреностию и непостоянством. К сей-то цели достигают они все по различию своих свойств, но, чтоб дать вам яснее о сем понятие, то я уведомляю вас о каждом из сих свойств особенно.

Светская женщина не прежде должна вставать с постели, как в три часа пополудни, а как у нас почитается за неблагопристойное, чтоб жена жила с мужем своим в одних покоях, то для того живет она на другой половине дома, и иногда по нескольку недель муж и жена друг с другом совсем не видятся и не промолвят между собою ни одного слова, разве только в публичных собраниях или на бале и в комедии. Итак, светская женщина не успеет еще порядочно одеться, как уже посылает служителя к знакомым своим: или к графине или к княгине, спросить о их здоровьи и условиться куда-нибудь вместе ехать. Послеобеденное время проходит в церемониях, комплиментах и в принятии посещений. По пробитии пяти часов она еще не совсем решится, куда ей ехать: в комедию ли, или на бал; и если когда случится, что она приглашена куда-нибудь к ужину, то для того дает преимущество театральному зрелищу; откуда выходит, занявшись теми любовными хитростями, которые там видела представляемые, и потом вино, хорошее кушанье и вольность, между всеми за ужином употребляемая, воспаляют мысли ее пущим жаром, и она по выходе из-за стола, прежде возвращения домой, прохлаждает оный с своим лю-

бовником до пяти часов утра, и тогда-то уже показавшийся день, против воли ее, принуждает ее отправиться домой.

Набожная, напротив того, с великим старанием удаляется от сих шумных бесед и от такой беспорядочной жизни, но удовлетворяет страстям своим в приятном уединении. Вертопрах и модный щеголь приводит ее в соблазн; его ветреные поступки чрезмерно ее оскорбляют; он может в одну минуту лишить ее той славы, которую она в три года приобрела уединенною и воздержною своею жизнию; а она избирает своим любовником учителя детей своих, и они оба почитают для себя необходимостию быть скромными, ибо самомалейшая нескромность лишила бы госпожу приобретенной ею славы, а учителя выгодного места и того уважения, которое он лицемерием своим получить от всех надеется.

Есть еще здесь некоторый род набожных мужчин, которых они иногда в нужных случаях употребляют и кои более всех уважаются по своей скромности; они втираются в лучшие домы в звании душевных наставников и путеводителей на стезю спасения и обещевают руководствовать к небесному жилищу всех в доме без изъятия. Муж первый бывает им обманут и каждый день сам ублажает счастливое знакомство того, который наносит ему бесчестие и украшает голову его великолепным головным убором».

Какое распутство, почтеннейший Маликульмульк, какой беспорядок! Признаюсь, что с трудом мог я поверить тому, что мне сей офицер рассказывал; но, поживши здесь несколько времени, может быть, сам узнаю о всем собственным своим опытом; и ежели все сказанное мне справедливо, то посуди, можно ли жить между такими людьми! По крайней мере, я благодарю судьбу, что я не человек, а дух, и что на несколько только времени по собственному моему желанию сделался человеком. Прощай, почтенный Маликульмульк, не премину тебя впредь уведомить, что примечу здесь еще любопытного.

ПИСЬМО XVI

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

Недавно, прогуливаясь по городу, увидел я дом, у которого теснилась толпа народа; я вошел в сени, чтоб спросить,

что это значит, как взял меня за руку молодой человек. «Государь мой, — сказал он, — еще очень рано, не угодно ли вместе со мной прогуляться, и я вам после в сем доме покажу вещи, подлинно достойные удивления».

Радуясь товариществу, вышел я с ним из сеней и пошел по вымощенной красным мармором улице. Как был я в самом простом платье и не столько должен был отвечать на поклоны, то потому без всякого помешательства мог иметь с товарищем моим следующий разговор.

«Признаться, что в большом свете очень тесно жить без денег, — сказал я, — соблюдая имя бедняка, а еще несноснее видеть, что люди недостойные пользуются богатством, а мы, которые чувствуем, что могли бы принести пользу государству, совсем позабыты, что существуем на свете».

«Это правда, сударь,—отвечал он,—что хотя куча бедняков больше, нежели богатых, однако ж со всем тем их не примечают. По крайней мере, нам служит одно то утешением, что мы не первые на это жалуемся. Впрочем, видя по лицу вашему в вас честность и имея способы вам помочь, я за долг почитаю этим вам служить. — Послушай, друг мой, — сказал он, вдруг переменя голос, — ты кажешься мне так беден, что с трудом можешь себя поправить; правда, хотя на нашем острове можно надеяться на хитрость, но состояние твое так мало, что тебе нельзя сделать никакого плутовства, не быв за то повешену или высечену розгами. Хочешь ли ты, чтоб я дал тебе хлеб? Вступи в нашу шайку, я в ней старшиною и обещаю тебе мое покровительство».

Я. А какая это шайка? Не одна ли из тех, которые, как сказывали мне, состоят из ярмоночных врачей, бродящих без всякого знания с своими пузырьками, порошками и пластырями, коими, как язвой, переводят они большую половину ваших добродушных земляков?

Он. Нет, они ныне не бродят шайками, а живут на нашем коште на одном месте и дожидаются в своих домах охотников отправиться на тот свет.

Я. Так не из тех ли она состоит эфунопалов*, которые, ходя по селам и по городам, сказывают сказки, брав за то дорогую цену; которые одни имеют хитрость вдруг: и брать

* *Эфунопалы* — на сем острове живущие под самым экватором народы; они так же черны, как арапы, с тою разностию, что у них от обжорства гнилые зубы и толстые брюха.

милостыню, и налагать подати, и продавать какие-то моральные лекарства от физических болезней, за которые им платят очень много, хотя никто от них не вылечивается.

Он. Нет, и они уже ныне не ходят шайками, а на наш счет построили школы, и всякий город ставит себе за честь содержать по нескольку сот таких эфунопалов. Правда, им скучно было привыкнуть к такой жизни; но зато приумножение их доходов их утешает. Они и ныне продают неизлечающие лекарства, налагают подати, берут милостыню, получают от нас жалованье и торгуют очень прибыльно жизненными каплями, обнадеживая, что, кто их принимает, будет жить 3000 лет. Но оставим их; я предлагаю тебе вступить в нашу шайку, которая сегодня будет играть в этом доме, — то есть чтоб ты сделался комедиантом.

Мне очень хотелось посмотреть, до какой степени простирается самолюбие самых последних званий, а для того хотел я несколько унизить звание комедиантов и послушать, каково оно будет защищаемо своим членом.

«Как, сударь, — сказал я, — вы советуете, чтоб я вступил в столь презренный и подлый промысел!»

Он. Потише, государь мой! вы живете в обществе, а не знаете учтивости, которая употребляется на нашем острове, и при мне называете подлым ремесло, в котором я нахожусь, но я не сержусь никогда на вспыльчивость молодого человека и уверяю вас, что мое ремесло ничем не хуже других. Скажите, что вы в нем находите дурного?

Я. Во-первых, то, что это ремесло всеми почитается подлым.

Он. Это одно только предрассуждение. Приказный человек нимало не уважает военного состояния; воин бранит приказных; купец хвалит свое звание, а лекарю нравится свое. Негодный промысел есть только тот, который приносит более вреда, нежели пользы, а наш приносит больше пользы, нежели вреда. И самая низость сего звания полезна для того, что поведение комедианта не берется в пример и он своею худою жизнию не заражает целого народа, а добродетельною не делает лицемеров, старающихся ему подражать и под видом благочестия производящих тысячу разорений. Комедиант не имеет случая сделать несправедливого суда; угнетать каким-нибудь откупом целый город;

проманивать по двадцати лет бедных просителей, не делая ничего и живя их имением. Вся власть его ограничивается только тем, что изображает на театре пороки. Он может поправить те части злоупотребления, до которых не достигают законы и которые более вреда и разорения приносят государству, нежели самые хищные откупщики.

Я. Это правда, но надобно быть очень тверду, чтоб сносить презрение.

Он. Презрение! его достойны только низкие души, а не низкие звания. Я знаю человека и в моем промысле, с которым многие честные и разумные вельможи ищут знакомства; знаю также некоторых знатных, которыми, несмотря на их великолепие, гнушаются и низкие люди; но если ты охотник до знатности, то я позволю тебе на театре играть роли самых знатных людей.

Я. Вы очень унижаете истинную знатность, сравнивая ее с театральною.

Он. Это сравнение справедливо. Как скоро ты на театре играешь знатную ролю, тогда все другие лица стараются оказывать тебе почтение; правда, что за театром оно исчезает, но не то ли же самое делается и с вельможею? Как скоро он входит в знатность, тогда всякий старается пред ним казаться униженным, всякий оказывает ему обожание, все его хвалят, все ему льстят; но лишь только сила его исчезает, тогда все его приближенные снимают перед ним свои маски; им кажется он обыкновенным человеком, и они, оставляя его, идут к другому читать ту же самую ролю, которую читали перед ним.

Я. Это правда, что тут есть некоторое сходство, но быть народным шутом! это очень тягостно.

Он. Напротив того, это очень весело. Лучше заставлять народ смеяться или принимать участие в мнимой своей печали, нежели заставлять его плакать худыми с ним поступками. Есть шуты, которые очень дорого стоят народу, но мало его забавляют, а мы из числа тех, которым цена назначается от самих зрителей, по мере нашего дарования и прилежности, а не происками и не по знатности покровителей; сверх же того, мы из числа тех шутов, которые не подвержены пороку публичной лести: мы и перед самими царями говорим, хотя не нами выдуманную, однако ж истину; между тем как их вельможи, не смея перед ними раскры-

вать философических книг, читают им только оды и надутые записки о их победах.

Я. Я отдаюсь, наконец, на вашу волю, но только с тем, чтоб играть мне иногда короля, иногда разносчика, иногда судью, а иногда ветошника: меня очень будут забавлять такие перемены.

Он. Пойдем, я согласен, и это одна из наилучших выгод комедианта. В сем он подражает величайшим философам; ибо он после царя с таким же веселием бывает разносчиком, с каким равнодушием после разносчика бывает царем; чего лишены актеры большого театра, называемого светом.

Новый мой покровитель ввел меня в залу.

«Вот, друзья мои! вам новый товарищ, — сказал он нескольким стоящим в кругу царям, царицам, скороходам и крестьянам, которые все вместе рассуждали о каком-то политическом предприятии их острова. — Его осанка, — продолжал он, — его рост и хороший стан подают нам немалую надежду, что он будет исправный царь». После сего короли и лакеи очень пристально зачали на меня смотреть и что-то шептали между собою, а королевы говорили вслух, что они ни на каком театре лучше меня царя не видывали. Такая похвала заставляла иногда на меня коситься новых моих товарищей; но я, мало о том заботясь, пошел в амфитеатр, чтоб посмотреть новую трагедию, которую тогда давали. Множество зрителей ожидали с нетерпеливостию открытия занавесы, и, наконец, минута эта наступила. Трагедия была сочинена по вкусу островитян в 8 действиях двенадцатистопными стихами. Действующие лица были очень порядочно связаны, и как я еще несколько помню ее содержание, то расскажу тебе, почтенный Маликульмульк, подробнее.

Главный герой сей трагедии был некоторый островский Дон-Кишот. (Это один роман гишпанский, стоющий любопытства; я тебе его пришлю. Впрочем, ты, путешествуя по разным странам, может быть, видал многих и знатных Дон-Кишотов.) Он был вдруг: философ, гордец и плакса; актер по смыслу слов очень изрядно поддерживал свой характер; он храбрился в тюрьме, читал на театре рассуждения тогда, когда надобно ему было что нибудь делать; будучи простолюдимом, гордился пред государем и плакал пред своею любовницею, как дитя от лозы, когда она делала

ему ласки, а чтоб ему чаще хлопали, то он, оборотясь к зрителям, почти при всяком стихе твердил им, что он их одноземец. Островитяне иногда краснелись, что такой чудак родился между ими, однако ж нередко хлопали ему в ладоши, чтоб не заснуть от праздности.

Другая, то есть его любовница, была царская дочь; она была несколько его поумнее, но столько хвалила своего любовника, как будто бы желала выйти за него без приданого, хотя и не видно было, подлинно ли имела она это намерение, будучи богатее своего жениха. Третье лицо изобразить хотело какого-то злодея. Писатель характер его заключал в словах, а не в действии. Он ничего не делал; но иногда кричал, что он всех перережет и передавит; а между тем, когда он спал на театре, то самого его удавили в седьмом действии, и осьмое доигрывается уже без него.

Наконец, четвертый, как говорят, был прекрасный характер; на нем основывалась вся трагедия; сказывают, что это был предобродетельный человек, и им окончалось зрелище; но жаль только того, что автор не выводил его на театр. Может быть, добродетельный характер был для него слишком труден.

ПИСЬМО XVII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Извини меня, любезный Маликульмульк, что я давно к тебе не писал; это не оттого, чтоб мне было нечего писать; но я столько занят делами и окружен столь многими предметами, что, не зная, за что приняться, впал в нерешимость и долго бы в ней пробыл, если бы мой молодой Припрыжкин не подал мне причины к размышлению, которое выбило у меня на время из головы все другие предметы.

«Поздравь меня, любезный друг,—сказал мне Припрыжкин, — с исполнением трех главнейших моих желаний». — «Как! — вскричал я; — неужли ты оставил свет! собрал хорошую библиотеку! и нажил себе искренних друзей!» — «Вот какой вздор! — отвечал он, — я никогда этого не желал, как только один раз в жизни, когда недавно проигрался и был без денег; о, тогда я был великий философ!

Но, любезный друг! ты знаешь нынешний свет и нашу мягкую философию, которую и у лучшего нашего философа один рубль испортить в состоянии. Нет, у меня есть другие гораздо основательнейшие желания, которые небу было угодно исполнить. Поздравь меня, любезный друг, — продолжал он, меня обнимая, —с тем, что я сыскал цуг лучших аглинских лошадей, прекрасную танцовщицу и невесту; а что еще более, так мне обещали прислать чрез несколько дней маленького прекрасного мопса; вот желания, которые давно уже занимали мое сердце! Представь не благополучный ли я человек, когда буду видеть вокруг себя столько любезных вещей! Я умру от восхищения! — Прекрасный мопс! — Невеста! — Цуг лошадей! — Танцовщица! — О! я только между ими стану разделять свое сердце! Я принужу их, чтоб они все равно меня любили... и если не за других, то, конечно, за собачку парирую тебе всем, что она будет меня любить, как родного своего брата».

Такое прекрасное начало в первый раз заставило меня узнать, каким образом здесь женятся, и я захотел получше разведать, что значит здешняя женитьба. «Поздравляю тебя, любезный друг, — сказал я ему, — с исполнением твоего желания, а более всего с невестою; я уверен, что ты не ошибся в твоем выборе». — «Конечно, — сказал он, — лошади самые лучшие аглинские!» — «Я о твоей невесте говорю,— продолжал я, — не правда ли, что она разумна?»— «Уж, конечно; говорят, что лучше ее со вкусом никто не одевается». — «Без сомнения, она добродетельна?» —«В том я верю ее матери, которая говорит, что дочка ни в чем от нее не отстала; а эта барыня может служить примером в добродетели... Она вечно или перебирает свои чётки на молитве, или бьет ими своих девок; а достальное время проводит в набожных разговорах наедине с своим учителем богословия». — «Я думаю, что она прекрасна?» — «О! что до этого, то я никому, кроме своих глаз, не поверю; но я еще не успел ее видеть». — «Как! — сказал я, — ты женишься и не знаешь своей невесты?.. Да чем же она тебе так нравится?» — «Тридцатью тысячами дохода, — отвечал он мне с восхищением: —неужели ты думаешь, что это шутка? Если мне танцовщица будет стоить и двадцать тысяч, то все еще у жены останется десять, к которым приложа мой доход, мы можем

с нею жить, делая честь нашему роду. Что же ты смотришь на меня, вытараща глаза? О! как можно в тебе узнать уездного дворянина! Я вижу, что тебе в диковинку такие свадьбы, а это оттого, что ты еще не знаешь модного общежития; будь же свидетелем моей женитьбы и приучайся к правилам света».

После сего подхватил он меня в свою карету, и мы поехали с ним в ряды для закупки к свадьбе ему уборов.

Купцы наперекор просили нас в свои лавки и кричали, что у них есть самые дорогие товары; некоторые, правда, говорили, что у них есть лучшие, но у таких простяков, как я приметил, покупали очень мало. «Друг мой, — сказал я одному из сих купцов, — скажи мне, неужели здесь товары не потому выбираются, что они лучше, а потому, что дороже? То правда, что лучшие должны быть дороже; но я примечаю, что это у вас редко вместе встречается».

«Государь мой! — отвечал мне купец, — будьте уверены, что я имею все должное почтение к таким господам, как вы и его сиятельство г. Припрыжкин, и я бы думал обидеть его милость, если бы показывал ему лучшие товары, а не те, которые дороже; да и он, конечно, сочтя меня за невежу, пошел бы искать товаров в другие лавки. Были, правда, здесь варварские времена, когда у нас спрашивали лучшего, но просвещение переменило такие грубые нравы, и мы ныне нередко берем за серебро обыкновенную цену, т. е. по 24 копейки и менее за золотник; а за такой же золотник стали платят нам по 120 рублей. За шелк берем мы самую умеренную цену, а за связку соломы недавно брали по 400 и по 500 рублей; но, по несчастию, наши барыни недолго пользовались приятною вольностию платить за солому дорогую цену, и мы принуждены были поровнять ее ценою, не более, как с лучшею золотою парчею. Мы были бы в отчаянии, если бы дорогая цена стали не утешила нас в умеренной прибыли от соломы. Вот, сударь, — продолжал он, показывая мне, — стальной аглинский эфес, который стоит 110 рублей».

«Я тебе сию минуту плачу за него деньги, — сказал я, — но скажи мне, чего он в самой вещи стоит?» — «Я божусь, — говорил купец, — что он из самой лучшей аглинской стали; железа тут не более, как на 9 коп. Работа агличанам, может быть, стоит не больше полфунта стерлингов или два крона,

что на здешние деньги сделает 2 рубля 20 копеек *. 52 рубля 80 коп. мы даем им прибыли; а достальные 55 рублей я имею честь брать с своих просвещенных земляков». — «Этого бесчеловечнее ничего быть не может!» — вскричал я. «Не угодно ли, сударь! — говорил купец, — посмотреть еще аглинских стальных цепочек, женских поясных и шляпных пряжек и шляпных петель; будьте уверены, что я уступлю вам за самую сходную цену». — «Что стоит эта цепочка?» — спрашивал я, указывая на одну подлинно изрядно сделанную. «Последнее слово 230 рублей, — ответствовал купец. — Я не говорю о настоящей ее цене, — продолжал он, — оная вам известна; но я уверен, что это не помешает вам купить так хорошо выработанную вещь».

Чтобы сдержать мое слово, я заплатил ему за три золотника стали 230 рублей. «Но скажи мне, — говорил я купцу, — неужели это не делает вреда государству и какую может приносить ему пользу?» — «Польза очень не мала, сударь, — отвечал купец: — во-первых, нас почитают богатыми потому, что мы за безделицы платим дорого; вкус наш в великой славе потому, что такие прекрасные вещи нигде так не расходятся, как здесь; наши знатные господа, бывши одеты с ног до головы в такие драгоценности, подают великое мнение иностранным о своей знаменитости... Вот, сударь, пользы от дорогих товаров... Правда, есть также и вред, но он почти неприметен, и об нем не для чего думать. Эта безделица, сударь, вся состоит только в том, что наши мужики иногда умирают с голоду и в городах всему необходимому великая дороговизна». — «Ты шутишь, — сказал я, — неужели такие безделицы, каковы аглинские стальные цепочки, пряжки, пуговицы, петли или такие мелочи, каковы французские соломенные шляпки, блаженной памяти соломенные накладки и прочие подобные сим вздоры могут принести такой вред государству? Пожалуй, мне это растолкуй».

---

* Деньги той земли привел я в здешние российские, чтобы их названием не открыть такой странной земли; а я за долг почитаю умалчивать о народе, которого гном Зор в письме своем описывает; да и не верю, чтобы мог где быть такой безрассудный, который бы за сталь платил в 60 раз дороже золота. Впрочем, уверяю читателя, что в сравнении денег ни одною полушкою не ошибся. *Примечание издателя.*

«А вот, сударь, — продолжал купец, — между тем, как ваш приятель покупает у моего сидельца нужные для него товары, я вам в коротких словах об этом расскажу. Например, его сиятельство г. Припрыжкин вздумал жениться; ему неотменно надобно к свадьбе множество таких мелочей; деньги на них он должен брать с своих 4000 душ крестьян; в одну минуту посылает он приказ собрать с них к будущему году 80 000 рублей. Мужички, получа такое строгое повеление и не надеясь одним хлебопашеством доставить своему господину такую сумму, оставляют свои селения и бредут в города, где обыкновенно более можно выработать денег; вместо сохи и бороны, берут они лопаты и топоры, становятся каменщиками, плотниками или разносчиками; днем работают, а по ночам, чтоб лучше собрать свой оброк, взыскивают его с прохожих. Город, вместо того чтоб получать от них хлеб, должен бывает сам их кормить и, сверх того, еще платить им деньги. От таких-то гостей становится все дорого. Мужики стараются вымещать это на ремесленниках, ремесленники на купцах, купцы на господах, а господа опять принимаются за своих крестьян. К концу года крестьяне возвращаются в свои жилища с деньгами, отдают 80 000 рублей господину, а на достальные 10 000 рублей посылают в город купить себе хлеба, которого им становится мало до будущего года. Итак, города терпят недостаток, деревни голод, граждане дороговизну, а его сиятельство остается при новомодных галантерейных вещах и празднует несколько дней великолепно свадьбу с своею почтенною невестою, которая, с своей стороны, щегольством такую же приносит пользу государству».

Между тем г. Припрыжкин кончил торг с сидельцем моего краснобая и, отсчитав ему 6000 рублей за такие прекрасные товары, радовался, что заплатил дороже всех за свою покупку. Надобно думать, что и невеста не менее делала приуготовлений.

На другой день после сего у невесты в доме был бал, где было такое же собрание, о котором я тебя раз уведомлял, с тою только разностию, что тут были без масок и не платили денег. Невеста и жених, в первый раз увидевшись, через десять минут сделались так коротки, как будто были уже десять лет обвенчаны. Ему позволяли некоторые воль-

ности жениха, но я приметил, что не один он пользовался таким правом. Неотказа (так называлась молодая невеста) была так благосклонна ко всем мужчинам, что, казалось, будто она за всех за них выходит замуж. С своей стороны, и Припрыжкин ей не уступал; он всякую женщину почитал своею невестою, и всякая женщина была так к нему снисходительна, что почитала его своим женихом или еще и более. Я приметил между прочим, что мать невестина, женщина набожная, очень долго разговаривала у окна с будущим своим зятем с весьма важным видом. «Вот женщина умная, — сказал я сам в себе: — она, конечно, дает ему наставление в добродетели и в будущем хозяйстве». Но ты узнаешь скоро, любезный Маликульмульк, что я имел причины пенять себе в безвременно сделанной похвале сей старушке.

Прохаживаясь по залу, вздумалось мне хорошенько расспросить про здешнюю женитьбу, и для того зачал я разговор с одним, повидимому, постоянным и скромным гостем. Слова наши были наперед о мелочных вещах, как-то о погоде (здесь очень часто начинаются преважные разговоры вопросом: какая на дворе погода? или: который бы, вы думали, час?); наконец я довел разговор до женитьбы. «Признаюсь, сударь, — говорил я ему, — что я очень радуюсь счастию моего приятеля Припрыжкина: женитьба есть такое утешение в жизни, что она отъемлет у человека половину горестей в оной. Как весело разделять время с прекрасною и добродетельною женою, которой нравы во всем согласны с мужниными! Хорошая женщина — любезный товарищ в уединении, и наставления разумной красавицы скорее исправить могут, нежели десять скучных поучений какого-нибудь грубого старика; а основательному, но не гибкому разуму мужчины не худо иметь себе в общежитии советником проницательный женский разум; и самые упреки из уст любимой женщины кажутся приятны».

«Из Америки или из Сибири изволили вы сюда прибыть? — спросил меня незнакомый. — Я очень любопытно желал бы услышать от вас о тамошних диких народах; по вашему вопросу мне кажется, что они еще не лишились своей невинности, видно, что письма о развращении их нравов, полученные мною, несправедливы».

«Государь мой! — отвечал я, — очень бы я рад удоволь-

ствовать ваше любопытство, но признаюсь, что я не был столь далеко отсюда, а приехал прямо из одной здешней провинции для покупки модных уборов моим родственницам; однако ж, чтобы впредь не быть мне смешным такими вопросами, прошу вас, пожалуйте, расскажите мне, каким образом здесь почитается женитьба?»

«Очень просто, — отвечал он мне, — и это в коротких словах рассказать вам можно. У нас с женою так же поступают, как с платьем... Приходят в ветошный ряд, выбирают то, которое побогатее, платят за него деньги и относят домой; тогда-то уже увидят, что платье или не впору, или дурно сшито, и, усмотря свою ошибку, вешают его в гардероб, на место его выбирают другое и на него никогда уже не взглядывают, а только пишут его в реестре своем, хотя нередко камердинеры и знакомые им пользуются... Вот история женитьбы, с малою, однако ж, разницею. Тот, кто хочет жениться, проведывает о невестах; к нему приходят и сказывают, что такая-то девушка приносит за собою в приданое 10 000 рубл. доходу; часто, не любопытствуя далее, он посылает к ее отцу сказать, что он такого-то чина и стольких-то душ владетель, хочет на ней жениться. С обеих сторон справляются с великим прилежанием в истине сих уведомлений и потом начинают свадьбу; если же после, как то часто случается, ни жена, ни муж друг другу не понравятся, то всякий утешает себя, как может, и делают добровольно уговоры, чтоб не вступаться в некоторые безделицы, которые прежде сего мужей и жен краснеться заставляли. И таким образом муж, не сходясь с своею женою несколько лет, может надеяться быть не последним в своей фамилии, а жена имеет удовольствие приписывать своему мужу все домашние дела, которыми часто вертят комнатный служитель и человека четыре посторонних.

Дети, которые приписываются такому прекрасному супружеству, воспитываются с равною с обеих сторон прилежностию. Муж, не почитая это за свое дело, думает, что и того довольно с его стороны сделано, когда они носят его имя, а жена, видя, как мало думает о них тот, кто причиною их рождения, сама старается перещеголять его в нерадении; и такие-то прекрасные отрасли готовятся со временем занимать какие-нибудь важные места в государстве!»

Лишь только окончил он свою речь, как Припрыжкин,

подошедши, отвел меня к стороне... «Доволен ли ты, любезный друг, своею будущею тещею?» — спросил я его.

«Можно ли спрашивать меня об этом! — сказал он: — когда ты видишь, в каком я смущении; представь, что эта старая хрычовка в меня влюблена! и как видно, что старушка жалует скорые решения, то, по ее словам, я очень ясно заключаю, что мне не видать ее дочери за собою до того времени, покуда...» — «О чем же ты думаешь? — вскричал я: — оставь эту старую фурию; неужели ты хочешь быть до такой степени развращен?»

«Вот какое дурачество! — сказал Припрыжкин, — чтоб я пожертвовал тридцатью тысячами доходу для такой мелочи; будь уверен, что я не столь своенравен, и если я теперь в досаде, то это не оттого, чтоб я старался презирать мою дорогую тещу». — «Что ж! разве ты страшишься, чтоб не узнали люди о таком преступлении?» — «Вздор! что кому за нужда до чужих дел!» — «Или не хочешь, чтоб твоя невеста сведала о сей измене?» — «Совсем не то: хотя невесту свою вижу я и в первый раз, но как у многих моих приятелей видал я ее портреты, которые без всякого прекословия переходили из рук в руки и доставались многим, то из того заключаю, что и подлинник не упрямее своих списков, итак, поэтому не думаю, чтоб она на меня слишком осердилась за непостоянство».

«Что же тебя так беспокоит?» — «То, — отвечал с досадою молодой Припрыжкин, — что я сего вечера дал слово быть у моей прекрасной танцовщицы, а если эта старая хрычовка не отвяжется от меня с своими любовными изъяснениями, то я лишусь приятного удовольствия увидеться с театральною нимфою, а принужден буду проводить скучные часы с гадкою старухою».

По счастию господина Припрыжкина, сей день кончился без дальних для него хлопот с будущею его тещею, потому что к вечеру нашел он отговорку, чтоб уехать для свидания с своею танцовщицею, и мы с ним вместе поехали; меня завез он в тот дом, где я живу, а сам поскакал к своей сирене.

Прости, любезный Маликульмульк, я скоро тебя уведомлю, чем кончится такая знатная свадьба, которую Припрыжкин торжествует на счет своих 4000 душ.

ПИСЬМО XVIII

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

В последнем моем к тебе письме, мудрый Маликульмульк, упоминал я о некотором молодом человеке, который, имея намерение определиться в какой-нибудь приказ секретарем, требовал в том моего совета. Он столь же был беден и так же умирал с голоду, как и приятель его стихотворец.

«Наставь меня, — говорил он мне, — должен ли я вступить в сию должность и могу ли надеяться, что посредством оной поправлю бедное свое состояние».

«Будущее, — ответствовал я ему, — столь же сокрыто от бесов, как и от людей, однако ж, рассматривая подробно настоящие обстоятельства, можем мы несколько предузнавать, что впредь с кем случится. Итак, скажи мне, какие главнейшие причины побуждают тебя вступить в сию должность? Если жадность к прибытку составляет предмет твоих желаний, то надеешься ли ты на свою совесть, что не тронется она воплем бедных сирот, у которых алчный корыстолюбец, посредством твоего старания, отнимет последнее их имущество? Чувствуешь ли ты в себе столько ябеднической твердости, чтоб грабить своих ближних без малейшего угрызения совести? И, наконец, надеешься ли столько на знание свое в крючкотворстве, чтоб нагую истину в глазах безграмотных судей переодевать в различные наряды по своему благорассуждению? Ежели есть в тебе сии необходимо нужные для корыстолюбивого секретаря качества, то, не мешкая нимало, исполняй свое намерение, и я предсказываю тебе, что, наполня свои сундуки имуществом ограбленных тобою людей, будешь ты очень богат».

«Я никогда так подробно не рассуждал, — ответствовал он мне, — однако ж признаюсь, что, желая вступить в сию должность, смотрю более всего на прибыль и уверен, что большая часть будущих моих собратий так же о том думают, как и я. Сыщется ли из них хотя один, который бы пожертвовал неусыпными своими трудами для приобретения той пустой и ничего не значащей славы, которая последователей своих нередко препровождает в богадельню? Собственная польза должна быть гораздо драгоценнее, нежели польза

вдов и сирот. Виноват ли секретарь, что нет у них денег? В нынешние просвещенные времена даром ничего не делают».

«Ого! — вскричал я с восхищением: — я предвижу, что, имея такие мысли, ты будешь со временем очень счастлив; ты достоин быть не только секретарем, но и судьею. По словам твоим всякий подумает, что ты состарелся в приказе и что уже лет сорок упражняешься в крючкотворстве. Принимайся, друг мой, поскорее за сей промысел; уверяю тебя, что ты ничего лучше сего не сделаешь».

«Мне кажется, — ответствовал мне нововыпечатанный секретарь, — что ты не очень хорошего мнения как обо мне, так и о будущих моих сотоварищах, однако ж я многими примерами могу тебе доказать, что и между ими есть множество честных людей, достойных всякого почтения».

«В этом я не сумневаюсь, — ответствовал я ему, — однако ж сих, упоминаемых тобою, добросовестных секретарей столь мало, что, в сравнении со множеством пристрастных к *акциденции* можно их почесть за совершенную редкость. Когда приходят мне на мысль все те плутни, которые они, для уловления бедных челобитчиков в ябеднические свои сети, употребляют, то не могу удержаться, чтоб не похвалить благоразумных в судопроизводстве обрядов некоторых азиатских народов, кои для отправления правосудия не имеют нужды ни в выписках, которые более затмевают дела, ни в справках, которые вконец разоряют бедных челобитчиков; все сии запутывающие и самые справедливейшие дела ябеднические крючки у сих народов, коих просвещенные европейские жители называют *варварами*, совершенно неизвестны. Там жадный стряпчий, бессовестный судья и бездушный секретарь не имеют способов обогащаться имуществом ограбленных ими просителей, и если б, к твоему несчастию, родился ты в каком азиатском городе, то сколько бы ни употреблял старания, чтоб одному делу дать два различные вида или чтоб яснейшую истину обратить в сомнительную, однако ж все то нимало бы не послужило к твоей пользе. Там умер бы ты с голоду или, может быть, в награду за твои плутни отвесили бы тебе несколько сотен ударов палкою по пятам. Итак, если б в европейских присутственных местах поступали с приказными служителями по азиатскому обыкновению, то все твои товарищи сделались бы

столько же честными, сколько теперь корыстолюбивы. Принимаясь за какое дело, не преминули бы они прежде сами себе сказать: «Понеже де плутни наши вознаграждаются здесь ниспадающим на нас палочным дождем, того ради надлежит пещись елико возможно, дабы честностию и бескорыстием предохранить спины наши от вышереченного за беззакония наши истязания». Но, к несчастию европейцев, судьи и начальники у сих просвещенных народов не так думают, как азиатские паши и кадии. Всякое судебное дело, как бы худо ни было, находит своих защитников, и чем которое несправедливее, тем более искусный секретарь надеется получить от него прибыли, и сии-то ябеднические и запутанные дела составляют главнейшие его доходы».

«Я вижу,— ответствовал мне молодой человек, — что ты не весьма уважаешь тем промыслом, в который я вступить намереваюсь; однако ж всем довольно известно, сколько нужен он в государстве; конечно, в аде совсем иначе о том думают».

«А это происходит оттого, — ответствовал я, — что у нас вашу братью лучше знают, нежели здесь; однако ж я должен тебе признаться, что ничего не может быть почтеннее, как искусный и беспристрастный секретарь: нет такого достоинства, в которое бы он, по заслугам своим, не мог быть возведен. Множество, как прежде было, так и ныне есть таких людей, которые честностию и бескорыстием из простых писцов произошли в первейшие чины в государстве. Но сие до тебя не касается; ты больше привязан к корыстолюбию, нежели к добродетели, итак, продолжай, как начал; я тебе отвечаю, что в скором времени ты чрезмерно обогатишься. Паче всего помни, чтоб за деньги никому ни в какой просьбе не отказывать, и если случится, что, невзирая на все твои плутни, решится какое дело не так, как бы тебе хотелось, то сие нимало не помрачит твоей славы, а все скажут, что дело, о котором ты старался, было чересчур уж гадко; ежели же плутовство твое получит успех и тебе удастся переворотить по-своему, правого обвинить, а виноватого оправить, тогда будешь очень щедро награжден, и тебя все будут почитать самым хитрым крючкотворцем. Совет, который я тебе даю, может тебе служить вместо философического камня; пользуйся им до тех пор, как увижу я тебя переселившегося в ад и сидящего в объятиях адских демонов».

ПИСЬМО XIX

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

Ты очень бы удивился, почтенный Маликульмульк, когда бы увидел меня в новом моем наряде. Я непременно должен был одеться по вкусу здешних жителей. Фрак на мне полосатый с длинными полами и с коротким лифом; жилет также полосатый, чулки полосатые. Я думал, что надобно было заказать сделать исподнее платье и башмаки полосатые; но мне сказали, что это еще не вошло в моду, а, может быть, скоро войдет; что исподнее платье хотя и носят полосатое, но полосы одинакого цвета; одних только башмаков цвет никогда еще не переменялся; пряжки же башмачные множество раз вид свой переменяли: за несколько лет назад, как сказывали мне, употреблялися маленькие, круглые, но потом, час от часу увеличиваясь, бывали иногда круглые, а иногда четыреугольные, самые большие; ныне же носят овальные, вдоль по башмаку лежащие. Карета у меня самого последнего вкуса, полосатая ж; жаль, что здешние господа, модные петиметры, не успели еще выдумать выкрашивать и лошадей разноцветными полосами; тогда все бы уже одно другому соответствовало.

Голова моя убрана преогромным вержетом и превеликими буклями, умазана душистою помадою, усыпана самою лучшею французскою пудрою, и я весь с ног до головы опрыскан благовонными духами; подмышкою же ношу я огромную шляпу, однако ж не полосатую, а черную. Не смешно ли тебе покажется, почтенный Маликульмульк, что я вошел в такое дурачество; но тебе известно, что я это делаю единственно из любопытства, чтоб посредством своего дурачества удобнее узнать людские глупости, и для того нарядами своими стараюсь подражать лучшим здешним петиметрам, чтоб чрез них иметь вход во все публичные собрания и примечать нравы и обычаи здешних жителей. Портной мой уверял меня, что платье мое самой последней моды. Один петиметр, с которым недавно я познакомился и который живет в одном со мною трактире, все закупал для моего наряду и непременно хотел, чтоб я одет был по его вкусу; а он здесь почитается первейшим знатоком в модных уборах и сам многие из них выдумывает. Он божился мне, что боль-

ше месяца выдумывал он новый образец обшлагам и клапанам на кафтане и что потом вымышление нового покроя в платье занимало его почти во все прошедшее лето.

«Конечно, у вас очень мало дел, — спрашивал я у него,— что вы тратите столько времени на такие безделки?»

«Как! — ответствовал он: — вы называете безделкою вымышление новой моды! Видно, что вы сюда приехали из самой дикой стороны, где хороший вкус в нарядах совсем не известен. Знайте, что потребно гораздо более дарования, разума и науки для расположения нового покроя в платье, нежели для построения огромного дома. Не думаете ли вы, что ничего не стоит знать искусство у горбатого скрыть горб, у долгошеего высоким воротником закрыть долгую шею; нестройного станом сделать статным; или велеть расположить со вкусом на кафтане фалды? До сего только можно достигнуть хитрыми вымыслами и долговременным упражнением; однако ж при всем том надлежит, чтоб сама природа нам вспомоществовала, а без того и самое великое знание казалось бы посредственным. Искусство в нарядах должно почитать особенным дарованием; хотя многие стараются его иметь, но немногие счастливо до того достигают».

Я внутренно смеялся, почтенный Маликульмульк, слушая такие вздоры; сколько ни почитал я людей во многих случаях заблуждающимися, однако ж никогда не воображал, чтоб могли они доходить до такого безумия, чтоб почитали важнейшими делами заниматься фалдами и покроем своего платья. Я спрашивал у некоторого знакомого мне господина, называющегося Старомыслом, который упражняется в разных полезных науках и почитает их гораздо нужнее новых мод: много ли в сем городе людей, зараженных такими глупостями?

«Больше, нежели вы вообразить себе можете, — ответствовал он мне: — мода есть первейшая страсть здешних жителей; что ж принадлежит до женского пола, то он доходит в том до безумия. Женщина, окончав поутру свой туалет, провождает целое утро в обертывании и укалывании около себя разных лоскутков, купленных ею накануне. После обеда едет она в театр и тогда с удивлением видит, что та мода уже переменилась и что многие модные щеголихи одеты в другое платье по последнему вкусу. Она с досадою примечает, что все они пристально на нее смот-

рят и насмехаются ее старомодному убору, отчего приходит она в отчаяние и, не дождавшись окончания пиесы, поспешно выходит из театра, запирается в своем доме, заставляет комнатных своих девок шить новые наряды и просиживает с ними во всю ночь, покуда на другой день в состоянии будет опять показаться в свет, одетая по новой уже моде».

Знакомец мой, петиметр, обещался представить меня многим здешним модным женщинам и познакомить со всеми известными ему вертопрахами. Вчерась хотел он меня везти в оперу; сие зрелище, как сказывал он мне, чрезвычайно ему нравилось; однако ж не сдержал своего слова потому, что ездил с приятелями своими за город в один трактир, где пропили они во всю ночь и его поутру уже привезли домой совсем бесчувственного. Итак, наместо его ездил со мною в театр г. Старомысл.

Театр здешний показался мне довольно велик, ложи в нем в пять ярусов, но, осматривая вокруг, представилася мне ужасная пестрота, потому что каждая ложа обита особливого цвета обоями, и у каждой такого же цвета занавески, так что было тут смешение всех разных цветов. Многие из сих лож были наполнены обоего пола людьми, а некоторые закрыты были занавесками, однако ж приметил я, что и там в потемках сидели и тихонько оттуда выглядывали, а как из любопытства спрашивал я: для чего сидящие в тех ложах не показываются и скрываются в темноте? то мне сказали, что часто случаются тут любовник с любовницею, которые приезжают не для смотрения пиесы, но для любовного свидания. Между театром и партерами на довольно пространной площадке стояла толпа мужчин, из которых очень немногие, подвинувшись ближе к театру, занималися зрением пиесы, а большая часть, расхаживая взад и вперед, заглядывали в глаза женщинам, сидящим в партерах, и разговаривали между собою так крепко, что от их разговоров совсем неслышно было речей актеров, представляющих на театре. Некоторые из сих расхаживающих были с растрепанными волосами, в розовых на шее платках и подпоясанные кушаками; они во все горло кричали и спорили о скорости в беге своих лошадей и между тем похлопывали по полу бичами, которые в руках у них были, а некоторые, подняв кверху головы и приложа к глазу лорнет, смотрели

на сидящих в ложах женщин, и как скоро сей лорнет устремлялся на какую женщину, то она тихонько отворачивалась, приятно усмехалась и потрогивала искусно или ленточкою на шее, или опахалом; такое жеманство продолжалось непрестанно до самого того времени, как смотритель в лорнет оборачивался к другой женщине, которая в ту же минуту принималась за такие же ужимки.

«Пожалуйте, государь мой! скажите мне, — спрашивал я у г. Старомысла, — кто такие сии господа, которые с таким любопытством смотрят на женщин, и для чего женщины перед ними так коверкаются и ломаются?»

«Эти господа, — ответствовал он мне, — почитаются здесь знатнейшими в своем роде петиметрами; они замечают и пересмехают женские уборы и судят о красоте и о достоинстве всех женщин; например, осмотря прилежно которуюнибудь из них, в одну минуту, наверное, будут они уверять, что у ней новый любовник, что она бросила уже того студента, который долго был на ее содержании, а наместо его взяла новоприезжего офицера, который повсюду вместе с нею ездит; а о другой скажут, что она гадко одета, что она неловка, что усмешка ее непривлекательна, что не умеет она делать приятных ужимок и не так смотрит, как было бы должно в нынешнем модном свете. И таким образом непременно сыщут что-нибудь сказать о всякой женщине, на которую смотрят; а для сего-то самого всякая женщина старается перед ними делать разные телодвижения и ужимки, желая, чтоб они нашли в ней что-нибудь прелестное и похвалили бы ее красоту и вкус в уборах, или, по крайней мере, не показалась бы она им совсем гадкою и безобразною».

«А это, конечно, чьи-нибудь кучера, — спрашивал я у г. Старомысла, — которые похлопывают бичами и кричат о доброте лошадей своих?..»

«Нет, — ответствовал он, — это другого рода вертопрахи, которые во весь день скачут по улицам и друг друга перегоняют, не для того, чтоб они были охотники до лошадей и имели бы хороших бегунов, но только чтоб несколько раз проскакать мимо окон тех девушек, за которыми они волочатся, и показать им великолепные на лошадях своих приборы, купленные ими на последние деньги, остающиеся у них от промотанного их имения. Они приезжают сюда

не для смотрения театрального зрелища, но для рассказывания другим, таким же шалунам, о тех чудесах, которые будто наделали мнимые их бегуны».

Я ничего не могу тебе сказать, почтенный Маликульмульк, о пиесе, которую тогда играли, потому что хотя я сидел в ложе, но от шуму разговаривающих здешних петиметров ничего не мог слышать, что на театре пели и говорили.

Поехавши из театра, дорогою спрашивал я у своего товарища о достоинстве виденных мною на театре певиц и танцовщиц, и какой ведут они род жизни?

«О! они чрезвычайно хитры, — ответствовал он мне, — в привлекании к себе мужчин, которых очень искусно обирают, и тем обогащаются. Многие богатые купцы делаются от них банкрутами; знатные господа накопливают на себя превеликие долги, а молодые господчики часто совсем разоряются. Хитрость и притворство — наилучшие дарования театральных девок; они притворною наружностию очень искусно умеют прикрывать жадность свою к корыстолюбию. Те, которые многими опытами знают их хитрость, не даются им в обман и не верят притворному их постоянству; но многие неопытные молодые люди и легковерные, ослепленные ими старики часто попадаются в их сети, которых избегнуть очень трудно, потому что эти хитрые женщины умеют принимать на себя всякий вид, какой только захотят.

Ежели театральная девка захочет обманывать старика, то притворяется перед ним, что она ко всем молодым людям чувствует особливое презрение; осуждает безумие тех женщин, которые предаются нескромным вертопрахам; выхваляет благоразумие почтенного мужа, пожилых уже лет, и клятвенно уверяет, что она никогда не может чувствовать истинной любви, кроме как к такому только человеку, который по совершенным своим летам одарен здравым рассудком.

Ежели, напротив того, захочется ей понравиться петиметру, то уверяет его, что всякий мужчина свыше тридцати лет кажется ей очень смешным и что ее прельщают одни только молодые люди. «Как можно, — говорит она, — любить старика и какой вкус наши сестры находят в шестидесятилетнем любовнике?» После сего она перед ним тан-

цует, поет, прыгает и скачет так, что, кажется, все забавы и веселости ее окружают.

Ежели обратит она взоры свои на богатого откупщика, то тут употребляет уже совсем другие уловки. Тогда презирает она всякого, кто не богат. «К чему нужна для нашей сестры любовь молодых господчиков? — говорит она своему любовнику, которого обирает. — Они повреждают только нашу славу, и вместо того, чтоб нам что-нибудь давать на наши нужды, нас еще разоряют. Разумная женщина может ли страстно любить придворного за то только, что он часто бывает при дворе и умеет искусно шаркать по полу ногами, или за то, что он имеет знатный чин? Клянусь тебе, — продолжает она, — что гораздо больше можно чувствовать любви к такому человеку, который щедростию своею может доставить нам счастливую жизнь».

И таким образом очень трудно избегнуть хитрых обманов сих опасных сирен, и ежели кто, по несчастию, попадет в их сети, тот совсем погибает и запутывается в такой лабиринт, из которого почти никогда выйти не может, потому что хитрое притворство, обман, ложные клятвы, притворное отчаяние и обманчивые уверения в вечной любви столько его обольстят, что он сам себя не будет помнить.

Театральные девки имеют отменное дарование и искусство содержать сердца в своих оковах. Ежели приметят они, что спокойное услаждение в любви сделает любовников их не столь чувствительными, то они очень кстати умеют возбудить в них ревность; но делают то с такою хитростию, что нимало не страшатся, чтобы любовники от досады их оставили, потому что после опять очень искусно уверят их совершенно в своем постоянстве. Ежели они усмотрят, что любовники подозревают их в верности, то в одну минуту станут перед ними проливать слезы, и величайшие клятвы будут служить доказательством в страстной любви их; если же слезы их не произведут ожидаемого действия, то предаются они совершенному отчаянию, и покажется, будто бы в состоянии сами себя лишить жизни. Тогда никакой любовник не может устоять против столь ясных доказательств жестокой их страсти; в одну минуту оставляет он все свои подозрения, сам признает себя виновным, что напрасно ее подозревал, и после сего налагает на себя новые, жесточайшие против прежних, оковы.

Сверх того, театральные девки очень хитро умеют разорять своих любовников требуемыми от них подарками, и эту науку знают они во всем совершенстве. Их грабительное искусство имеет особливые свои правила; например: ежели которой-нибудь из них захочется бриллиантового перстня, или платья, или головного какого убора, тогда начнет она искусно выхвалять виденные ею у других своих знакомых такие вещи и потом говорит своему любовнику: «Г. Ветрогон подарил Всемраде перстень; г. Размотай сделал Бесстыде богатое платье. По чести, эти девки очень счастливы, что они ласками своими умели любовников своих довести до того, что они во всем их утешают».

Итак, если любовник ее очень любит и боится, чтобы не упустить ее из рук, то легко понимает, к чему клонятся сии хитрые ее слова, и на другой же день присылает к ней в подарок такое же богатое платье, какое у Бесстыды, и такой же перстень, какой у Всемрады; а сии подарки подают случай другим ее приятельницам вытянуть такие же у своих любовников. Каждая из них очень искусно умеет налагать на своего любовника такие поборы; однако ж при всем том, сколько бы кто для них ни расточал денег, никак не может быть совершенно уверен в искренней любви этих тварей. Они не откажут из всяких рук принимать подарки, лишь только бы был к тому удобный случай; добродетель их нимало от того не постраждет. Однако ж берут они чрезвычайную предосторожность, чтоб обожатели их не узнали о таковых их поступках, потому что не хотят для малого прибытка лишиться того великолепного содержания, которое от них получают; ежели же бывают они уверены, что тайна их никак не может быть открыта, то без дальнего размышления заключают торг с другим, принимают от него тайно определенную цену, за которую условились продать свои прелести, и назначают ему место свидания».

Приездом нашим домой кончились наши разговоры, и я, простясь с моим товарищем, удалился в мою комнату, где довольно размышлял о всем том, что видел и что слышал.

Вот, почтенный Маликульмульк, в короткое время сколько мог я приметить глупостей в здешних жителях. Надеюсь, что скоро откроются передо мною новые предметы, о которых при первом случае не премину тебя уведомить.

ПИСЬМО XX

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Весьма часто, мудрый Маликульмульк, оплакиваю я злополучие смертных, поработивших себя власти и своенравию таких людей, кои родились для их погибели. Львы и тигры менее причиняли вреда людям, нежели некоторые государи и их министры. Скажи, премудрый Маликульмульк, бросался ли когда лев, возбужденный величайшим гладом, на подобного себе льва и раздирал ли его на части для утоления своего голода? Напротив того, ежедневно почти видим мы людей, которые для удовлетворения своего тщеславия, гордости или корыстолюбия жертвуют подобными себе людьми без малейшего угрызения совести.

Не под владением одних только тиранов видимы были целые государства, поверженные в бездну злополучия: много было таких государей, коим хотя потомство приписывает великие похвалы, однако ж они не менее других вреда людям причинили. Нерон выжег Рим для удовлетворения своего бесчеловечия; Юлий Кесарь наполнил кровью и грабительством всю Римскую империю, дабы чрез то показать свое могущество. Не все ли равно для людей, от какой бы причины они ни погибали? Все то, что их истребляет, не может быть им приятно.

Для меня весьма кажется удивительно, премудрый Маликульмульк, что, невзирая на все те бедствия, которые тщеславным Юлием и кровожаждущим Нероном свету причинены были, нашлись в то время столь гнусные люди, которые не устыдились превозносить их великими похвалами, приписывая им пышное название *Великих* и *Победителей*. Сии подлые льстецы не достойны называться именем человека; ибо похвалою своею развращая сердца государей, причиняют чрез то гибель роду человеческому. Желательно бы было, чтоб государи, предузнавая гнусное ласкательство таковых извергов, подвергали их строжайшему и примерному наказанию, а тем избавляли бы многих от несчастия*.

---

* Этот абзац, начиная со слов «Для меня весьма кажется...» и кончая словами «...от несчастия», во втором издании читается так:

«Область, опустошенная тщеславным победителем, не должна ли почитать его чудовищем, рожденным для погибели рода

Монарх, предприемлющий войну для защищения своих областей и для поддержания прав и преимуществ своего народа, есть мудрый отец, обремененный великою семьею детей, коих хранит и оберегает он от ненависти их неприятелей; напротив того, государь, пекущийся единственно о удовлетворении своего тщеславия и убегающий мира для пагубного только удовольствия, чтоб вести беспрестанно войну, наносит более вреда людям, нежели язва и голод. Можно предохранить себя от недостатка в пропитании, выписав хлеб из других земель, от заразительной болезни есть также средство избавиться, удалясь в те места, где оная еще не свирепствует, но тщеславного государя никак избегнуть невозможно. Подобясь ниспадающему с крутизны гор источнику, поглощает он все, что в пути своем ни встречает. Александр гнал людей и на конце вселенной; Карл XII, подражая его примеру, столько же бы, может быть, причинил вреда людям, сколько и сей македонский государь, если б небо, для спасения рода человеческого, не ниспослало в свет мудрого и человеколюбивого государя, который, преобразя души своих подданных, обуздал чрез то пагубное стремление сего надменного врага человечества.

Кажется, что люди тех только монархов называют *Великими*, которые во время своего царствования истребили из них несколько миллионов; напротив того, тем, кои не погубляли рода человеческого, приписывают они только название *Кротких* и *Справедливых*. Бедственное и странное обыкновение!.. Государи истинно *Великие*, следуя их предрассудкам, должны уступать в славе тем, коих мщение правосудных небес употребляет для наказания развращенных человеков, вместо язвы и голода.

человеческого? Кто дал право человеку убивать миллион подобных себе людей для удовлетворения своих пристрастий? В каком установлении естественного закона можно найти, что множество людей должны принесены быть в жертву тщеславию или, лучше сказать, бешенству одного человека? Все сии мнимые герои, которым ослепленные смертные придают пышное название *Великих* и *Победителей*, в глазах истинного философа суть не что иное, как Нероны и Калигулы; разность между ими только та, что сии римские императоры истребляли людей в своих владениях, а те погубляют как своих, так и подданных соседственных государей. *(Ред.)*

Не одно только тщеславие победителей причиняет гибель роду человеческому: корыстолюбие столько же иногда бывает пагубно, как и наикровопролитнейшая война. Гораздо бы было лучше для некоторых государей, чтоб потеряли они половину своих подданных на сражении или при осаде какого города, нежели, собрав их имущество к себе в сундуки, поморить после с голоду. Смерть воина, сраженного во время битвы скоропостижным ударом, не столь мучительна, как смерть бедного земледельца, который истаевает под бременем тяжкой работы, который в поте лица своего снискивает себе пропитание, и который, истощив все свои силы для удобрения земель, видит поля, обещающие вознаградить его обильною жатвою, расхищаемые корыстолюбивым государем; смерть, говорю я, сего бедного земледельца во сто раз жесточае смерти воина, оканчивающего в одно мгновение жизнь свою на сражении. Тщетно бедные подданные стараются скрыть малые остатки своего стяжания от жадности корыстолюбивого государя; определяемые от него надзиратели, сборщики и поставщики пробегают беспрестанно города и селения, и сии ненасытные піявицы высасывают кровь у бедного народа даже до последней капли.

Ревность государей к распространению своего закона не менее причиняла вреда людям, как и другие их пристрастия. Сколько во Франции несчастных принесено было в жертву злости и ненависти бесчеловечных пустосвятов? Государи, предуверенные сими лицемерами, думали, что, убивая людей, не только что истребляли в них своих неприятелей, но и угождали тем самому богу.

Защитники нетерпимости других вер в государстве, для извинения своих бесчеловечий, говорят: «Покоритесь нам; мы, воздвигая на вас временное гонение, устрояем чрез то вечное ваше спасение. Вы суть заблудшие овцы, коих против воли желаем мы возвратить на пажить господню». Жестокие пастыри! можно бы было им сказать — в тысячу раз свирепейшие, нежели наилютейшие звери. Неужели думаете вы свирепством и бесчеловечием преклонить к себе сердца человеческие? Почто гоните вы несчастных, которые как вам, так и обществу ни малейшего зла не причинили? Безжалостные веропроповедники! Между вами и Нероном нет никакого различия: тот посредством огня и меча хотел, чтоб

все люди были язычники, а вы те же самые средства употребляете, чтоб преобратить всех в католиков. Христиане, отступившие от веры, отнюдь не были уверены в тех нелепых идолопоклоннических догматах, которым для избежания смерти они последовали; равным образом протестанты, жиды и лютеране, принужденные для избежания ваших гонений переменить свой закон, гнушаются во внутренности своих душ тем, который наружно они исповедуют. Таким образом темницы, пытки и виселицы принуждают только людей притворно верить тому, чему они не верят. Смеете ли вы, несмысленные и бесчеловечные богословы, утверждать, чтоб мучить людей повелено было вам милосердым богом? Вы не только не ужасаетесь своих злодеяний, но и всевышнее существо представляете столь же кровожаждущим, каковы вы сами.

Я чувствую, премудрый Маликульмульк, что, воспоминая пагубные дела некоторых бесчеловечных законопроповедников, не могу удержаться, чтоб не ощутить к ним величайшего омерзения. Против воли лишаюсь я философической моей твердости, ибо бедствия, причиненные людям суеверием, так велики, что, рассуждая об оных, нельзя быть равнодушну; и для того, прекращая сие письмо, я всячески буду впредь стараться, чтоб удалять от себя столь печальные мысли.

ПИСЬМО XXI

От гнома Вестодава к волшебнику Маликульмульку

У нас, любезный Маликульмульк, час от часу делается больше перемен. Прозерпинины поездки, думаю, со временем во всем аде не оставят ни одной головни на своем месте.

Тебе уже известен несчастный случай с нашими судьями, что двое из них оглохли, а третий сошел с ума. Плутон, видя, что они неспособны более отправлять прежнюю должность, вздумал на время сам сесть на их место; но, не привыкши к судебным делам, он часто запутывался в своих резолюциях и начинал белым, а оканчивал черным, так что

адские приставы, которые отводят души в назначенные места, могли переворачивать его слова, как хотели, отчего у нас завелись превеликие взятки, и тени очень на это жалуются; и адские крючкотворцы, когда захотят, то в силу начала резолюции могут отвести их в рай, а в силу окончания бросить в вечную муку. Я уверен, что в нынешнее время Сократ и Диоген не так скоро попались бы в Елисейские поля, как Крез и Дарий.

Непорядки в делах еще умножает то, что Плутон сделался несколько ленив и вдался в разные забавы. Между прочим он стал великим охотником до живописи. Прозерпина, не знаю, с каким намерением, старается как можно больше отводить его от дел и возбудить в нем разные склонности, которые представляли бы его первым нерадивцем во всем аде. Нередко, когда сказывают ему, что многие тени прибыли с того света и ждут его решений, и когда уже принимается он разбирать их дела, тогда Прозерпина приказывает принести дюжины две бутылок лучших вин, присланных к ней с того света. «Вот, душа моя! — говорит она ему,— напитки, которые в открытом свете употребляются всеми судьями; там часто многие блюстители правосудия того мнения, что лучший способ решить премудро самое запутанное дело есть тот, чтоб прежде опорожнить с полдюжины таких бутылок; это не вино, а премудрость, заключенная в бутылках, и мне нередко случалось видеть секретарей, идущих в приказы с таким тяжелым грузом сей премудрости, что они, не донесши его до приказа, с ног сваливались; но ты, любезный Плутон, бог: тебе не может быть вредна премудрость так, как человеку, а из них многие думают, что для человека разум вреден; итак, ты не откажешь для меня выпить хотя несколько рюмок». Наконец она принуждает его пить за здоровье своих братьев, а потом за здоровье ее и таким образом перебирает всю свою родню по очереди. Бедный Плутон сколько ни отговаривается, но она говорит ему, что в большом свете почитается неучтивостию, если кто за здоровье знакомых откажет напиться допьяна; вследствие сего очень часто наш бог, не успевая пересчитать рюмками все здоровья, спокойно засыпает, ничего не сделав, и весь двор ставит за честь в том ему подражать. Я думаю, любезный Маликульмульк, что ты этому не так станешь дивиться, потому что свойство придворных тебе, как жителю света,

более известно; но что принадлежит до здешних философов, которые видят это в первый раз, то им показался наш двор бешеным домом.

Между тем множество приходящих теней толпятся у двора и ждут решений своей судьбы, но Плутон откладывает оные, не зная как их делать. Марс, думая подслужиться дядюшке своей любовницы, ежечасно присылает к нам новых жителей, однако ж он не знает, что тем только мешает бедному Плутону в его забавах, который то и дело посылает проведывать о здоровье больных судей; но Гален, Эскулапий и Иппократ доносят, что никаких еще нет признаков к их выздоровлению. К Буристону также посыланы были приказы, чтоб он старался поскорей отыскать трех честных и умных судей, по и тот покорнейше уведомляет, что все его поиски напрасны и что он скорее возьмется сыскать трех фениксов, шесть василисков и десять единорогов, нежели одного такого судью, каковы были Минос с его товарищами; а, сверх того, он доносит, что со времени их прибытия в ад сделалась на земле великая перемена, и разум с честностию в превеликой ссоре, так что ныне в свете много можно сыскать добродушных дураков и умных бездельников, но добродетельные мудрецы очень редки, а особливо на судейских стульях. И самому Плутону не хочется, чтоб в Елисейские поля был впущен всякий без разбору и чтоб награждения раздавались по проискам.

Таким-то образом, желая сего избежать, сам Плутон занимался рассматриванием дел, как вдруг вошла к нему Прозерпина. «Любезный супруг, — сказала она ему, — ты уже довольно потрудился и попотел: оставь, пожалуй, этот скучный стул и пойдем лучше на мою половину; я даю сегодня стол, превеликолепный концерт, бал и после театральное зрелище». — «Душа моя, — отвечал, нахмурив брови, важный Плутон, — дай мне окончить хоть несколько дел: ты уже и так причиною тому, что я остался без помощи и должен сам рассматривать дела и самых последних негодяев. Сказывай, — говорил он потом одному италиянцу, — что ты в свой век делал?» — «Я, ваше адское величество, — отвечал римлянин, — сорок восемь лет прыгал выше всех в Европе. Имя мое славно на всех театрах, но дарования нигде не остаются без гонения: из некоторых мест я был вытеснен знатными за то, что получал доходу более

их; один полководец, охотник великий до скачков, чуть было не уморил меня за то, что я вспрыгнул выше его, а некоторый знатный господин, коего сын занимал важное место в государстве посредством проворства своих ног и был первым танцовщиком, не мог терпеть меня за то, что я, показавшись на придворном театре, уничтожил все внимание двора к ногам сего молодого вельможи, после чего и голова его потеряла всю доверенность». — «Но делал ли ты какие-нибудь добрые дела?» — спросил у него Плутон.

«Множество, — отвечал тонконогий Фурбиний: — я, выуча одного бедного дворянина танцовать, сделал тем его счастие, и он посредством танцования дошел, наконец, до великих чинов. Некоторой молодой женщины муж был за взятки посажен в тюрьму и приговорен к наказанию, которое бы, конечно, над ним исполнилось, но я научил ее, каким образом должна она была притти пред вельможу; я расписал ей все шаги и все поклоны; научил, как ей надобно было плакать и какие приятности употреблять в движении рук, так, как то часто делают балетные героини, отчего была она счастлива, половину моим, а половину, может быть, и своим искусством, и мужа ее оставили попрежнему на судейском стуле, где он под покровительством жениных балетных ухваток пользовался, как мог, своим местом. Одна знатная дама выгнала из своего дома молодого любимца; он бросился ко мне, я показал ему все тонкости моего знания, и он, проведав, что бывшая его благодетельница будет на бале у одной госпожи, танцовал на оном с такою приятностию, что она его с балу отвезла опять к себе в своей карете. Я множество делал еще добрых дел: я распространил мое искусство и исполнял свое звание с величайшим рачением, в чем свидетельствовать может то, что ныне многие судьи знают лучше танцовать, нежели судить, и многие молодые воины более имеют духу пропрыгать контрданец или сделать хороший антраша, нежели, оставя балы, итти в поле шагать под военную музыку, которая всегда дерет нежный слух хорошего танцовщика, привыкшего к приятной гармонии менуетов, польских и кадрилей».

«Бросьте сего развратителя благопристойности и нравов, — вскричал Плутон, — танцовать под музыку Эвменид; самые его благодеяния унижают как его самого, так и тех,

кому они оказаны, а пользы свету его скачки очень мало сделали». — «Помилуй, жизнь моя, — сказала Прозерпина Плутону, схватя за руку италиянца: — помилуй, ты заставляешь меня краснеться за себя: ты бог, а, право, менее смыслишь, нежели последний деревенский мужик. Возможно ли так мало уважать редкие дарования этого любезного человека! Право, ты очень гадок с твоими глупыми сантансами. Знай, сударь, — продолжала она, — что ныне весь большой свет танцует и что никакое искусство не почитается столь почтенным, как танцовальное: оно приносит уважение и доставляет богатство и чины. Нередко о том, кто хорошо прыгает контрданцы, заключают, что он может быть искусный воин, и дают ему полк, а самый искусный полководец, который не знает танцовать, почитается невежею. Какой ты, сыщешь двор, где б не было уважено танцованье? а ты, сударь, хочешь подвергнуть наказанию человека, редкого в своем роде, которого одна нога стоит десяти таких голов, какова твоя; итак, я сказываю тебе, что я беру его под свое покровительство, делаю его первым балетмейстером своего двора, и завтра же ты начнешь учиться у него танцовать». — «Разве ты хочешь сделать из меня мальчика, богиня? — вскричал Плутон: — как! мне учиться танцовать! мне быть прыгуном! или ты хочешь меня выгнать отсюда своими попрыгушками?» — «Не выгнать, — отвечала Прозерпина, — а заставить тебя почувствовать, что танцованье всего почтеннее. Я сама, бывши на свете, повседневною была свидетельницею, что хорошего танцмейстера лучше принимают, нежели заслуженного офицера, и что в нынешнем просвещенном свете, вообще, хорошие ноги в большем уважении, нежели хорошие головы».

После такого изрядного объявления бедный Плутон не знал, что делать, и лишился удовольствия наказать тонконогого тунеядца, которому препоручила богиня составить свой двор. Едва окончился их спор, как предстали пред Плутона доктора и доносили его бессмертию, что адские судьи совершенно здоровы: смеются, ходят, пьют и едят, но что двое из них навсегда оглохли, а третий невозвратно лишился ума; итак, куда приказано будет их поместить? Плутона немало обеспокоил сей вопрос, и он не успел еще сделать решения, как предстал пред него один дух, который просил его именем судей, чтобы позволил он им судить попрежнему

тени, что еще в большее привело замешательство бедного Плутона, и он совсем не знал, что делать.

Прозерпина советовала ему, чтоб из уважения к их службе, несмотря на то, что они повредились, оставить их на прежних местах, и что лучше иметь каких-нибудь помощников, нежели самому за все дела приниматься. Плутон, может быть, и сам бы на это покусился для своей живописи, но он боялся Юпитера, которому не преминул бы Меркурий наушничать по своей склонности. Танцмейстер, под покровительством Прозерпины, подал следующий голос: «Ваше адское величество, — сказал он: — хотя я, живши на свете, более прыгал, нежели вмешивался в политические дела, но слух о многих из них доходил до моих ушей, и я несколько успел узнать политические поступки в таких случаях. Мне кажется, что хотя Минос, Радомант и Эак танцовать не умеют, однако я признаюсь, что долговременная их служба уважения достойна, а всего важнее, что между ими есть сын Юпитера, то вам, не обидя батюшки, нельзя сынка отставить от места; также по слабости их нельзя им поручить и отправление важных дел, не подвергнув их тем замешательству, почему остается вам один способ, чтобы, оставя при них прежние их достоинства, не давать им власти, и все дело состоит в том, чтоб приставить к ним умного секретаря, который бы вместо их рассматривал дела, а они бы подписывали то, что он им скажет». Все присутствующие похвалили его предложение, за что отвесил он многим по пренизкому поклону *а ла менует*, которые сделали его в глазах женщин совершенным умницею.

«Ах! какое это сокровище! — вскричала Прозерпина:— если б он вечно рта не отворял, то всякий бы его шаг доказывал, что его умнее никого нет на свете». Сам Плутон должен был признаться, что Фурбиний превеликий политик, и обещал приказать списать с него углем портрет для своей галлереи.

Но чтоб довести свое предложение до совершенства, Фурбиний обещался судей выучить танцовать. «Это очень нужно, — говорил он, — чтоб секретари знали бумаги, а судьи бы хорошо танцовали. В нашем свете, — продолжал он, — такой судья получает покровительство женщин и делает из себя важную особу при дворе. Он виден на всех балах, во всех маскарадах и во всех гуляньях, а между тем

гремит скорыми решениями своих дел. Публика дивится его проворству и расторопности; все вычитают время его упражнения и находят, что он в сутки не более должен спать двух часов. При дворе делают о нем заключение, что это существо произведено целыми веками с тем, чтобы служить украшением двору, делать честь отечеству своими сочинениями и быть славнейшим министром. Все кричат: «Ах, как он хорошо танцует! какой он умница! какой исправный судья! и какой редкий сочинитель!» — но отними у сего чуда природы его секретаря и человека три ученых, которых труды издает он под своим именем, то останется при нем одно танцованье, коим приобрел он такую доверенность».

«Чувствуешь ли ты теперь драгоценность сего искусства, — сказала Прозерпина своему мужу: — и не согласишься ли сам, что непременно надобно из Елисейских полей вытолкать всех древних мудрецов и героев, не умеющих танцовать, а наместо их поместить туда одних танцмейстеров...» Она бы еще далее продолжала, если б не вбежали к ним опрометью наши три судьи.

«Ваше адское величество, — сказал Эак, подошедши к Плутону, — древность моих лет и долговременность нашей службы не такого достойны награждения, чтоб отдать нас на мучение трем палачам, которые едва нас вновь не уморили своими дьявольскими лекарствами, тогда когда мы не чувствуем никакой болезни; разве смеются над нами, что в то время, когда более обыкновенного приходит сюда теней и кучами теснятся на нашей площади, а что всего достойнее уважения, когда сильнейшая охота напала на нас судить, тогда мы заперты в какой-то негодный карантин и содержимся, как бешеные. Или выпустите нас вон из ада, или посадите попрежнему на наши стулья». — «Я тысячу раз виноват пред вами, любезные друзья, — отвечал Плутон, — но мне донесено, что двое из вас оглохли, а ты, Минос, сошел с ума».—«Как! я сошел с ума!—вскричал Минос, который тогда пускал на воздух водяные пузырьки. — Какая ябеда!.. О боги! сделайте, чтоб все мои пузырьки поcели на нос тому, кто называет меня безумным. Если хотите знать, ваше адское величество, — продолжал он, — так я никогда так умен не был, как ныне, в чем свидетельствуюсь тем, что я выбрил бороду, ношу французские кафтаны

и сделался любим многими женщинами, которые прежде терпеть меня не могли за мою угрюмость... Пустите, пустите меня на мой стул; вы увидите, какой новый вид я дам моему суду: все красавицы, которые прежде подвергались здесь штрафу за свои непорядки, и все славнейшие Лаисы нынешнего света будут видеть здесь во мне покровителя, и всякая хорошая женщина впредь может откупаться у меня от наказания тем, чем в открытом свете у судей часто находят они себе покровительство; одни только упрямицы будут мною жестоко наказаны».

«Я хочу быть сама сумасшедшая, — сказала Прозерпина, — если он сошел с ума. Ты сам согласишься, жизнь моя, что он никогда так умно не суживал! Я до сих пор всегда взирала с оскорблением, что здесь хорошим женщинам пред дурными никакого не делается отличия и что наши судьи имели жестокость равнодушно с ними обращаться; напротив того, в просвещенном открытом свете совсем не то. Там прекрасные женщины избавлены от всякой опасности и часто выигрывают самые трудные дела. Красота после золота для многих судей есть второй камень соблазна...» — «А особливо,— перехватил италиянец, — те, которые знают хорошо танцовать, очень сильны в большом свете: они нередко судами ворочают для того, что их не только простолюдимы, но и чиновные боятся».

Плутон со всеми их доказательствами видел, что донос на судей справедлив; но, уважая жену и их службу, сказал, что через шесть часов сделает он решительное определение. Прозерпина и италиянец не мало старались помочь ему своими советами, но, приметя, что он не на шутку занят, ушли все на половину богини, чтобы там открыть бал, к которому и трое судьи приглашены были; и так оставили спокойно рассуждать одного бога теней.

Он недолго ломал голову, каким образом поступить в сем обстоятельстве, и сделал такое дело, которое много произвело шуму в аде. В шесть минут повелением его поставлены были преогромные палаты с надписью: *Чиновная богадельня*, в которых приказал он поставить стулья для судей, одеть их, как кукол, и накласть перед них множество игрушек. Многие тени уставлены по всем лестницам, чтобы судьям кланяться, когда они проходить будут к своим стульям, где попрежнему должны они будут судить теней; но с тою раз-

ницею, чтобы по их приговорам не делать ни одного решения, а чтоб не наделали они каких шалостей, то к сей богадельне приставлен надзиратель с предлинною палкою, у которой на конце навязан пучок крапивы; ею должен он их бить по рукам, если примутся они не за свое дело, а чтобы их более занять, то велено им наблюдать прибыль и убыль в Стиксе, Ахероне и Коците, сочинять о том ежедневную записку, делать свои рассуждения и подавать голоса, чтоб удерживать в берегах их воды, которые и без того из берегов никогда не выходят. Им растолковано, что от них зависит спасение всего ада, и наши бедные судьи беспрестанно ломают голову, чтоб уменьшивать прибыль здешних рек, хотя они никогда не грозят наводнением. Сии-то важные дела занимают ныне наших судей, и они наперерыв стараются подавать голоса и делать примечания. Надзиратель берет оные всегда с уважением и относит к Плутону, который отдает их Прозерпине на завивные бумажки.

ПИСЬМО XXII

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Рассуждая, премудрый Маликульмульк, о многоразличных бедствиях, удручающих род человеческий, нахожу я, что люди во время только сна, сопровождаемого приятными мечтаниями, избавляются на несколько времени от тягостного бремени своих злополучий. Я признаюсь, однако ж, что сон есть подобие смерти, но сие случается только тогда, когда дух и тело погружены бывают в совершенную бесчувственность; если же человек видит во сне приятные сновидения, тогда столь же он бывает благополучен, как и тот, который не спит.

Положим, чтоб человек спал двадцать лет сряду и чтоб беспрестанно снилось ему, что он, будучи сильным государем, берет множество городов, опустошает области и торжествует над всеми своими неприятелями; тогда не столько ли же бы сей сновидящий герой был счастлив, как и наивеличайшие в свете государи? Наслаждаясь мечтательными своими победами, ощущал бы он такое же точно удовольствие, какое чувствовали некогда Юлий Кесарь, Сципион и

Генрих IV, с тою притом разностию, что спокойствие его не возмущалось бы никогда такими злополучиями, какие случились с Помпеем, Франциском I и Карлом XII. Сей спящий и грезящий победитель гораздо бы был благополучнее многих настоящих завоевателей.

Бедный спящий сочинитель великие имел бы преимущества пред тем, который не спит. Ему снилось бы, что публика превозносит до небес похвалами глупые его сочинения и что Расин, Корнелий и Деспро в ученики к нему не годятся. Будучи преисполнен свойственным всем авторам самолюбием, помещает он себя в число славнейших в древности мудрецов, удивляется обширным своим познаниям и восхищается скучными и ничего не значащими произведениями своего пера, но, проснувшись, вся его слава и достоинство мгновенно исчезают. «Счастливый сон! — вскричал бы он тогда, — почто ты не во всю мою жизнь продолжался? Лестное мечтание! для чего ты столь скоро исчезаешь? Не гораздо ли бы было для меня лучше, чтобы я вечно спал и чтобы снились мне беспрестанно такие хорошие сновидения?»

Рассматривая различные состояния человеческой жизни, мудрый Маликульмульк, легко можно приметить, что нет ни одного, в котором бы сон, для составления блаженства оной, был не нужен. Жребий Сатурнов, коего, как тебе известно, Юпитер усыпил посредством некоторого порошка, кажется мне гораздо счастливее, нежели самого Юпитера. Обладатель Олимпа очень ошибся, что не принял сам сего опиума: тогда не был бы он принужден, для убеждения свирепых красавиц, превращаться в различные виды, как сие с ним неоднократно случалось, и не страшился бы ревности жены своей Юноны. Не должно ли почитать безумцем того мужа, который, имея злую и беспутную жену, не захотел бы переменить настоящее свое мучение на приятные сновидения?

Какое счастие последовало бы для всех людей, мудрый Маликульмульк, если б Юпитер открыл им тайну, как составлять сей усыпляющий порошок! Какое бы собрал богатство тот лекарь, который бы ныне оный изобрел, и сколько бы было тогда спящих во всем свете! Рогоносец наслаждался бы сладким покоем, не помышляя о новомодном своем головном уборе; промотавшийся петиметр позабыл бы тог-

да о своих заимодавцах; устарелые девицы, которым незамужество чрезвычайно наскучило, выходили бы во сне замуж за молодых и пригожих женихов; бедный аббат превращался бы в богатого прелата, прелат в кардинала, кардинал пользовался бы мечтательным достоинством папы; а папа мыслил бы о себе, что он победитель и законодатель всего света.

Все европейцы или, лучше сказать, все жители земного шара спали бы без просыпу, ибо что может быть блаженнее для людей, как, избегая тех печалей, которые неразлучно сопряжены с человечеством, наслаждаться хотя мечтательным благополучием?

В каком бы состоянии человек ни был, беспрестанно рождающиеся в нем новые желания лишают его спокойствия, и он никогда не может быть благополучен. Итак, во время только сна человек наслаждается совершенным блаженством. Такова есть участь смертных; они тогда только могут почитать себя счастливыми, когда наслаждаются мечтательными воображениями. Все их забавы сопряжены с печалями; даже и в то самое мгновение, когда исполняются наиприятнейшие их желания, с удивлением ощущают они в себе беспокойство, страх, надежду и все другие страсти, проистекающие от тех же увеселений, которые почитали они чуждыми всяких печалей.

Возьмем в пример любовника, который, по претерпении множества злоключений, соединяется, наконец, с обожаемым им предметом неразрывными узами. Он клянется, что не променяет своего благополучия на обладание престолом всего света и что счастие, которым он наслаждается, превосходит все его желания; но едва лишь только произносит он сии великолепные восклицания, как ощущает в себе страх, дабы не лишиться каким случаем того, что составляет все его блаженство. Слабые смертные! когда все ваши забавы сопровождаются печалями и когда несчастие повсюду за вами следует, то, чтоб быть вам совершенно благополучными, спите лучше и никогда не пробуждайтесь!

Придворный, пользующийся милостями своего государя, какими неисчетными трудами и огорчениями должен снискивать оные? Воин счастливее ли придворного? Можно ли почесть таковым человека, который, для приобретения ничего не значащих почестей, соглашается добровольно быть изуродован? Купец, который не спит ни днем, ни ночью.

который для барыша готов удавиться и который при одном названии *банкрута* от ужаса трепещет, может ли когда быть спокоен? Земледелец, угнетенный тяжким бременем несносной работы, доволен ли своим состоянием? Заставим лучше всех сих несчастных спать, мудрый Маликульмульк, и дадим им способность грезить беспрестанно хорошие сны: тогда-то разве будут они благополучны. Придворный сбросит с себя, угнетающие вольность его, золотые оковы; воин не захочет быть из пустяков изувечен; купец перестанет мыслить о прибытке; земледелец избавится от тяжкой работы. Все они будут спокойны, и все их труды, печали и беспокойства совершенно уничтожатся. Сии люди, которые в жизни своей столь были несчастливы, займутся во время сна приятными сновидениями, которые в грезящем их воображении беспрестанно будут переменяться.

Наконец, премудрый Маликульмульк, ты должен был приметить при начале моего письма, что, говоря о выгодах сна, упоминал я о таком, который сопряжен бывает с приятными мечтаниями и который подает людям некоторое понятие о том спокойствии, коим будут они наслаждаться, переселясь в жилище сильфов; если же сон повергает их в совершенную бесчувственность или представляет им страшные и неприятные сновидения, тогда ничем он не разнится от настоящей, бедствиями наполненной человеческой жизни. Я утверждаю только то, что гораздо выгоднее для людей спать и видеть всегда хорошие сны, нежели наслаждаться всеми увеселениями, сопряженными с состоянием неспящих людей, для того что сии их увеселения смущаемы бывают множеством злоключений и страхом, чтоб по какому-либо случаю не лишиться оных.

ПИСЬМО XXIII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Свадьба моего дорогого Припрыжкина кончилась; он отделился от своего отца, сделался самовластным господином шестидесяти тысяч рублей дохода и носит имя мужа первой во всем городе красавицы. «Счастливое состояние! — скажет кто-нибудь, — иметь богатство и прекрасную жену!»

Я и сам признаюсь, что трудно удержаться, чтоб этого не подумать, видя сию молодую чету; но ты увидишь, любезный Маликульмульк, можно ли это сказать, зная их жизнь.

Свадьба сия продолжалась с таким же великолепием, с каким началась. Как имя невесты и жениха всегда имеет нечто привлекательное и они более других обращают на себя взоры людей, то молодая Неотказа ничего не упустила в нарядах и ужимках, что б могло пленить свидетелей ее свадьбы; равным образом и Припрыжкин не менее старался о женщинах, и они оба столь были заняты наукою нравиться, что им едва оставалось время взглянуть друг на друга. Со всем тем казалось, что они чрезмерно восхищены своим счастием и ничего более не желают, как той минуты, которая кончит их свадьбу. Минута подлинно блаженная! если невеста и жених в первый еще раз оную чувствуют и ею начинается новый человеческий век; но в нынешнем свете и в здешней земле, любезный Маликульмульк, редким девушкам брак кажется новостию: они по большей части такие философки, что во всем находят скучное повторение; и если бывает некоторым из них мило супружество, то, конечно, не новостию, а разве свободою, которую оно с собой приносит.

Между тем как все гости утопали в веселостях, музыка гремела, вины заставляли многих шататься около буфетов, а другие помогали своей непорядочною скачкою расстраивать веселые танцы молодых госпож и господчиков; и между тем, когда казалось, что всякий принимал участие в благополучии новобрачных, хотя у многих карты и вино выбили из памяти и жениха и невесту, я приметил, что она ушла в свою комнату с одной из молодых своих знакомок.

Желая узнать невестино мнение о сем супружестве и заключая, что в таких уединенных разговорах не может быть ничего пустого, скрылся я из гостиной комнаты и, сделавшись невидимым, вошел в уборную молодой Неотказы. Я застал ее с той же незнакомкою, с коею она ушла от гостей, и они обе хохотали, как безумные. «Признайся, любезная Бесстыда, — говорила своей подруге Неотказа, — что изо всех мужчин моего женишка трудно сыскать глупее! Вообрази себе, какое счастие иметь мужем такого фалю, которого в день можно по сту раз обманывать». — «Признаюсь, — отвечала Бесстыда, — что я завидую твоему счастию, а мне так

сватают какого-то урода, которого я терпеть не могу; одно только то, что он умен, делает мне его несносным. Подумай, жизнь моя, сносен ли такой муж женщине нынешнего света: я умру с досады, если батюшка и матушка не переменят своего слова». — «Да, я советую тебе, как можно, отвязаться от такого женишка, — сказала Неотказа, — я не один раз слыхала мнение о замужестве моей матушки (ты ведь знаешь, что старушка моя не дура): она говорит, что если муж и жена умны, то в доме никогда не бывать доброму согласию, для того что никто из них слепым быть не захочет; а когда оба они глупы, то должно ожидать скорого разорения их дому; но чтобы составлять счастливые семейства, надобно неотменно или дурака женить на умнице, или умному брать дуру: тогда-то одна половина может веселиться, а другая, разиня рот, будет ожидать повелений или довольствоваться мнимой властию, между тем как ее за нос водят... Итак, по сему правилу, любезная Бесстыда, без хвастовства сказать, ты видишь, что нам с тобою умные мужья не под пару». — «Сему-то правилу и я бы желала следовать, — сказала Бесстыда, — но, к несчастию, мои старики совсем не такого мнения о супружестве, как твоя матушка, и я думаю, что они бы меня давно уморили своей строгостию, если бы добрая моя мадам не помогала мне их обманывать столько, сколько мне угодно, и я признаюсь, — продолжала она, — что с тех пор, как французы взяли под свое покровительство наше юношество, оно чувствует немалое облегчение в скучной неволе, и всякая наша девушка под присмотром искусной француженки в пятнадцать лет становится хитрее своей матушки, с тою притом разницею, что, насмехаясь всем скучным предрассуждениям своих бабушек, не запинается она совестию на всяком шагу своих тайных приключений. Я сама, будучи постановлена на такой ноге моею надзирательницею, с терпеливостию сносила скучные годы моего девичества; но с того времени, как она от нас отошла, почувствовала я всю строгость родительского присмотра и с великою нетерпеливостию жду какого бы то ни было жениха, надеясь, что супружество, по крайней мере, облегчит мою неволю».

«Не думаешь ли ты, — перехватила Неотказа, — что мне более твоего оказывают потворства? О, как же ты мало знаешь мою матушку! Я думаю, что во всем свете

нет строже этой хрычовки; вообрази себе, что она в день не отпускала меня от себя более, как на два часа, и то только тогда, когда уходила сама в особую комнату с молодым Лицемеровым читать молитвы. Признаться надобно, что я не теряла из сих двух часов ни одного без удовольствия; но со всем тем тайные веселия мне уже наскучили, и ты не поверишь, жизнь моя, какую надобно всегда иметь осторожность от матери: дочери гораздо легче обмануть самого строгого отца, нежели мать, которая сама проходила всю школу света и, помня старину, знает, какие хитрости употребляются для обманов. Если ж она не препятствует своей дочери в некоторых забавах, то это, конечно, не оттого, чтоб не знала к тому способов, но или ленится, или не имеет времени, протверживая очень часто сама веселые зады любовной азбуки». — «Ха, ха, ха! как ты злоречива, — говорила со смехом Бесстыда, — ты не щадишь и своей матушки!»

«Вот какое дурачество! щадить мать! — отвечала Неотказа, — эти старушки думают, что они только одни могут пользоваться всеми веселостями и выгодами нашего пола, а дочери их рождены сидеть в конурках, поститься вместо их и молить за их грехи. О! нет, я всегда вела себя на такой ноге, что мне не только за чужие, но и за свои согрешения умаливать очень мало оставалось времени, да и вперед с таким болванчиком, каков мой будущий муж, не надеюсь я много минут иметь для набожности. Глупый муж, любезная Бесстыда, в нынешнем свете для набожной женщины служит немалым поводом к соблазну. Надобно быть слепою, если не рассмотреть, что мой Припрыжкин глупее всех своих знакомых; что ж касается до его лица, то каков бы хорош жених невесте ни казался, но неделю спустя после свадьбы наверное всякий мужчина в глазах ее будет казаться приятнее мужа. Трудно не видеть, что все мужчины не для чего иного ищут дружества мужа, как желая покороче свести знакомство с женою; они делают ей тысячу услуг, которые принимает он за знак уважения к нему; они за нею машут, а он тем гордится; они почти при нем открывают ей свою страсть, а он, почитая ее второю Лукрецией, восхищается их неудачей и ее мнимою верностию. Надеясь на ее сердце, он спокойно ее оставляет и делает ей многие измены, почитая одних только женщин обязан-

ными в постоянстве; одним словом, он во всем ей верит, почитает ее слепою в рассуждении своих поступок и допускает своих друзей стараться развращать ее в ее мнимой непоколебимости. Надобно, говорю я, жизнь моя! не иметь глаз, чтоб не видать всего этого, и надобно иметь каменное сердце, чтобы сим не пользоваться. Да полно, я на себя не буду пенять в сем случае: я уже давно расположилась, каким образом жить в свете, и мне нужен был только такой простячок, который бы назывался моим мужем и отнюдь не вмешивался бы в мои дела. Судьба услышала мою молитву, и любезный мой Припрыжкин, право, кажется, может быть мужем всякой умной женщине. Изо всех его поступков ни один не показывает в нем умного человека. Кажется, он более занят своими пряжками, нежели мною и нашею свадьбою; а это мне подает добрую надежду, что он чаще будет смотреть за своею каретою, нежели за своею женою».

После сего продолжали они с язвительнейшими ругательствами и насмешками описывать всякую черту бедного Припрыжкина. Молодая Неотказа выдумывала планы своему хозяйству; назначала из мужнина гусара, малого рослого и довольно пригожего, сделать главного правителя домашних своих дел, а из мужа дворецкого; и я имел причину думать, что бедному Припрыжкину не только не удастся с танцовщицею поделиться жениными доходами, но едва ль и своими собственными всеми пользоваться ему дозволят.

Они бы еще долее продолжали свои рассуждения, если бы не вскочил в комнату молодой господчик, одного покроя с г. Припрыжкиным: тупей его наполнил новым благоуханием всю комнату, блестящие пуговицы умножили в ней свет, и казалось, что сама Арахна трудилась над его манжетами.

«Жестокая! — сказал он Неотказе, так ты мне изменяешь, и мой *риваль* предпочтен мне, в то время когда я уже совсем разорился на щегольство, единственно для того, чтобы тебе нравиться».

«Перестань дурачиться, любезный Промот! — сказала Неотказа: — ты подымешь в моей голове *вапёры* своими восклицаниями... Ты, право, сам не знаешь своих выгод, когда жалеешь о том, что я выхожу за Припрыжкина».

«Нет, неверная, — отвечал с досадою ее любовник: — мне уже не жаль тебя; но жаль своих трех тысяч душ крестьян, которые *продепансировал* я на то, чтоб тебе угождать,

надеясь загладить некогда сей убыток твоим приданым. Познай, бесчеловечная, — продолжал он с трагическим восклицанием, показывая ей правую руку, усеянную перстнями: — познай, что на этих пальцах сидит мое село Остатково; на ногах ношу я две деревни, Безжитову и Грабленную; в этих дорогих часах ты видишь любимое мое село Частодававо; карета моя и четверня лошадей напоминают мне прекрасную мою мызу Пустышку; словом, я не могу теперь взглянуть ни на один мой кафтан и ни на одну мою ливрею, которые бы не приводили мне на память заложенного села, или деревни, или нескольких душ, проданных в рекруты, дворовых. А всему этому ты причиною, и ты за всю мою любовь платишь мне неверностию; но какою еще неверностию, жестокая! Я бы тебе позволил тысячу раз мне изменять, но только бы не выходить за другого».

«Ах! как же ты скучен, — отвечала Неотказа, — ты пришел меня уморить своими выговорами. (Заметь, любезный Маликульмульк, что подруга ее давно уже вышла.) Скажи, пожалуй, какие находишь ты выгоды в нашем супружестве? Подумай, можно ли мне одним моим приданым содержать пышно и себя и мужа; не гораздо ли лучше, если я награжу твой убыток из Припрыжкиного имения. Ты дурачишься, жизнь моя! если не хочешь пользоваться его доходами, имея столько разума, что можешь не с одним мужем делиться. Оставь, пожалуй, свой томный вид и подумай лучше, как бы поскорей после нашей свадьбы познакомиться с моим мужем; он, право, человек неопасный, и мы можем с тобою так же быть счастливы, как были прежде; беда только вся в том, что я не буду твоею женою, но это не так-то жалко: ведь жена не всякая приносит с собою чины мужу, а мне мой муж приносит верную выгоду называться графинею».

«Итак, ты мне не изменяешь! — вскричал с радостию Промот: — ты меня любишь! Когда так, то, пожалуй, выходи за Припрыжкина; после этого объявления никакой муж мне не страшен... Любезная Неотказа! теперь я познаю, что ты редкая женщина в постоянстве».

«Конечно, — отвечала Неотказа, — будь уверен, жизнь моя! что мужа я всегда иметь намерена; но тот, кто мне мил, никогда не будет моим мужем. Если б я и овдовела, то ты не прежде можешь назвать меня неверною, как разве тогда, когда предложу я тебе мою руку: это будет ясный знак, что

мне уже не ты, но одно твое имя нужно». После сего уверения она доказывала всеми способами к нему свою любовь и старалась, как могла, его утешить.

«Бедные мужчины! — думал я сам в себе. — Вот та власть, которая, по вашему мнению, дана вам природою над женщинами, и вот верность, которую вы имеете право от них требовать! Продолжайте думать, что женщины не для чего иного выходят за вас замуж, как для того, что вами страстны и желают спокойствия под вашими законами. Продолжайте думать, что им необходимо надобны мужья, чтоб предводительствовать их слабым умом и утушать в них худые склонности; и что они в вас ищут приятных друзей, нежных отцов и верных любовников. Продолжайте наслаждаться столь лестною мечтою, а между тем, рабствуйте им, нимало не примечая своих оков. Думайте, что вы их господа, и будьте их игрушкой. Говорите, что их жизнь и счастие от вас зависит, но в то же самое время просите от них робким взором своего счастия, а иногда и самой жизни.

Не показывает ли вам сей пример, что они не для чего иного ищут носить ваши имена, как желая употреблять оное во зло, чтоб избавиться от строгости родителей, которые сами часто думают, что исполнили со всею святостию свой долг, если дочь их до замужества была честною девушкою, и никогда не заботятся о том, чтоб была она честною женою; а молодые женщины, сделавшись свободными, последуют в верности примеру своих мужей, которые едва не первые ли бывают развратителями их добродетели, и я не знаю, почему мужчины не почитают себя столько же обязанными в верности, сколько требуют того от женщин. Кажется, всякий муж своими поступками говорит своей жене: «Ты не столь пылкого сложения, как я; твой разум основательнее моего; ты не так легковерна и скора; сердце твое не так нежно, и чувства твои не столь склонны к утехам; а для того ты должна подавать мне пример в верности и извинять тысячу измен, которые я тебе делаю, слабостию и легкомыслием моего пола, и приписывать то свойственной всякому мужчине ветрености». Вот что думают и говорят мужчины; но едва ль не женщины имеют право это сказать.

Я еще продолжал мои рассуждения, как вдруг вошла в комнату мать Неотказы и очень была недовольна гостем, которого застала у своей дочери. Он не замед-

лил выйти и оставил бедную Неотказу с своею матерью. Я опасался, чтоб не последовало какого жалостного явления; но дело все прошло очень тихо. Горбура только побранила свою дочь и дала ей свои матерьние советы в рассуждении ее поведения.

«Не стыдно ли тебе,— говорила она ей, — что в твои лета ты так глупа, как робенок, и накануне своей свадьбы делаешь такие дурачества, которые могут и тебя и мать твою ввести в великие хлопоты? Такое ли давала я тебе наставление? Не говаривала ли я тебе, что ты до замужества должна быть ангелом, а после того будь хоть дьяволом, если захочешь: тогда уже ничто тебе не грозит век засидеться в девках; к счастию, что твой жених теперь, танцуя, давно позабыл о тебе, что ты ушла из комнаты; ну, если бы он, приметя это, вздумал подозревать, пошел бы сюда за тобою и нашел бы тебя с товарищем, который и лучшему мужу может подать подозрение; посуди, что б из этого вышло? Ты была бы оставлена; свадьба бы ваша разорвалась, и нам всем нанесло бы это стыд и бесчестие. Любезная Неотказушка! я люблю тебя; но, воля твоя, до замужества не дам тебе шалить. Покуда ты в девках, то я за тебя отвечаю; вышедши замуж, делай себе, что хочешь, тогда уже никто меня не может упрекнуть в твоем поведении, и каково бы оно ни было, мужчины все тебя извинят, а из женщин одни только твои соперницы поносить тебя станут. Мы сами бывали молоды; но в старину всегда более расчету держались: тогда девушку до ее замужества редкие видали, и всякая из них не выезжала из двора иначе, как разве показать свою набожность. Впрочем, мы сиживали дома по десяти месяцев, в которые бог знает, что с нами делывалось; однако ж со всем тем ко всякой из нас сватывалось множество женихов: столько-то мы казались добродетельными; а в нынешнем свете так, право, и самая честная женщина кажется подозрительной.

Я было тебя совсем по старине воспитывала и радовалась, что слышала о тебе многие похвалы, которые не давала тебе опровергать твоею ветреностию, и хотя ты, может быть, не всегда была их достойна, но самолюбие мое, извиняя слабость нашего пола, довольствовалось и тем, что публика была о тебе хорошего мнения, которое чуть было ты ныне не истребила своей неосторожностию. Воздержись, любезная Неотказа! тебе еще восьмнадцать лет; подумай хоро-

шенько, что ты завтра будешь самовластною госпожею и можешь наградить те скучные семь лет, в которые, может быть, чувствительно тебе было мое надзирание, тридцатью годами и более веселой жизни». Неотказа, поблагодаря свою добренькую матушку за такие спасительные советы, обещала ей вечно быть добродетельною, и обещала то с таким жаром, который и меня уверил, что она двадцать восемь часов не переменит своего слова. После сего они вышли из комнаты к гостям, которые едва приметили их приход, равно как и выход.

Лишь только окончились свадебные обряды, как Неотказа, воспитанная в экономии, вздумала принять в свое правление дом. Припрыжкин, почитая в ней простую женщину, которая займет у него место ключницы, был ей рад, как кладу; но она так, как исправный казначей, умела пользоваться своим местом, и я увидел, что он очень ошибся в двадцати тысячах, которые обещал танцовщице. Из экономии всякая истраченная им полушка исправно ставится на счет, и бедный Припрыжкин очень дурно получает свои доходы. Неотказа ласковыми своими с ним поступками и своим против его притворством довела его до того, что он ей не смеет и заикнуться о больших деньгах и нередко очень негодует на ее экономию, между тем как она не только свои, но и его доходы делит пополам с Промотом, который вкрался к Припрыжкину в совершенную дружбу.

«Ну, любезный друг! — сказал я ему недавно, — доволен ли ты теперь своею женитьбою?» — «Нет, чорт меня возьми, — отвечал Припрыжкин: — я нимало ею не доволен; я думал получить в жене молодую женщину нынешнего света, которая бы с удовольствием мне помогала проживать имение, но судьба наказала меня самою скучною половиною. Моя жена воспитана в предрассуждении женщин; она за грех ставит издержать лишнюю копейку; по ее мнению, самое святое дело есть то, чтоб избегать роскоши, быть верною и усердною к своему мужу и беречь, чтобы и он ей был верен; а это заставляет ее часто удерживать меня дома, ибо с красотою моею, как она говорит, в нынешнее время очень опасно показываться в обществах, когда женщины ищут всех способов соблазнять мужчин; итак, в ее угодность я нередко просиживаю по целому дню дома, между тем как она объезжает богадельни и больных своих

знакомых; часто усердие доводит ее до такого восторга, что она приезжает домой вся в поту и с помутившимися глазами; я, право, боюсь, чтоб возле ее и я не сделался набожным. Впрочем, я ею доволен и, по крайней мере, надеюсь, что мой лоб избавлен от общей участи почти всех мужей нынешнего века».

Вот что говорит Припрыжкин о своей жене, любезный Маликульмульк, но ты можешь отгадать, верю ли я его словам и набожности его любезной супруги.

ПИСЬМО XXIV

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Примечено мною, почтенный Маликульмульк, что в гражданском обществе всего легче дается людям такое название, которое очень немногие из них заслуживают и которое должно бы быть больше уважаемо, ежели бы люди поприлежнее размышляли о потребных для сего названия достоинствах. Люди всего чаще говорят: *вот честный человек*, а всего реже можно найти в нынешнем свете такого, который бы соответствовал сему названию.

Великая разность между *честным человеком*, почитающимся таковым от философов, и между *честным человеком*, так называемым в обществе. Первый есть человек мудрый, который всегда старается быть добродетельным и честными своими поступками от всех заслуживает почтение; а другой не что иное, как хитрый обманщик, который под притворной наружностию скрывает в себе множество пороков, или человек совсем нечувствительный и беспечный, который хотя не делает никому зла, однако ж и о благодеянии никакого не имеет попечения. Я в том согласен, почтенный Маликульмульк, что приличнее называть *честным человеком* того, который содержит себя в равновесии между добром и злом, нежели того, который явно предается всем порокам; но оного еще не довольно для получения сего названия, чтоб не делать никому зла и не обесславить себя бесчестными поступками, а истинно *честному человеку* надлежит быть полезным обществу во всех местах и во всяком случае, когда только он в состоянии оказать людям какое благодеяние.

Ежели рассмотреть прилежнее, мудрый Маликульмульк, различные состояния людей и войти в подробное исследование всех человеческих слабостей и пороков, которым люди нынешнего века часто себя порабощают и кои причиняют великий вред общественной их пользе, то можно увидеть очень многих, которым щедро дается название *честного человека*, а они нимало того не заслуживают.

Придворный, который гнусным своим ласкательством угождает страстям своего государя, который, не внемля стенанию народа, без всякой жалости оставляет его претерпевать жесточайшую бедность и который не дерзает представить государю о их жалостном состоянии, страшась притти за то в немилость, может ли назваться *честным человеком?* Хотя бы не имел он нималого участия в слабостях своего государя, хотя бы не подавал ему никаких злых советов и хотя бы по наружности был тих, скромен и ко всем учтив и снисходителен, но по таковым хорошим качествам он представляет в себе *честного человека* только в обществе, а не в глазах мудрых философов, ибо, по их мнению, не довольно того, чтоб не участвовать в пороках государя, но надлежит к благосостоянию народа изыскивать всевозможные способы и стараться прекращать всякое зло, причиняющее вред отечеству, хотя бы чрез то должен он был лишиться милостей своего государя и быть навсегда от лица его отверженным.

Богач, который неусыпными стараниями, с изнурением своего здоровья, собрал неисчетное богатство и наполнил сундуки свои деньгами, не подавая бедным нималой помощи, хотя все сии сокровища приобрел позволенными способами, однако ж *честным человеком* назваться может только в обществе, в глазах же философа почитается он скупцом и скрягою, нималого почтения честных людей недостойным.

Мот, который расточает свое имение с такою же прилежностию, с какою скупой старается его сохранять; который то употребляет на роскошь, что должен бы был употреблять на вспоможение несчастным; который живет в изобилии, не чувствуя нималого сострадания к бедности многих от голода страждущих, коим мог бы он сделать немалую помощь, — такой безумный расточитель, ежели на роскошь свою употребляет только свои доходы и не имеет на себе долгов, в обществе называется *честным человеком*, но философы таким его не почитают; а он в глазах их хуже диких

варваров, которые и о скотах более имеют соболезнования, нежели он о подобных себе человеках.

Надменный вельможа, думающий о себе, что знатное его рождение дало ему право презирать всех людей и что, будучи сиятельным и превосходительным, не обязан он оказывать никому нималого уважения и благосклонности, если платит хорошо своим заимодавцам, если не поступает мучительски с своими подчиненными, а только их презирает, и если при исполнении возложенной на него должности не притесняет народ, правлению его вверенный, то в обществе называется *честным человеком*; но философы почитают его таким, который поступками своими оскорбляет человечество; который, будучи надут гордостию, позабывает и самомалейшие добродетели; не познает самого себя, и его безумное тщеславие столь же порочно и предосудительно, как зверская лютость дикого американца.

Многие разумные люди утверждают, что гораздо сноснее быть умерщвлену, нежели презираему, ибо смерть оканчивает все мучения, а к презрению никогда привыкнуть невозможно, и чувствуемое от оного мучительное оскорбление час от часу непрестанно умножается. Чем более кто питает в себе благородных чувств, тем сносимое от других презрение бывает для него мучительнее. Итак, сего высокомерного и гордого вельможу должно почитать чудовищем, которого небо произвело на свет для испытания добродетели и кроткой терпеливости простых людей, ему подчиненных.

В обществе также называется *честным человеком* тот судья, который, не уважая ничьих просьб, делает скорое решение делам, не входя нимало в подробное их рассмотрение; но философы не думают, чтоб единого токмо старания о скорейшем решении судебных дел было довольно для названия судьи *честным человеком*; а, по их мнению, надлежит, чтоб он имел знание и способность, нужные для исполнения его должности. Судья хотя бы был праводушен и беспристрастен, но производства судебных дел совсем не знающий, в глазах философа тогда только может почесться *честным человеком*, когда беспристрастие его заставит его почувствовать, сколько он должен опасаться всякого обмана, чтоб по незнанию не сделать неправедного решения, и побудит его отказаться, от своей должности. Ежели бы все судьи захотели

заслужить истинное название *честного человека*, то сколько бы присутственных мест оставалось порожними! И если бы для занятия сих мест допускались только люди, совершенно достойные, то число искателей гораздо бы поуменьшилось.

Чтоб быть совершенно достойным названия *честного человека* и чтоб заслужить истинные похвалы, потребно сохранять все добродетели. И самый низкий хлебопашец, исполняющий рачительно должности своего состояния, более заслуживает быть назван *честным человеком*, нежели гордый вельможа и несмысленный судья. Тот, кого называют *честным человеком*, должен не только стараться делать добро, но и при делании оного приемлет надежнейшие меры: он прилежно себя испытывает, переменяет свои поступки, ежели хотя немного что приметит в них предосудительного, и слагает с себя все знатные и важные должности, сколько б ни были они для него драгоценны, как скоро приметит, что он не имеет в себе потребных к тому способностей и не может возложенных на него должностей исполнять с пользою.

Итак, видя, сколь немногие люди заслуживают истинное название *честного человека*, надлежит не только удивляться, но и соболезновать о всем роде человеческом, который по природе порабощен столь великим слабостям. Люди должны бы стыдиться бедственного своего состояния, что в свете между ними столь мало находится истинно добродетельных и достойных заслуживать от философов название *честных людей*. По справедливости надлежит сказать, почтенный Маликульмульк, что гораздо более таковых можно найти в простых людях, не прилепленных ни к придворной, ни к статской, ни к военной службам, ибо, будучи обременены немногими должностями, гораздо менее имеют они затруднения учиниться истинно *честными людьми*. Сколько благополучен тот, кто подобно тебе, почтенный Маликульмульк, затворясь в своем кабинете, беседует с искренними своими друзьями, коих у него весьма мало; живет доволен своею участию и не завидует знатным чинам, кои редко бывают сопряжены с истинным достоинством и в коих почти невозможно совершенно исполнять всех нужных добродетелей, потому что в знатных чинах требуется оных великое множество.

Конец первой части

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПИСЬМО XXV

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Часто случается, почтенный Маликульмульк, что люди всякого состояния имеют в жизни своей такие часы, когда бывает им очень скучно; они приходят в задумчивость и впадают так как бы в некоторую болезнь, подобную меланхолии; тогда нужно им какое-нибудь лекарство или какой-нибудь способ к разогнанию их задумчивости.

Величайшее искусство в знании сего лекарства состоит в том, чтоб знать совершенно нрав и склонности страждущих сею болезнию. Есть люди, которые почти не имеют в себе души и, кажется, составлены из одной только вещественности. О таковых, ежели бы спросили моего мнения в случае их задумчивой болезни, то я посоветовал бы возить их в карете или в каком-нибудь другом экипаже на разные гуляния. Петиметру подал бы я совет, чтоб он скакал во весь опор по улицам, обрыскал бы все публичные собрания и как можно больше вертелся бы и прыгал; молодой девушке, чтоб приманила она к себе побольше волокит и выслушала бы их любовные изъяснения; старухе, чтоб ворчала она на молодых и бранила бы все их веселости; госпоже, чтоб дралась с своею служанкою, а придворному, чтоб шаркал подолее во дворце.

Все искусство докторов над больными такого рода состоит только в том, чтобы уметь различать их склонности,

по которым в одну минуту можно узнать причину их болезней. Вместо того, что доктора, следующие правилам Иппократа и Галиена, щупают у своих больных пульс и смотрят язык, оные доктора, умеющие пользовать сих скучных и задумчивых, узнавали бы их болезнь по разным их поступкам; то есть у мужчин, каким образом на ком надет парик, как кто причесан, какую имеет выступку, какие ужимки, как изгибается в поклонах, каким манером открывает табакерку и нюхает табак; а у женщин, как у которой приколона ленточка, каким образом надет головной убор, какое движение делает она головою, как покусывает себе губы, прищуривает глаза и повертывает опахалом. Они в одну минуту проникли бы, от какого источника проистекает их болезнь и какие предписать им лекарства. Ежели бы в большом городе увидели они какую красавицу в скуке и задумчивости, то узнали бы тотчас, что она скучает быть вместе с своим мужем и что ей непременно нужно предписать частые прогулки. А если бы увидели другую красавицу в деревне, худеющую и почти умирающую от скуки, то одного на нее взгляда довольно бы было, чтоб узнать, что ей надобно предписать городской воздух и частые посещения театральных позорищ, маскарадов и всех публичных собраний.

Вот каким образом должно поступать с этими бездушными машинами, которых в людских сообществах находится великое множество. Но употребление сего способа совсем не годится для людей, одаренных разумом и здравым рассудком, для таких, например, каков ты, почтенный Маликульмульк, то есть для истинных любомудров, прилепляющихся к полезным наукам, которые сходствуют с обыкновенными людьми одним только телесным составом, из коего дух их, подобно как из темницы, не мог еще освободиться. Люди сего свойства, будучи редкими во всех своих чувствах, состоят на земле совсем в особенной от других степени. Они кажутся другим людям во всем чудными, потому что весьма отличаются от них как в образе мыслей и в разговорах, так во всех своих поступках и даже в одежде. Они и в самых обыкновенных человеческих действиях поступают совсем иначе, нежели как то делают простые люди; и потому-то невежды ввели в пословицу о таких людях говорить, что «нет никакого высокого разума, который бы не имел в себе какой-нибудь глупости». Но можно ли безумцам судить о мудрецах? Сии муд-

рые люди были бы почтены во всем им подобными, ежели бы поступками своими не отличались.

Различие сих мудрецов от обыкновенных людей простирается даже до самых увеселений, нужных для сохранения их здоровья. Ученые избирают для своей забавы совсем другие предметы, нежели какие бывают избираемы невеждами, коими наполнены города и другие селения. Они смертельно скучают тем, что других чрезвычайно увеселяет; зевают при слышании наилучших музыкальных концертов; засыпают от пустых и ничего не значащих разговоров; и внутренно терзаются, увидя играющих в карты или в другие какие игры. Все сии забавы нимало их не утешают потому, что оные кажутся им низкими и недостойными того, чтоб занимались ими разумные создания; а они, для разогнания своей скуки, обыкновенно избирают такие предметы, которые могут доставить приятное упражнение их разуму. Мудрая их душа находит себе забаву и получает свое отдохновение только тогда, когда они от вышних наук обращаются к посредственным.

Мудрецов, углубляющихся в таинственные науки, в перемене их упражнений можно уподобить пьяницам в перемене их напитков. Сии последние, приобыкши всегда пить водку и другие самые крепкие напитки, думают о себе, что они тогда очень воздержны, когда наместо крепких напитков употребляют виноградное вино или какую-нибудь наливку. Так точно и мудрецы, сделав привычку углубляться в рассматривание стихийного мира и иметь сообщение с сильфами и гномами, почитают всякую низшую пред сею науку невиннейшею своею забавою.

Я сам, почтенный Маликульмульк, имею такой же вкус, те же самые употребляю способы для возбуждения в себе веселости. Наместо философической *каббалистики*, которая бывает обыкновенною нашею пищею, прилепляюсь я к *каббалистике иудейской*. Для нас она совершенная игрушка: тут нужно только выучить четыре или пять таинственных азбук. Как скоро узнаешь все находящиеся в них буквы и будешь уметь складывать и переворачивать их разными способами, — одним словом, как скоро научишься посредством сих азбук порядочно читать составленное из их букв, тогда никакие тайны в природе не могут быть сокрыты.

Но я тебе признаюсь, почтенный Маликульмульк, что из всех азбук *иудейской каббалистики* есть самая любопытнейшая и забавнейшая азбука *небесная*: в ней каждая звезда представляет букву, сии звезды различными своими положениями составляют слова, из коих каждое означает в небе какое-нибудь определение или оракул, дающий решение всему тому, что делается на земле. Итак, если кто умеет читать сию прекрасную книгу, тот может познавать все человеческие деяния и проницать даже в самые сокровеннейшие тайны. Тут можно видеть, что происходит в кабинетах вельмож; что делается у запертых в комнатах вертопрашек; что бывает на улицах и даже в самых глухих переулках. Какие иногда представляются чудные и смешные зрелища! Как люди счастливы, что немногие знают сию таинственную *небесную азбуку* и не могут ее читать открытыми глазами.

А как я очень искусен в этой науке, то для меня нет никакого другого приятнее сего упражнения. Поелику каждое созвездие управляет различными странами света, то я с помощию их часто прогуливаюсь из Европы в Азию, из Китая в Гишпанию, и нередко случается, что в одну светлую ночь я вижу все то, чем может удовольствовано быть мое любопытство. В одном месте я вижу философа, который, ежедневно преподавая людям наставления о презрении богатств, сам внутренно терзается завистию, видя у соседа своего, богатого откупщика, огромный дом и великолепный сад. В другом месте усматриваю я знатного вельможу, который, гордясь пред всеми пышными своими титулами и знатным происхождением, обращается с подлыми потаскушками в сластолюбии и проводит время с хитрыми обманщиками в игре. Чрез минуту потом рассматриваю я состояние Парнаса и смеюсь над некоторыми марателями бумаг, которые жалуются на дурной вкус в чтении нынешнего века людей и думают о себе, что они очень умны и что все сочинения их прекрасны. Таким-то образом представляются моим взорам различные зрелища; предо мною предстоит огромный театр с великолепнейшими украшениями, на котором действующие лица всякого состояния: и цари, и придворные, и статские, и военные, и пастухи, и крестьяне играют различные роли во всем совершенстве, очень сходно с природою.

Я знаю, что многие невежды будут насмехаться над сей

каббалическою наукою и станут уверять, что это одна только выдумка; что из звезд можно сделать всякие буквы, какие захочешь, и составлять из них такие слова, какие вздумается; но им в ответ можно бы было сказать, что они то думают потому, что некоторые из них очень часто, основывая мнения свои на одних только догадках, наверное утверждают о таких делах, которые совсем неверны. Например: в одном собрании, в разговорах решительно располагают войною и миром, выводят войска в поле, поражают неприятелей, одерживают страшные победы и, наконец, предсказывают, что чрез год случится, и чего совсем быть невозможно. В другом собрании делают утвердительное решение о добродетелях и пороках всех людей; уверяют, что такой-то купец сделался банкрутом дурным своим поведением, что такой-то получил чин чрез разные хитрости и обманы и подлым угождением министру; или что такая-то госпожа ласкает своего мужа притворно; но если спросить: известны ли первым мысли государя, предприятия министра и кабинетские расположения о войне или о мире? а вторые рассматривали ли счеты обанкрутившегося купца, точно ли знают все хитрости произведенного в чин господина и входили ли во внутренность сердца той госпожи? — Совсем нет!.. главные причины того, о чем они делают решительные утверждения, совершенно им неизвестны; но выводимые ими из оного следствия почитаются самою истиною.

Сие привело мне на память, почтенный Маликульмульк, что некогда между учеными предложена была на решение задача: которая наука всех нужнее в свете и которую люди более уважают? Одни говорили, что то богословие; другие, что—юриспруденция; большая же часть утверждали, что всех важнее медицина. Все они думали иметь на своей стороне справедливость. Повсюду люди хотят, чтоб другие следовали их мыслям; или в самых сомнительных делах подают свои советы тогда, когда о том совсем их не просят; или думают, что имеют верные лекарства от всякой болезни. Что до меня, почтенный Маликульмульк, то я мог бы утвердительно сказать, что *иудейская каббалистика* пред всеми другими науками имеет преимущество. Но в нынешнем свете почти нет ни одного человека, который не был бы *каббалистом* в суждений о своем ближнем. Ныне почти каждый, располагая по собственному своему пристрастию, о

всяком делает утвердительные решения, и хотя дела его и поступки совершенно ему неизвестны, однако ж он всех уверяет, что говорит самую истину.

ПИСЬМО XXVI

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

Третьего дня, любезный Маликульмульк, перелетел я в ближний остров из старого, в котором был прежде. Нетерпеливость удовольствовать странное желание Плутона принудила меня сделать немалый скачок; но я думаю, что и еще триста таких скачков не наведут меня на желаемую находку.

Со всем тем, не совершенно отчаяваясь, на сих днях утром прохаживался я по одной из знатнейших улиц здешнего города и вдруг увидел перед собою великолепный дом, у коего было многочисленное собрание народа, желающего туда войти. Множество изуродованных стариков старались перегнать здоровых, и хромые, припрыгивая на своих костылях, завидовали безруким, которые их выпереживали. Между тем, полдюжины сильных лошадей привезли небольшой ящик, в котором, как показалось мне, положена была человеческая фигура из разных цветов мрамора.

«Боже мой! — сказал я моему хозяину (он делал мне честь, прохаживаясь со мною), — или ваши лошади очень слабы, или жители здешнего острова безрасчетны, что впрягают шесть таких сильных тварей под одну каменную статую, в которой весу не более двадцати пяти пуд».

«О какой статуе изволите вы говорить?—спросил у меня хозяин: — здесь не вижу я никакой статуи, — продолжал он, — а этот табун лошадей привез сухощавого человека, в два аршина и два вершка ростом, в коем весу не более сорока шести или осьми фунтов». После сего еще другие табуны лошадей, подвозя таких же чудных творений, пылили своим топотом глаза нескольким бедным людям, кои тащили на себе превеличайший камень к строению какого-то публичного здания.

«Государь мой! — сказал я моему хозяину: — пожалуйте, растолкуйте мне это странное обыкновение: для чего

здесь множество лошадей возят на себе одного человека, который, как я вижу, сам очень изрядно ходит; а, напротив того, тяжелый камень тащат столько людей, сколько числом и лошадей поднять его едва в силах? И не лучше ли бы было, чтобы, отпрягши от этих ящиков хотя по нескольку бесполезно припряженных лошадей, употребить их на вспоможение этим беднякам везти камень?» — «Я не знаю, сударь, — отвечал хозяин, — почему здесь десять человек тянут часто ста по два пуд и почему шесть лошадей тащат машину с руками и с ногами в шестьдесят фунтов; но то знаю, что всякий из сих надутых тварей почтет себе величайшим оскорблением, если отпречь хотя одну лошадь от его ящика, и что многие из здешних жителей мучатся по пятидесяти лет и более только для того, чтобы нажить шестерку лошадей, которая бы таскала их истощившуюся мумию».—«Но какая выгода сих господ, — спрашивал я, — перед теми, коих возит одна пара?» — «Та, — отвечал он, — что они нередко, пользуясь своей шестернею, сминают их на дороге; а притом и все пешеходцы отдают всякой шестерне всевозможное уважение и уступают скорее дорогу для того, что она одна, проезжая мимо их, может вдруг десятерых забрызгать грязью с ног до головы. Посмотрите, как все прохожие у этого дома теснятся и мнут друг друга, чтобы не быть задавленным прискакивающими ежеминутно табунами».

«Вижу,—отвечал я:— но скажите мне, какое здесь собрание и что это за дом?.. Не храм ли?» — «Нет». — «Не театр ли?» — «Нет». — «Так не аукционная ли комната?» — «И то нет», — отвечал мне хозяин: — а все это вместе. Храмом можно назвать этот дом потому, что всякое утро бывает в нем поклонение живому, но глухому и слепому идолу; театром потому, что здесь нет ни одного лица, которое бы то говорило, что думало, не выключая и самого сего божества; а аукционною комнатою потому, что тут продаются с молотка публичные достоинства. Итак, некоторые из сего народа, бродящего в комнатах и на крыльце, приехали сюда для того, чтобы сделать поклонение сему идолу и потом надуться гордостию, если он хотя нечаянно на них взглянет; другие затем, чтобы с улыбкою уверить его о своей дружбе тогда, когда стараются они ископать для него тысячу погибелей; а третьи прискакали с поспешностью, чтобы набивкою цены перехватывать друг

у друга публичные места, которые его секретарь и старшая любовница продают с молотка во внутренних своих комнатах. — Теперь вы видите, — продолжал он, — что это дом знатного барина; а правда ли то, что я вам говорил, то если вы туда войдете, вся эта толпа будет вам служить очевидным свидетелем». — «Но когда можно туда войти?» — спросил я. — «Вы еще и теперь успеете, — отвечал он, — на дворе очень рано, сюда только что начали съезжаться, вот еще восьмнадцать скотов притащили трех бесполезных человек. Ступайте скорее, если вы любопытны: там сегодня прекрасное собрание». И я, не медля нимало, продрался в покои.

Многочисленное общество здоровых и изуродованных бедняков наполняли переднюю комнату; бледные их лица и изодранные платья показывали, сколь нужна была им помощь; вольность и веселие были изгнаны из сих печальных стен; многие женщины плакали, рассказывая о своих несчастиях близ стоящим, но редкие им сострадали, а всякий занимался более своими собственными злополучиями. Отягченные усталостию и летами старики облокачивались своими седыми головами о холодные стены и в дремоте забывали и о вельможе и о своих бедствиях, доколе больные несчастливцы не разрушали слабого их забвения своим оханьем. Некоторые женщины приводили туда своих младенцев, конечно, для того, чтобы более возбудить о себе сожаление в вельможе. Бедные матери, чтобы утешить своих детей, которые просились домой, давали им куски черствого и засохлого хлеба, и множество голодных просителей с печальною завистию смотрели на ребенка, который, может быть, доедал последний кусок в своем доме. Словом, прихожая сего барина походила более на больницу убогого дома, нежели на комнату знатного господина; и в самых темницах, любезный Маликульмульк, едва ли можно найти более бедности и уныния.

«Не ошибкою ли я сюда вошел? — спрашивал я близ меня стоящего старика: — Мне сказали, что это комнаты, его превосходительства ***». — «Точно, сударь, — отвечал старик, — это его прихожая или, лучше сказать, прохожая, ибо он только через нее проходит к своей великолепной карете, не успевая и взглянуть на множество бедных просителей, которых обманчивая надежда не замедливает опять приводить в его дом». — «Как, — вскричал я, — и его окаменелое

сердце не трогается воплем сих несчастных женщин, сих стариков и изуродованных просителей! Он имеет жестокость не внимать их стонам!» — «Внимать, сударь! — говорил печально старик: — они ими утешаются: множество просителей составляет великолепие вельмож, и они наперерыв стараются накопливать их большее число, поманивая иногда пустыми обещаниями. Я сам, государь мой, я сам поседел на этой скамейке; целых 20 лет я был зрителем и действующим лицом сего плачевного театра; однако ж еще и ныне ничуть не надеюсь скорого решения моего дела, которого со всем тем оставить мне никак не можно. Я вижу, — продолжал он, — что вы еще новы в здешнем месте».

«Это правда, — отвечал я, — и я бы просил вас удовольствовать в некоторых вопросах мое любопытство... Скажите мне, что это за бумаги, которые друг другу показывают многие находящиеся в сей комнате». — «Это бумаги, — говорил старик, — называемые просительными письмами; просители стараются как можно чище и красноречивее их написать: они самыми живыми красками доказывают в них свою бедность или несчастия, которые иногда столь ясно описаны, что могли бы иметь успех и у самого жестокосердого вельможи». — «Они, конечно, смягчают, — спросил я, — сих бояр?» — «Нимало, — отвечал старик, — знатные имеют предосторожность не заглядывать в сии письма, и потому-то красноречие самого лучшего писателя остается без действия».

В сие время услышал я позади себя оханье одного безногого, который сидел в углу комнаты, и я осмелился спросить у него о причине столь великой его горести. «Я вздыхаю, сударь, о том, — отвечал он мне, — что у меня оторвали ногу, а не голову: я бы вечно не знал, что такое есть прихожая знатных. Года с четыре назад, — продолжал он, — некоторый знатный господин предложил мне вступить в военную службу. Он описал мне самыми разительными словами, какую могу я сделать пользу своим землякам, сделавшись хорошим воином; сердце мое наполнилось тогда жаркою любовию к отечеству, и я, оставя торговлю, посвятил себя войне. Имея отважный дух, всячески старался я оказывать себя во всех сражениях, покуда пушечное ядро не наказало моего безумного бешенства: оно унесло мою ногу, а с нею вместе и покровительство моего начальника, которому нужны были

любимцы с обеими ногами. Мне, однако ж, сказано, что я могу иметь пропитание от отечества, которому жертвовал собою. Наконец, я уволен от службы, нажив в оной тридцать ран и деревянную ногу. С таким-то прекрасным доказательством моей храбрости явился я к сему вельможе. Он очень учтиво меня принял и обещал мне выходить порядочное пропитание; с такою радостною надеждою таскаюсь я к нему уже четыре года на моей деревяшке; но он иногда изволит меня увещавать, чтоб я пообождал до случая, выхваляя передо мною самыми отборными словами терпение... Я верю, что его похвала прекрасна и красноречива; но верю также и тому, что и со временем, к его славе и к чести моего отечества, умру в этой прихожей с голоду...»

Едва докончил он свою повесть, как голосов в шесть закричали: «вот он! вот он!» и все зачали обступать какого-то толстого человека, который с довольною гордостию отвечал на низкие поклоны заслуженных стариков, которые гнулись перед ним до пояса... Я продирался, как мог, сквозь просителей, и не успел еще продраться, как они опять закричали: «он ушел!»

«Кто это был, — спрашивал я у них: — не сам ли его превосходительство?» — «Нет, — отвечал мне какой-то осиплый голос: — это его комнатный служитель, которого мы просили, чтобы он доложил об нас его превосходительству, но нам сказали, что он сам скоро выдет и что велено уже подавать карету». Тогда многие зачали вновь перечитывать и приготовлять свои письма, а я между тем пошел далее и, прошед комнаты через две, увидел совсем другое зрелище.

Я вошел в комнату, которая вся наполнена была чиновными и богатыми, которые с гордостью смотрели друг на друга. Там богатый откупщик стоял нерадиво у окошка и выслушивал повесть у чиновного; надутый гордостию судья зевал в креслах, между тем как перед ним молодой офицер рассказывал о своих двадцати победах: как он переколотил своею рукою с 700 человек неприятелей и выломил городские ворота, не получа ни одной раны, за что, будучи одобрен свидетельством своего дядюшки и под покровительством своей бабушки, приехал просить богатого награждения. В другом месте стихотворец, надув щеки, читал с важностию ничего не значащие свои бредни, которые украсил он именем

его превосходительства, прописывая, что он, не имея в виду никакой корысти, подносит ему свои труды, как покровителю наук, который никогда не оставляет дарования без награждения; или, лучше сказать, он начинал свое письмо хвалою своему некорыстолюбию, а оканчивал тем, что просил за свою книгу хорошей платы.

Сей последний сделал мне честь своими учтивостями и, подошед ко мне, показывал свое приношение. Это была книга о златом веке; я прочел в ней несколько строк, в которых автор, браня изо всей силы нынешние времена, выхвалял те годы, которые были за 30 000 лет до нашего времени.

«Я сомневаюсь, — сказал я ему, — понравится ли ваша книга его превосходительству: вы в ней хвалите такой век, в котором не было ни бедных, ни богатых; ни знатных, ни просителей, — и подносите ее знатному вельможе». — «О, это ничего, сударь! — отвечал мне автор: — наши вельможи держат у себя в библиотеках самые прекрасные нравоучения и самые острые критики; но со всем тем никогда не жалуются на авторов, для того что их не читают. Здешнему вельможе можно, не опасаясь нимало, поднести на него самого три тома сатир, за которые иногда из тщеславия заплатит он деньги и отдаст своему библиотекарю». — «Как! — спросил я, — кто ж у вас читает Платоновы сочинения *О должностях*, *Наставление политикам*, *О состоянии земледельцев* и *О звании вельмож*?» — «Купцы и мещане, — отвечал автор, — а вельможи читают веселые сказки, детские выдумки и шутливые басни». — «Так, поэтому, — сказал я, — вы бы лучше сделали, если б поднесли ему какую-нибудь книгу такого содержания».

«О! как вы мало знаете свет! — вскричал автор: — поверьте мне, сколько бы ни веселила его такая детская книга, но он заплатил бы за нее одним презрением, и сколько бы, напротив того, ни скучна была книга под нравоучительным названием, но я, конечно, бы был изрядно за нее заплачен: наши вельможи совсем не таковы в свете, каковы в своих кабинетах; в публике часто они бранят то, что у себя жалуют, и часто наружно хвалят то, что внутренно ненавидят, спросите у всякого вельможи, каковы для него кажутся *Юстиевы рассуждения* и *Примечания Ришелье*? Он вам побожится всем, чем хотите, что он ничего вечно не читывал основательнее и умнее сих

сочинений; но если вздумаете вы спросить о содержании этих книг, то редкого вельможу не приведете таким вопросом в смущение. Вот, — продолжал он, — каковы у нас многие вельможи. Со всем тем все почитают их счастливыми, и мелкочиновные всячески ищут быть на их месте, которое получа, не один раз в сутки проклинают; что до меня, то я лучше хочу доставать от них за подносимые мною книжки деньги, нежели, быв на их месте, платить за то, на что никогда взглянуть мне не удастся».

«Но скажите мне, знаете ли вы сего вельможу коротко? — спрашивал я моего оратора: — признаюсь вам, что я нахожу великую разницу в вашем письме с тем, что видел собственными моими глазами: вы выхваляете его добродетель, а я в его прихожей приметил несколько человек, которые в двадцать лет не испросили еще от него ни одной милости; вы превозносите его снисхождение, а он ничьих просьб не слушает, почитая уже и то важным, когда мимо своих просителей пробежит к своей карете; да и сего часто не делает, а выезжает со двора совсем с другого подъезда».

«О, сударь, — вскричал сочинитель, — конечно, вы очень мало обращались между людьми, когда не знаете, что это правило подносительных писем: в них почти всегда одними словами выхваляется тот, кому подносится книга, хотя подноситель не только его подробно, но и имя его мало знает: оттого-то вельможи с самого начала своей знатности, читая в письмах, сколь они добродетельны, думают о себе, что и в самом деле публика о них так заключает, и не стараются подтверждать своими делами то, что мы пишем в письмах». —«Но если каким-нибудь случаем не удастся вам получить от них награждение, — спрашивал я, — что вы тогда делаете?» — «Мы пишем на них сатиры, — отвечал он, — и хотя они их не читают, но мы делаем так, как маленькие ребятки, которые по привычке плюют на тот столб, о который ушиблись, и думают, что тем ему довольно отмстили; мы...»

Вдруг отворилась дверь, и все расступились на две стороны, чтоб дать дорогу.

Вельможа, убранный великолепно, вышел из своего кабинета с веселым видом. Он очень учтиво кланялся на все стороны; со многими улыбался, а иным шептал на ухо, и они почитали себя счастливыми. После того принимал он письма

со уверением, что через два дни все их рассмотрит; но я уже имел причину тому не верить.

Я приметил, что многие просительные письма были довольно толсто свернуты, и такие принимались с большею благосклонностью, а наполненные одним красноречием отдавались секретарям. Между тем продрался мой сочинитель и с нижайшими поклонами поднес ему свою книгу.

«Будьте уверены, — сказал ему вельможа, — что дарования ваши не останутся забыты: я не премину наградить вас при первом случае; я уже знаю, что книга ваша прекрасна. Возьмите,—сказал он одному из своих приближенных, — и отнесите ее ко мне в кабинет; я надеюсь заняться ею через несколько дней».

Приближенный взял ее у него из рук и отдал ее секретарю, который, как я приметил, вошед в кабинет, бросил ее под стол, наполненный старыми бумагами. Между тем вельможа продолжал степенно шествовать к прихожей, кланяясь на обе стороны всем и ни на кого не смотря; он делал внимательное лицо ко многим словесным просьбам, из которых, однако ж, ни одного слова не выслушивал, а был занят, как я приметил, совсем другими рассуждениями. При приближении ж к дверям пустился он, как молния, чрез прихожую, закутавшись в свой плащ и не внимая тысяче голосов относящих к нему просьбы несчастных и едва успел сказать им всем, чтобы побывали они *завтра*, как, севши в карету, пропал из вида и оставил в отчаянии бедных просителей.

«Что до меня, — сказал толстый судья, — то я всего вернее надеюсь получить обещанное место: красноречие золота никогда не обманет. Пусть бедные стонут, что их не выслушивают; но мы, у которых кошельки плотны, мы, право, не имеем причины жаловаться на вельмож: правда, что мы дорого им платим, но наши челобитчики после заплатят нам то с выгодою, что мы отдаем вельможе за то, чтобы высасывать из кошельков у просителей.»

«И я, — сказал молодой повеса, который хвалился, что побил 700 человек, — не меньше вашего надеюсь получить награждение: бабушка моя родня комнатной девушке его любовницы; а предстательство сей нимфы дороже всяких свидетельств; если бы я, и совсем не показываясь к сражению, всклепал на себя, что перебил три тысячи чело-

век, то и тогда бы мне поверили и наградили бы мою храбрость; пускай трудятся бедняки, не имеющие предстательств; нашу братью нередко более награждают за храбрый язык, нежели их за храбрые дела».

Вот, любезный Маликульмульк, какого я нашел вельможу: говорят, что здесь есть много из них добродетельных; но и один порочный делает пятно правительству, лишая счастия многих достойнейших себя людей.

ПИСЬМО XXVII

От сильфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку

При последнем нашем с тобою свидании, премудрый Маликульмульк, просил ты меня разведать, где находится точное пребывание некоторых известных тебе теней. Исполняя сие твое желание, облетал я все пределы обширной воздушной области; однако ж не мог получить об них никакого сведения. Клянусь тебе честию сильфа, что нет между счастливыми воздушными обитателями души того секретаря, о участи которого ты более, нежели о прочих, узнать любопытствовал. Едва во время моего о том разведывания мог я отыскать несколько и судейских теней; ибо люди, отправляющие на земле правосудие, редко бывают столь чисты, чтоб могли прожить в воздухе до того страшного и великого дня, когда все твари предстанут к подножию престола всемогущего судии всего света, дабы услышать приговор нескончаемого своего блаженства или вечного ничтожества.

Для меня весьма казалось удивительно, что когда спрашивал я о сем секретаре у некоторых встречающихся со мною теней, то, при одном его названии, содрогались они от негодования и мгновенно прочь от меня отлетали. Молчание их служило мне вместо ответа, и я потерял было совсем надежду узнать, отчего происходило сие их неудовольствие, как предстала пред меня тень некоторого судьи, которая, казалось, не столько удивлялась моим вопросам, как прочие.

«Здесь нет той тени, которой ты ищешь, — сказала она мне, — а старайся отыскать ее у гномов или у ондинов. Конечно, неизвестно тебе, какую жизнь провождала она на земле, когда думаешь найти ее между счастливыми воз-

душными обитателями. Ты должен знать, что никогда душа корыстолюбивого секретаря не заражала сих прелестных мест несносным своим присутствием». — «Ты мне кажешься,— ответствовал я судье,— не столь гневлив, как прочие попадавшиеся мне тени; итак, пожалуй, скажи мне, отчего происходит, что название секретаря не столько для тебя отвратительно, как для прочих?» — «Причина тому та, — ответствовал мне судья, — что я таким людям, каков был тот секретарь, о котором ты расспрашиваешь, обязан великою благодарностию; без них не был бы я, может быть, никогда в блаженном сем жилище». — «Слова твои, — ответствовал я ему, — кажутся мне очень странны. Как можешь ты считать себя обязанным за полученное тобою благополучие таким людям, которых все почитают столь злыми и ненавистными?»

«Ты не станешь сему удивляться, — ответствовал судья,— когда узнаешь, что во время моей жизни ни о чем я столько не старался, как выводить наружу все плутни приказных крючкотворцев. Я наказывал их жесточайшим образом, и посредством моей строгости имущество многих бедных вдов и несчастных сирот избавлено было от хищных рук сих гнусных корыстолюбцев. Я хочу, — продолжал судья, — рассказать тебе, что случилось со мною по выходе из того света. Лишь только я умер, то душа моя вознеслась мгновенно даже за пределы огненной атмосферы; тут предстали пред меня два духа, из коих один должен был меня защищать, а другой обвинять. Последний, возвыся свой голос, приносил к подножию престола всемогущего судии все соделанные мною погрешности и утверждал, что по причине беспорядков моих во время молодости недостоин я наслаждаться счастливою жизнию между воздушными обитателями. Он упрекал меня, что с неистовством предавался я постыдным забавам, что долгое время пребывал в оковах у женщин и что был подвержен многим другим порокам, как-то: гневу, гордости и тщеславию. Слыша сие обвинение, я полагал уже наверное, что буду помещен в жилище гномов или по малой мере у ондинов, как дух, долженствующий меня защищать, представлял в оправдание мое следующее.

«Правда, — говорил он, — что в молодости своей был он подвержен слабостям, свойственным всем человекам; однако ж ревность, с каковою отправлял он потом возложен-

ную на него должность, заглаживает все его погрешности. Во время своей жизни наказал он жесточайшим образом более ста корыстолюбивых секретарей и чрез то избавил от конечного разорения с три тысячи бедных вдов и с четыре тысячи беспомощных сирот. Но почто исчислять, сколько несчастных защитил он от ненасытного их корыстолюбия? Всем известно, что не только многие, но и один крючкотворец, если б только было в его власти, не посовестился бы для своего прибытка разорить целое государство. Итак, — продолжал он, — что может быть полезнее для общественного благосостояния, как обуздывать пагубное стремление сих лютых исчадиев ябеды и крючкотворства? Если б в каком государстве было двести таких судей, которые старались бы искоренять сих извергов, то, без сомнения, златой век в скором времени там паки бы возобновился; и таким образом, сообразя ревность сей обвиняемой души к оказанию правосудия и добрый пример, оставленный ею на земле прочим судьям, возможно ли воспрещать ей наслаждаться счастливой жизнию в сообществе воздушных обитателей?»

Сим окончил он свою речь. Обвиняющий меня дух начал было опровергать то, что говорил он в мое оправдание, но в самое то время раздался по небесным сводам величественный глас правосудного божества: «Да вселится, — вещал он, — душа, представленная на суд пред моим престолом, в жилище сильфов. Милосердие мое в воздаяние за то, что сей судья защищал вдов и сирот от грабительства корыстолюбивых секретарей, прощает ему все его погрешности, и да промчится весть сия повсюду, что все судьи, поступающие таким образом, как он, найдут во мне кроткого и снисходительного судию».

При сих словах пал я ниц, воссылая хвалу милосердию всемогущего, и после сего защитник мой проводил меня сам в сии счастливые места, где пробуду я до самого того времени, когда все праведники призовутся в недра всеблагого бога».

Окончав свое повествование, тень сего мудрого судьи советовала мне не искать более в тех местах души того секретаря, о котором желал ты получить известие; и после того отлетела она за несколько тысяч миль для свидания с некоторым надзирателем над больницами, который, как тебе известно, от всех воздушных теней весьма уважается.

Мне очень досадно, премудрый Маликульмульк, что, невзирая на все мое старание, не мог я исполнить твоего повеления: может быть, узнаешь ты о том скорее от *водяных* или *подземных* обитателей; но, по моему мнению, гораздо будет лучше, если потребуешь ты о том сведения от адского какого духа, ибо души столь злых людей, каковы крючкотворцы, мало бы были наказаны, если б определено им было жить во глубине моря или в недрах земли: ад должен быть настоящим их жилищем, а в сем мнении наиболее удостоверяюсь я тем, что как гномы сохраняют в земле богатые металлы и драгоценные каменья, а ондины соблюдают великие сокровища, потерянные смертными, то корыстолюбивые секретари почли бы их жилища весьма для себя выгодными. Без сомнения, завели бы они и там ябеднические свои крючки, посредством которых учинились бы, может быть, со временем совершенными обладателями всех хранимых ими сокровищ.

ПИСЬМО XXVIII

От волшебника Маликульмулька к сильфу Дальновиду

Все получаемые мною от тебя письма, любезный Дальновид, приносят мне великое удовольствие, и я всегда со утешением усматриваю в них основательные твои рассуждения о многих поступках людей, чрез которые заслуживают они осуждение. Ты очень хорошо делаешь, что входишь во все их состояния и примечаешь их слабости и пороки; ибо чтоб сделаться мудрым и добродетельным, наилучший способ есть тот, чтоб размышлять о глупостях и о странных нравах людей. Рассматривая прилежно непостоянство разума человеческого, непременно будешь остерегаться, чтоб самому не впасть в такие же пороки, какие в других осуждаешь.

Сколько есть таких людей, кои, от нестарания познавать нравы и обычаи своих сограждан, без всякого размышления предаются безумной ветрености и перенимают самые смешные и вздорные обыкновения, нимало не примечая своего заблуждения? Ежели бы они хотя один раз обратили примечательные взоры на различные поведения всех людей и не захотели бы принимать никакого другого правила,

никакой моды и никакого обычая, кроме тех, кои сообразовалися бы с здравым рассудком, тогда защитили бы себя от заблуждения, ибо глупость, примечаемая ими в других, заставила бы их узнать и свое безумие.

Свет есть обширное училище, открытое для всех желающих научиться; нужно только входить в подробное рассмотрение разных случающихся в нем происшествий и совсем противных оным введенных людьми обычаев, тогда будешь иметь все желаемые способы, чтоб сделаться совершенным философом.

Пороки, примечаемые нами в других людях, могут служить для нас всегдашними наставлениями, и можно очень справедливо сказать, что для научения мудрости ничего нет лучше, как входить в рассмотрение всех слабостей человеческих. Глупости вертопраха, бесчинства нахала и безумие невежды достойны быть наставлениями философа, желающего употреблять с пользою природные свои дарования. Во все времена истинные мудрецы учинились таковыми единственно от презрения и отвращения к людям, примечая в них нелепые и с разумом несходные поступки. Глупости и дурачества греков были причиною тому, что Гераклит непрестанно плакал, а Демокрит смеялся.

Дабы получить успех в изучении мудрости, надлежит лучше быть зрителем, а не действующим лицом в тех комедиях, которые играются на земле. Я всегда, любезный Дальновид, держусь сего правила, и живши столько лет на свете, довольно всего насмотрелся; я очень много путешествовал в намерении, чтоб получить пользу от обозрения различных странных действий, которым был я простым только зрителем и ты, без всякого сомнения, можешь поверить, что я находил тут обширное поле к размышлению. Например, агличане представляли мне тысячу блистательных добродетелей, смешанных со множеством свойственных им пороков, и чрез сие смешение добра и зла я познавал, что участь человеческая столь несчастна, что люди сами собою ничего не в силах сделать кроме того, что могут извинять свои слабости несколькими хорошими качествами. Вообще кажется, что им совсем невозможно учиниться истинно мудрыми и совершенно добродетельными, а это предоставлено некоторым только философам, возвысившим себя выше человечества; что ж принадлежит до простых людей, то

между ими разумнейшим и лучшим может почитаться только тот, кто менее других имеет в себе глупости и злости. Щедрость, великодушие, мужество и бесстрашие агличанина помрачаются его гордостию, высокомерием, самолюбием и хорошим о себе мнением.

Во всех землях философ находит истинную причину сожалеть о людях и чувствовать к ним презрение. Путешественник страшится быть жертвою: в Италии — ревности, в Гишпании — суеверия, а в Англии — гордости и высокомерия тех людей, с которыми живет вместе. Однако же я лучше бы согласился попасть в руки жестокому инквизитору, нежели агличанину, который непрестанно будет давать мне чувствовать, сколько он почитает себя во всем лучшим предо мною, и который, если удостоит меня своими разговорами, то не о другом чем будет со мною говорить, как бранить всех других народов и скучать рассказыванием о великих добродетелях своих соотечественников.

Ежели же иностранец в Лондоне бывает жертвою высокомерия, то в Париже не менее того мучится от глупости и от наглости. Там его обременяют учтивостями, разоряют почти ежедневным выдумыванием новых мод и оглушают глупыми и вздорными разговорами, а в награждение за сие мучение стараются его уверять, что он во всем подобен тем людям, с которыми живет, и так же глуп, как они. Из всех глупостей французов всего несноснее то, что они всякого живущего у них иностранца хотят преобразить во француза. Ежели кто из иностранцев говорит что-нибудь такое, что им нравится, то они скажут о нем, что он говорит так, как француз, а ежели кто имеет в себе приятный вид и в поступках своих учтив, то о таком говорят, что он совершенный француз. Мне кажется, что ничего нет глупее таких мыслей, кои столько же оскорбительны для путешествователей, сколько несносно высокомерие агличан: сии последние говорят о себе, что они только одни в свете почтения достойны; но французы хотя не так грубо изъясняются, однако ж дают ясно разуметь, что всякий человек тогда только может что-нибудь значить, когда бывает им подобен. Обе сии мысли одинакое имеют основание, и обе равно несправедливы и безумны.

Во всех народах можно видеть одинакие пороки, совсем противные хорошим чувствам и здравому рассудку. В нем-

цах примечал я смешную и мечтательную их любовь к древним титулам и старинным грамотам, и сколь мало уважают они тех, кто не были герцогами, графами, маркизами и баронами. Я удивлялся, что отличным добродетелям и великим дарованиям оказывают они очень малое уважение в сравнении тех почестей, каковые агличанами воздаются истинному достоинству. Глубокомысленный философ, ученый математик и искусный физик не заслуживали нималой благосклонности от почтенных господ немцев; агличане же, напротив того, воздали памяти Невтоной равномерные почести, каковые должны бы были воздаваться государю, завоевавшему многие владения или чрез мудрое заключение мира доставившему блаженное спокойство своим подданным.

Желательно бы было, чтоб все народы подражали агличанам в оказании почтения и уважения великим людям, родившимся у них, которых природа одарила отличными дарованиями. Я уверен, что если Англия с давнего уже времени славится многими высокими умами, то это не от чего другого, как от того одобрения и поощрения, которое дается там ученым людям; но чтоб сие столь похвальное обыкновение учинилось общественным во всей Европе, то не видно еще к тому большой надежды.

Итак, обратившись опять к первому моему предмету, любезный Дальновид, я еще повторяю, что для избежания того, чтоб не впасть самому в те пороки, которым люди часто бывают подвержены, наилучший способ есть тот, чтоб примечать прилежно все их поступки; ибо всякий обыкновенно гораздо строже судит поступки других, нежели свои собственные, и часто случается, что в тех же самых пороках, которые в других осуждает и почитает нимало неизвинительными, себя самого прощает и для оправдания своего находит разные извинения.

ПИСЬМО XXIX

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Сколь должно сожалеть, почтенный Маликульмульк, о таких людях, кои провождают всю свою жизнь в безумной и постыдной праздности; если бы таким образом прожил кто и шестьдесят лет, то едва ли бы можно было сказать, что он

жил восемь лет; ибо можно ли то назвать жизнию, чтоб в молодости заниматься ветреностию, а в старости ничего не значащими безделками; это можно почесть совершенным безумием и незнанием того, на что человек премудрым творцом на свет создан. Такою бесполезною жизнию люди уподобляют себя несмысленным скотам, которые без всякого размышления предаются одним только чувственным удовольствиям.

Ничего не может быть гнуснее праздности: она часто бывает источником всех пороков и причиною величайших злодеяний. Если войти в подробное исследование, то можно представить многие доказательства, что все пороки, которым бывают подвержены люди, находящиеся в различных состояниях, не от чего другого проистекают, как от праздности. Я хочу тебе описать, почтенный Маликульмульк, некоторые мои замечания, кои делал я о людях разного состояния, которые нерачительно исполняют препорученные им должности единственно оттого, что любят жить в праздности.

Судья, который волочится за женщинами, который не пропускает ни одного театрального зрелища и ни одного гулянья и который один только раз в целый год воспоминает о исполнении препорученной ему должности, не был бы таковым, ежели бы меньше любил праздность и если бы употреблял большую часть дни на обучение гражданских прав и законов и на рассмотрение тех дел, которые требуют скорого его решения. От таких важных упражнений недоставало бы ему времени часто ездить в театр и волочиться за театральными девками или показывать себя на гуляньях разряженным, как кукла. Ежели бы не было ни одного судьи праздного, то не было бы ни одного петиметра и ни одного беспутного расточителя.

Придворный, старающийся нравиться своему государю и добивающийся первых чинов в государстве, кажется, должен бы быть удален от всякой праздности; но такова есть участь двора, что люди, к нему прилепленные, тогда только рачительно стараются оказывать ему свои услуги, когда есть какой удобный случай к их возвышению; а коль скоро не имеют они надежды к достижению знатных чинов, тогда живут в совершенной беспечности; и как много бывает в году таких минут, а иногда и целых дней, в которые при-

дворный не имеет при дворе никакого дела, то сие праздное время по большей части употребляется им на роскоши и забавы; он предается тогда многим порокам и старается удовлетворять страстям своим.

Сколь жалостна должна казаться участь придворного в глазах философа! Он не иначе может себя воздерживать, чтоб не быть игралищем гнусных страстей, как предаваясь одной из всех жесточайшей и мучительнейшей страсти, то есть для избежания праздности он должен отдать себя во власть пылкому честолюбию.

Во всех различных состояниях жизни человек может находить полезные упражнения. Духовный старается о наставлении людей в душевном их спасении. Судья разбирает их тяжбы и делает им правосудие. Воин хранит их спокойствие и защищает от неприятелей. Купец доставляет им пищу и все нужное для их жизни. Один только придворный ни о чем больше не трудится, как об удовольствии собственного своего честолюбия. Еще б было лучше, когда бы он непрестанно помышлял о сей мечтательной химере, которая тогда исчезает, когда думает он держать ее в руках своих, нежели пребывал бы в праздности без всякого упражнения. Если бы возможно было изгнать от двора честолюбие или праздность, то, по моему мнению, полезнее бы было оставить первый порок, нежели последний.

Воин часто бывает подобен придворному, ибо он занимается своею должностию в некоторое только на то определенное время, а тогда, когда стоит на зимних квартирах, ежели охотник он до праздности, то может быть без всякого дела и предаваться разным порокам. Очень много таких офицеров, которые нимало не радят ни о добродетели, ни о благопристойном обхождении, весьма нужном в общежитии, и оттого-то нередко бывают случаи к распутству, в которое они очень жадно бросаются. Пороки и дурные склонности ежедневно укореняются в душе их, и они часто делаются, наконец, совсем бесполезными как для государя, так и для отечества, ибо от того становятся неспособными к мужественным военным действиям, всякий труд кажется им несносным, и от праздности полученные ими дурные привычки никогда не могут из них истребиться. Сколько есть таких молодых людей, которые при вступлении в службу показывали в себе хорошую

надежду; но после сделалися порочными и достойными презрения, ибо праздная препровождаемая ими жизнь погашает в сердцах их все те хорошие чувства, которые с самого младенчества при воспитании их вперить в них старалися!

Ежели праздность у военнослужащих бывает источником их распутств, то она же бывает у них и побуждением к ссорам, которые гораздо чаще между ими случаются во время стояния их на квартирах, нежели тогда, когда бывают они против неприятеля в поле. В то время, когда занимаются они службою, некогда им думать о непристойных друг над другом шутках, о игре, о пьянстве и о перебивании любовниц; от сего-то обыкновенно бывают поединки, происходящие по большей части от какого-нибудь вздорного и бесчестного начала. Итак, праздность только одна бывает причиною сих гнусных сражений, которые противны общественному благоденствию и запрещаются богом и государем.

Праздность не менее причиняет вреда людям низшего состояния. Купец праздностию и нерадением в короткое время расстроивает дела свои; ежедневный убыток бывает наградою за его беспечность, и он, наконец, всего лишившись, делается банкрутом. Еще было бы ему простительнее, ежели бы он тем разорял одного только себя, но, при его разорении, претерпевают убыток многие честные люди, которые оттого только делаются несчастными, что поверили в долг деньги человеку беспечному и нерадивому, который вместо того, чтоб иметь попечение о своем торге, провождал жизнь роскошную и праздную, не желая принимать на себя никакого труда и беспокойства.

Ежели бы люди прилежнее о том размышляли, почтенный Маликульмульк, что они рождаются для труда и что с самого начала света бог повелел им трудиться в поте лица своего, доколе паки возвратятся они в недро земли, из которой они созданы, то, без всякого сомнения, не захотели бы сопротивляться воле своего создателя и, размышляя о казнях, определенных преступившим заповеди его, они бы сами себе сказали: «Какое право имеем мы исключать себя из сего всеобщего закона? Не потому ли, что мы благородны, богаты, знатны, молоды или стары? Но поелику бог никого не

исключил, то ничто нас извинить не может: итак, или будем убегать праздности, или предадимся казни, определенной преступникам». Но, по несчастию, очень немногие рассуждают таким образом, потому что немногие входят в прилежное размышление о тех должностях, которые должны они исполнять на земле, и о том, для чего бог произвел их на свет.

Итак, если люди должны трудиться во всю свою жизнь и если сам бог им оное повелел, то, без сомнения, еще больше обязаны они то делать во время юности, нежели при старости; ибо в первые лета жизни их надлежит им помышлять о приобретении тех познаний, которые долженствуют быть для них полезными во все продолжение их жизни. Праздность, будучи матерью всех пороков, рождает также невежество и высокомерие: сии три порока обыкновенно бывают вместе, и непременно один влечет за собою другой. Человек, удаляющийся от всякого упражнения и убегающий труда, мыслит о себе с надменностию, что он довольно уже во всем знающ; его самолюбие и тщеславие, соединясь с леностию и беспечием, заставляют его с презрением отвергать всякую науку, которая для изучения требовала бы какого-либо труда: следственно, ежели кто с юных лет предается обманчивым прелестям праздной жизни, тому никак будет невозможно впредь исправить потерянное время; во-первых, потому, что оно никогда назад не возвращается; а, во-вторых, потому, что полученные злые привычки тогда уже истреблены быть не могут.

ПИСЬМО XXX

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Недавно, прогуливаясь по городу, любезный Маликульмульк, вздумалось мне осмотреть здешние книжные лавки. Увидя, что они завалены книгами, я удивлялся просвещению нынешнего века; радовался тому, что и в здешней земле есть книги, и сравнивал нынешний век с старыми. «Какая разница, — думал я сам в себе, — между тем временем, в которое книг почти было не видно, и между нынешним, когда всю поверхность обитаемой земли можно укласть книгами».

Но и то правда, любезный Маликульмульк, что тогда не приносили стыда ученому свету *Бабушкины выдумки*, *Бредящий мещанин* и изданные в четвертку без правил краденые сочинения Рифмокрада, которыми завалены ныне все книжные лавки и которые продаются нередко на вес для разносчиков на обертку овощей.

Когда я рассуждал таким образом над увесистыми сочинениями сего прилежного автора, тогда подошел ко мне малорослый и сухощавый человек. «Что вы думаете, — сказал он мне, — о сем великом авторе?» — «А я думал, — отвечал я ему, — что я держу в руках не хорошие сочинения, а худые переводы». — «О, государь мой! Так вы, конечно, не слыхали, как его хвалят за его столом, чему я сам бывал очевидным свидетелем; я слышал, что он недавно очень хорошо написал трагедию, в которой разругал прекрасно не помню какого-то святого».

«Эту трагедию больше делал Расин, нежели он, — сказал, подошедши к нам, один из покупщиков старых книг. — Возьмите, — продолжал он, — Расинову *Андромаху*: вы увидите, что здешняя не иное что, как слабый перевод, с тою притом разницею, что почтенный Расин не бранил святых так, как то делает наш неугомонный автор, и я удивляюсь, как такая безбожная брань пропущена тогда, когда, кажется, можно печатать одни только сказки и небывальщины в лицах». — «Вы очень злы, государь мой! — возразил защитник бранчивого автора, — когда поносите сочинителя, привлекающего дарованиями своими к себе в дом множество обожателей своего пера».

«О, этому я охотно верю, — говорил противник Рифмокрада,— что у него бывает много гостей, но кто захочет, тот может видеть, что сему не дарования его, а его повар и гостеприимная жена причиною. Приметьте, что обожатели его всегда собираются в его дом к обеду и похвалы сему Аполлону обыкновенно начинаются со второго или с третьего блюда и раздаются не далее, как в четырех углах комнаты; но за два шага от его дому слава его исчезает, и те самые, которые за обед платили ему похвалою, позабывают, что он есть на свете. Итак, по моему мнению, не можно ставить себя в числе первых писателей тому, о ком это говорят такие люди, которые, не имея чем заплатить трактирщику за обед, ищут оного у вельможи или у стихотворца и распла-

чиваются обыкновенно за него пустыми восклицаниями и похвалами хозяину. С другой стороны, и жена его расплачивается, как может, с гостями, которые, имея гибкий язык, ищут на счет его всем на свете пользоваться, но, отними у сего парнасского идола его жену, то треть обожателей его исчезнет, отними повара, тогда и достальные две трети пропадут».

«Но вы не можете не признаться, — сказал защитник, — что в театре ему всегда бьют в ладоши». — «Я в половине этого признаюсь, — отвечал другой, — то есть что в театре хлопают, однако ж, не ему, а актерам, которые подлинно достойны великой похвалы за то, что имеют терпение обременять свою память такими вздорными сочинениями, которые более наносят труда живописцам и машинисту, нежели сколько делают театру прибыли; впрочем, нередко сих хлопальщиков привозит он в своей карете, чему свидетельством может вам служить, — сказал он, оборотясь ко мне, — сочинение одного моего приятеля», — и при сем начал мне читать следующие стихи:

Сказка

Ко славе множество имеем мы путей.
Гомер хвалить себя умел весь свет заставить;
А Рифмокрад, чтобы верней себя прославить,
Нажил себе жену, а женушка детей,
Которы в зрелищах, и кстате и не кстате,
В ладони хлопая, кричат согласно: *тяте!*
Но сколь немного жен есть верных, знает свет;
Не на Лукрецию и наш нашел поэт.
Он видит это сам. Поступки Тараторы
Между приятелей ее заводят ссоры.
Чтоб отомстить за то, чего не мог сберечь,
Хоть одного из них он хочет подстеречь.
Желанны дни пришли, он видит очень ясно,
Что он себя считал в рогатых не напрасно.
«Изменница! — кричит, — того ль достоин я!
Увы! где делась честь! где слава вся моя!»
Жена в ответ ему: «Для этой самой славы
Немного рушу я супружески уставы;
С партером перервать я твой хотела спор,
Где вечно на тебя всемирный заговор;
Завистников тебе, ты знаешь, там немало,
Но ныне тщанием моим их мене стало.
Я многие тебе достала голоса». —
«Любезная жена! ты строишь чудеса! —

Вскричал поэт: — так будь моим ты Аполлоном
И лавры мне плети; в рогах я не с уроном;
В них выгоды себе я вижу лишь одни;
Тем боле голосов, чем боле мне родни»...

«Государь мой! — вскричал защитник Рифмокрада: — если вы не перестанете читать свои пакостные стихи, то я вам дядюшкиными сочинениями проломаю голову», и в то же самое время вооружился он всеми четырьмя томами сочинений Рифмокрада, которые искусный книгопродавец переплел в одну крышу, чтобы придать им более величественного вида. Такой заряд не мог не ужаснуть его противника, который спрятался за три кипы сих сочинений, назначенных к продаже на вес, и уверткою своею сделал сей четверной заряд бесполезным: с него сшибло одну только шляпу, а голова его получила спасение от тех же самых сочинений, на которые так сильно он восставал. Племянник Аполлонов, ободренный его побегом, ругал его всячески и ожидал храбро вылазки, а между тем, несмотря на просьбы лавочника, бомбардировал его крепость связками новых комедий и трагедий. Гарнизон не трусил с своей стороны и уже, перебросав все огромные переводы, принимался за 16 том сочинений здешней Академии, как лавочник остановил их, обещая привести полицейских; тогда руки наших рыцарей остановились, но языки их были неутомимы, и они наговорили друг другу столько колкого, сколько могли выдумать.

Защитник Рифмокрада подошел под самые кипы дядюшкиных сочинений, чтобы сделать себя тем слышнее своему противнику, который наблюдал из-за стены набросанной им прозы и стихов все его движения, и когда сей меньше всего ожидал, он, собрав все свои силы, повалил на него все те кипы одним разом. Бедный защитник думал, что на него весь мир обрушился, хотя не более на нем было, как 1192 экземпляра четырехтомного издания. Он визжал, как собака, у которой пришибло лапу, и самым жалким голосом просил себе помощи; хозяин же *Сказки*, между тем, скрылся, оставя ее у меня в руках. После сего вытащили кое-как бедного племянника, проклинающего сатирика, себя и дядюшкины сочинения, которые едва не задавили его до смерти, и он насилу поплелся из лавки, закаиваясь во весь свой век заглядывать к книго-

продавцам. Бедный лавочник укладывал опять разбросанные книги, которые в первый раз увидели было свет, и божился мне, что многим из них никогда такого разбору не было, как во время сего сражения. «Для чего ж здесь мало хороших книг?» — спросил я у него. «Для того, сударь, — отвечал он мне, — что здесь множество авторов, как кажется, более занимаются не тем, чтобы что-нибудь написать, но чтобы что-нибудь напечатать и поспешить всенародно объявить, что они невежи. Страсть к стихотворству здесь сильнее, нежели в других местах, но страсти к истине и к красотам очень мало в сочинителях, оттого-то здесь нет хороших книг, но множество лавок завалены бреднями худых стихотворцев».

ПИСЬМО XXXI

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Размышляя о многих страстях, обладающих сердцами человеческими, я почитаю из всех гнуснейшею ревность. Подумай, почтенный Маликульмульк, сколько мучений должен сносить муж от ревности своей жены! По справедливости можно заключать, что между мужьями, бывающими жертвою ревнивого нрава своих жен, большая часть должны приписывать претерпеваемое ими от того мучение больше надменности женского пола, нежели их любви, верности и постоянству; и ежели рассмотреть, что женщины самые распутные часто бывают самыми ревнивейшими, то нетрудно будет увериться в сей истине. Сколько знатных и почтенных мужей всем жертвовали своим женам, которые за то платили им неверностию и вероломством и предпочитали им солюбовников, гораздо хуже их и рождением и достоинством. Сии женщины, будучи от природы ветрены и непостоянны, последовали движениям различных страстей, над сердцами их владычествующих; а потому и не должно удивляться таковым их поступкам. Любовь, делающая всех людей равными, часто побуждает ветреных женщин жертвовать знатными и достойными людьми любовникам, ничего не значащим; но тщеславие приводит их в мучительное терзание, когда они, усмотря их измену, захотят свергнуть с себя их оковы и освободиться от их рабства.

Несчастлив тот муж, который женат на жене богатой и знатной фамилии: она, думая, что составила все его благополучие, непрестанно желает над ним господствовать: не дает ему никакой власти в своем имении, и он часто принужден бывает сносить ее упреки. Если когда употребит он хотя самую малость из ее денег на необходимые свои нужды, то она с досадою и бешенством ему говорит: «Ты мот! Ты хочешь расточить все мое имение; я с тобою разведусь; я принужу тебя заплатить мне все, что взял ты за мною в приданое, и ежели ты не согласишься добровольно со мною развестись, то я буду на тебя просить правосудия; моя родня за меня вступится и не допустит до того, чтоб такой муж, который должен бы был почитать себя очень счастливым, женясь на столь богатой и знатной жене, какова я, ее разорял и расточал ее имение».

Таким образом, почтенный Маликульмульк, говорят очень многие жены, давая чувствовать по нескольку раз в каждый день своим мужьям то несчастное преимущество, которое они им доставили знатностию своего рода, и принеся с собою богатое приданое. Без сомнения, многие мужья, для избежания таких несносных упреков, пожелали бы от всего сердца взять за себя жену в одной рубашке, а может быть, согласились бы взять и в таком состоянии, в каком предстала Ева пред Адама. «По крайней мере, — сказали бы они, — такая жена не станет нас упрекать своим богатством, которое ни к чему больше служить нам не может, как сделает жертвою своенравной и гордой жены, желающей над нами господствовать».

Но сколь ни бедственна участь сих несчастных мужей, однако ж гораздо меньше сожаления достойна, как судьба тех жалких супругов, которых порок совсем противной гнусной скупости в короткое время повергает в совершенную нищету. Каково должно быть мучение мужа, который, будучи обременен многочисленною семьею, видит все свое имение, расточаемое на увеселительные пиры, на разные забавы и на великолепные модные уборы; ежели он осмелится напомянуть жене, что таковые издержки могут, наконец, истощить все их имение, и если захочет употребить какие средства к прекращению сего злоупотребления, то каким подвергнет себя жестоким браням и ругательствам? Тогда упрекают его в скупости; ему причитается в вину ра-

зумная его бережливость и приводят в пример многих других слабых и беспечных мужей, которые, спокойно и не говоря ни слова позволяют женам себя разорять. Итак, что должен он в таком случае предпринять для освобождения себя от сего мучительного беспокойства? Без сомнения, не найдет он никакого к тому способа. Если согласится дать волю своей жене, то сделается совсем разоренным; а ежели будет продолжать делать ей всевозможные сопротивления, то какому мучению чрез то себя подвергнет! Следственно, против воли своей принужден бывает определить себя к сношению несносных терзаний. Он должен жить с такою фуриею, которая удобно может найти разные способы получать то, в чем ей отказывают. Сей бедный муж почитает еще особливым для себя счастием, если она будет довольствоваться одним только расточением его имения и не постарается сыскать себе какого щедрого любовника, который снабжал бы ее всем тем, что нужно ей на ее забавы и на драгоценные наряды.

Целомудрие есть такая добродетель, которую многие худых склонностей женщины почитают пустою мечтою; а те, которые рождены в лучшем состоянии и воспитаны по правилам нынешнего света, первые презирают благопристойность. Они нечувствительно привыкают слышать забавные шутки о неверности и вероломстве и думают, что на оные они и сами должны отвечать такими же шутками. Сие правило хотя довольно легко, однако ж нимало не служит к исправлению нравов. Есть такие вещи в свете, о которых никогда не надлежало бы говорить иначе, как с благопристойностию; ибо без того рано или поздно войдет в обычай, что не будет никакого порочного поступка, который не был бы извиняем, и всякая насмешка принимаема будет с похвалою. Удивительно, что и самые нынешнего века писатели одобряют сей вредный обычай: многие знаменитые авторы часто давали приятный оборот делам самым распутнейшим, и хотя их забавные сочинения не совсем заглаживают гнусность порока, однако ж по крайней мере представляют его не столь омерзительным; а тем самым поощряют женщин принимать охотно сии правила, которые укореняют в них пороки и распространяют их своеволие.

ПИСЬМО XXXII

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

Строгое приказание моих начальников, премудрый Маликульмульк, принудило меня, оставя мрачное наше жилище, вылететь на поверхность земли. Мне велено было со всевозможною поспешностию лететь на помощь к некоторому приказному крючкотворцу, который приговорен был к виселице. Соблюдая выгоды *адской* нашей *политики*, непременно должно было стараться, чтоб сей человек более прожил на свете, ибо, наслаждаясь приобретениями своих плутней и утопая в изобилии, побуждал он чрез то и прочих людей следовать своему примеру. По счастию, нашел я его еще неповешенного; итак, с помощию золота, которым запасся я при отправлении моем из ада, нетрудно мне было весы правосудия преклонить на свою сторону. Могуществом сего прелестного и ослепляющего глаза смертных металла сделал я то, что бедняк не только освобожден был от всякого наказания, но и остался при своей должности, где, надеюсь, по старой привычке, не преминет он грабить и разорять своих ближних так, как и прежде.

После сего, зная, что возвратное мое в ад путешествие нетребовало уже никакой поспешности, вздумалося мне побывать в публичном саду того города, в котором я тогда находился. Сделавшись невидимым, забрался я в стоящую на конце большой аллеи беседку, откуда свободно мог все видеть.

Разнообразие как в одежде, так и в поступках прохаживающихся там людей представляло весьма странное для глаз моих зрелище. Множество разнополосых петиметров, собравшись толпою, бегали, припрыгивая, по всем дорогам, толкали всех, кто им ни попадался, заглядывали бесстыдным образом в лицо каждой женщине и произносили во все горло решительные свои приговоры о их пригожестве. Добренькие старушки, желая сбыть поскорее с рук своих дочерей и племянниц, привозили их туда на показ мужчинам. Модные вертопрашки, истощив все свое искусство в щегольских нарядах и протвердив заранее перед зеркалом все новоизобретенные ими ужимки и коверканье, съезжались туда с тем намерением, чтобы весь свет воздвигал жертвенники подделанным их прелестям. Нововыезжий Дон-

Кишот, останавливая с грозным видом всех с ним встречающихся, рассказывал с восторгом, каким образом, посредством сильных своих мышц, выломил он один городские ворота и находящийся там гарнизон принужден был весь побить кулаком без всякой пощады, потому что в запальчивости позабыл свое оружие в лагере. Он воспевал сам себе похвалы с таким восхитительным красноречием, что все удивлялись его бесстыдству.

Бесконечно бы было, премудрый Маликульмульк, если б начал я описывать различные глупости многих попадавшихся мне тогда шалунов, ибо пристрастия и пороки, коим порабощены большая часть земных обитателей, не могут быть исчислены, а скажу только, что сделанное мною замечание о всех вообще прогуливающихся там людях привело меня в крайнее удивление. Все они, пришед в сие место, принимали на себя веселый вид, и всякий, судя по наружности, мог бы их почесть счастливыми, но как мы имеем способность проницать во внутренность сердец человеческих, то мне нетрудно было приметить, что петиметр, невзирая на все свои веселые прыжки, ощущает во внутренности своей души адское мучение, воображая страшную ту минуту, когда безжалостные заимодавцы, потеряв терпение, заграбят последние остатки промотанного им имения и, для благонадежности в уплате достальных долгов, посадят его, может быть, на всю его жизнь в тюрьму. Престарелые кокетки, украсившие себя притворным видом кротости, набожности и душевного спокойствия, терзаются внутренно, воспоминая то счастливое время своей молодости, в которое окружены они были толпою воздыхателей; они с прискорбием взирают на пригожество взрослых своих дочерей и, почитая их соперницами, которые ничем другим, как только одною своею молодостию затмевают созрелые их прелести, всеми силами стараются, чтоб, сбыв их поскорее с рук, приняться опять за старое свое волокитство. Новонапечатанный герой, по уверению которого, кажется, нет ничего такого в свете, чего бы он мог устрашиться, предузнавая, что в следующий поход должен он будет показывать храбрость свою не на словах только, но в самом действии, трепещет от всего сердца, воображая ужасный для трусости своей вид кровопролитного сражения, где не всегда можно найти безопасное убежище за каменьями или под фурманом,

и для того мыслит беспрестанно, как бы, употребя посредство своего дядюшки, у коего находится он под особым покровительством, от того отделаться. Ему кажется гораздо безопаснее, пребывая внутри своего отечества, удостоверять свет о своей неустрашимости, делая разные шалости в домах у публичных красавиц или разбивая ночью фонари по улицам, нежели итти за границы сражаться с свирепым неприятелем.

Вот, почтенный Маликульмульк, малая картина тех людских беспокойств и печалей, которые стараются они под притворным видом веселости скрывать друг от друга. Теперь расскажу тебе, что, находясь в сем месте, не преминул я, по обыкновению моему, сыграть со всеми находящимися там людьми небольшую шутку. Ты знаешь, то для нас нет ничего приятнее, как возмущать и причинять всякое зло земным обитателям.

Могуществом моего чародейства повелел я восстать вдруг жестокой буре. В одну минуту небо покрылось мрачными облаками, и сильный дождь, как река, полился из оных. Представь себе, премудрый Маликульмульк, каково было тогда смятение всех, кто там ни был, а особливо ничто не могло сравняться с досадою и беспокойством тех высокопарных и вертлявых существ, которые все достоинство человека поставляют только в прическе волос и в богатых уборах: они нарочно приехали было на сие гулянье с тем намерением, чтоб блеснуть новомодными своими кафтанами, но вдруг увидели, что как оные, так и чудное здание, воздвигнутое на их головах французскими парикмахерами, от дождя и от пыли совершенно были испорчены! С великим удовольствием также смотрел я на некоторых женщин, которые, укрываясь от непогоды, бежали опрометью к своим каретам, но между тем, поражены будучи звуком сильного громового удара, упадали в обморок, а как всякий помышлял тогда о своей собственной безопасности, то за недостатком услужливых щеголей, которым, следуя обычаю нынешнего света надлежало бы в сем случае их поддерживать, принуждены они были валяться в грязи; однако ж подоспевшие к ним на помощь их служители, вытащив оттуда, развезли всех по домам.

Таким-то образом, восхищаясь моею шуткою, посредством которой причинил я столько зла людям, а особливо щеголям и щеголихам, и видя, что все они в страхе и в преве-

ликом неудовольствии на неудачное свое гулянье разбежались, утишил я бурю и дню возвратил прежнее его сияние.

Между множеством сорванных с голов ветром женских шляпок и растерянных ими в беспамятстве опахалов и проч. попалась мне потерянная записная книжка. Судя по содержанию находящихся в ней бумаг, принадлежала она, без сомнения, какому-нибудь не беззнатному человеку. Я препровождаю к тебе, почтенный Маликульмульк, одно вынутое мною из оной письмо, которое, кажется мне, достойно твоего любопытства, и надеюсь, что оно тебе понравится:

«Милосердый Государь, Отец, Милостивец и Благодетель!

С неизглаголанною и неудобьизъясненною радостию получил я нижайший от Вашего Превосходительства известие, что милостию всещедрого Творца все учиненные на знаменитую особу вашу представления, удостоверяющие якобы о предосудительных ваших для совести и чести поступках, совершенно вами опровержены, и что могущество Вашего Превосходительства, яко гора Сион, пребудет непоколебимо и во веки не подвижится. Сие не точию мне, но и всем тем, кои состоят под высоким покровительством Вашего Превосходительства, вельми приятно, понеже по благоутробию вашему не только вы сами, но и клевреты, вам порабощенные, со избытком насыщаются от крупиц, падающих с богатой и никогда не оскудевающей трапезы Вашего Превосходительства.

При сем, уповая на премногое множество и яко из неисчерпаемого кладезя излиянных на меня вами благодеяний, осмеливаюсь представить благорассмотрительному оку Вашего Превосходительства следующий воспоследовавший со мною казус.

В недавно прошедшем времени некоторые мои недоброхоты, под руководством судьи Правдина и секретаря Честона (я думаю, что над именами их давно уже в записной книжке Вашего Превосходительства поставлены нолики), учинив меж собою скопище и заговор, представили на меня Правительству, якобы я, имея пристрастие к *акциденции*, решу все дела противно государственным узаконениям, и будто бы жадность моя к гнусному обогащению столь велика, что заставляю челобитчиков платить себе с числа людей и земли особо учрежденную от меня подать. Вследствие сего их донесения получен в главном здешнем Правитель-

стве указ, коим наистрожайше предписывается, дабы учинить по сему делу подробное разбирательство, и буде окажется, что вышереченное показание моих доносчиков справедливо, то бы без малейшего упущения, в страх другим, велеть начертать на хребте и на ланитах моих знаки беззакония и отослать после в вечное заточение.

А понеже, по слабости, свойственной всем человекам, беззакония превзыдоша главу мою, и поелику не нахожу я за нужное делать в чем-либо пред Вашим Превосходительством укрывательство, того ради, страшась, да не наполнятся лядвия мои велиего и всенародного поругания, возымел я смелость прибегнуть под высокое ваше покровительство. Сию дерзость восприял я более потому, что все мною учиненное происходило не от других каких причин, но единственно от чрезмерного усердия к приумножению собственных интересов Вашего Превосходительства. Чего ради ласкаю себя надеждою, что сильным вашим предстательством донос моих враждебников отослан будет так же, как и все неоднократно уже бывшие на меня показания, в архив, для предания вечному забвению, злодеи же мои, искавшие моей погибели, да падут в яму, юже мне ископать хотели. Сим вяще возбужден я буду к дальнейшему продолжению всевозможных моих стараний о доходах Вашего Превосходительства. На сей же раз осмелился к вам, Милосердый Отец, с вручителем сего копиистом Грошевиковым послать 2000 рублей. Прошу милостивого принятия, да и впредь, аще только изволением вашим оставлен буду при прежнем моем месте, то с помощию всех благ Подателя не премину стараться о таковых же доставлениях. Впрочем, со всераболепнейшим почтением, дондеже грешная моя душа пребудет в изможденном денноощными трудами телеси, есмь,

Премногомилосердый Отец!

Ваш нижайший, преданнейший и усерднейший слуга

Евстрат Хапкин».

ПИСЬМО XXXIII

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Во время странствования моего по различным землям, когда я вижу, почтенный Маликульмульк, что по большей части счастливыми бывают многие люди такие, которые

совсем глупы, не имеют нимало здравого рассудка и почти уподобляются несмысленным скотам, тогда с крайним прискорбием размышляю о тех трудах и попечениях, которым предаются люди, в науках упражняющиеся, единственно для того, чтобы имя свое сделать бессмертным. Сколько горестей и скорбей большая часть из них претерпевает? Надобно думать, что желание проникнуть в глубокий мрак стольких протекших веков имеет в себе нечто чрезмеру лестное для побуждения их жертвовать оному без всякого сожаления тем драгоценнейшим временем, которым надлежало бы с удовольствием наслаждаться.

Из числа немногих лет, которые природа предназначила для продолжения жизни человеческой, надлежит исключить первые пятнадцать, кои проходят или в незрелом младенчестве, или в изнурительных трудах, употребляемых при воспитании; когда же человек достигает свыше шестидесяти лет, тогда уже жизнь его бывает для него тягостна, ибо разум вместе с телом в то время ослабевают и подвергаются различным немощам и болезням. Итак, в настоящей жизни человеческой, считая от пятнадцати лет до шестидесяти, не более можно полагать, как сорок пять лет, и сие-то столь краткое и столь драгоценное время учеными людьми провождается в наитруднейших упражнениях, за кои часто весьма малую получают они награду и кои не подают им никакого другого утешения, кроме единой надежды, что имя их предано будет незабвенной памяти будущим потомкам.

Надлежит признаться, любезный Маликульмульк, что науки, когда кто в них достигнет до того, что преодолеет все затруднения, во оных находящиеся, имеют в себе нечто чрезвычайно лестное и что геометр и физик, трудясь двадцать лет сряду с неусыпными попечениями, почитают себе великою наградою открытие некоторых истин, дотоле им неизвестных; но ежели бы они проникли во внутренность сердец своих, то сами бы усмотрели, что побуждает их изыскивать с толикою прилежностию сии новые истины более надежда прославить свое имя, нежели то удовольствие, что трудами своими извлекли они их из той мрачной неизвестности, в коей они до того времени оставалися погруженными. Если бы они совершенно были уверены, что им только одним оные их изыскания будут известны и что

никогда не будет им позволено никому открыть сию тайну, то сумневаюсь, чтоб пожелали купить сие познание несносными своими трудами, продолжающимися несколько лет сряду.

Хотя философы и ученые говорят непрестанно о презрении славы, о мудрости и о спокойствии душевном, однако ж, невзирая на все их прекрасные и высокопарные изречения, утвердительно можно сказать, что если бы они не были к тому подстрекаемы тщеславием, то невежество и поныне господствовало бы над всем родом человеческим, и что единое токмо желание отличиться от простых и неученых людей, превзойти знанием своих современников и заставить всех взирать на себя со удивлением было причиною, что древние веки прославлялись Аристотелями, Платонами, Софоклами, Еврипидами и Демосфенами. Сему единому желанию и нынешние времена одолжены произведением тех великих мужей, кои учинилися знаменитыми чрез свои высокие и изящнейшие творения.

Ежели бы все различных родов ученые ничего более не имели своим предметом, как изучаться нравственным добродетелям и усовершенствовать себя в мудрости, то все их попечения ограничивалися бы познанием самих себя. Они не старалися бы измерять небеса, не исследовали бы течения планет, не углублялися бы в рассмотрение различных произведений природы, не вникали бы в раздробление их внутренних частей и не тщилися бы проницать даже до познания тягости воздуха. «Все сие, — сказали бы они, — не нужно к нашему намерению, ибо к какому предмету стремимся мы нашим познанием? Не к тому ли, чтоб искать способов учиниться благополучными и быть полезными для блаженства других человеков: итак, будем обучаться только тому, что может послужить к соделанию нас добродетельнейшими, и сообщим нашим собратиям и нашим согражданам наши мудрые размышления. Какую пользу приобретут они от познания того, что в природе нет пустоты и что земля обращается около солнца? Сие не учинит их ни кротчае, ни снисходительнее, ни добродетельнее, ни спокойнее, ниже блаженнее. И самые невежды, совсем не знающие, чему научает их природа, будучи вспомоществуемы некоторыми токмо слабыми и всеобщими понятиями, часто бывают гораздо благополуч-

нее людей, в науки углубляющихся. Сколько есть таких художников, кои, спокойно упражняясь в своих художествах, живут без всякого честолюбия посреди своих семейств с большею приятностию и удовольствием, нежели величайшие любомудры, затворенные в своих кабинетах и окладенные книгами, в коих писано о презрении славы? Итак, не наука делает людей благополучными, а честность и добрая совесть. Физика, метафизика, риторика — все сии науки не рождают истинной мудрости, ибо оная иногда встречается и у низкого ремесленника, и у хлебопашца, почему и надлежит ее искать там, где она находится, и лучше чтить спокойное и кроткое невежество бедного художника, нежели тщетные и бесполезные познания тщеславного любомудра и высокопарного витии».

Поистине, любезный Маликульмульк, ежели бы ученые, трудящиеся с толикою прилежностию о сообщении людям приобретенных ими познаний, не иным чем были к тому побуждаемы, как единою любовию к мудрости, то, конечно, не преминовали бы они делать подобные сим размышления и, без всякого сомнения, уверились бы в том, что во сто раз полезнее научать людей способу жить благополучными и спокойными, нежели гоняться за открытием некоторых таких истин, коих познание совсем бесполезно, а притом и приобретается бесконечными трудами. Они бы им говорили просто: «Воспользуйтесь настоящими минутами вашей жизни, будьте добродетельны, исполняйте с рачением возложенные на вас должности и не теряйте бесплодно сих драгоценных минут, которых вы никогда возвратить не можете. Время протекает, и если сердце ваше не возмущается внутренними угрызениями от учинения каких-либо злодеяний и если следуете вы закону честности, то имеете в жизни вашей все, что потребно для приятнейшего услаждения. Упражнение в бесполезных науках ни к чему более вам не послужит, как похитит у вас настоящее благо, питая вас тщетною надеждою о приобретении будущего мечтательного блаженства. Истинные мудрецы ни в чем нужды не имеют, а тщеславные любомудры за все хватаются и во всем чувствуют недостаток. Ежели вы постараетесь спокойно наслаждаться теми благотворениями, коими небо вас одарило, тогда ваше благополучие будет в руках ваших, и вы только должны

будете делать из него полезнейшее употребление. Участь человеческая была бы весьма несчастна, когда бы благополучие каждого зависело от познания таких вещей, которые для него совсем чужды».

Напротив, любезный Маликульмульк, ученые совсем не таким образом подают людям свои наставления: они весьма от того отдалены, чтоб говорить им таковыми словами, и те, которые бы так говорили, подобны бы были купцам, осуждающим свои товары; а вместо того всякий ученый старается превозносить до небес ту науку, в которой он упражняется и желал бы при прославлении ее помрачить все другие науки.

Ритор хотя и хвалит, однако ж весьма слабо философию: по его мнению, наивеличайшее превосходство человеческого разума состоит в даровании уверять людей силою красноречия и трогать сердца благороднейшими выражениями. Философ, напротив того, почитает ритора пустословом, коего все речи ничего в себе не заключают, кроме пустого звука, по воздуху разносящегося, и никакой не приносят пользы тем слушателям, которым более потребен здравый рассудок, нежели блистательные выражения. Подобно физику, он даже совершенно осуждает и самое употребление риторской науки, которая, по его мнению, приносит более вреда, нежели пользы. Некто из знаменитых скептических философов, говоря о риторах, сказал: «Те, которые вымыслили намазывать лицо женщин разными притираниями и делать из него маску, не столько причинили зла в свете, как высокопарные витии, которые стараются обольщать не глаза наши, но наш рассудок, и тем переменяют, ослабляют и повреждают самую сущность вещей». Республики, учредившие у себя порядочное и благоустройственное правление, как-то: Кританская и Лакедемонская, немного уважали ораторами и витиями.

Сия страсть, столь свойственная ученым, чтоб не похвалять никакую другую науку, в которой они не упражняются, не служит ли явным доказательством, что тщеславие, желание приобрести себе от всех уважение и честолюбие бывают главнейшим побуждением в неусыпных их трудах, нежели любовь к истинной мудрости. Ежели бы они трудилися только для того, чтоб подавать наставление

людям, или если бы упражнялися в науках совершенно полезных или в таких, которые рождают собою более любопытства, нежели приносят прибытка, тогда хвалили бы равно все науки и не давали бы нималого преимущества той, в которой почитают себя больше других людей знающими. Но поелику думают они, что если люди более будут уважать ту науку, в которой они себя отличили, то чрез то и к ним самим будут иметь больше почтения, ибо тогда самолюбие побудит людей пользы их соединять с собственными своими пользами; а потому философ думает, что чем более философия будет в почтении, тем и он более будет уважаем. Историк, стихотворец и ритор такие же имеют мысли: каждый из них друг пред другом с вящим напряжением своих сил старается выхвалять, один историю, другой стихотворство, а третий риторику.

Любовь к мудрости, почтенный Маликульмульк, не желает быть превозносима похвалами. Человек, который хочет только быть полезным своим согражданам, не показывает в себе нималого пристрастия к отличным почестям и уважениям, каковые обыкновенно оказываются тем, кои подают людям свои наставления, служащие к украшению их разума и к исправлению их сердца. Суетное тщеславие, желание блистать своими дарованиями и быть предпочтенными своим совместникам никогда не возбуждают в них таких бескорыстных чувств; а вместо оных рождают самолюбие и зависть, которые хотя и бывают сокрыты, однако ж не менее жестоки. Сии-то страсти по большей части бывают причиною той малой справедливости, которую ученые обыкновенно отдают один другому, ибо они всегда страшатся того, чтоб слава другого не умалила их славы и не заградила бы пред ними путь к достижению того бессмертия, которого они с толикою алчностию желают. Некоторые из числа оных, для приобретения имени своему бессмертной славы, делали дела столь же нелепые и почти, можно сказать, столь же безумные и порочные, каковое учинил Еространт. Была ли чья смерть страннее Аристотелевой? Не можно ли оную причесть безумному его тщеславию, когда он хотел показать людям, что лишает себя жизни единственно для того, что не мог совершенно познать таинство природы? А сей другой философ Эмпедокл не должен ли так же почитаться безумным, который бро-

сился в пучину горы Этны, оставя свои туфли, для того чтоб люди были известны о сем отважном его поступке и имя бы его сделали бессмертным? Он был бы несчастною жертвою своего бешенства, когда бы ты, почтенный Маликульмульк, над ним не сжалился, не спас бы его от сгорения и не принял бы в свой дом, находящийся под Этною, где он живет спокойно, смотрит за твоим домом и между тем забавляется чтением книг в обширной твоей библиотеке и выписывает из них некоторые полезные замечания.

Многие ученые, которые хотя не простирали столь далеко своего тщеславия, как те, о которых я тебе упомянул, однакож поступки их ясно доказывали, что они не менее сего старались возмущать свое спокойствие, в надежде учинить имена свои бессмертными. Сколько было таковых, которые ссылаемы были в ссылку, заключалися в темницы и лишалися всего своего имения, чего могли бы они легко избежать, отрекшись от пагубных своих сочинений; но они лучше хотели лишиться всего и стенать под тягостными оковами или быть изгнанными из своего отечества, нежели истребить о себе память.

Но сколь ни было бы бедственно упорное желание о приобретении славы большей части ученых, однако ж, любезный Маликульмульк, люди должны их в том извинить, в рассуждении получаемой от них пользы: ибо соревнование, которое они один против другого чувствуют, поощряет их производить многие прекраснейшие творения. Надлежит о них более соболезновать, что они не делают того единственно из мудрости, что делают по честолюбию: люди должны благодарить и самый сей порок, который заслуживает осуждение, ибо без него науки доныне были бы погружены во мрачной неизвестности.

Ежели какие погрешности могут быть извинительны, то без всякого сомнения те, которые столь искусно приемлют на себя вид мудрости и в коих не иначе, как по самом прилежном рассмотрении, приметить можно их несовершенство. А притом надлежит сказать и то, что не все ученые без изъятия любовь к славе и странное желание, чтоб с похвалою о них говорили, простирают до крайности. Во всех различных состояниях и во всех званиях находится много таких людей, которые в поступках своих достигают до совершенства; равным образом есть много и ученых, которые, обуздывая

свои желания, полагают им некоторые границы и не позволяют себе преступать оные. Хотя то совершенная правда, что все жаждут бессмертия, однако ж не все к достижению оного употребляют одинакие способы и не все желают его купить за одинакую цену.

ПИСЬМО XXXIV

От гнома Вестодава к волшебнику Маликульмульку

Наконец, любезный Маликульмульк, и наш двор не уступает многим европейским дворам, а всему этому причиною Фурбиний, который управляет Прозерпиною, а Прозерпина Плутоном, дозволившим, по просьбе жены, сему италиянцу составить свой штат. Он истощил весь свой разум, чтобы Прозерпина не имела никакой причины завидовать Европе. Угадывая, что ты любопытен слышать, каким образом происходил сей странный набор, опишу я тебе все это происшествие.

Прозерпина, желая скорее видеть ад в новом виде, докучала Плутону ежеминутно о пользе, какую в сей перемене может сделать Фурбиний. «Он, — говорила богиня, — плясывал при многих европейских дворах и был вхож ко всем придворным женщинам, которые с ним короткие имели знакомства, а женщины играют в политике немалое лицо: они движут всеми пружинами правления, и чрез них делаются самые большие и малые дела. Хотя ты с первого взгляду и подумаешь, что мужчины всем правят, а женщины ничего не значат, но очень ошибешься и, посмотря хорошенько, увидишь, что мужчины не иное что, как ходатаи и правители их дел и исполнители их предприятий. Посему ты видишь, что Фурбиний, быв знаком с придворными женщинами, должен наизусть знать политику, что такое есть двор, и уметь его составить; но для исполнения сего он должен иметь полную власть; итак, душа моя, когда ты хочешь видеть ад в лучшем состоянии, то уполномочь его и объяви по себе и по мне первым начальником ада...»

«Перестань, богиня, — вскричал Плутон, — разве ты забыла, что у нас в аде множество воинов и философов, которые сочтут меня дураком за такое объявление и не

захотят признать над собою начальником Фурбиния!» — «Ах, какой ты трус! — сказала богиня, — можно ли тебе бояться кого-нибудь, быв здесь самовластным? Спроси у тех же самых воинов, каковы были Александр, Юлий Кесарь и Дионисий во время их царствования на земле: разве не было в их владениях мудрецов, однако, несмотря на то, делали они по-своему все, что хотели».

«Какая разница! — отвечал Плутон, — там своенравный государь имеет тысячу способов усмирять неугомонных мудрецов и в случае нужды сбывать их с рук, отправляя сюда, как то сделано с Цицероном, с Сенекою и со многими другими; но мне куда их отсюда девать? Бывши всегда с ними, я должен буду терпеть вечные их роптания...»

«Роптания против своего повелителя!—вскричала с негодованием Прозерпина, — перестань, Плутон, ты ужасть как низко мыслишь! Если ты не знаешь, как от сего отвязаться, то заведи только хороший присмотр в аде, и первого, кто хотя одно слово скажет против твоих заведений, отдай на исправление Алектоне; ты увидишь после, как весь ад будет доволен и все тени будут превозносить тебя похвалами. Что нужды, будут ли согласны их мысли с лицом: это такая мелочь, в которую непристойно входить величеству. Отними только свободу и смелость у теней: после того, хотя переодень весь ад в шутовские платья, заставь философов писать негодные песенки, весталок их петь, а героев плясать, и ты увидишь, что они все с таким усердием то будут исполнять, как будто бы родились для сего. Нужно ли, чтобы владетель угождал желанию, хотя бы и очень разумному, нескольких миллионов тварей и был бы их слугою: не гораздо ли пристойнее, чтобы все его подданные последовали его дурачествам? Тот один, по моему мнению, истинный владетель, кто может по своей воле целый народ философов заставить дурачиться. Будь уверен, что Фурбиний нам в этом поможет».

«Прозерпина! — сказал Плутон, — положим, что я сделаю Фурбиния по себе здесь первым, но будет ли он столько умен, чтобы поддержать свое достоинство; впрочем, ты знаешь, что глупый вельможа в глазах народа во сто раз смешнее глупого простолюдима, и если тени увидят в числе моих приближенных десять дураков, то большая половина ада сочтет и меня полоумным».

«О! так ты не знаешь всей обширности твоей власти,— отвечала Прозерпина, — что же может льстить более владетелю, как не то, чтоб заставить весь народ почитать умною такую тварь, в которой нет и золотника мозгу, а плутом человека, посвятившего себя добродетели? Хотя многие потихоньку тому смеются, но те же самые в обществе последуют усердно мнению своего владетеля и уважают или презирают ту особу, смотря по его объявлению. Калигула сделал свою лошадь сенатором, и все римляне оказывали ей наивозможнейшее уважение. Ныне сему смеются, не примечая того, что потомки Калигулина коня, не теряя своей знатности, размножаются по свету. Может быть, будущие веки будут так же смеяться нынешнему веку, как сей прошедшему: обыкновенно, таким образом, новые веки хохочут над дурачествами старых, получая оные от них себе в наследство; последний век только один может похвалиться, что не будет осмеян. Но какая разница, любезный Плутон, между тобою и Калигулою: тот хотя, пользуясь своим правом, мог заставить свой народ молчать и уважать свои дурачества; но он, конечно, знал, что потомки положат истинную цену его делам; а мы с тобою, любезный супруг, не можем опасаться потомков: мы бессмертны и, исполняя маленькие свои прихоти, всегда будем в силах принудить теней почитать наши шалости. Если бы нам вздумалось кого-нибудь взять из бешеного дома и сделать нашим первым министром, то и тогда имели бы мы способ весь ад заставить почитать его первым мудрецом во всей подсолнечной».

После таких убедительных доказательств Плутон не мог более противиться своей жене. Они удалились в кабинет и с помощию Фурбиния сочинили объявление о его новом достоинстве, которое немедленно отдано было Харону, чтобы он объявлял его всем новоприезжающим теням; прибили его подле Цербера, который подкусывал голени всем, кто осмеливался хотя улыбнуться при чтении столь премудрого сочинения, и потом разослали по всему аду. Трем фуриям дали также по одному экземпляру, и вид сих сестриц, вооруженных бичами, немалую придавал силу красноречию Плутона. Ты, я думаю, любопытен узнать, любезный Маликульмульк, сию грамоту; прочти, вот ее список:

«По изволению судеб, Мы, повелители непобедимого ада, обладатели всех померших и имеющих помереть племен земных, Нашему аду спокойствие.

Известно во всем свете, с каким благоволением принимали и принимаем Мы в Наше покровительство оставляющих оный свет людей по разным обстоятельствам. Миллионы храбрых героев, перерезавших друг друга, здесь нашли себе общее и мирное пристанище; погубившие себя от невоздержания болезньми обрели здравие и не опасаются более врачей; гонимые счастием не ждут более здесь перемен непостоянной фортуны; лишенные жизни несправедливо своими государями имеют удовольствие жить с ними здесь в братском согласии, и сами государи не боятся здесь ежечасно возмущений, бунтов и народных роптаний, и живут спокойно от нападения зависти; полуученые безумцы не терзаются досадою видеть свет, почитающий их глупее их сверстников. Смерть сравнивает все умы и познания: здесь нет ни богатых, ни бедных, ни знатных, ни подлых; нет ни зависти, ни презрения.

Радуясь сему и желая еще тверже оградить спокойство Наших подданных, благоизволяем Мы учредить некоторые перемены в аде, кои произвесть препоручаем римлянину Фурбинию. А как для произведения сих перемен нужен добросовестный и умный человек, того для во всех обширных пределах Нашего пространного владения повелеваем почитать его, Фурбиния, честным и разумным человеком, потребным для адского благосостояния, и признавать его главным надзирателем всех теней.

Повелеваем всему аду верить, что он, Фурбиний, совершеннее других теней и потому имеет неоспоримое право называть безумным всякого, кого будет ему угодно, выключая Нашего Величества. Ассирийские, египетские и греческие мудрецы должны уступать ему в премудрости. Сверх того, хотя он, Фурбиний, в своей жизни не сделал никакого храброго дела и предпочитал пляску военному искусству, но Мы чрез сие объявляемое Наше соизволение признаем его, Фурбиния, первым героем из смертных, Александр. Кир, Ганнибал, Сципион и прочие победители света и искусные полководцы да не дерзают с ним спорить в преимуществе военного звания, под опасением за всякий спор по семидесяти ударов бичом Алектоны.

Если же кто из философов дерзнет сказать, что тени все равны и что Фурбиний не умнее Сократа или других мудрецов, таковых возмутителей общей тишины подвергать жесточайшему штрафу; ибо благоугодно Нам, дабы всякий, не входя в дальнейшее рассмотрение Фурбиниева ума и храбрости, признавал его храбрее и умнее себя, и чтобы все другие тени повиновались его повелениям; и хотя бы оные возбуждали народный плач, но со всем тем повелеваем признавать их справедливыми; если же они касаться будут до опасности собственной Нашей особы, тогда докладывать Нам, однако ж под опасением вечной муки доносчику, если Фурбиниево красноречие победит его доказательства.

В заключение ж сего повелеваем трем фуриям принять в начальство семьдесят тысяч адских духов и стараться соблюдать народное спокойство; если же кто дерзнет сим объявлением быть недоволен, такого возмутителя, для общего благосостояния, бросать в Тартар на сто тысяч лет».

После сего убедительного объявления ни одна тень не осмелилась признавать в Фурбинии бесполезного плясуна, но весь ад принял твердое мнение о его достоинствах, и Фурбиний так был сим доволен, как будто бы получил Плутоновым указом геройство, ум и добродетель.

Пожалованный в мудрецы таким новым для ада образом, не умедлил он пользоваться своею властию, дал почувствовать ее всему аду и потом начал набирать двор.

Он пошел... Но я слышу шум во всем аде, все бегают и суетятся: конечно, случилась еще какая новая перемена. Прости, любезный Маликульмульк, я скоро уведомлю тебя и о причине сего смятения и о конце Фурбиниева набора.

ПИСЬМО XXXV

От сильфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку

Я не буду тебе ничего говорить, почтенный Маликульмульк, о тех упражнениях, которые были причиною, что я давно к тебе не писал, а скажу только, что в сие время облетал я большую часть обширных воздушных пределов и сегодня хочу тебя уведомить о некотором происшествии, которое сколь ни есть обыкновенно, но произвело во мне глубочайшие впечатления.

Следуя по воздушному пути, для исполнения некоторой препорученной мне комиссии, должен был я пролетать посверх одного города, достойного примечания как по прекрасному своему местоположению и по великолепию находящихся в нем зданий, так и по богатству своих жителей. Хотя я бывал в нем много раз, однако ж не мог утерпеть, чтоб не побывать еще в таком месте, которое приятностию своею всегда меня утешало. Итак, спустившись на землю и приняв на себя вид человека, вошел я в сей город, надеясь найти в нем такое же утешение, какое находил прежде, и в том не обманулся; ибо, вошед туда, увидел я всех тамошних жителей в превеликом движении. Я спрашивал тому причины, и тот, кому я делал сей вопрос, ответствовал мне с великим удивлением: «Как! конечно, вы иностранец и, видно, теперь только прибыли в сей город, что ничего не знаете и делаете мне такой вопрос. Знайте, — продолжал он, — что один здешний знатный и богатый господин сегодня женится на богатой невесте; весь этот народ, который вы здесь видите, сбегается сюда со всех сторон для того, чтоб быть зрителем радости и удовольствия сей счастливой четы, которая скоро поедет мимо сего места из церкви, где они венчались». В самом деле, лишь только успел он окончить сии слова, как увидел я проезжающие великолепные экипажи, в которых сидели новобрачные, богато одетые и оказывающие на лицах своих радость и удовольствие; таковая же радость была видна и во всех находящихся при сей церемонии. Великая толпа народа обоего пола следовала за их каретами, и восклицаниями своими желали всякого благополучия счастливым супругам.

Ничего не недоставало к блаженству сих новобрачных; они видели исполнение своих желаний, достигали уже до той минуты, о которой столь долго воздыхали и ожидали оной с нетерпеливостию. С каким восхищением повергнутся они друг другу в объятия и каким удовольствием будут наслаждаться! Ежели бы дела мои позволили мне пробыть долее в сем городе, то я бы вошел ночью невидимкою в их спальню, чтобы быть зрителем любовного их восторга; но как я должен был непременно в ту же самую минуту опять отправиться в свой путь, то для того предпочел должность мою тому удовольствию, которое бы мог чувствовать, взирая на совершеннейшее утешение сих счастливых лю-

бовников; ибо тебе известно, мудрый Маликульмульк, что радость и утешение смертных не могут быть нечувствительны сильфам.

Чрез две недели после того, отправя препорученные мне дела и возвращаясь тем же путем для отдания в том отчета, вошел я опять в тот город, в котором был свидетелем счастливого брака; но сколь велико было мое удивление, как при осведомлении моем о новобрачных, надеясь, что наслаждаются они совершенным блаженством, услышал я, что жестокая смерть все счастие их прекратила. Мне сказали, что чрез несколько дней после брака молодой супруг получил болезнь, от которой никакое искусство докторов не могло его избавить. Тщетно употребляли они всю свою науку, дабы сохранить его жизнь для дражайшей его супруги: все старания их были бесполезны. Ни слезы родителей, ни стенание супруги, ни молодость и крепость умирающего, ни уважение к его чинам и богатству, одним словом, ничто не могло убедить жестокую смерть, которая без жалости прервала нить дней его, кои надеялся он препроводить в приятнейшем удовольствии.

Дела, препорученные мне, столь много меня занимали, что мне казалось, будто бы прошло не более одной минуты между тем временем, когда я был свидетелем благополучия сих новобрачных и когда оное смертию счастливого супруга прекратилось. Признаюсь, мудрый Маликульмульк, что сие жалостное происшествие много меня опечалило и произвело во мне прискорбнейшие размышления о тех бедствиях, коим люди бывают подвержены. Возможно ли в самом деле быть нечувствительну, видя отчаяние двух фамилий и печальное и жалостное состояние, в которое повержена молодая и любви достойная вдова, лишившаяся того, кто был для нее на свете всего драгоценнее? Ей представлялся брак только с хорошей стороны; она вкушала все его приятности и льстила себя, что сие блаженное состояние продолжится вечно; но вдруг утешительные ее мысли прервались смертию того человека, которого любила она более самой себя, и вдруг исчезла вся ее надежда наслаждаться ожидаемым счастием. И самая мужественная твердость возможет ли устоять против столь страшного удара? Сердце совсем нечувствительное могло ли бы воспротивиться, чтоб не почувствовать сожаления к ее несчастному положению?

Я был столько тронут сим печальным приключением, что в ту же минуту оставил тот город, в котором происходило сие жалостное позорище. Все приятнейшие в оном предметы, которые в другое время могли бы принести мне величайшее удовольствие, тогда напоминали мне только о том мечтательном блаженстве, которым сии супруги наслаждались одну только минуту. Вот сколь мало, любезный Маликульмульк, люди могут полагаться на блаженство здешней их жизни! Если иногда достигают они в оном и до самого совершенства, то никогда, однако ж, не могут надеяться долго им наслаждаться, ибо минута, в которую почитают они себя благополучнейшими, часто наносит им величайшее несчастие. Стремительное прехождение от одного состояния к другому бывает в жизни человеческой столь легко и обычайно, что должно почитать великим безумием, когда кто возгордится своим благоденствием, которое в одно мгновение может исчезнуть.

Если бы было в здешнем свете такое благо, которое никаким случаем у людей не могло бы быть похищено и в обладании которого ничто бы им не воспрепятствовало, тогда, обладая оным, люди могли бы назваться благополучными. Но где есть такое благо? и мог ли кто когда-нибудь похвалиться, чтоб обладал им совершенно? Известно мне, что были такие философы, которые мнили быть обладателями сего драгоценного сокровища, но они после сами удостоверились собственными своими опытами, что сие мнение их было мечтательное, так что, наконец, принуждены были признаться, что совершенное благо была такая вещь, до обладания которой никакой смертный никогда в свете не мог достигнуть, а к достижению до оного ближе всех бывает только тот, кто имеет непорочную совесть, не чувствует нималого угрызения о прошедшем и не страшится будущего. Однако ж и такой человек не может себя защищать от ударов счастия, ниже быть ко оному нечувствительным: для него остается только величайшим утешением то истинное уверение, что он добрыми своими делами может быть угоден высочайшему судии вселенной и что не имеет никакого страха явиться пред его судилище, столь ужасное для тех, кои не тщилися так, как он, исполнять его волю.

Мудрость, которою ты обладаешь, почтенный Маликульмульк, подала мне смелость сообщить тебе сии мои размышления: я сие делал не для научения тебя, ибо, без всякого

сомнения, ты и сам часто о сем размышляешь; но при описании оных не имел я другого намерения, кроме собственного моего удовольствия, и чтоб тем ты паче утвердился в науке мудрости и в прилеплении к добродетели, которая может почитаться величайшим блаженством, до коего ты со временем достигнуть можешь.

ПИСЬМО XXXVI

От гнома Буристона к волшебнику Маликульмульку

Очень опасно, по моему мнению, любезный Маликульмульк, иметь худого советника, но ничего нет опаснее, как иметь его в своем отце. Есть, однако ж, изверги, недостойные почтенного имени родителя, которые вместо наставления развращают своих детей. Ты узнаешь из письма, которое я при сем к тебе прилагаю, справедливы ли мои слова; но надобно прежде уведомить тебя, каким образом досталось мне это письмо.

На сих днях, бегая из суда в суд, наконец, отчаявался я сыскать преемников трем нашим судьям: в иных местах видел я, что судьи были больны одною болезнью с Эаком, то есть были глухи и не слушали слов челобитчиков; а другие, у которых мозг был не в лучшем состоянии, как у Миноса, не понимали, что им читали подьячие, и подписывали все то, что угодно было их секретарям, которые употребляли их, как некоторое орудие, к своему обогащению. Хотя и были между ими разумные, но они более занимались происками, чтоб возвысить себя и унизить своих противников, нежели челобитчиковыми делами; и таким образом бедным челобитчикам не было иного утешения, кроме добрых судей, которым не дают никакой воли, и которые толь робки, что, боясь истиною прогневать знатных господ, потакают несправедливости их любимцев.

Прохаживаясь таким образом, остановился я в прихожей одного суда, чтобы несколько отдохнуть, и лишь только присел, как вдруг вошла в комнату некоторая бедная женщина, которая, дожидаясь случая увидеть судей, села подле меня. Как я представлял челобитчика, а она действительно в суде имела иск, то и ничего не было легче нам, как разго-

вориться о наших делах: я рассказал ей мнимую повесть о своих, а она открыла мне свои.

«Три рода женщин знаю только я несчастливых, сударь,— сказала она мне: — первые из них — немые спорщицы, которые лишены удовольствия обыкновенным своим орудием отгонять от себя досадчиков, вторые — молодые щеголихи, которые принуждены жить в деревне; а третьи — те женщины, которые, перешед за сорок лет своей жизни, имеют тяжебные дела. Ах! — продолжала она со слезами, — я претерпела все сии злосчастия. Желая отвязаться от строгих моих родителей, я вышла замуж в молодых летах за одного бедняка; я была красавица, сударь, и могла сделать его счастливым; но этот негодяй увез меня в свою деревню, где я должна была проводить лучшие мои лета, не видя никого, кроме рогатого скота и нескольких мужиков, которые еще отвратительнее были моего мужа. В такой горести одно утешение оставалось мне, чтобы всякий день перебранить всех, начиная с него и до последнего скотника: да и подлинно, не проходило ни одной минуты, чтобы кто из них, к моему утешению, не сделал какого дурачества. Таким-то образом всегда для меня было некоторое упражнение, и мой язык умолкал только тогда, когда я засыпала; но — о несчастие! — кричавши шесть недель сряду, я охрипла, и мой язычок упал (при сих словах бедная женщина еще больше заплакала). Вообразите, сударь, мое состояние! Всякий день открытыми глазами я видела все дурачества моего мужа, моих девок и наших дворовых и принуждена была все это сносить, не выговоря ни одного слова! Всякий день брюзгливый мой муж, делал мне свои вздорные поучения; а я не могла заглушить его своими словами и, вытараща глаза, принуждена была слушать его вранье. Таким мучением наказывал меня бог семь лет. Жестокий муж мой старался как можно отдалять от меня всех лекарей, чтобы продолжить навсегда приятную для него мою болезнь; но, наконец, небо сжалилось на мое мучение: я занемогла зубами; призвали лекаря, и он ошибкою вместо зубов вылечил мой язычок, который поднялся попрежнему. Я была вне себя от радости, и сколь ни велика была моя боль в зубах, но я в ту же минуту пошла браниться с моим мужем, и, думаю, точно этим криком прогнала я от себя зубную болезнь; но как бы то ни было, только я твердо вознамерилась наградить несносные для меня семь

лет моей немоты. Уже я чувствовала приятнейшее удовольствие слышать, что мой голос раздавался по комнатам; уже ничьих речей в доме, кроме моих, не было слышно, как дьявол позавидовал моему счастию. Спустя три недели после выздоровления, после обеда вошла я в комнату, где муж мой имел привычку в это время спать. Я нашла его закутанного в одеяле, хотя уже на дворе было семь часов пополудни. Скажите, приличен ли был этот час, чтоб спать? Вы можете догадаться, что я в ту ж минуту начала браниться: по крайней мере на сей раз я была справедлива. Я села против его у окошка и кричала ему, что хозяйство требовало, чтоб не быть так сонливым. «Разве позабыл ты, — говорила я ему,— что мы еще сегодня не были в прядильной и не бранили баб? Разве ты не вспомнишь, что уже скоро будет время итти ко всенощной, а тебе прежде еще этого надобно мужиков пересечь за то, что они сегодня не успели до ненастья в город съездить и убраться с поля. И разве вышло у тебя из головы, негодяй, — продолжала я, — что у тебя есть жена, от которой ты и так всегда бегаешь и делаешь ее пустынницею? Ведь здесь не город, где бы я могла найти тысячу человек, кем и без тебя заняться!» Словом, кричала я ему, сколько могла, и, наконец, скуча его терпением, сдернула с него одеяло, но, о небо! он уже был холоден, — мой муж умер! Представьте, каково было мое мучение! Он не слыхал ни одного слова, что я ему ни говорила (бедная женщина опять заплакала). Уже этого-то перенести не было у меня сил: я зарыдала, как могла громче, но уже ничто не помогло; одним словом сказать, я его похоронила, проживши с ним только три недели после моей немоты.

Как покойник меня любил и был, впрочем, добрый человек — царство ему небесное! — то он еще заживо укрепил мне свою деревнишку. Я нашла его крепость и, вступя во владение сего поместья, думала спокойно провести остаток своей жизни; но проклятый ябедник, мой сосед, узнавши, что мой муж умер, сыскивает какое-то право на мою деревню и зачинает со мною тяжбу, когда я еще не успела оглядеться. Как он богатый человек, то с самого начала выгоняет меня из деревни и после того подает прошение, чтобы судьи подписали приговор, который он прежде уже рассмотрел и исполнил.

Это принудило меня приехать сюда в город; но уже судьи

подписали то, что он сделал. Я их просила и доказывала мою справедливость; они обо мне сожалели, но не переделали моего дела: может быть, для того, что уже издержали деньги, которые им заплачены за сей приговор, а мне нечем было надбавить цену моего соперника; итак, я осталась в проигрыше. После сего перенесла я мое дело в другой суд и услышала, что тут судья не любил брать взятки. Это несколько меня обнадежило, но, к несчастию, узнала, что он любил пить с своими челобитчиками. Мой соперник напивался с ним всякий день допьяна, и я опять потеряла свой иск. Наконец я перенесла дело в сей суд, и везде с радостию слышала, что здесь главный судья не пьет и не берет взятков; но несчастие не перестает меня гнать. Вчерась уведомилась я, что хотя он действительно правосуден, но что один взгляд молодой женщины в состоянии испортить его весы; а у моего соперника жена жеманница двадцати двух лет. Не несчастливая ли я женщина! Если б за двадцать лет назад была эта проклятая тяжба, то я, нимало не заботясь, надеялась бы на свою справедливость; но, быв обременена сорока двумя годами, могу ли я надеяться победить соперника, женатого на двадцатилетней красавице? Ах! сударь, пригожая женщина всякую ложь может сделать истиной: у нашего судьи, конечно, есть глаза и сердце». — «Но, сударыня, — отвечал я, — если бы не было у него глаз, то он не рассмотрел бы истины; а ежели бы не было сердца, то бы он не трогался ею». — «Ах, сударь, — вскричала огорченная вдова, — я не на то жалуюсь, что у него есть сердце и глаза; но на то, для чего эта проклятая тяжба не за двадцать лет пред сим случилась».

Едва окончила она свою речь, как вдруг вышел судья, человек весьма набожного вида. «Кто здесь госпожа Безумолкова, урожденная Златоискова?» — спросил он. «Я, сударь!» — отвечала вдова. — «А! сударыня, я читал ваше дело и, несмотря на решение двух судов, вижу вашу справедливость: итак, будьте уверены, что оно кончится в вашу пользу в самом скором времени; а между тем, чтоб узнать решительный приговор, вы можете пожаловать ко мне сегодня в четвертом часу пополудни». После сего он поговорил еще с несколькими челобитчиками и пошел в судейскую, оставя и вдову и меня в величайшем удивлении о его столь редком добродушии.

«Видите ли, сударыня, — сказал я вдове, — как вы прежде времени несправедливо жаловались на сего судью; он, не брав с вас денег, не напиваясь с вами пьян и не из уважения к вашим прелестям, коих, конечно, рассмотреть ему было некогда, хочет решить дело в вашу пользу». — «Это меня восхищает, — ответила она, — и я ныне же отпишу о сем старшей моей сестре Златоисковой». — «Как, сударыня, — спросил я, — у вас есть старшая сестрица, которая еще не замужем?» — «Чему же вы дивитесь, — отвечала ветреная вдова, — ей еще не более двадцати семи лет: она может еще иметь в свое время женихов!» После сего ветреная Безумолкова пошла от меня в восхищении, позабыв о том, что она за две минуты пред тем проболталась мне в своей печали, что ей сорок два года, а я отправился домой.

«Вот, наконец, нашел я хотя одного честного судью!» — думал я сам в себе:— теперь мне есть чем обрадовать Плутона, который уже, думаю, на меня сердится, что я до сих пор не сыщу для него доброго блюстителя законов, и приписывает, может быть, моему нерадению то, что должно приписывать нерадению больших господ: докажем же адским жителям, что и здесь есть судьи, которых перо свободно и не управляется ни деньгами, ни вином, ни женщинами, и поспешим похитить у света человека, который, конечно, или развратится, или будет гоним».

Узнавши дом сего судьи, в три часа пополудни торопился я к нему, чтоб уговорить его заступить место Эака. Дом его не показывал в себе ничего великолепного и тем более уверял меня в некорыстолюбии хозяина. Я не видал ни одной бутылки во всем доме, почему имел причину думать, что он очень воздержен, также не сыскал я там ни одной женщины, кроме семидесятилетней старухи, которая перемывала посуду и ворчала, что она достальные зубы переломала о черствые корки хлеба, не находя ничего другого к столу, — и это подтвердило мои мысли, что у него женщины не много выиграют своей несправедливою просьбою. Я позабыл тебе сказать, что, желая его посмотреть, я сделался невидимым.

Таким образом прошел я до самой той комнаты, в которой он писал письма. Между прочими изготовленными лежало одно к его сыну. Я его тихонько взял и читал с великим удивлением; думаю, что и ты не меньше моего удивишься, когда его рассмотришь; вот оно:

Любезный сын!

Приятное твое мне письмо я в сем месяце получил и радуюсь, что ты в приказе набил руку так твердо, что своим четким письмом и самому слепому судье можешь понравиться. Только заметил я, что ты ять пишешь очень часто и ставишь двоеточии, запятые и точки. Пожалуй, повоздержись, Лентулушка, а то еще скажут, что ты некстати умничаешь. Заметь, мой друг, что судья, который не употребляет ятей и запятых, никогда не бывает дружен с секретарем, который пишет по фородрафии. Да мне и еще есть нуждица кое о чем с тобою поизъяснитца.

Ты пишешь, что тебе несносна приказная служба, и просишь дозволения ее оставить. С чего ты это забрал себе в голову, друг мой! Да знаешь ли ты, что твой дед нажил в этой службе больше сорока тысяч рублей, твой отец приобрел большой каменный дом в четыре этажа; да и ты, мой свет, доколе не наживешь хотя посредственной деревнишки, дотоле я тебя из этой службы не выпущу, или не будь над тобою мое благословение; а ты знаешь, что этим шутить дурно.

«Низко ходить на поклон к своему судье!» — вот какой вздор! Да я, брат, и вырос в прихожей у своих командиров, зато ныне и у себя в прихожей людей выращиваю. Учтивость, друг мой, шеи не вывихнет, а гордым и бог противится. Будто велика беда в праздник сходить к судье на поклон! Ведь нечего же делать! «К обедни», — скажешь ты мне. — К обедни, друг мой, успеешь и от начальника, а если и некогда будет, то бог не взыщет: он до нас милостив и не прогневается, если иногда прогуляешь обедню; а советник станет сердиться, если не придешь к нему в праздник поутру, и может за это отомстить. Бог по великой своей благости, конечно, простит, когда покаешься; а бояре ведь и покаяния не принимают.

Я здесь знаю одного молодого упрямца, который так же, как и ты, определясь в штатскую службу, думал, что совсем не нужно ходить на поклон, и хотел лучше угодить своему начальнику прилежностию к своей должности; но он тем сделался несчастлив. Лучше бы было, если бы он прогулял, не бывши в приказе сто дней, нежели пропустить шесть воскресеньев, не постояв в передней у своего покровителя, который за то лишил его места и принял к себе в прихожую

на жалованье другого, который и доныне за триста рублей в год и за два чина в три года ходит к нему в прихожую исправно по всем табельным праздникам. Берегись, чтоб и с тобою не случилось такого же изгнания: ведь и пенять не на кого будет; ты тем немало себя в людях обесчестишь, для того, что с стороны не всякий догадается, голова ли, или ноги твои были причиною, что тебя отставили.

Еще ты пишешь, что он тебе иногда несправедливые делает выговоры и что ты при первом случае сам скажешь ему, что он неправильно тебе выговаривает: берегись этого делать, сынок! Командир долго помнит, если ему подчиненный скажет, что он соврал; а это может иметь очень худые следствия. Впрочем, ты хотя человек благородный, но еще очень молод: для чего бы не вытерпеть тебе от начальника грубого словца? Я слыхал, как вашу братью благородных дураками и скотами называют, а иногда и палкою по лбу заедут: да кто больше сносит, того больше и жалуют, и для того-то многие благородные терпеливо сносят от своих командиров название глупца, разини и проч., помня пословицу: «Где гнев, тут и милость».

А если ты вздумаешь ему итти вопреки, то тебе же будет хуже: я тебе пророчествую, что он хотя и перестанет тебя бранить, но зато подкопает под тобою такую вину, что ты и места не сыщешь. Ты опять мне скажешь, что ты постараешься быть исправным в должности, следственно, и будешь безопасен от всех подысков. — Пустое, друг мой! да знаешь ли ты пословицу: «Господин сыщет вину, если захочет ударить палкою свою собаку». Притом ты должен знать и то, что всякий начальник представляет в себе особу государя; и мы так же его слуги, как и государевы; а слугу-то, ты ведь знаешь, что можно бить, как собаку. Итак, все мы собаки, Лентулушка, и всех нас можно бить палками: хотя ныне и запрещено это делать, но всякий ли подчиненный имеет случай и предстательство, чтобы получить удовольствие на своего начальника. Довольно нам и того утешения, что и у наших-то командиров есть свои командиры, у которых они такими же бывают слугами, как мы у них.

Итак, оставь, пожалуй, твой строптивый нрав и покорись лучше необходимости. Как ты в твои лета и с твоим умом не можешь сыскать счастия в начальнике! Сколько раз учил я тебя, как надобно поступать в таком случае; а ты все по-

забываешь мои наставления и одно утямил себе в голову, что ты *благородный! благородный!* В службе, друг мой, надобно только это помнить перед своими подчиненными, а перед командирами должно совсем это из головы выкинуть. Каков бы глуп командир ни был, но кто захочет к нему подбиться, тот позабывает свое *благородство*, старается подражать всем его дурачествам, хвалит его поступки, потакает его словам и чрез то хочет сделаться первым его любимцем, а часто и получает в том успех, хотя, впрочем, совсем не смыслит своей должности. Приметь, любезный сын, что это не в одном вашем суде наблюдается: неужели ты хочешь быть выродком из приказных?

Но если ты так ленив, то ищи хотя другою дорогою своего счастия. Ты знаешь у твоего судьи ключницу Златоискову: постарайся к ней подбиться, избегая, однако ж, всяких греховных помышлений. Впрочем, любезный Лентул, если бы ты так счастлив был, чтобы сыскал в ней благополучие, то бы чинка два верных схватил, для того, что у этих ключниц и от чинов часто бывают ключи; а ежели бы хотя и греховное что случилось, то бы ты еще в свой век умел покаяться, а чинов-то бы с тебя не сняли. Я сам грешный человек, Лентулушка! У моего советника была кухарка, то правда, хотя я от нее чинов и не получал, но раза два от солдатчины избавлялся. Да, полно, я и не ленив был, не так, как ты, Лентулушка!.. Только слушай, Лентул! я тебе шутя это пишу, а в самом деле, что ты ни сделаешь, я греха на себя не принимаю, по пословице: «Ты в грехе, ты и в ответе», но ежели ты не боишься эпитимии, то, пожалуй, себе залезь этой дорогой в чинок, другой; я же, с своей стороны, любезный друг! никогда не оставлю тебя своими отцовскими молитвами.

Я так о тебе более думаю, нежели ты сам: мне недавно попался случай, который может послужить к твоему благополучию, и я за него ухватился обеими руками.

У меня недавно случилось дело какого-то богача по прозванию Кривопросова со вдовою Безумолковою, которая по отце Златоисковых. Я тотчас представил, что она сестра ключницы твоего судьи, и, несмотря на богатые подарки Кривопросова, решил дело в ее пользу. Я хочу с нею свести знакомство, чтобы посредством ее упросить ключницу о ее за тебя предстательстве. Видишь ли, друг мой, чем я тебе пожертвовал! по крайней мере тремя тысячами рублями.

Да если б только ты был порачительнее, то я бы был в состоянии сделать и еще более: я бы женился на этой вдове, чтобы тем породниться с ключницею твоего начальника и привесть тебя у него в милость; но сердце мое слышит, что ты не поддержишь моего намерения, и для того на старости я намерен только за нею примахнуть.

Что же ты пишешь об отставке, то еще повторяю, что это совсем пустое, мой друг! Чем ты жить станешь, разве с своим секретарским чином по миру пойдешь? Что принадлежит до меня, то ты сам знаешь, что я человек не слишком достаточный и прежде смерти ничего дать тебе не в состоянии; если же ты, как говоришь, надеешься на своих приятелей, то, любезный сын, *не надейся ни на князи, ни на сыны человеческие*, а лучше наживи сам тысяч пятьдесят, да тогда с божьей помощью и ступай в отставку. Тогда, если тебе приказная служба и не будет нравиться, то с такими большими деньгами можешь и в военной службе сыскать себе счастие. Хотя ты не будешь греметь храбростию и не напечатают тебя во всех европейских ведомостях, но что до этого нужды? И без того наживешь хороших покровителей и будешь получать чины: ведь ведомости не животная книга, в них не одни праведные вписываются.

Я заглянул еще в твое письмо; ты пишешь, чтобы прислать к тебе хотя несколько денег: только, право, мой друг Лентулушка, у меня нет ни копейки, а посылаю к тебе мое родительское благословение и остаюсь навсегда

Отец твой

Авдей Частобралов.

ПИСЬМО XXXVII

От сильфа Дальновида к волшебнику Маликульмульку

Рассматривая с великим прилежанием, почтенный Маликульмульк, различные склонности людей и не последуя предрассудкам, никогда не верю тем обманчивым видам, кои подобно мишурным позументам издали блестят, как настоящее золото, по коль скоро станешь его рассматривать вблизи, то оное совсем теряет свою цену и достоинство. Я почитаю в людях одну только мудрость и добродетель, и под какими

бы видами оные мне ни представлялись, я всегда равное имею к ним уважение. Мещанин добродетельный и честный крестьянин, преисполненные добросердечием, для меня во сто раз драгоценнее дворянина, счисляющего в своем роде до 30 дворянских колен, но не имеющего никаких достоинств, кроме того счастия, что родился от благородных родителей, которые так же, может быть, не более его принесли пользы своему отечеству, как только умножали число бесплодных ветвей своего родословного дерева.

Ежели бы кто захотел рассматривать начало многих фамилий, славящихся своей древностию, то увидел бы с удивлением, что сия знаменитость, столь много в них уважаемая, не имеет других себе оснований, как токмо благосклонность министра или его любовницы, или иногда заплачение за пергаментовый лист великой суммы денег, приобретенной чрез грабление вдов и сирот, и тем учинилась блистательною, так что пользующиеся оною не более в том имели участия, как и в славе великого Могола или в победах царя Пегуского.

Может ли что быть страннее, почтенный Маликульмульк, как приписывать фамилиям таковые же свойства, каковые имеют растущие деревья, кои произрастают и возвышаются, на какой бы земле ни были посажены, не имея ни малой нужды ни в чьей помощи? Коль скоро один раз честный человек учинил фамилию свою благородною, то может несомненно быть уверен, что наследники его, лишь только были бы богаты, час от часу будут нечто присовокуплять к достоинствам, предком их приобретенным. Такова есть участь дворянства. На какой бы земле ни было оное насаждено, но сколь долго какой род будет иметь непрерывное свое продолжение, то от времени до времени делается почтеннее и знаменитее; ибо истинное его достоинство почитается токмо в древности.

Какие бы добродетели и великие достоинства ни имел новый дворянин, однако ж его почитают дворянином *новой фабрики*, но глупец и невежда, происходящий от древнего рода, почитается человеком знаменитого происхождения, и его называют древним дворянином.

Взирая иногда, почтенный Маликульмульк, на таковые предрассудки, кои имеют некоторые дворяне о древности своего рода, кажутся они мне столь же смешными, как пус-

тые мнения некоторых ученых, которые тогда только изъявляют почтение к наилучшим творениям Фукидида, Тацита, Цицерона и проч., и тогда только оные читают, когда находят их в рукописях древних, совсем истасканных, измаранных и изодранных. Сколько бы кто ни старался им предлагать те же самые сочинения исправленные и со всяким рачением преданные тиснению и сколько бы их кто ни уверял, что в тех рукописях великое множество погрешностей, — что многие слова стерты и совсем почти непонятны, однако ж они никого бы не послушали, ибо прилепляются к единой токмо древности: Цицерон кажется уже им не Цицероном, Фукидид теряет для них все свои достоинства, коль скоро не нужно надевать на нос очков, дабы с глубочайшим вниманием рассматривать, с потерянием своего зрения, древние рукописи, восемь или девять сот лет назад писанные. Я думаю, почтенный Маликульмульк, что сие беспримерное почтение и уважение к древнему дворянству, не имеющему другого достоинства, кроме единой токмо древности, можно почесть столь же безумным мечтанием, как и ту страсть и привязанность к древним рукописям; а иногда уподобляю я оные тому безумному уважению, которое имеют голландцы к старой фарфоровой или глиняной посуде: простой глиняный горшок, который почли бы они за ничто, ежели бы он был сделан не более года, поставляется у них в числе драгоценностей, когда он сделан за пятьдесят или за шестьдесят лет назад.

Но когда я столь явно осуждаю людские предрассудки о дворянстве, то, однако ж, не желаю сим утверждать, будто бы оно должно быть презираемо. Я совсем не имею таковых мыслей; а только бы хотел, чтоб оно тогда токмо было почитаемо и уважаемо, когда украшается многими почтенными качествами: я желал бы, чтоб оно имело те же самые преимущества, каковые имеет добродетель, всегда сопровождать его долженствующая, и чтоб к нему не было оказываемо нималого уважения, коль скоро оно не заключает в себе сих достоинств. Последователи Эпикура полагали основанием всех вещей *пустоту* и *атомы*, но и оные одна без другой не имели у них никакой силы. Не можно ли бы было, подобно сему, постановить начальнейшими правилами почестям благородного дворянства, кои приписываются людям без всякого личного достоинства, *благородное рождение*

и *благородные чувства*, так чтоб без сих последних первое совсем ничего не значило и было бы подобно совершенной эпикурииянской *пустоте*.

Сие установление сначала покажется относящим все вещи к первому их началу, а некоторые, может быть, подумают, что чрез оное желаю я, чтоб почти совсем не было других дворян, кроме тех, кои приобретают сие знаменитое достоинство одною своею особою, чрез отличные свои дела; однако ж намерение мое совсем состоит не в том; ибо ежели бы я совершенно опровергал все различия, находящиеся между некоторыми фамилиями по их древности, то тем мог бы заслужить такое же осуждение, какое делаю сам безумным в людях предрассудком. Я полагаю, что в государстве благоустроенном непременно нужно, чтоб были различные чины и достоинства, из коих некоторые должны быть даваемы людям, имеющим хорошее воспитание, приводящее их в состояние и способность исполнять вверяемые им должности. Весьма естественно, что особы, рожденные от таких фамилий, кои с давнего уже времени почтены знаменитейшими чинами, бывают гораздо способнее других исполнять важные должности, со оными сопряженные, будучи, так сказать, во оных воспитаны; нежели такие, которые нимало к тому необыкновенны и коим сии должности часто совсем бывают неизвестны.

Итак, еще я повторяю, что нужно бы было учредить сие правило: ибо дворянство тогда только может быть полезно и всякого уважения достойно, когда сопровождаемо бывает добродетелию; оно не должно и не может приписывать себе никакого права к оказанию наглого порока: невежества, безумия, бесчестия и проч., ибо все сии гнусные поступки почитаются в очах философа столь же предосудительными в благородном дворянине, как и в самом низком гражданине.

Вот еще другое правило, которое казалось бы мне столь же справедливо, как и первое. Надлежит, чтоб между двумя дворянами по единому токмо достоинству давали одному перед другим преимущество; а ежели при таковых случаях будут предпочитать одного другому единственно потому, что род его имеет свое происхождение древнее, то сие предпочтение также можно будет уподобить тому уважению, которое делают голландцы старой посуде или той смешной привязанности к древним рукописям, и тогда я буду утверждать

то же самое, что говорил с начала моего письма, и думаю, что сие будет не без основания, ежели я сделаю справедливое заключение, что из почтения к дворянству никогда не должно, без точного исследования, оказывать достойные почести и преимущества благородному вертопраху.

Я нимало не удивляюсь, почтенный Маликульмульк, что многие знаменитые писатели толико вооружались против сильных предрассудков в пользу благородного дворянства: они тем старались защищать собственное свое, хотя простое, но честное рождение; и поелику природа, одарив их отличным преимуществом в разуме и добротою сердца, не дала им оного со стороны их породы, то потому не было ли весьма естественно, что они едва могли сносить, что предпочитали им таких людей, пред коими во всем прочем, кроме рождения, имели они великое преимущество? Поистине я прощаю всем ученым в делаемых ими жестоких возражениях против дворянства, ибо они имели неоспоримое право нападать на сию мечтательную химеру, пред коею на жертвеннике возжигали постыдную жертву, которая долженствовала бы быть приносима единой токмо добродетели.

Если бы сии писатели, писавшие против раболепнейшего почтения, оказываемого к старым бумагам, к древним похвальным грамотам и к пышным титулам и чинам, были в состоянии сами собою познать внутренность тех, кои рождением своим надмеру превозносятся; то тем могли бы они с большим успехом нападать на сие ужасное страшилище, с которым непрестанно желали сражаться. Но, по несчастию, большая часть из них известны были о единых токмо слабостях и пороках, усматриваемых в дворянстве, и о некоторых поступках, достойных смеха, а не уважения многих дворян; а по тому самому делали они против их жестокие возражения и укоризны и поставляли добродетель выше рождения. Хотя и имели они к тому справедливейшую причину, однако ж гораздо более находили бы способов к сему осуждению, когда бы, вошед в обстоятельное исследование, могли открыть многие странные и всякого презрения достойные поступки большей части дворян, носящих на себе сие достоинство по единому токмо названию. Весьма мало ученых поступали таким образом; ибо немногие из них находились в таких положениях, чтоб могли точно быть сведомы о всем том,

что происходит в большом свете. Поелику некоторые из сих ученых проводили всю жизнь свою в своих кабинетах или с крайнею чувствительностию несли на себе иго учиненной с ними несправедливости, на которую непрестанно приносили жалобу, то низкость их рождения не позволяла им приближаться к особам высоких чинов и достоинств; некоторые же хотя и могли бы быть более сведомы о слабостях знаменитых вельмож, но они поставляли себе долгом употреблять свое свободное время на другое полезнейшее упражнение, нежели на исследование глупостей и коловратностей многих людей, думающих о себе, что чрез благородное свое рождение приобрели они право делать разные смеха достойные нелепости и что никто не имеет права им в том противоречить. Однако ж я думаю, почтенный Маликульмульк, что время, употребляемое на примечание различных склонностей человеческих, сколь ни были бы оные порочны, всегда употребляется с пользою; ибо чрез то можно научить ненавидеть порок, рассматривая всю его гнусность.

ПИСЬМО XXXVIII

От Астарота к волшебнику Маликульмульку

Исполняя данное мне от тебя повеление, почтенный Маликульмульк, чтоб уведомлять о всех случающихся новостях в подземных наших жилищах, препровождаю к тебе описание происшедшего здесь спора между теньми некоторого богатого откупщика и недавно прибывшей сюда театральной танцовщицы. Разговор их показался мне очень забавен, и я надеюсь, что он и тебе понравится.

РАЗГОВОР

между теньми Золотосора и Всемрады

Золотосор.

Как! ты ли это, любезная Всемрада? Кто бы подумал, что в таких цветущих летах и наслаждаясь притом, как мне известно, совершенным здоровьем, переселилась ты столь безвременно в здешние места! Я думаю, что г. Промоталов после твоей смерти сошел непременно с ума, потому что он любил тебя до безумия.

Всемрада.

Это правда, что бедняк чувствовал ко мне сильную горячность, однако ж гораздо бы было для меня лучше, если б я никогда не имела с ним знакомства, потому что любовь его ко мне причиною была моей смерти.

Золотосор.

Слова твои меня очень удивляют. Как! неужели родственники Промоталова, озлобясь, что ты издержками своими совершенно его разоряла, приказали дать тебе потихоньку лекарство, употребляемое нередко в таковых случаях в Италии? Без сомнения, подговорили они на свою сторону какого-нибудь снисходительного эскулапия, который посредством своих предписаний отправил тебя на сей свет без малейшего шума?

Всемрада.

Нет, родственники Промоталова поступали со мной гораздо человеколюбивее; и хотя, как тебе известно, все они смертельно меня ненавидели, однако ж никакого не имели участия в моей кончине: одна только любовь или, лучше сказать, те пагубные следствия, которые часто влечет она за собою, были причиною моей смерти. Будучи беременна более уже шести месяцев, вздумалося мне, невзирая на тяжесть, коею я была обременена, танцовать в новом балете. Ты знаешь, г. Золотосор, что подобные мне театральные девки нередко принуждены бывают жертвовать собою для удовольствия публики. Таким-то образом узкое шнурование, которым я была стянута, и высокие прыжки, которые я тогда делала, довершили мою погибель. По выходе из театра почувствовала я жестокое мучение, и на третий после того день умерла родами.

Золотосор.

Я очень сожалею, любезная Всемрада, о твоем несчастии: по справедливости, нет ничего несноснее для пригожей женщины, как в цветущей юности лишиться жизни; однако ж ты отменно была несчастлива при таковых случаях, ибо, как помнится мне, это уже не в первый раз с тобою случалось.

Всемрада.

Это правда: первого случившегося со мною несчастья причиною был некоторый знатный господин, а в другой раз музыкант, играющий на скрипке.

Золотосор.

Это очень забавно: ты избрала себе двух любовников совсем различных свойств и состояний. Я никогда бы не поверил, чтоб женщина столь нежного вкуса, какова была ты, прельстилася глупою харею простого скрипача, и для меня очень удивительно, что, имея власть выбирать любовников и в ложах и в партере, унизила ты себя столько, что вытащила его из оркестра. Напротив того, я очень уверен, что госпожа Перелюба, прежняя моя любовница, никогда не избирала мне столь недостойных совместников.

Всемрада.

О, как же ты ошибаешься! Поверь мне, что и она всегда следовала моему примеру, и любовник, избранный ею тебе в помощники, не знаменитее был сего музыканта, которым ты меня упрекаешь. Она несколько только дней в неделе препровождала с тобою, а остальные с служителем некоторого машиниста. О! что касается до этого малого, то он в некоторых случаях превосходил всех, сколько ни есть откупщиков на свете: то правда, что не имел он ни золота, ни серебра, но природа вместо того одарила его другими совершенствами, которые у женщин более всего уважаются. Ты, будучи первым ее любовником, пользовался ее благосклонностями во все те блистательные дни в ее жизни, когда игрывала она на театре: то есть во вторник, в пятницу и в воскресенье; но слуга машинистов довольствовался оными в понедельник, четверг и субботу; что ж касается до середы, то этот день не принадлежал ни тебе, ни твоему сопернику, а госпожа Перелюба назначала его для театрального надзирателя, который, приходя к ней, делал ей иногда честь своим ночлегом.

Золотосор.

О, это сущая ложь и совершенная клевета! Ты, конечно, для оправдания своих поступков вздумала поносить мою любезную Перелюбу, которой примерное постоянство не

было подвержено ни малейшему сомнению. Я слышал от многих переселившихся сюда моих знакомцев, что она чрезвычайно обо мне сожалела и несколько дней сряду беспрестанно плакала.

Всемрада.

Да, тебе это сказано было очень справедливо, но кто может знать лучше меня, отчего она так много огорчалась? Я была ее поверенною, и потому все ее тайны были мне открыты. «Я лишилась, — говорила она мне, — в особе г. Золотосора величайших сокровищ; хотя то правда, что никто не был столь глуп и несносен, как он, однако ж щедрость, с каковою расточал он для меня свои сокровища, вознаграждала все сии недостатки. О смерть! если из трех моих любовников надлежало тебе похитить у меня одного, то для чего не обратила ты смертоносное свое оружие на этого несносного надзирателя, от которого в целый год получаю я меньше, нежели от г. Золотосора получала в две недели. Нет, любезная Всемрада, — продолжала она, — никогда уже не возвращу я того, чего лишилась, и никогда не найду такого человека, которого бы с такой легкостию могла я водить за нос, как то делывала с этим глупым откупщиком». Вот, г. Золотосор, отчего происходила печаль твоей любовницы; я думаю, что очень неприятно для твоего самолюбия слышать такие вести, но что ж делать: не ты первый, не ты последний!

Золотосор.

Если б Промоталов знал тебя так же хорошо, как я, то, без сомнения, не столько бы печалился о твоей смерти, и если все твои рассказы о неверности ко мне прежней моей любовницы справедливы, то она, однако ж, не столько виновна, как ты. Помнишь ли ты того немца, который пользовался твоею благосклонностию в то же самое время, когда разоряла ты бедного Промоталова? Также, я думаю, не позабыла еще ты и того, что при воззрении на золото горячность твоя к нему, которою ты столь много превозносишься, совершенно исчезала: деньги производили над тобою такое же действие, какое стужа производит над термометром.

Всемрада.

Я могла бы сказать тебе в свое оправдание, что в этом случае делала я то же самое, что делают прочие мои

подруги, и что совсем несходственно бы было с моим промыслом поступать в том иначе; однако ж, оставя это, хочу я уведомить тебя, что ничто другое, как та же самая чрезмерная горячность, которую чувствовала я к Промоталову, побуждала меня быть иногда против него непостоянной. Я с сожалением примечала, что издержки, которые он для меня делал, приводили его в истощение: итак, чтоб сберечь его кошелек, почерпала я то у других, чего в нем недоставало: у агличан опорожняла я карманы от гвиней, которые были им в тягость, а у немцев вытаскивала червонцы, которые также были у них лишние. Поверь мне, любезный Золотосор, что я была бы меньше вероломна, если бы не столько любила Промоталова.

Золотосор.

Вот очень смешные оправдания! Право, мне кажется, ты еще не совсем отвыкла от тех любовных глупостей, которые часто болтаются на театре. «Я была бы меньше вероломна, если бы не столько любила Промоталова!» Да кто принуждал тебя любить излишнее великолепие и бесполезные издержки? Ты могла бы очень хорошо прожить теми деньгами, которые получала от своего любовника; однако ж тебе их недоставало и на полгода! Если бы ты в самом деле любила Промоталова, то, конечно бы, провождала свою жизнь совсем другим образом. Двадцать богатых платьев! тридцать разных манеров чепчиков и шляпок! триста бутылок шампанского вина и пятьдесят или шестьдесят прогулок за городом, которые ты по любви своей к нему должна бы была отменить, избавили бы твое постоянство от всякого искушения. Оставя излишнее щегольство и наблюдая во всем бережливость, не была бы ты принуждена ежеминутно его обманывать.

Всемрада.

О! г. Золотосор, это давно уже вышло из моды и никогда между нами не исполняется: ну, можно ли требовать от театральной девки, а особливо от танцовщицы, чтоб была она порядочна в своих поступках? Это то же самое, как бы желать, чтоб откупщик сделался честным человеком и воздержался бы грабить народ тогда, когда имеет к тому способный случай, чтоб петиметр был скромен и чтоб крючкотворец перестал брать взятки! Я всегда видела, что все мои по-

други ни о чем более не стараются, как о нарядах, и непостоянство почитают не иначе, как за невинную шутку; итак, могла ли я поставлять себе в порок то, о чем все они рассуждали с таким равнодушием? В этом случае подражала я дорогой твоей Перелюбе и обманывала так же Промоталова, как она тебя, с тем только различием, что его любила я чистосердечно, хотя и была ему неверна, а твоя любовница оказывала только наружную к тебе привязанность; вот какое различие в любовных делах между таким молодым и пригожим офицером, каков Промоталов, и между таким богатым и старым откупщиком, каков был ты: он в объятиях хотя неверной любовницы, однако ж вкушал утехи чистосердечной горячности, а ты был тем одолжен только своим сокровищам.

Золотосор.

Если б ты имела хотя искру честности, то должна бы была уведомить меня еще при моей жизни о том, что теперь мне рассказываешь: тогда не расточал бы я по-пустому своего богатства для такой вероломной и негодной женщины.

Всемрада.

Г. Золотосор! Ты желаешь совсем невозможного. — Как! ты требуешь, чтоб я уведомляла тебя о том, что могло бы причинить вред моей подруге! Неужели тебе неизвестно, какое царствует согласие между театральными красавицами, когда намеряются они ограбить какого-нибудь богатого откупщика? И самые те, которые бывают между собою смертельными неприятельницами, делаются искренними друзьями, коль скоро дело дойдет до кошелька подобного тебе богача. Участь многих твоих товарищей долженствовала бы тебя научить и без моего уведомления, чтоб остерегаться тех хитрых обманов, которые мы очень искусно умеем употреблять против таких простяков, каков был ты и другие тебе подобные, расточившие для нас все свое имение и из любви к нам доведшие себя до совершенного разорения.

ПИСЬМО XXXIX

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Если бы случилось тебе, любезный Маликульмульк, быть в здешней земле, ты очень бы удивился, услыша все-

народное роптание на бедность. Здесь все жалуются, что нет денег, от нищего до миллионщика, и от сторожей у старых архивов даже до вельможей, приставленных у смотрения откупов и управления тяжебными делами. Все тоскуют, что жить нечем; у всех недостаток в необходимости, и все говорят, будто приближается последний век; а я так думаю, что свету преставление давно уже было и что люди все померли, а остались одни только машины, которые думают, будто они действуют, как между тем самая малейшая неодушевленная вещь приводит их в движение; но всего страннее, что они жалуются на судьбу в том, в чем сами виноваты; они ропщут на богатство прежних времен и негодуют на бедность настоящего. Каково бы тебе показалось, что есть здесь люди, которые почитают необходимостию прожить в год двести тысяч рублей, хотя знатные люди древних веков, каков был Публикола и прочие, проживали во сто раз меньше и не жаловались на свою бедность.

Говорят, будто здешние жители за 200 лет назад не жаловались на свою бедность и почитали себя богатыми, доколе французы не растолковали им, что у них нет ничего нужного, что они непохожи на людей, потому что ходят пешком, потому что у них волосы не засыпаны пылью и потому что они не платят по две тысячи рублей за вещь, стоящую не больше ста пятидесяти рублей, как то делают многие просвещенные народы. Жители здешние, услыша это, устыдились, что они не просвещены, стали отдавать французам множество денег за безделицы, заставили себя возить в ящиках так, как возят на продажу деревенские мужики кур, засыпали головы свои мукой и теперь думают о себе, что они в просвещении перещеголяли всех европейцев.

Итак, здешний житель, который почитает себя важным в большом свете, желая сохранить сию важность, несет свой годовой доход, состоящий из трех тысяч рублей, в лавки, платя шестьсот рублей за кузов, в котором протаскают его не более одного года; тысячу двести рублей отдает за хорошие аглинские и французские материи на платье; на девятьсот рублей покупает пряжек, цепочек и других подобных сим необходимостей; а последние триста рублей отдает парикмахеру французу и, не оставя денег на стол, жалуется, что хлеб дорог, и ищет обедов у своих приятелей. Таким-то образом богатый помещик преобращает свой хлеб и своих

крестьян в модные товары, а французы имеют искусство делать сии товары такими, чтоб преобращались они через месяц в ничто: итак, мудрено ли, что здесь недостаток в хлебе, ибо надобно, по крайней мере, четыре куля муки, чтоб преобратить их в посредственную аглинскую шляпу, и надобно десять кулей, чтоб иметь простые серебряные на ногах пряжки.

Сначала хотя это и делало вред щеголям, однако ж тогда хлеб разделялся по народу, и господа недовольны были только тем, что надобно было много иметь труда и терпения, чтобы дождаться нескольких тысяч кулей, дабы превратить их в пуговицы и кружева; французы наставили их, наконец, на ум, и научили не один только хлеб, но и людей превращать в модные товары. Последуя сему премудрому наставлению, молодой помещик мало-помалу убавляет у себя хлебопашцев, променивает их на модные товары или превращает в волосочёсов и портных, от которых надеется доставать более денег; итак, лучшие люди отнимаются с полей, на коих оставляются только старые и малолетные, меняются на разные безделки, а достальные, вместо того чтоб доставать хлеб из земли своими руками, за каретами и в передних у своих господ ждут спокойно, пока их накормят. Просвещенные люди нынешнего века дивятся невежеству своих предков: к чему старалися они наполнять свои житницы хлебом и содержать хорошо своих крестьян? Напротив, того, сами, стараясь загладить их погрешности, пекутся только о том, чтоб иметь у себя более кафтанов, и не иным чем думают лучше доказать свое просвещение, как промотав в шесть лет то, что предки их в несколько десятков лет скопили. Французы удивляются их просвещенному вкусу, смеются им в глаза и сбирают с них деньги. Сии французы очень хитры и довели, наконец, до того, что почти всякий из здешних жителей мучится совестию и почитает за стыд, если не отнесет ежегодно к французам три четверти своего дохода и пятую часть всего своего имения.

Тебе странно, может быть, покажется, каким образом принудили они здешних жителей, не объявляя им войны и не имея никаких к тому прав, платить себе толь тяжкую подать, какой никогда не сбирал Рим с своих подвластных народов во время корыстолюбивейших своих правителей. Но это политическое покорение здешних жителей французами

толь хитро произведено в действо, что и я, бывши здесь, не могу сего разобрать подробно, некоторые, однако ж, случаи и обхождение с французами подают мне о том слабые мнения, и мне хочется только тебе, любезный Маликульмульк, представить их на рассуждение.

Желая закупить Прозерпине модных уборов, зашел я недавно во французскую лавку к славнейшей здешней обманщице. По обыкновению своему она хвалила мой вкус в выборе вещей, в которых, признаюсь, не находил я никакого толку; а я играл перед нею лицо деревенского дворянина, которым по большей части показываю я себя для того, чтоб люди, видя меня под таким покровом, менее остерегались, и я бы имел более случая их узнавать. «Каков этот тюрбан?» — спросил я у француженки. «Государь мой! — сказала она с восхищением: — вы ни на что дурное не покажете: вам все то нравится, что прекрасно; вы, конечно, недавно возвратились из Парижа, что имеете вкус, столь сходный со вкусом тамошних жителей». — «Нет — сказал я, — я недавно приехал из деревни и к родственницам моим хочу послать несколько уборов: мне хочется в этом случае попросить твоего совета».

Француженка сделала мне горделивый поклон и зачала передо мною вновь перебирать разные уборы. «Я, сударь, не знаю, — говорила она, — каких лет ваши родственницы; однако ж вы увидите, что моя лавка может наградить недостатки каждого возраста. Начнем по старшинству: вот, например, прекрасный покоевый чепец: он может быть подпорою вашей бабушке, если она у вас есть; пусть только наденет она его на себя, то сей чепец, закрывши половину ее лица и глаз, закроет половину ее лет. Прибавьте еще к сему несколько румян, хорошее шнурованье и пышную косынку, то она может легко найти себе обожателей, а если еще прибавить, — сказала она, поклонясь, — пятьдесят тысяч рублей наличными деньгами, то и женихи к ней сыщутся... Вот, сударь, еще соломенная шляпка; красавицы, у которых дурны глаза, а особливо те, которые под ними носят знаки своего усердия к цитерской богине, разбирают у меня сотнями такие шляпки и, прикрывая ими глаза и нос, оставляют любопытным видеть один только подбородок, красотою коего, также и улыбкой прелестных своих уст, могут привлекать они к себе толпу обожателей.

За несколько лет пред сим было здесь варварское обыкновение, что женщины, вступая в собрание, не имели способов себя сокрыть: лица их были открыты, и они так плотно были обверчены в платье, что недостатки и погрешности в красавицах с первого на них взгляда усматривались; но, благодаря просвещению нынешнего века, они выдумали теперь способ, быв в собраниях, видеть там всех, а самим не быть никем видимыми, или показывать публике только то, что они у себя почитают совершеннее и чем более к себе стараются привлечь обожателей; однако ж со всем тем здешние женщины так неблагодарны, что нередко бранят нас, француженок, будто мы им такие способы продаем очень дорого: по посудите, сударь, справедливы ли их на нас роптания, и сколь много они нам обязаны.

Девушки, которые имеют справедливые свои расчеты скрывать свой стан, с коим иногда могут подозрительны показаться в собраниях, приходят к нам и берут у нас себе долгий салоп, который, скрывая все их недостатки, оставляет видеть одно только прекрасное их лицо. Сами родители их не знают их состояния, и нередко та, которая прогуливается в таком салопе, потупя свои прекрасные глаза, почитается целомудренною и неприступною весталкою хотя она во всех собраниях ходит сам-друг или сам-третей. Итак, сударь, с нашею помощью старушки чепцами закрывают у себя половину лет, молодые женщины закрывают недостатки своих глаз и носов; а молодые девушки делаются невидимыми и сокрывают, что они столько же знающи, сколько их матушки. Вот, сударь, сколько мы нужны в самых необходимостях! Но что ж, если говорить о щегольстве, то я должна бы была вас задержать у себя три дни, когда бы захотела рассказывать обо всех вспомоществованиях, каких ищут у меня женщины, чтоб умножить красоту свою и придать молодым более пышности, а пожилым приятств! Мы поправляем несовершенства всех родов: волосы, зубы, хороший стан, прекрасную ножку, прелестную грудь; одним словом, все можно достать моею помощию; и, без честолюбия сказать, я вторая мать модных женщин, потому что я перерождаю изуродованных природою и своим поведением красавиц. Признаюсь, что, бывая на гуляньях, всегда с восхищением смотрю я на множество прелестных дочерей, которые мною живут в большом свете и каких никогда не удастся произвести при-

роде; итак, не должны ли сии дочери мне, как матери своей, жертвовать своими деньгами и своею благодарностию? Я, сударь, говорила это для того, чтоб вы, познав свойства разного рода уборов, выбирали потому сходные для ваших родственниц».

Она хотела еще долее продолжать свои прекрасные описания, как вдруг вошел в лавку француз в изодранном платье и кинулся к ней на шею. «А! любезная сестрица, — вскричал он, — я еще тебя вижу!» — «А! любезный брат, вскричала француженка, — ты еще жив, небо обрадовало меня твоим присутствием; но ты весьма в худом состоянии!» — «Надобно мне с тобою о многом переговорить», — отвечал он. После сего француженка отложила мне с поспешностию свои уборы, и я, отдав ей деньги, обещал через час за ними зайти; но, вышедши за дверь, сделался невидимым и воротился в лавку, любопытствуя узнать о тех важностях, которые хотел рассказывать француженке ее брат.

«Любезная сестра! — говорил ей француз, — каким образом выплелась ты из смирительного дома?» — «Я удовольствую твое любопытство, — сказала ему сестра, — но скажи мне наперед, как ты выскочил из Бастилии и увернулся от виселицы, которую уже давно французская полиция приготовляла в награждение за твои добрые дела?» Наконец, по некотором споре, кому из них первому зачинать свое повествование, француз начал сими словами:

«Тебе известно, любезная сестра, что я за разные обманы и плутовства получил уже орден на плече и был очень худо отпотчеван полициею; однако ж, чувствуя в себе отважный дух, ибо по необходимости не мог я сделаться таким плутом, коего бы плутовство уважала полиция, решился я продолжать свое карманное ремесло и, наконец, как тебе известно, попался в Бастилию, в то самое время, как тебя отвели в смирительный дом. Правительство приговорило, чтобы я украсил собою парижские виселицы, но я, притворясь больным, умел уговорить своего надзирателя, чтоб он дозволил мне с собою прогуляться на верхних площадках, где, проломя ему голову ключами, спустился вниз по тоненькой веревочке, и хотя, оборвавшись, лежал с полчаса мертвым, однако уплелся поскорее от толь опасного для меня места. После сего мне уже не было более никакого способа остаться в Париже, ибо я столь коротко познакомился с полициею,

что многие в лицо меня знали. Я прибегнул в сем случае к моим товарищам, и они присоветовали мне бежать в сие государство, где многие честные люди нашего ремесла сыскивают себе хлеб и бывают в великом уважении. Следуя сему совету, я уплелся кое-как, не имея ни полушки денег, и для того, чтобы поддержать мое путешествие, на дороге бывал я в иных трактирах маркером, инде убирал волосы, а в иных местах делался искусным в физике и представлял опыты моего в ней познания; женщины мне покровительствовали, но поляки чуть меня не изрубили за сие искусство саблями, а германцы едва не застрелили из пистолета; однако ж, со всем тем, наконец, доплелся я сюда и, увидя первую французскую лавку, вошел, ожидая себе, как земляку, некоторой помощи, и небо дало мне тут увидеть тебя, любезную сестру! тебя, которую давно уже почитал я посланную правительством в Америку, чтобы стараться там о размножении человеческого рода. Я с радостию вижу, что ты здесь находишься в таком состоянии, которому бы и в Новом свете теперь позавидовали. Ах! если б и я не умер здесь с голоду... но что мне делать! я не знаю никакого ремесла, чем бы мог себя пропитать!»

«Не печалься об этом, любезный брат! — перехватила речь его добродушная сестра, — я приищу тебе выгодное место: вступи в учители — это такое звание, которым многие из твоей братьи вечный хлеб себе нажили». — «Как! — сказал француз, — мне в учители!.. сестра! ты знаешь, что я не только морали и науки преподавать, но даже и французские книги читать неспособен». — «Безделица, любезный друг, — вскричала француженка, — безделица, довольно, что ты француз, чтобы заставить здесь тебя почитать знающим. Послезавтра представлю я тебя к одной вдове, и ты будешь, верно, хорошо принят. Помни только мои наставления: будь важен, показывай отвращение ко всему, что увидишь в доме, сделанное не по французскому вкусу, и чаще наказывай детей за то, если они не почувствуют склонности к щегольству и к нашим уборам, что должен ты называть опрятством. Главное твое правило будет состоять в том, чтобы учить их лепетать и кланяться по-французски, и как скоро достигнешь ты до этого совершенства, то родители почтут себя счастливыми, тебя назовут мудрецом, а детей своих станут возить напоказ по городу.

Но пойдем ко мне в комнаты, переоденься и готовься вступить в такую прекрасную должность, от которой я, приехавши сюда, получила свое состояние, а достальные наставления дам тебе при вступлении твоем в сие звание». Вот в чем замыкались поучения француженки, и мы скоро увидим, любезный Маликульмульк, каким образом поступит наш учитель и какой чести будет удостоен бежавший из Бастилии француз.

ПИСЬМО XL

От Эмпедокла к волшебнику Маликульмульку

Признаюсь тебе, почтенный Маликульмульк, что безумное мое стремление о приобретении пустой славы не только не принесло бы мне никакой пользы, но обратилося бы к мучительнейшему наказанию за мое тщеславие, если бы дружба твоя мне не вспомоществовала и не избавила бы меня от совершенной погибели. Повергшись в огненную пучину, начинал уже я чувствовать жестокость сей стихии и проклинал свое безумие, как рука твоя, извлекши меня из оной, неожидаемо преселила в приятнейшее жилище, где нашел я все нужные для себя выгоды, каких ожидать никогда бы не осмелился. Я чрезвычайно доволен уединенною моею жизнию в твоем увеселительном доме под горою Этною: здесь, удалясь от шумного и беспокойного света, препровождаю я блаженные дни. Чтение хороших книг в твоей библиотеке составляет первейшее мое упражнение, а прогулка по твоему саду наилучшая моя забава. Я удален от всего, что могло бы возмутить мое спокойство; никакая слава более уже меня не прельщает; насмехаясь всем человеческим глупостям, без всякого помешательства могу я прилагать попечение о изощрении моего разума и посвящать все часы моей жизни изучению полезной философии. Однако ж за долг поставляю признательно тебе сказать, почтенный Маликульмульк, что, читая многих древних и новых авторов, писавших о различных родах человеческого безумия, которое хотя и можно иногда извинить нравами и обычаями некоторых народов, часто я вхожу в размышление о странности разума человеческого: я почти начинаю думать, что нет на свете ни одного человека, выключая тебя, почтенный Маликульмульк, истинно мудрого. Когда я говорю *истинно мудрого*, то под сим

словом разумею, что каждый почитающийся мудрым являл в себе нечто такое, что можно назвать глупостию. Многие ученые были уверены в сей истине и утверждали оную в своих сочинениях. Славный Деспро написал, что человек есть глупейший и достойнейший смеха из всех животных *, но мне кажется, что авторы, писавшие о странности и непостоянстве человеческого разума, входили в исследование сего предложения не довольно философически и судили об одной только поверхности, а желательно бы было, чтоб они входили в обстоятельную подробность.

Хотя бы и не хотели они исследовать все различные состояния людей, но вникали бы в одно только состояние ученых и философов, то и тогда могли бы приметить, сколь далеко простирается слабость человеческого разума, ибо оный часто бывает подвержен многим несовершенствам и в то время, когда кажется быть возвышенным до самой высочайшей степени. Когда открывается очень много порочных склонностей и непостоянств в Картезии, в Лейбнице и в других подобных им мужах, науками себя толико прославивших, то надлежит ли удивляться, находя сии пороки в людях, никакими познаниями не просвещенных, или в петиметрах и вертопрахах нынешнего века? Ежели ученые мужи, признаваемые из всех людей совершеннейшими, подвергаются многим достойным осмеяния погрешностям, то чего же должно требовать от тех, которые почитаются от всех достойными презрения? Итак, почтенный Маликульмульк, не без основания я полагаю, что, рассматривая непостоянство разума человеческого по поступкам двух или трех прославившихся ученых мужей, можно бы было приобрести более успеха в познании всех людей вообще, нежели без всякого рассмотрения прилепляться к описаниям бесчисленного множества глупостей и сумасбродств, которые хотя и справедливо писателями были осуждаемы, но собраны без точного исследования и доказательств.

Какого бы великого духа особу ни избрать, в каждой непременно усматривается довольно погрешностей, почему

---

* Из всех животных, что на воздухе летают,
Что плавают в водах и землю населяют,
Хоть Запад, Юг, Восток и Север обойдем,
Но человека мы глупее не найдем.

Деспро, Сатира VIII.

и можно смело утвердить, что разум человеческий достоин более жалости, нежели удивления. Возьмем в пример двух знаменитых философов: одного древнего, а другого нового, и рассмотрим их главнейшие дела и поступки. Начнем прежде Аристотелем и потом обратимся к Лейбницу.

Сей знаменитый логик, будучи первым наставником людей в здравомыслии, между многими своими умословиями предлагал также пустые и вздорные басенки. Сколько нелепых, совсем ложных и бесполезных сказок поместил он в своих сочинениях! Итак, тот, кто принимал на себя столь много труда для научения людей здравому рассудку, требовал сам в тысячу раз более вспомоществования, которое надеялся предлагать другим, и погрешал непростительно против правил, самим им предписанных. Ежели же захотят видеть еще сего убедительнее пример слабости и непостоянства человеческого разума, то войдем в исследование природных свойств Аристотелевых. Он называл себя философом и был в самом деле таковым; однако ж не менее других любил богатство; и самый корыстолюбивый купец, который от утра до вечера непрестанно занимается попечением о своей торговле, не столько бы мог превозносить оное похвалами. По мнению Аристотеля, одно только богатство составляет все то, что может назваться здесь совершенным благом. Лукиян справедливо насмехался столь ложному Аристотелеву умозаключению и правилу, столь противному не только истинной мудрости, но даже естественному рассудку. Он упрекает чрез Диогена сему философу, что он то говорил единственно для того, дабы иметь благовидный предлог удовольствовать свое сребролюбие и просить себе у Александра всего того, чего получить от него надеялся.

Если Аристотель любил столько богатство, то не менее того прилеплен был к ложной славе: я называю ложною славою ту, которая не приобретается позволенными и честными способами. Дабы люди верили, что его мнения были основательнее и разумнее всех других философов, он предлагал им оные столь вздорно и нелепо, что тому надлежало бы быть столько же безумну, сколько он был лжив, если бы кто совершенно удостоверился, что сии философы действительно тем мнениям его последовали и сообразно им поступали. Вот какая была слабость в человеке столь великого и высокого духа!

Неблагодарность была так же свойственною и природною погрешностию в Аристотеле. Сей философ, долженствующий более других познавать всю гнусность сего порока, предавался оному совершенно. Он никогда не упускал случая оскорблять как сочинения, так и самого Платона, которому был обязан всеми своими познаниями, коими толико прославился. Итак, можно ли после сего удивляться, что в нынешнем свете многие, хотя довольный разум имеющие, люди, но в природных своих дарованиях далеко не равняющиеся с Аристотелем, и которых можно бы было почесть против его совершенными невеждами, оскорбляют своих благодетелей, позабывая все их прежние благодеяния; и что ныне всякое оказанное благодеяние помнится только несколько дней после его получения, и благодетель дотоле только уважается, доколе есть еще надежда иметь в нем впредь какую-либо нужду, но коль скоро в нем нужды никакой уже не будет, то не только престается оказывать к нему уважение, но даже и имя его предается забвению! В нынешние времена, почтенный Маликульмульк, есть много таких примеров. Можно ли, повторяю я, сему удивляться, когда Аристотель, будучи одарен всеми наилучшими дарами природы, предавался сему гнусному пороку до такой крайности и старался всячески оскорблять Платона и повреждать его славу! После сего не должно ли ожидать, что люди обыкновенные могут достигать в сем пороке до чрезвычайности, и не должно ли почувствовать некоего презрения к человеческому разуму, толико представляемому полуучеными, который кажется весьма жалким для тех, кои усматривают всю его слабость?

Всякий раз, когда размышляю я, почтенный Маликульмульк, о поведении многих великих мужей, не могу воздержаться, чтоб не почувствовать некоторого смятения, взирая на свое бедственное состояние, и едва не дохожу иногда до того, что желаю себе участи несмысленных животных, и согласился бы охотно променять свой разум, всегда колеблющийся и подверженный непреодолимым слабостям, на их врожденное побуждение, которое никогда не применяется и управляется природою. Невежды или люди посредственного ума непрестанно превозносят друг друга в великих дарованиях, полученных ими от природы; но имеющие более просвещения мыслят о сем подобно Паскалю и почитают

справедливым то, что он сказал: «Видя бедственное ослепление в человеке, удивительные противоположности, открывающиеся в его свойствах, и взирая на всю безмолвную природу и на человека, лишенного просвещения, преданного своим слабостям и как бы блуждающегося в малом уголке вселенной, не ведая, кто его туда поставил? зачем он туда пришел? и что случится с ним по смерти?— я прихожу в ужас, подобно человеку, которого спящего принесли бы на пустой и страшный остров и который, пробудившись, не знал бы, где он, и не находил бы никакого способа из острова выйти. Рассуждая таким образом, весьма удивляюсь, как человек без содрогания может взирать на столь бедственное свое состояние!»

Вот, почтенный Маликульмульк, когда и самый высочайший разум последних веков не мог без ужаса взирать на свое бедственное состояние и был поражен удивлением, открывая противоположности, непостоянство и слабости в своей природе, почитая ее соборищем всех бедствий, то можно ли после оного людям обыкновенным взаимно друг друга превозносить похвалами в природных своих дарованиях, в превосходном разуме и просвещении? Такие люди что могли бы сделать со всеми своими посредственными дарованиями, которые ничего не значат в сравнении с Паскалем, когда и ему те высочайшие дары, коими он щедро был награжден от природы, казалися достойными презрения? Сей ученый муж, почитая участь смертных столь бедственною и несчастною, полагал, что если бы не имели они в жизни своей других причин к скуке, то, конечно, соскучилися бы собственным своим существованием.

Теперь возвратимся опять к слабостям Аристотелевым. Удостоверяют, что он был изгнан из своего отечества за то, что приносил жертвы своей наложнице и в честь ее сочинил *гимн*. Можно ли далее сего простереть безумие? И самый глупейший вертопрах нынешнего века делал ли что-нибудь сему подобное? Я не нашел ни в одной книге из твоей библиотеки, чтоб и в Париже делали такое боготворение бывшим там славнейшим *кокеткам*, и никто не сочинял в честь их гимна; может быть, сочиняли какие-нибудь любострастные песенки или мадригалы; но есть ли какое сравнение между гимном и мадригалом?

Итак, когда Аристотель воздал божескую честь своей наложнице и сочинил в честь ее священные стихи, то можно

ли после сего удивляться, видя в нынешнем свете многих знатных вельмож, обожающих театральных девок и расточающих для них великие сокровища? Без всякого сомнения, будут осуждать такое безумие, но самое сие не доказывает ли, каким великим слабостям подвержен человеческий разум и каких следствий ожидать должно от его непостоянства? Если в прежние веки сие случилось в Греции, то не может ли то же самое случиться в Париже, в Лондоне, в... в... и в других местах? Неужели ныне люди сделалися разумнее? — Конечно, нет! — Более ли они просвещены Аристотеля? — Без сомнения, гораздо меньше. — Умеют ли они лучше противоборствовать страстям своим? — Нет, почтенный Маликульмульк, они и ныне так же предаются им без всякого сопротивления. Свойство людей нимало не переменилось, и если ныне не видно, чтоб делали они такие же глупости, какие сделал Аристотель, то это, может быть, оттого, что никому не случилось быть в подобных положениях. И в нынешний так называемый просвещенный век люди так же безумны, ветрены, непостоянны, сварливы, скупы, горды и тщеславны; каким бы высоким разумом они одарены ни были, никогда не могут себя защитить от многих пороков.

Посмотрим еще сему доказательство в небольшом исследовании свойств Лейбницевых.

Он имел столько же разума, как Аристотель, и преисполнен был толиким же тщеславием. Он говорил сам о себе такими выражениями, которые показывали в нем самую величайшую и, можно сказать, самую смешную гордость. «Мне не было еще пятнадцати лет от роду, — говорит он, — как препроводил я целые дни в изыскании случая, чтоб занять место между Аристотелем и Демокритом. Не более как двенадцать лет тому, как совершились мои желания и я достиг, наконец, до совершенного доказательства о действии веществ, которые, как казалось, прежде не являли к тому нималой способности. Опыты, делаемые мною совсем особливым образом, могут быть доказаны яснее, нежели то делано было другими в арифметических и геометрических задачах, хотя сие превосходит всякое воображение».

Можно ли распространить далее сего надменное о себе самом мнение? Может ли модный петиметр безумнее сего о себе мыслить, или полуученый более сего превозносить

себя похвалами? После сего кто будет удивляться, что Пустовраль поставляет себя в числе лучших писателей, что Любокрас прельщается своею красотою и что сочинители *Бредящего мещанина* почитают прекраснейшими творениями глупые свои бредни, хотя многим довольно известно, что нет почти ни одного из их читателей, кто мог бы с удовольствием прочитать с начала до конца хотя одну их книжку. Все сии люди, рожденные с разумом, в тесных пределах заключенным, могут ли воспротивиться погрешностям, сродным вообще всем смертным, когда не мог оных избежать Лейбниц, будучи из числа величайших и славнейших философов в Европе? Ежели он по природному своему свойству принужден был впасть в столь смешное безумие и если в то самое время, когда осуждал человеческое высокомерие, предавался сам до чрезвычайности сему гнусному пороку, то каким чудом люди простые могли бы возвыситься свыше пределов своего состояния и исправить свои несовершенства, присоединенные крепчайшими узами к существу их? Безумно бы было полагать возможность, столь противную как здравому рассудку, так и неоспоримому опыту.

Итак, погрешности великих мужей не только могут быть способны дать нам почувствовать недостатки всех людей вообще, но и доказать совершенно слабости и непостоянство человеческого разума. Поелику известно, что если кто захочет исследовать какую вещь, то всегда должно рассматривать ее с превосходнейшей степени; следственно, познавая глупости обыкновенных людей, узнаешь только то, что некоторые из них могут иметь погрешности, свойственные их природе, но, удостоверясь совершенно, что и самым высочайшим разумом одаренные часто бывают подвержены таковым же порокам, как и самые безумнейшие, должно непременно заключить, что нет никого из смертных истинно мудрого.

Ежели бы люди прилежно рассматривали, почтенный Маликульмульк, сколь бывает в них посредствен превозносимый ими столь великими похвалами их разум и сколь способен он принимать в себя различные впечатления предрассудков, самолюбия, гордости, тщеславия, а, наконец, и всех страстей вообще, то гораздо менее полагалися бы они на сей, по мнению их, природный светильник, который почитают они надежнейшим себе путеводителем, ибо, ежели бы

он был нечто действительно существующее и совершенно твердое и основательное, то надлежало бы, чтоб во всех людях был он одинаков, производил бы в них одинакие действия и показывал бы им все вещи в равном положении. Но отчего же происходит сие различие в чувствах? По какой причине один народ почитает какую-либо вещь правильною, а другой точно бывает уверен в ее неправильности? И для чего то, что называют добродетелию в Азии, почитается пороком в Европе? Который из сих двух есть истинный рассудок, европейский или азиятский? Если европейцы совершенно уверены в своих мнениях, то какую пользу приносит природный светильник большей части земных жителей? Тогда непременно надлежит признаться, что сей мнимый светильник, данный от природы людям для их путевождения, не более им полезен, как и самогустейший мрак. Почто думают европейцы, что рассудок азиятцев несправедлив? И для чего бы таким не назвать рассудок европейцев? Каким образом можно решить столь трудную задачу? Не полезнее ли в сем случае придержаться мнения святого Августина и верить, что грубость нашего тела причиною нашего малого познания и несовершенства нашего разума? «Разум человеческий, — говорит сей святый муж, — помрачается привычкою ко мраку, коим человек окружен во греховной нощи, и потому не может отверстыми очами взирать на свет, которого в нем недостает. Великое есть для него благополучие, когда он руководствуется к истине гласом и властию веры».

Приметь, почтенный Маликульмульк, что святый Августин, как кажется, совершенно был уверен, что человек никогда не был способен сам собою познавать истину и что потребно было для сего, чтоб он был к ней провождаем некоею высочайшею властию. Итак, следуя оному, какую надежду можно полагать на сей разум, толико превозносимый похвалами от философов и от многих ученых? Должно ли называть природным светильником такую вещь, которая неспособна подать нам ни малейшего просвещения? и какое действие может произвести философия, которая ничем другим не поддерживается, как властию сего обманчивого и мечтательного разума, который чаще приносит нам вред, нежели пользу?

Цицерон не без основания утверждал, что люди, может

быть, были бы блаженнее, ежели бы не были одарены разумом. Он уподобляет его вину, которое хотя может иногда быть полезно для больных, но чаще делает им вред. И в самом деле, сколько глупостей извиняемы бывают посредством разума? Человек, который, не получивши от другого ни малейшего себе оскорбления проезжает двести или триста миль единственно для того, чтоб с ним резаться, основывает безумие свое на разуме. Пустосвят, который возмущает целое общество и который один делает более зла, нежели язва и голод, защищает свое злодеяние разумом. Мот, повергающийся в роскошь, извиняет свои поступки посредством разума. Философ вздорные свои умствования утверждает также на разуме, и, наконец, нет ни одной такой вещи, в которую люди не вмешивали бы разума: все думают обладать им в равной доле, но все равно заблуждаются.

Гораздо полезнее, почтенный Маликульмульк, усмирить сих разумников, превозносящихся столь много своим разумом, показав им всю его слабость и несовершенство. Таким способом можно научить надменных любомудров покорять их рассуждения под власть веры и никогда не спорить о некоторых вещах, в понятие их не вмещающихся, ибо сколько есть между ими таких, о коих можно сказать с святым Бернардом, что «в то самое время, когда стараются они достигать до познания вещей, им непостижимых, сами о себе не имеют нималого познания».

ПИСЬМО XLI

От ондина Бореида к волшебнику Маликульмульку

Уже давно, любезный Маликульмульк, не имел я удовольствия беседовать с тобою письменно, и с того времени, как ты оставил свой кабинет редкостей, находящийся под Харибдою, и захотел несколько времени провести между жителями земными, непостоянными более, нежели морская вода; с того времени, как тебя, любезный мой сосед, не стало в нашей стихии, я также оставил свой дом, который мне одним только с тобою соседством нравился, и ныне путешествую по разным странам, покрытым морскими водами, занимаясь собиранием редкостей, коими умножаю твою кунст-

камеру; иногда любопытствую видеть различные наши селения и морских людей, из коих с некоторыми хочется мне и тебя в свое время познакомить: право, они очень добрые люди и от жителей земной поверхности тем только разнятся, что не умеют обманывать и убивать друг друга.

Путешествуя таким образом, иногда встречаюсь я с двором Нептуна, а ты знаешь, что все дворы очень любопытно видеть, особливо двор такого бога, которого владения обширнее всех земных владений, и в котором по его многолюдству никогда без новостей не бывает.

Наш водяной двор ныне в немалом беспокойстве и не знает, где сыскать себе для утверждения место: недавно Нептун выбрал было очень выгодное близ берегов древней Тавриды, и Фетида приготовила для новоселья превеликолепный пир. Все наши водяные жители были на оный приглашены и расположились на нескольких столах праздновать сие новоселье. Кораллы и жемчужные раковины украшали сосуды и умножали великолепие; гости пировали спокойно, и морской бог накатил уже изрядно лоб нектаром, который ему отпускается посуточно с Юпитерова двора.

«Вот, наконец, я выбрал себе очень спокойное жилище,— сказал он с восхищением,—теперь уже ничто меня более не потревожит, и неугомонные смертные перестанут, плавая над моею головою, сбрасывать ко мне всякий сор, как то они доныне делывали. Вообразите, — продолжал он, — что некогда я должен был от них перенести свой двор к берегам Америки! Что ж вы думаете, оставили ли они меня там спокойно? Совсем нет: в день празднования моего брака с Фетидою, когда я меньше всего ожидал, вдруг ударили меня по голове якорем. Это был Колумб, которому вздумалось искать Нового света, богатства и славы. Представьте мое удивление, когда получил я шишку на лбу от якоря в таких местах, где меньше всего ожидал приезду корыстолюбивых смертных. Перевязав свою разбитую голову морскою травою, пустился я кочевать далее к северу, не оставляя, однако ж, берегов Америки, и после того был несколько времени спокоен, как вдруг упало на меня пушек с восемь, и если бы я не был бог, то переломало бы мне все кости. «Проклятые смертные! — вскричал я, — вы нигде мне не дадите покою!» С превеликим трудом вытащили меня всего изуродованного из-под пушек, и я узнал, что эти пушки, которыми

меня чуть было не задавило, упали с корабля, потонувшего со многими другими кораблями серебряного флота, отправлявшегося в Гишпанию из Америки. Опасаясь, чтоб не быть опять таким образом когда-нибудь задавлену мореплавателями, решился я перенесть свой двор под который-нибудь полюс, и в тот же час бросился к северному, где едва было не замерз со всем своим двором, и уже сбирался в скором времени оттуда выбраться, как вдруг побудила меня поспешить тем самая важная причина.

Одним днем, очень спокойно сидя, выпивал я для обогрения себя двадцать шестую бутылку нектара, как в ту самую минуту — о ужасное зрелище! — увидел, что мою любезную Фетиду волокли мимо меня, зацепив за шею веревкою с привязанною на оной гирею. Бедная моя жена хрипела и барахталась руками и ногами, но не могла никак освободиться от проклятой петли, в которую судьба ее всунула. «Кто такой дерзновенный, — вскричал я, — который осмеливается так бесчестно поступать с моею женою?» Мне донесли, что это были агличане, которые искали прохода к полюсу на своих кораблях, из коих с одного опущенный лот опутался около шеи моей дорогой Фетиды, чем давно бы ее удавило, если бы она не была бессмертна. Мы кое-как ее отпутали, и я побежал опрометью из этих проклятых мест, в которых думал было совсем избавиться от людей, и где они чуть не удавили мою любезную супругу.

Шествуя оттуда со всем моим двором по морским степям, озлился я на всех мореплавателей и вздумал одним разом отправить их к Плутону. Утвердясь в сем намерении, возволновал я море столь сильно, что надеялся потопить все корабли без изъятия, но вместо желанного успеха наделал только тем более себе беспокойства: волны, пронося мимо меня корабли, нередко задевали меня за голову и перепрокидывали вверх ногами, с иных кораблей бросали наполненные золотом ящики и подбивали ими глаза моим придворным; две любимые мои кобылицы окривели от срубленных мачт, которых концами повыкололо им по одному глазу; четверым из моих любимых тритонов переломало руки сброшенными с тех же кораблей пушками. Видя это, я опасался, чтобы, желая нанести беды мореплавателям, не претерпеть более их мне самому и не превратить бы свой двор в больницу, ибо большая уже половина нежных моих придворных была пере-

пятнана носящимися по морю обломками кораблей; итак, в предосторожность для себя и для оставшейся половины моего двора утишил я погоду и оставил людей на произвол самим себе, проклиная их жадность к богатству и к пустой славе.

Но не думаете ли вы, что эта буря их устрашила и заставила убегать моря? — Совсем нет: тотчас по утишении ее,— увидел я проезжающие полуобломанные корабли, на которых пьяные матросы были так же спокойны, как будто бы они были на твердой земле, и бранили друг друга для препровождения времени; а те, которые во время прошедшей бури принуждены были сбросить с корабля часть своих сокровищ, не столько радовались тому, что утишилась буря, сколько сожалели о потерянии оных и желали сердечно удвоить свои опасности на сей жидкой стихии, надеясь возвратить потерянное.

После сего не мог уже я нигде найти себе спокойное жилище; куда я ни уходил, везде, кажется, нарочно за мною гонялись земные жители и старались меня беспокоить; украшения дворца моего, уборы мои и моих придворных, ничего от них не оставалось в целости. Хотя многих из них буря наказывает за их дерзость, и хотя многие низвергаются с водяной поверхности на дно морское, со всем тем оставшиеся думают, что морские ветры вредить их не могут, и продолжают спокойно свое плавание, ожидая что природа из уважения к ним переменит свои законы и удержит в неподвижности моря. Итак, я, видя во всех странах непрестанно проходящие над моей головой корабли, перестал уже стараться искать мест, неизвестных смертным, и решился здесь основать свой двор, как для ясности погоды, так и для теплоты, которую я по своей старости очень жалую. Сверх чаяния, нашел я здесь себе спокойствие, которого столь давно желал; правда, хотя и здесь вижу я много кораблей, но это мне придает более осторожности, и я учредил часовых, чтобы они отводили от моего лба якори, которые сверху иногда бросают; здесь во время непогоды корабли не задевают за мою голову, для того что отсюда очень близки берега, в которых они себе находят убежище, не кидая на мой двор своих пушек и сундуков».

В самое то время, как он таким образом любовался своим спокойствием, вдруг осветило все собрание, и раздался гром

над нашими головами; Фетида, как нежная богиня, упала в обморок, а у Нептуна выпала из рук бутылка с нектаром, которая была уже пуста, а иначе он, конечно, держал бы ее крепче в своих божеских руках. Все собрание устремило кверху глаза и увидело над собою целый плавающий город, который перестреливался с другим таким же городом.

«Хорошее место выбрали они для драки!» — вскричал Нептун. «Ваше величество, — сказал один из придворных,— конечно, они не знали, что вашему божескому произволению угодно было сделать пир на сем месте; ибо если бы смертные о сем знали, то никак не осмелились бы над вашею головою драться и тем беспокоить вас и все почтенное собрание». — «Ах! — вскричала Фетида, которая лишь только что опомнилась: — я занемогу, если эта ужасная драка еще будет продолжаться! Любезный Нептун! — говорила она, обратясь к своему мужу, — отведи отсюда скорее сии корабли». — «Ах! Фетида, — вскричал Нептун, — ныне уже не старые времена, когда я, как хотел, так ворочал всеми морями и всеми плавателями; ныне ни одна живая душа из обоих флотов меня не послушает, и если бы мне вздумалось самому выйти их унимать, то, конечно, с обеих сторон ничего бы я не получил, кроме нескольких ударов веслами или, еще и того хуже, расквасили бы мне нос пушечным ядром; а вместе с носом я был бы в опасности потерять и твою любовь; ибо, не в огорчение сказать вам, женщинам, всякий мужчина, потеряв нос, всегда бывает в великой опасности лишиться обожания самой страстной своей любовницы. Итак, пускай они дерутся, мы здесь так глубоко, что нас мало должна трогать их ссора. Желал бы я только знать, какая причина понуждает их драться на воде, а не на земле? Со всем тем выпьем, однако ж, за здоровье будущих победителей; ибо политика требует, чтобы всегда приставать к сильной стороне, чему всегда последовали мои товарищи Олимпа как под Троею, так и в других сражениях».

В самую ту минуту, когда владетель океана подносил ко рту рюмку, и лишь только растворил было рот, вдруг расшибло ее в дребезги упавшим пушечным ядром, за коим последовал град других ядер, которые стучали в самые маковки всем присутствующим на сем почтенном собрании, и перебило всю на столе посуду.

Такие гостинцы могли бы отправить к Плутону большую

половину нашего собрания, если бы все мы были не бессмертны; однако ж, со всем нашим бессмертием, такие щелчки ни одному из пирующих не понравились. Сам Нептун, вышед из терпения, хотел взволновать все море и разнять воюющих так, как разнимают в некоторых местах кулачных бойцов заливными трубами.

«Провал их побери, — вскричал Нептун, — отобедаем поскорее и оставим здешние места. Господа! — кричал он,— прошу отведать из этого блюда, приготовленного из плеска самого жирного кита». — Мы протянули было руки, как вдруг изуродованный чалмоносец упал в сие блюдо. Гости, видя такую дурную приправу, оставили охоту отведать китова плеску и проклинали всех чалмоносцев на свете, которые мешают пировать на новоселье и прыгают так некстати в божеские соусы.

Не успели мы очистить блюдо от магометанца, как целые груды сверху попадали его одноземцев и на нас и на наш стол. Фетида вновь упала в обморок со страху от покойников, хотя Нептун доказывал ей как возможно красноречивее, что от мертвого тела, так же непристойно лишаться чувств, как от каменной статуи. «Ах! — кричала она Нептуну, — ты никогда меня не перестанешь мучить, и я вечно принуждена буду видеть здесь мертвецов и пискарей, которые всегда наводят мне обмороки».

Ты видишь, любезный Маликульмульк, что не одни ваши женщины от мышей и от пауков лишаются чувств, и наша богиня также пискарей боится.

Когда все находились в таком замешательстве, вдруг упало к нам несколько опаленных и половина еще живых рыцарей луны, и один из них попал прямо на колени к Нептуну. «О Магомет! — вскричал он, — теперь я верю, что янычару очень трудна дорога к твоим гуриям: пошли же ко мне из них поскорее хотя одну, чтобы я мог видеть, не попустому ли я лишился своих ног и своей головы».

«Дерзновенный! — вскричал Нептун, — ты не у Магомета в раю, но в недрах моря у обладателя жидкой стихии, и я скоро накажу тебя за твою дерзость, что ты осмелился обеспокоить мое величество». — «Как! — вскричал музульманин, — так я напрасно дрался и проливал кровь свою за Магомета, который не печется теперь избавить меня из воды и вместо послания ко мне прекрасных гурий оставляет,

может быть, на съедение морским чудовищам! Увы! если б я это знал, не оставил бы мою любезную Зюлиму и не променял я бы ее на гурий, которых, как видно, и на свете не бывало; я не стал бы драться с людьми, которые мне никакого зла не сделали, и не дал бы себя изуродовать и опалить, во ожидании за то себе награждения в третьем небе».

«Но скажи мне, — сказал Нептун, — какую причину имели вы драться и что понудило тебя, оставя спокойную жизнь, итти искать своей погибели на море». — «Увы! — отвечал обожатель Магомета, — мне сказано было от муфтия и от имана, что люди, живущие от меня за несколько тысяч верст, которых я от роду в глаза не видывал, ужасно обидели и меня и пророка Магомета, который уже несколько сот лет лежит спокойно в Мекке, и что я непременно должен итти драться с этими людьми, если не захочу быть лишен на бесчисленное множество веков райских гурий. Услыша это, оставил я жену и поехал посмотреть тех людей, которые обидели меня и давно уже умершего Магомета, будучи в твердой надежде всех их перебить, ибо в Алкоране нашем именно сказано, что нас никто не победит до последнего века; но наши неприятели, несмотря на такие сильные обещания Алкорана, в другой уже раз сожигают наш флот, и меня сегодня со всем моим усердием отмщать Магометову обиду, с доброю надеждою будущего рая и с моею галерою взорвало на воздух и бросило не на небеса, как бы должно было мне того ожидать, но на морское дно, где я вижу ясно, что наши муфтий и иманы обещают нам селения в таких местах, куда они сами никогда прибыть не надеются, и для того, не полагаясь на будущую жизнь, собирают с нас деньги, чтобы было им чем райски жить на земле».

«Но скоро ли, по крайней мере, — спросил Нептун, — кончится ваша драка?» — «Может быть, тогда, когда всех нас перебьют, ибо некоторые товарищи мои обнадежены, что всех, кого подымет на воздух, прямо порохом взбрасывает на небеса, и думают тем угодить пророку, своему защитнику, которого и самого так же бы взорвало, как и других, если бы он между нами случился. Однако ж большая часть из моих земляков мало верят сим пустым уверениям, и, видя, как повсюду бывают они поражаемы своими храбрыми неприятелями, имени их страшатся, и как на море, так и на земле недолго выдерживают с ними сра-

жение; но всегда принуждены бывают или от них бежать без памяти, или, положа оружие, отдаваться в их волю».

Нептун, видя между тем умножающиеся кучи музульманов, поспешил со всем своим двором и с любезною своею супругою выбраться из столь неспокойного места; а я продолжал мой путь, оставя глупых музульманов делать скачки по воздуху в честь своего Магомета, который у Плутона вместе с ними посмеется, может быть, над их дурачеством.

ПИСЬМО XLII

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Теперь хочу я уведомить тебя, любезный Маликульмульк, о том, чем кончилось предприятие француженки, желающей пристроить брата своего к месту.

Мне очень хотелось знать, кто будет тот несчастный, кому французский беглец с виселицы достанется в учители, и найдутся ли столь глупые родители, которые бы поверили воспитание своих детей почти безграмотному плуту, который скорее может научить, как вытаскивать из карманов платки, нежели наставить в добродетели; и для того на другой день не умедлил я невидимкою притти к француженке, которую застал покупающую у здешних купцов гнилые товары и обертывающую их в бумаги, украшенные французскими надписями, чтобы после продавать за иностранные.

Едва отпустила она купцов, как вошла в лавку молодая девушка с своею учительницею и начала рассматривать некоторые товары. Минуту спустя вскочил в лавку молодой щеголь, который, между тем как девушка перебирала разные уборы, успел переговорить тихо с ее учительницею. «Говорила ли ты с нею обо мне?» — спросил он ее. «Надейтесь на успех, — отвечала сия плутовка, — она вас любит, и остается нам преодолеть один только ее страх. Но, господин Скотонрав, — продолжала она, — право, услуживая вам, я опасаюсь лишиться места». — «Не бойся, — отвечал он, всунув ей в руку кошелек с деньгами, — если ты потеряешь сие место, то я представлю тебя моей матери в надзирательницы к моей сестре». Мадам отскочила от него, а он подошел к девице.

«Боже мой! — сказала красавица: — ни одного убору не могу выбрать по своему вкусу». — «Сударыня! — вскричал подлипало: — вам только стоит выбрать какой-нибудь: всякий на вас будет казаться прекрасным». Девушка присела перед ним и покраснела: в сем состоял весь ее ответ.

«Ваша стыдливость доказывает, будто вы мне не верите, — говорил щеголь: — Ах! сударыня, неужели почитаете вы меня лицемером? Ваша надзирательница, конечно, повторит вам мои мысли, и я клянусь вам сею прекрасною ручкою (при сем схватил он ее руку и поцеловал), клянусь всяким из сих нежных пальчиков, что я говорю правду». — «Государь мой, — отвечала ему девушка в смущении и почти заикаясь, — я не заслужила таких приветствий...» — «И, сударыня, — перехватила речь ее надзирательница, — учитесь лучше жить в свете: можно ли принимать так ласки молодого мужчины, который всеми способами столь уже давно старается сыскать случай доказать вам свою любовь и преданность? Можно, право, с первого на вас взгляда узнать, что вы недавно выехали из деревни; нет! воля ваша, я не допущу вас так сурово обходиться с мужчинами; вы ведь видели, как здешние девушки с ними ласковы: старайтесь подражать им и оставьте эту деревенскую застенчивость, которая делает вас смешною; я, как учительница, вам это говорю, и как друг ваш, вам это советую». — «Ах! боже мой, — вскричал щеголь надзирательнице, — ради бога оставьте свои выговоры; я в отчаянии, что сделался причиною оных. Но, сударыня, — продолжал он, оборотясь к девушке, — если ваша застенчивость происходит оттого, что я вам противен, то прикажите мне отсюду выйти». — «Я не говорю вам этого, сударь, — отвечала робкая красавица: — будьте спокойны здесь и дозвольте только выбрать мне для себя несколько уборов, после чего должна я тотчас уехать: матушка уже, я думаю, давно меня дожидается». — «Выбирайте сударыня», — сказал подлипало и после того продолжал хвалить ее красоту и целовать ее руки; а она, боясь, чтоб опять не назвали ее деревенскою, допускала его это делать и только иногда ему кланялась.

«Что стоит эта шляпка и косынка?» — спросила она у торговки. «Шестьдесят рублей, — отвечала француженка:—

да они уже куплены сим господином, — говорила она, указывая на Скотонрава, — но если он позволит, то я их продам вам, а ему сделаю другие». — «Позволю ли я! — вскричал сей негодяй: — ах, я за счастие сочту, если она выберет то, что мне понравилось». Девушка ему поклонилась и хотела заплатить торговке деньги, но он вдруг остановил ее руку, сказав ей, что деньги уже заплачены.

«Удостойте, сударыня, — говорил он с восхищением, — это взять, я счастливым себя почту, если могу вам услужить такою малостью». — «Ах! кстати ли, сударь, — отвечала красавица, — принимать мне от вас подарки: матушка будет на меня гневаться, когда об этом узнает». — «Вы еще не оставили своих деревенских правил, — сказала честная ее предводительница: — ну, все ли должно знать матушке, что делает дочка: довольно и того, если я это знаю, и неужели вы захотите сделать неучтивство, отказав сему господину в его просьбе, не находя в том ничего дурного. Поживите, сударыня, поболее в большом свете, вы узнаете, что нет никакого худа принимать девице от мужчины подарки: разве вы не помните, как в бытность нашу в доме у графини Беспутовой при вас подарил молодой человек дочь ее прекрасным склаважем; неужли вы позабыли, что тут же другой молодой человек проигрывал ей нарочно свои деньги, а это ведь те же подарки. Возьмите, сударыня, возьмите эту шляпку и косынку, а деньги свои поберегите для других веселостей: вы знаете, что вам очень нелегко выпросить у своей матушки и пятнадцать рублей. Если же вы скажете об этом вашей матушке, то она, верно, не зная правил большого света, вас забранит и заставит жить и думать так, как ей угодно, то есть почти не говорить с мужчинами, сидеть, потупя глаза в землю, и бояться сказать лишнего слова, чем вы сделаетесь смешны во всем здешнем городе, и на вас все благородные девицы будут указывать пальцами». После такого прекрасного нравоучения девица приняла подарки и накупила еще других уборов, за которые щеголь заплатил свои деньги, и за все это, прощаясь, поцеловал у красавицы ручку.

«Прощайте, сударыня, — сказал он, — я желаю вам скорее узнать большой свет». — «О! сударь, — перехватила речь его ее надзирательница, — девица имеет все дарования, чтоб его украшать собою: она поет, как ангел, и прелестно танцует». — «Ах! этому я верю, — вскричал Скотонрав: —

голос, выходящий из ее прекрасной груди и прелестных уст, может ли не трогать сердце, а с такою прелестною талиею и с такими бесподобными ножками можно ли худо танцовать? О, сударыня, да мы сразимся с вами в этом искусстве! Меня ничему столь прилежно не учили, как танцовать: один танцмейстер за учение мое столько же брал от моей матушки денег, сколько все учители вместе. После того я ездил в Париж, где и довершил сие искусство, хотя и в других полезных молодому человеку знаниях я не был ленив, ибо я могу похвалиться, что матушка моя не жалела ничего, чтобы сделать меня совершенным... Певец Брелляр (Braillard) обработал мою грудь; фехтмейстер и стрелец Фанфарон (Fanfaron) обработал мои руки; а славный французский танцмейстер любезный мой Бук (Bouc) обработал мои ноги и сделал меня совершенным человеком. Я постараюсь доказать вам это при первом случае, когда вас увижу, если только удостоите сказать мне те счастливые места, которые украшаете вы своим присутствием». — «Я, сударь, в будущем маскараде надеюсь быть с моею матушкою», — отвечала скромница, из вида которой примечал уже я, что она ухватками сего господчика и наставлением своей французской надзирательницы начала спотыкаться на пути добродетели. «Мы нередко будем и сюда ездить для покупки уборов», — сказала ее учительница.

После сего они уехали, и я сожалел о неосторожности сей девушки, бранил ее мать, что поверила воспитание своей дочери такой плутовке, и проклинал сию бродяжку француженку, которая, недовольна тем, что нашла себе хлеб в честном доме, в благодарность вздумала развращать невинную девушку, в чем способствовала им и содержательница лавки, обещав Скотонраву, что она в своей лавке дозволит производить все старания для погубления добродетели сей девушки, которая, как кажется, очень скоро развратится, навидевшись примеров в большом свете.

Едва вышли все из лавки, как вошел к торговке ее брат. Они сели в карету, а я поместился тут же напротив их: ты знаешь, любезный Маликульмульк, что духу немного надобно места.

«Надобно тебя предуведомить о здешних жителях, — говорила француженка своему брату, — и сказать тебе, до какой степени можем мы их обманывать и поль-

зоваться их легковерием. Американцы, в первые времена прибытия к ним европейцев, не столько их уважали, сколько здесь уважают французов: те победили американцев оружием, а мы побеждаем здешних жителей хитростию; те выманивали у них множество золота за колокольчики, погремушки и бисер, а мы не менее здесь достаем золота за такие вещи, которые нимало не важнее и не дороже погремушек и медных колокольчиков, с тою еще выгодою, что колокольчики можно употреблять несколько десятков лет, а наша и самая прочная безделка не станет на три месяца. Однако ж со всем тем здешние жители почитают должностию разоряться, чтоб только иметь честь отдавать нам свои деньги. Правда, что оттого здесь час от часу становятся дороже деньги и все необходимые для содержания вещи; одна наша лавка может разорить в год до ста тысяч крестьян, но эти сто тысяч хлебопашцев здесь меньше уважаются, нежели один француз, торгующий шляпами, помадою и стальными пуговицами; почему наши одноземцы, узнав такое счастливое к ним уважение, не замедлили толпами приезжать сюда (хотя многим из них так же, как и тебе, любезный брат, выехать было нечем), чтобы здесь наградить свою бедность и жить пышно на счет здешних добродушных жителей.

Считается три рода главных упражнений, которыми мы здесь разоряем и приготовляем к разорению ежегодно по нескольку тысяч человек, а именно: торговля модными товарами, рукоделья и учительство.

Что касается до торговли, то ты мог уже понять из моих повествований, сколь она для нас выгодна. Наши лавки могут назваться храмами вкуса и любви, ибо в них покупают у нас модные товары и делаются тайные свидания волокит и молодых девушек, из коих иные очень строго содержатся дома, и для того под видом закупки уборов приезжают они к нам, и мы часто вводим их к себе в комнаты, где они находят своих любовников, кои им более всех уборов нравятся: с обеих сторон платят нам щедро и, сверх того, покупают у нас дорогою ценою товары, потому что почитают за стыд торговаться в тех лавках, в которых они своими резвостями не одно канапе изломали.

Из всех рукоделиев важнейшим почитается искусство честных волосочёсов; с сим званием нередко бывает соединена должность Меркурия и ростовщика. Они, отправляя

таким образом все сии звания вдруг, получают множество доходу, не тратя ни копейки своих денег. Нередко волосочёсы, нажившись от гребенки, от волокит и от мотов, становятся богатыми купцами, потом вступают в гражданские звания и достают себе чины, и тот, кто у нас был в опасности умножить галерную беседу и повелевать одним деревянным веслом, управляет здесь несколькими числом людей, которых одна только бедность удерживает в уничижительном состоянии.

Теперь надобно растолковать тебе об учительском звании, которое для тебя всех важнее, потому что ты скоро будешь его на себе носить.

Еще не прошло одного века, как жители здешние сами воспитывали своих детей и толковали им только о том, чтоб были они честными людьми, храбрыми на войне и твердыми в переменах счастия; к таким наставлениям нередко способствовали примеры самих отцов, которые всегда старались содержать при себе детей своих. Тогда жители здешние хотя не были красноречивы, но говорили такие истины, которые не было нужно поддерживать красноречием. Ныне же, по прошествии варварских времен, вздумали, что тот не может быть хорошим гражданином, кто не умеет танцовать, прыгать, вертеться, говорить по-французски и болтать целый день, не затворяя рта в беседах. К такому воспитанию необходимо понадобились французы. Ныне не жалеют ничего, чтобы сделать детей своих приятными в большом свете, и для того учат их хорошо кланяться, держать себя в лучшем положении и не говорить здешним языком, но иностранным. Им не говорят ни слова о том, что есть добродетель и полезна ли она. Отцы советуют всегда иметь в наличности деньги, которые могут заменить достоинства и поправлять недостатки; а учители научают променивать сии деньги на кафтаны и на щегольство, которое здесь заменяет иногда богатство.

Итак, братец! когда вступишь ты в учители, то берегись перед детьми раскрывать умных книг, ибо они за то станут тебя ненавидеть и наговаривать своим родителям, которые назовут тебя педантом и сгонят со двора. Тверди своим ученикам только то, как должно жить в большом свете, и поставь их на такой ноге, чтобы они могли быть из числа усерднейших французских данников; а когда они вы-

растут, старайся потакать их порокам: они тебя тем более полюбят и удвоят твое жалованье. Не забывай им твердить, что одни только французы могут назваться совершенными людьми и что они до тех пор будут невежами, пока не сделаются совершенными им подражателями. Читай перед ними чаще философию французских Эпикуров и Спинозов: ученики твои начнут сперва помаленьку бранить веру и добродетель будут называть предрассуждением, а батюшки и матушки станут тем забавляться и рассказывать всем, что дети их превеликие забавники, и чем больше дети будут насмехаться над тем, что в старину называлось свято, чем более будут они делать шалостей над старыми людьми, тем более ты в доме будешь нравиться, и тем больше тебя станут выхвалять во многих домах, и ты будешь, наконец, отпущен с награждением и с деньгами, которые помогут тебе завести лавку, куда после будут ездить по знакомству твои ученики и платить тебе вдвое дороже против других.

В коротких словах вот вся твоя должность: маленьких приучай к разным шалостям, а когда вырастут, помогай им мотать и делать разные денежные переводы; набери с них векселей чрез третьи руки; и если только будет можно, разори их. Поверь, что француз никакими поступками не потеряет здесь уважения, и самое то, чем у нас мог бы ты заслужить галеры, здесь доставит только тебе имя остряка. Старайся более всего, для сокрытия проворных твоих выдумок, всегда ссорить детей с родителями, чтобы они никогда не могли им быть откровенны; сделай их неприятелями друг другу и будь обеих сторон поверенным; разоряй одну сторону другою, и с обеих сбирай деньги: вот правило, по которому поступают многие честные наши одноземцы, которые, оставя твое ремесло, выезжают сюда, чтоб быть здесь учителями.

Правда, от такого воспитания родители своими детьми веселятся только в их младенчестве и стыдятся их, когда они войдут в совершенные лета; правда также и то, что от сего нового воспитания мало-помалу искореняются здесь честные люди старого века, которых называют ныне невежами, а на место их вступают люди большого света, которые делаются столь же худыми воинами, сколь дурными гражданами, и которых все совершенство состоит только в том, что на них кафтаны хорошего покроя. Со всем тем родители об

этом очень мало заботятся и продолжают воспитывать детей по новому образу, который нашим землякам доставляет много пользы, ибо они молодых людей здешней земли наперед приготовляют к роскошам и к мотовству, а потом сами пользуются их пороками и наживаются от их слабостей. Итак, можно утвердительно сказать, что они сих детей воспитывают не для отечества, но собственно для себя. Вот, любезный брат, все правила, которые нужно было тебе узнать: умей ими пользоваться; опыты окажут тебе достальное».

При сих словах карета остановилась, они вышли у ворот довольно богатого дома, и я также последовал за ними. Француз был принят очень ласково и с довольным уважением: ему поручены были на воспитание двое молодых людей, не испорченных еще новым воспитанием, но должно надеяться, что со временем успеет он сделать их подражателями и данниками французов.

ПИСЬМО XLIII

От сильфа Световида к волшебнику Маликульмульку

Недавно прохаживался я в публичном саду, желая посмотреть на множество машинов, летающих на парусах, которых приносит туда хорошая погода и которые главною своей должностию поставляют шесть часов в сутки бегать по всем аллеям, чтобы показать свое модное платье; кланяться многим, кто им навстречу попадется, и осмеивать всех, кто мимо их проходит.

«Вот, — думал я сам в себе, — важное упражнение тварей, которых называют умными! Несчастлив тот город, который содержит в себе много таких тунеядцев». В ту самую минуту взглянув на сторону, увидел я двух человек, скромно прохаживающихся в отдаленной аллее. «Вот люди, — подумал я, — которые, как кажется, пришли сюда только для того, чтоб пользоваться хорошим временем и употребить его для рассуждения. Конечно, это философы: поспешу узнать мысли сих счастливых людей, которые умеют пользоваться хорошей погодою, не тратя времени в пустых беганиях по аллеям, но употребляют его для умного рассуж-

дения». В минуту сделался я невидимым и подошел к ним.

И подлинно, это были такие люди, которых многие почитали философами. Они прохаживались, не говоря ни одного слова, с важным видом, и только что пожимали плечами и возводили глаза кверху... «Ты размышляешь?» — сказал один из сих философов. — «Да, — ответствовал другой: — увы! я размышляю о всех бедствиях, удручающих несчастных человеков, и действительно вижу, что человеческая участь великого сожаления достойна!.. Где ты сегодня обедаешь?» — «Это правда, — говорил первый, — что люди со стороны несчастной своей судьбы очень жалки!.. Где ты будешь обедать?» — «Я никуда не давал слова; не хочешь ли со мною вместе итти обедать в трактир?» — «С охотою». В ту же минуту они пошли из саду, и я последовал за ними.

Вошед в трактир, оба они непрестанно твердили: «Ах! боже мой! сколь маловажна человеческая жизнь!.. Что у тебя есть к обеду?» — спрашивали они у трактирщика. «Часть самой жирной телятины, — ответствовал он им, — спаржа, котелеты, сосиски, соус с голубями, сладкий пирог и еще если что будет угодно». — «Очень хорошо, — говорили два философа: — приготовь еще нам хорошей рыбы и дай побольше устриц... — Ах! боже мой! — повторяли они: — как жалки люди! вся жизнь их преисполнена величайшими бедствиями. Пойдем, сядем за стол. — Хозяин! Дай нам две бутылки хорошего шампанского и бургонского вина... Подлинно, маловажна человеческая жизнь!»

После сего сели они оба за стол и начали есть с добрым аппетитом, продолжая непрестанно оплакивать человеческую судьбину и почасту спрашивая друг друга: «Не хочешь ли выпить вина, любезный товарищ?» — «С великою охотою, любезный друг!» — «Ваше здоровье». — «Ваше здоровье». — «Знаешь ли ты, что я вчерась умер было от желудка». — «А я третьего дня в кофейном доме пил очень много ликеру и оттого во всю ночь был в превеликом жару...» — «Ах! как маловажна человеческая жизнь!» — «Какое это прекрасное блюдо! покушай, любезный друг!» — «А! да и пирог чрезвычайно хорош: право, я ем один против четверых». — «А я против шестерых». — «Читал ли ты недавно вышедшее сочинение Г...?» — «Читал, ах, как оно жалко! Этот сочинитель не похож на

философа». — «Выпьем еще по рюмке». — «Все эти господа молодые сочинители никуда не годятся; надобно признаться, что здешняя ученость пришла бы в совершенный упадок, ежели бы не было нас с тобою и еще некоторых подобных нам, которых сочинения заслуживают уважение...» — «Гей! человек! принеси нам кофею и самых хороших сливок». — «Не жалко ли, что здесь важные места в государстве занимаются такими людьми, которые очень мало того достойны; здесь не умеют различать людей: одно только знатное рождение и богатство предпочитается; мы с тобою, любезный друг, все часы жизни нашей проводим в науках и знаем цену добродетели, а не имеем способов быть полезными нашему отечеству. А! кстати сказывал ли я тебе, что завтра станут слушать мое дело с тем негодяем... Я уже решился разорить его до основания и не уступить ему ни одной копейки... Ах! боже мой! сколь маловажна человеческая жизнь! Куда ж мы отсюда пойдем?» — «Не хочешь ли в театр, ты увидишь там новую актрису, с которою я третьего дня познакомился: она прекрасна! Но у меня с ума нейдет каким великим бедствиям подвержена человеческая жизнь. Ах, боже мой! Ах, боже мой! Ах, боже мой!» — «Хорошо, пойдем, а оттуда можем зайти к одной моей знакомой, у которой муж превеликий глупец... а она женщина прелюбезная... Но я всегда ужасаюсь, когда приходит мне на мысль несчастное повреждение человеческих нравов! Ах! как маловажна наша жизнь!..» После сего вышли они из трактира, но я уже за ними не пошел, видя, сколь много обманулся в моем мнении, почтя философами таких, которые нимало не заслуживали сего почтенного названия.

ПИСЬМО XLIV

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

На сих днях, любезный Маликульмульк, услышал я от пролетевшего мимо меня сильфа, что в одном обширном государстве, привлекшем на себя, в нынешнем веке, внимание всего света, будет представлена новая драма. Любопытство мое в ту же минуту принудило меня туда переле-

теть и радоваться, что и в сих холодных местах науки начинают обогревать своими лучами замерзлые сердца жителей.

Вот, скажешь ты, смешное желание, прыгая из государства в государство и из театра в театр, только для того, чтобы видеть новое театральное зрелище, которое, может быть, не стоит того, чтобы заняться им два часа, и переноситься несколько тысяч верст за тем, чтобы после бранить автора, дерзнувшего навести ужасную зевоту вдруг тысячам двум народу за наличные их деньги! Все это может статься, а особливо в такие времена, когда театр сделался не училищем правов, по их развращением; однако выслушай мое оправдание: оно не в ином чем состоит, как в дошедшем до меня описании сего государства. Прочти его и после рассуждай, основательно ли было мое любопытство.

Что в древни времена был Рим,
Чем славились Египет, греки:
То возрожденным в наши веки
Мы в сей одной державе зрим.
Граждан уставы не жестоки,
У них лишь связаны пороки,
Неволи нет, хотя есть трон:
У них есть царь, но есть закон.

Минерва, правя в сих местах,
Рабов не ищет малодушных;
Но хочет лишь детей послушных,
Вперя к себе любовь, не страх.
Во гневе гром ее ужасен,
Но он врагам одним опасен,
Им мышцы льва ослаблены
И ломятся рога луны.

Она не гонит и наук,
Не дремлет, видя их, от скуки:
И можно ль гнать тому науки,
Кто девушкам парнасским друг?
Кто с резвой Талиею стрелы
В привычки мещет загрубелы,
Чтобы из нравов то извлечь,
Что слаб один закон пресечь.

В счастливой этой стороне
Суды воюют с преступленьем,
Но со страстьми и заблужденьем
Одни писатели в войне.
Невинности для обороны,
И, злобе в страх, цветут законы;
Расправа есть и шалунам,
Театры глупых учат там.

В такой цветя счастливой доле,
В лучах Фемисы и наук
Не знают там, что быть в неволе,
Есть способы отбыть от скук:
И льзя ль страдать в том обитанье,
Где есть порокам наказанье,
Где осмеянья ждет глупец,
А лавра воин и мудрец.

В сем-то государстве, как сказали мне, представлена будет новая драма. Можно ли мне было заключить о ней что-нибудь, кроме хорошего? И сделав сие заключение не лететь в ту ж минуту, чтоб насладиться новым произведением просвещенного вкуса и ума. Я туда летел с обыкновенною нам скоростию и видел с удовольствием под собою великолепные города, пространные поля, способные для хлебопашества, зеленеющиеся и обещающие богатую пажить луга; видел также леса, моря и озера, которые все являли изобилие сей пространной части земного шара. Пролетев все это, влетел я, наконец, в самый театр, где, принявши вид человека посредственного состояния, успел еще занять выгодное для себя место. Я бы мог и не платя денег, в моем собственном виде, занять самое лучшее место; но мне хотелось послушать рассуждения знатоков о сем новом зрелище и узнать лучше вкус зрителей и успех автора.

Все места были в минуту заняты, и в амфитеатре сделалась такая теснота, от которой модные чёски и пуговицы, я думаю, очень много пострадали.

«Конечно, — спросил я у одного сидевшего подле меня, — господин автор очень любим здешним обществом, что такое множество собралось зрителей смотреть его сочинения?» — «Нет, — отвечал мне мой сосед, — мы еще совсем не знаем автора, но публика здешняя очень жалует новости, и часто в зрелище, которое дают в первый раз, бывает столь много зрителей, что если б после заставили его играть круглый год сряду, то не собрали бы столько денег, сколько соберется во время первого представления. Многие зрелища бывают здесь такие, которые могут похвалиться только первым сбором, а для сей-то причины авторы всегда скрывают свое имя для первого раза, чтобы обрадовать оным публику тогда, когда они увидят, что их

сочинения торжествуют и в последующие представления, что, однако ж, не всегда случается, и они часто принуждены бывают скромничать навсегда своими именами».

Лишь только успел он сие договорить, как вдруг началась музыка, потом вскоре подняли занавес, и мы увидели то, чего не ожидали.

Человек с сорок пели в саду. Потом два садовника поссорились и чуть не подрались за какую-то причину, которую, видно, автор почел важною, но она не стоит того, чтоб об ней упомянуть. Между прочим возвестили они, что их барин чрезвычайный охотник до музыки и что ждет к себе в гости какого-то музыканта, за которого хочет выдать свою дочь. Немного погодя выходит одна из дочерей сего славного охотника музыки (он имел двух дочерей), и лишь только она показывается, то мужики, которые подчищали в саду деревья, просят ее, чтобы она потешила их и спела бы им песенку. Барышня, желая перед ними пощеголять своим голосом, поет на иностранном языке. Мужики восхищаются ее пением; а она, радуясь, что нашла людей, которым потрафила на вкус, зачинает перед своими холопями еще другую песню, и опять на другом иностранном языке. Мужики, которые, как кажется, и в своем языке не очень сильны, продолжают восхищаться ее песнями и просят ее еще перед ними попеть, а она, не жалея для таких важных слушателей своего горла, затягивает песню на своем природном языке, будучи вне себя от радости, что ее все огородники хвалят, и потом уходит зачем-то к своему батюшке.

Между обожателями ее голоса находится тут молодой дворянин, который в нее влюбился; и хотя он благородный человек и равен в богатстве с своею любовницею, но, не зная, как за нее посвататься и как войти в дом к ее отцу, ничего не вздумал лучше, как в своем господском платье и в щегольской прическе пристать к толпе деревенских растрепанных мужиков и басить, чтобы охрипнуть, подтягивая им песни, которыми их господин изволит забавляться; а в награду за это хотел увидеть хотя свою любовницу, которая, не зная его состояния, сама в него влюбилась, лишь только он перед нее показался. Вот довольно пылкая любовь и скорая решимость для молодой деревенской девушки, которая (как после будет видно) выходит за сего любовника прежде, нежели успеет узнать, как его зовут, не говоря уже о нраве. И таким

образом, всякое лицо, поговоря на свою долю несколько глупостей и попев ни кстати, ни к ладу, оканчивают первое действие.

Во втором действии показывается сам сей славный любитель музыки, и как он ни смешон, ни жалок, говорит о музыке, не зная ее. Автор, как кажется, хотел, чтоб зрители смеялись над музыкой, но они ошибкою хохотали над автором. Будем, однако ж, продолжать наши примечания. Несколько спустя приезжает к нему из Италии певец, который до такой степени глуп, что позабыл свой природный язык и коверкает в нем слова, как немецкий сапожник; такое редкое в нем дарование очень нравится старику, и он спрашивает у сего полуиталиянца по разговорам и получеловека по уму: не хочет ли он жениться на которой-нибудь из его дочерей? Тот получает время, чтобы подумать о сем выборе, и встречается с тем дворянином, который из любви к своей Дульцинее подпевал крестьянским бабам. Они делят между собою двух сестер, хотя последний не знает, понравится ли он своему нареченному тестю. Наконец в третьем действии заключается свадьба полуиталиянца с старшею дочерью любителя музыки, как вдруг сказывают старику, чтоб он выдал и другую дочь за подпевалу у крестьянских баб, а дочка сама одобряет перед батюшкою своего жениха, которого она столько знает, что если бы он через три дни ей попался, то бы она совсем его не узнала. Жених выхваляет перед старичком себя и свое знание в музыке, а тот, не простирая далее своих вопросов, обещает завтра их обвенчать. Сия пара столь была тому обрадована, что целомудренная невеста кричит во все горло, что когда она наживет себе с своим мужем пару детей (подлинно девушкино желание!), то приготовит им гудок и балалайку или что-то такое, во что уже я не вслушался. Сие желание так понравилось старику и другой его дочери с полуиталиянцем, что и они тоже закричали, а напоследок сколько ни было тут крестьян и крестьянок, всякий из них захотел по паре детей и по гудку с балалайкою, и тем окончили оперу, оставшись все при таком прекрасном желании, которого никакая честная и скромная девушка не может, не краснеясь, произнесть ниже перед своим любовником, а не только перед шестьюдесятьми человеками народу. После сего закрыли занавес, и это было самое лучшее место изо всей оперы.

Вот, любезный Маликульмульк, содержание сей оперы. Я рассказал тебе его, не прибавя от себя ни одного слова; скажи, пожалуй, каково оно или, лучше, есть ли какое содержание в сей опере?

Я уже не говорю, какой имел предмет автор, не знающий театральных правил, вывесть человек шестьдесят на театр, чтобы задушить болтанием их и криком честных зрителей, и что такое он хотел осмеять; ибо пороки у него торжествуют; старик остается при своей слабости и, может быть, будет крестьян своих отрывать от работ для песен до тех пор, пока сам с ними и с любезными своими дочками и зятьями не околеет с голоду; чтобы еще таки лучше было видеть на театре, хотя для отвращения, чтобы этого не сделалось и в самом деле; но, сверх сей погрешности, тут нет ни характеров, ни завязки, ни развязки, ни правильных действий, ни умного, ни смешного; а это все, кажется, не лишнее в шутливой опере. Но я и позабыл тебе писать продолжение моей повести.

Лишь только закрыли занавес, как я, оборотясь к моему соседу, спрашивал у него: неужели позволено обременять публику всем, что какой-нибудь парнасский невежа набредить изволит? «Театр, — говорил я ему, — есть училище нравов, зеркало страстей, суд заблуждений и игра разума, но здесь ничего этого не видно. Всякий из зрителей ничего не узнает нового, кроме того, что он заплатил деньги за то, чтобы зевать до слез три часа и против воли слушать бредни какого-то несчастного подлипалы муз. Это зеркало не страстей, но дарования авторского, который на Парнасе, кажется, не из самых пылких, ибо он не приметил и того, что к его сочинению не приделано ни конца, ни начала. Что ж касается до игры ума, то не в противность здешней учености, право, автору, кажется, нечем было поиграть; а если на театре здесь представляются одни только разговоры и поют одни песни, то лучше бы для слушателей было выслушать одним присестом все разговоры Лукияновы и Аристиппа с своим сыном и два или три тома песен вашего автора, который некогда по справедливости мог ими пощеголять».

«Ах! сударь, — сказал мне мой сосед: — все ваши слова справедливы; добрый вкус у всех просвещенных народов один, а глупое никакому рассудительному человеку не понравится; но театр здешний столь беден, что он должен

представлять или переводные, или подобные сему сочинения. Правда, мы могли бы видеть более новостей; но здесь выбор в сочинениях очень строг. Я знаю двух моих знакомых, которых сочинения года с три уже в театре; но нет надежды, чтобы они и еще три года спустя были представлены, хотя можно побожиться, что они лучше этой». — «Верю, — сказал я, — ибо это сочинение ни с каким уже нейдет в сравнение, и мне кажется, что человек, который выучился писать только склады и прочел сочинения два театральных, не написал бы такой вздорной драмы. Но для чего же здесь доступ так труден на театре?» — «Для того, — отвечал он, — что почитают благодеянием сыграть чье сочинение; впрочем, это расчет театра, и расчет такой, которого польза, может быть, приметна ему только одному».

«Чудный расчет, — говорил я, — когда наблюдают такую редкую осторожность в выборе; а дают глупости, которые и на святочных игрищах едва ли могут быть терпимы». — «Но скажите мне, — спросил у меня мой сосед, — какую причину имеете вы нападать на здешний театр? Не из числа ли вы тех авторов, которые добиваются видеть сыгранными свои сочинения, и отдав их, питаются несколько лет одною надеждою, что их когда-нибудь прочтут?» — «Нет, — отвечал я, — но я еще хочу сочинять, и желал бы знать, какие здесь нужны к тому правила». — «Самые простые, — сказал он: — во-первых, смысла и остроты не надобно; правила театральные совсем не нужны; берегитесь пуще всего нападать на пороки, для того что комедия, написанная на какой-нибудь порок, почитается здесь личностию; берегитесь также вмещать острых шуток в ваше сочинение; ибо здесь говорить умно на театре почитается противным благопристойности, а надобно, чтоб ваши действующие лица говорили так просто и не остро, как говорят пьяные или сумасшедшие: словом, возьмите в пример нынешнюю оперу и напишите ей подражание, тогда можете надеяться, что ее когда-нибудь представят и вас театр включит в число своих авторов, а публика в число мучителей, наводящих ей зевоту». После сего он от меня отошел и оставил меня удивляться таким чудным правилам театра и желанию некоторых беспокойных голов, которые, ненавидя жить в спокойной неизвестности, собирают тысячи две народу, чтобы заставить их смеяться над своим дурачеством.

ПИСЬМО XLV

От сильфа Выспрепара к волшебнику Маликульмульку

Недавно, почтенный Маликульмульк, пролетал я посверх столицы великого Могола. Сей город обширностию своею и великолепием обратил на себя мое внимание, которое тем более умножилось, когда приметил я подле одного огромного здания великое собрание народа. В ту ж минуту, спустившись в город, сделался я невидимым и пошел прямо в тот дом. Я узнал, что то был дворец, и, прошед до внутренних чертогов, увидел там молодого государя, окруженного своими вельможами, который по смерти своего отца в тот самый день взошел на престол. Я с великим любопытством желал видеть, что будет происходить при сем достопамятном случае и для того, подошед, стал подле самого юного владетеля. Не без удивления взирал я на льстивые приветствия, деланные сему государю от всех представших пред него для поздравления, или, лучше сказать, для гнусного ласкательства. Я хочу уведомить тебя, почтенный Маликульмульк, о всем, что там в глазах моих происходило.

Стихотворцы той земли подносили сему государю сделанные в похвалу его свои сочинения, в которых выводили род его от богов. Вельможи, повергаясь к ногам его, говорили: «Хотя мы любили покойного твоего родителя, но тебя любим и почитаем гораздо больше. К нему привержены мы были по нашей только должности; но к тебе прилепляемся всеми нашими сердцами. Он осыпал нас благодеяниями, но как ты одарен превосходнейшим пред ним разумом, то мы ожидаем от тебя более щедрости и за сию цену готовы пролить за тебя кровь нашу до последней капли, в каком бы то случае ни было: для побеждения ли врагов твоих, или для приведения в повиновение тех из твоих подданных, которые вздумали бы осуждать оказанные тобою нам милости».

«Высокомощный государь! — возопил один из них: — доставь мне честь держать стремя у ноги твоего блистательного величества, со ста тысячами рупиев, присоединенными к сему достоинству, и препоручи, из милости, в мое управление небольшую область, которая не более пятисот миль заключает в своей окружности». — «С охотою сие исполню, — сказал ему государь, — но когда ты будешь жить в

той области, которая расстоянием отсюда четыреста миль, то кто тогда будет держать мое стремя?» — «Ваше пресветлое величество, — ответствовал придворный, — вот здесь предстоит пред тобою молодой мандарин второй степени, который почтет превеликою честию исполнять сию должность в мое отсутствие и быть при лице твоего августейшего величества, ежели только определишь ты ему ежегодно по две тысячи рупиев и дашь в его управление двенадцать кораблей, которые препоручит он своему помощнику, дабы самому всегда быть в готовности держать твое стремя».

«Ваше благоуханное величество! — вскричал другой: — понеже каждая из твоих потовых скважин подобна самочистейшей амбре, которая при сгорении своем испускает от себя приятнейшее благовоние, и понеже каждая исходящая из тебя капля твоего пота имеет ароматный запах, то для того всенижайше тебя прошу удостоить возложением на меня почтенной и увеселительной должности чистить твое белье и отирать грязь с твоего тела. Буде же соблаговолишь ты присоединить к сей приятнейшей должности чин главного начальника над всем твоим конным войском, то тем исполнишь желания твоего усерднейшего раба, который не питает в груди своей нималого корыстолюбия и который желает получить из твоего сокровища четыре или пять тысяч рупиев, единственно для того, чтоб быть в состоянии иметь самые тонкие и всегда чистые платки, которыми благоугодно тебе будет приказать мне стирать с твоего благоуханного тела пот и грязь, коих запах весьма приятен для всех окружающих твою величественную особу».

По сем третий, подступя, говорил: «О, божество, обитающее на земле! Ты вкушаешь по четыре раза в день единственно для того, дабы сим примером учинить для нас наши нужды сносными; удостой меня быть твоим хлебником, а вместе с оным повели, чтоб я имел честь представлять славу твоего победоносного величества у двора китайского императора». — «Но ты...» — сказал монарх. — «Правда, — перехватил мандарин, — что я не знаю языка китайского, а еще менее того мне известно, какие дела твои могут быть с государем китайским; но ты будешь во мне иметь в Пекине человека надежного, который со всем усердием будет там представлять собою образ твоей священнейшей особы и будет точный твой язык. Когда ты скажешь *да*, тогда и я скажу

да, когда ты скажешь *нет*! *нет*! и я скажу то же. Если же нужно бы было что-нибудь подписать, то я бы оное подписал, дабы имя твоего полномочного министра не было обесчещено. Тебе потребно только будет дать мне шестьсот рупиев, как такому человеку, который делать будет все, но ничего не будет значить. А как я имею хороший достаток, то и буду доволен одною только честию представлять твое лицо с четырьмя тысячами рупиев, присоединенными к сему достоинству, и с тремя тысячами для содержания моей важной особы; что составит, с небольшими издержками на проезд, на бумагу, на кисти и на чернила, около девяти тысяч рупиев».

«Я не то хотел сказать, — говорил император, — ты хочешь быть моим хлебником, а я никогда не думал, чтобы ты умел печь хлебы». — «Это правда, ваше сладкоедущее величество, что я печь хлебы не умею, да и никогда ни один главный хлебник из всех бывших при твоих небесных предках не знал даже, как за них и приняться; но я пред всеми ими имею то преимущество, что один из моих секретарей имеет сестру, у которой горничная девка племянница внучатного брата одного из наилучших хлебников в твоем государстве». На сие государь им ответствовал: «Не лучше ли бы было, чтоб конюх поддерживал стремя у моего седла, чтоб комнатный мой служитель имел смотрение за моим бельем и чтоб тот человек, который умеет печь столь хорошие хлебы, был непосредственно моим хлебником?»

Все предстоящие вельможи единогласно возопили: «О, государь, в пять раз наипремудрейший! отврати твои проницательные взоры от сих нелепых подробностей, которые умалят твою великую душу: неотменно нужно, чтоб в государстве твоем были чины посредственные и чтоб не тот сам держал твое стремя, которому должно его держать, и чтоб твой хлеб проходил или, по крайней мере, почитался проходящим между рук семидесяти пяти чиновных, прежде нежели достигнет до божественных уст твоих; не помышляй более ни о чем, как владычествовать над нами, и оставь нам попечение о учреждении всех вещей в надлежащий порядок, без всякого корыстолюбия, чрез посредство восьмидесяти тысяч рупиев, которые ты будешь раздавать каждому из нас ежегодно, и...»

В самое сие время, когда вельможи разглагольствовали таким образом с государем и когда весь народ питался безумною утехою (ибо им возвещено было о возвращении златого века, которого никогда не бывало, и уверяли их, что самые жирные колибрии, совсем уже изжаренные, будут к ним ниспадать с небес и что им не нужно будет ни о чем иметь никакого попечения), некто продирался сквозь толпу своего народа, близ царских чертогов предстоящего и кричал: «Злодеи! они развратят нашего юного государя!..» Народ почел его безумцем, вельможи кричали, что этот человек весьма опасен; а телохранители государевы усматривали ясно в сем дерзком поступке величайшее преступление, и вследствие сих трех основательнейших умозаключений дерзновенный был от всех угрожаем именем императора, который о том совсем ничего не знал. Насилие, делаемое многими против одного человека, произвело некоторое смятение и шум, который, наконец, достиг до чертогов государевых. «Что там такое? — говорил он: — кто там?» — «Это злодей... — ответствовали ему: — это возмутитель...» — «Кто б он таков ни был, — сказал государь, — велите его представить пред меня».

По нечаянности случился там один чиновный, который был несколько уважаем потому, что имел право выгонять из комнат собак и заставлять молчать придворных, находящихся в царской прихожей. Сей самый чиновный, также по особливому случаю, был покровителем тому дерзновенному человеку; он тотчас узнал его по голосу и, видя, какому бедствию тот себя подвергал, забыл всю должную скромность и не мог воздержаться, чтобы по чувствительности своей не оказать о нем своего сожаления... «Ах, несчастный!» — сказал он. — «Как ! ты его знаешь?» — спросили у него. «Да, немного». — «Кто же он таков?» — При сем вопросе придверник, побледнев и затрепетав от страха, говорил сквозь зубы: «Он... это бедняк... это один... из тех... которые... пишут». — «Как его зовут?.. так это писатель?» — «Да... он... пишет книги».

Старший из эмиров, предстоящих пред государем, ему сказал: «Ваше непостижимое величество, жизнь всех людей в твоих руках: повели сего дерзновенного предать казни, это не первое уже его преступление. Он обманщик; он бродяга; он скитался по всей земле под предлогом искания ис-

тины: не унижай себя до того, чтоб войти с ним в разговоры; ты тем только себя обесчестишь, но его ничем не уличишь; он всегда тебя будет уверять, что говорит истину: он из всех людей, коим ты позволяешь наслаждаться жизнию, самый опаснейший; о нем сказывали, что он геогра... Нет! Геометр. При каждой подати, которую мы налагаем на народ твоим именем, он делает вычисление, соображая справедливость сего налога с возможностию оный платить. Еще не прошло трех лун от того времени, когда дерзал он предлагать, чтоб сделать уравнение в цене жизненных припасов с ценами разных безделок, служащих к нашему украшению, так, как бы должна была быть соразмерность между оными вещами».

«Я тебя понимаю, — сказал юный Могол: — однако ж хочу выслушать и сего человека. Подойди сюда, друг мой! Стражи! пропустите его... Какое твое преступление?» — «Истина, государь! — ответствовал смельчак: — все мудрецы, жившие в прежние веки, говорили, что чрезмерная похвала, а притом и без всяких еще заслуг, повреждает доброту природных склонностей: самый же опыт доказал мне справедливость сих изречений; ибо в самом деле те государи, кои наиболее в жизни их превозносимы были похвалами, не были от того лучшими». — «Изъясни мне сие», — сказал монарх. «С охотою, — ответствовал ему друг истины: — внемли, почтенный юноша!..» — «Ах! какое богохулие!» — возопил эмир и выхватил из ножен широкий меч; но император одним взором своим усмирил эмира и, повелев ему вложить меч в ножны, приказал оратору продолжать свою речь. Тогда он девять раз повергался к ногам его и три раза лобызал ноготь второго пальца у левой ноги императорской в знак всеуниженнейшей благодарности, следуя обычаю той земли, потом, положив руку на свою чалму и не снимая ее, также следуя обычаю, говорил:

«*Почтенный юноша!*

Ты был предназначен вышним провидением владычествовать над великим народом; но гнусная политика или, лучше сказать, подлое ласкательство сокрыло от тебя должности, присоединенные к сему достоинству. Между тем непредвидимый удар поспешил минутою твоего владычества; ты восходишь теперь на родительский престол, и тщеславное власто-

любие, из коего ты доселе не делал никакого употребления, еще тебя не ослепило; ты учинился монархом, но не престал еще быть человеком; ты должен теперь принимать поздравления от всего рода человеческого.

Уверяют, что ты ищешь истину. Итак, видно, ты не хочешь умножать число тех высокомерных государей, которые во время царствования своего были только знаменитыми злодеями, а предпочтеннее пред оным желаешь быть постановлен между малым числом государей добродетельных. Да возблагодарим за сие троекратно бога!

Почтенный юноша!

Внемли... Если государи не любят истины, то и сама истина, с своей стороны, не более к ним благосклонна. Она их не ненавидит, но страшится и не иначе сносит их присутствие, как целомудренная девица приемлет объятия своего похитителя.

Есть, однако ж, такие примеры, что она и коронованных глав имела своими любимцами; и буде слава могла бы быть наследственною, то я мог бы назвать тебе некоторых из твоих предков, к которым она оказывала немалое уважение и являлась пред их лицо во всей наготе своей; но заслуги предков никому не придают знаменитости, и ты не можешь требовать ее благосклонности, не учинившись делами своими того достойным.

Помни, что для монархов не всегда довольно бывает одного только того, чтоб любить истину и оною обладать; ибо троякая личина корыстолюбия, страха и ласкательства прикрывает все лица, повергающиеся у подножия престола, и величество твоего достоинства есть главнейшая препона, которую ты паче всего преодолевать должен в желаемом тобою искании истины.

Ты не обрящешь ее в устах тех льстецов, которые, без сомнения, находятся между окружающими тебя вельможами. Есть, конечно, между ими некоторые и такие, которые желали бы наставить тебя на путь истины, если бы только могли иметь дерзновение или не находили бы почти таковых же препятствий, какие предстоят тебе для ее познания. Глас народа также не может быть надежнейшим способом для ее открытия. Итак, к кому же ты должен прибегнуть в сем случае?.. к мудрецам твоего государства!

Но ты должен знать, что мудрец не есть из числа тех угрюмых смертных, имеющих нечувствительное сердце и отвратительный вид, которые никогда ничего не хвалят, которые на все непрестанно произносят хулу и суровостию своею оскорбляют наши слабости, не делая нас лучшими.

Он не являет в себе также излишнего восторга и неумеренной привязанности к человеколюбию; ибо таковое неблагоразумное сострадание приводит оное в большое ослабление, и потому не сострадает равно как о преступнике, заслуживающем достойную казнь, так и о невинном, сильными притесняемом: таковой может назваться человеконенавистником, который думает, что вся чувствительность заключается в одном только его сердце, и он скоро бы учинился жертвою других людей, если бы успел поселить в них те чувства, которые сам к ним оказывает.

Еще менее уподобляется он тому строгому отшельнику, коего великое смирение питается желчию умерщвления страстей, коего разум, будучи возмущаем более страхом, нежели слабою надеждою, с свирепостию пожирает сие гнусное противоборствие; который не иначе, как с проклинанием исполняет должности, налагаемые на него его своенравием. Будучи надмен, а еще более того несчастен тем, что лишился всей чувствительности, осуждает он в другом употребления тех чувств, которые сам в себе умертвил долговременным усилием. Он тем более превозносится своею строгою жизнию, чем мучительнее было для него преодолевать бунтующие в нем страсти; а потому всякого того почитает своим врагом, кто опорочивает сии его поступки. «Таковой может почесться гнусным обманщиком, ибо он единственно для того превозносит похвалами носимые им тягостные оковы, дабы обременить оными тех, коих блаженство причиняет ему несноснейшее мучение».

Почтенный юноша!

Мы все карлы: один только бог велик. Для сего-то самого он поместил добродетель не на бесплодной вершине неприступной горы; но на жертвеннике, соплетенном из роз, находящемся посреди прекраснейшей рощи, которая в тысячу раз прелестнее той, где мы полагаем быть жилищу Вистнову. При входе в оную лежит сто дорог! Премудрый строитель мира столь искусно расположил сие место, что путешествен-

ник, при первом туда вступлении, с утешением бывает влеком к концу своих желаний.

Неподалеку оттуда находится излучистая пещера, в которой обитает тень *Совершенства*. Путь, туда ведущий, познается по колючим терниям и по великому множеству *Затруднений*, непрестанно между собою сражающихся, желая получить жезлы и мечи, приготовляемые *Самолюбием* для увенчания *Тщеславия*.

Итак, ты должен различать истинного мудреца от хитрого обманщика, который, нося на себе обманчивую личину, старается притворною наружностию таковым казаться.

Истинный мудрец имеет вид веселый, взор неробкий и усмешку непринужденную. Его черты никогда не помрачаются неумеренною радостию, ни чрезвычайною печалию: его непритворная веселость означает спокойствие души его. Он не всегда бывает счастлив; однако ж никогда не терпит несчастия, для того что его не терзает никакое угрызение совести. Посреди самого бедствия сохраняет он совершенное равновесие, которого никакое благоденствие и никакие дары счастия поколебать в нем не могут.

Хотя мудрец, так же как и другие люди, бывает подвержен страстям, но он из них умеет делать лучшее употребление.

Почтенный юноша!

Ежели ты найдешь такого мудреца между многочисленными обитателями обширного твоего владения, прилепись к нему и привлеки его к себе своими милостями; удостой его твоей доверенности и позволь ему с собою беседовать; чти его, как отца, и люби, как друга! Когда же ты делами своими достигнешь до того, что и он тебя будет почитать своим другом, и когда, следуя мудрым его наставлениям, будешь ты уметь различать истинную похвалу от ласкательства: тогда можешь принимать от всех похвалы, без всякой опасности ими развратиться, ибо тогда ты будешь человеком, достойным владычествовать над всеми земными обитателями.

Вот что я хотел тебе сказать. Я тебя не хвалил, но изъяснил, как должен ты поступать, дабы сделаться похвалы достойным».

Тогда государь, обратясь к придворным, сказал: «Этот человек кажется мне не столь безумен и злобен, как вы о нем мне говорили; я беру его под мое покровительство и

приказываю, чтоб никто не дерзал делать ему ни малейшего оскорбления и чтоб дали ему из моей казнохранительницы богатое платье и тысячу рупиев». Придворные, услыша сие, ворчали что-то тихонько сквозь зубы, а придверник, который устрашился оттого, что защищал сего мудреца, опять принял на себя веселый вид.

После сего юный император сделался задумчив. Придворные, заключали из того, что в нем не было разума, а один из них, будучи смелее прочих, дерзнул вопросить государя: что такое могло возмутить спокойствие его величества в день, посвященный всем веселостям, и когда он со всех сторон осыпаем бесчисленными похвалами? — «Оттого-то я и смущаюсь, — ответствовал юный владетель, — что я еще не заслужил сих похвал; может быть, со временем я буду их достоин и тогда наслаждаться буду ими с большим удовольствием потому, что я люблю истину».

Старый эмир, который хотел отрубить голову мудрецу, чтоб заставить его молчать, вскричал: «Государь! я о заклад бьюсь, что этот негодный умствователь, который теперь говорил пред тобою дерзкую свою речь, смутил веселый дух твоего проницающего величества. Сии опасные люди приносят с собою унылость, и я думаю, что он поверг бы в задумчивость и самого Вистну, находящегося посреди семисот тридцати девяти прекрасных девиц, которые непрестанно щиплют ему бороду, в восьмнадцатом небе. Да будет троекратно проклят этот возмутитель со всею своею истиною! Для разогнания мрачных паров, которые дерзнул он разлить на нерушимое твое спокойствие, в то время, когда ты не должен ничего знать, кроме забав и веселостей, всенижайший раб последнейшего из слонов твоих советует тебе удостоить своим присутствием одно забавнейшее зрелище, которое я приготовил в приемной твоей зале». — «Посмотрим, что это такое, — сказал император:—весело ли оно?»— «Очень забавно и чувствительно!» — ответствовал эмир.

Придворные все единогласно хвалили выдумку эмира и спрашивали, кто учреждал сие торжество. Им ответствовали, что учредитель оного был Како-Музи-Драма-Лармой-Ризу. При сем имени все вскричали: «А, а! мы его знаем, он человек преискусный!» — «И некорыстолюбивый». —«Он разорил с двадцать мандаринов, не обогатив себя». — «Это правда». — «Да как он мог в такое короткое время приго-

товить столь великолепное зрелище?» — «Которое притом и очень мало стоит». — «А сколько?» — «Двести тысяч рупиев». — «Как! только двести тысяч! это невероятно». — «Совсем невероятно!..» Говоря таким образом, пошли они все в залу смотреть зрелища; а я полетел в свой путь, проклиная подлость льстецов, которые, кажется, полагают в том свою славу, чтоб сердца монархов отвращать от добродетели и заграждают истине путь к престолу. Пожелай со мною, любезный Маликульмульк, чтоб сей молодой венценосец не подпал участи многих государей, которые слушают ласкательства для своего удовольствия, а наставления мудрецов для того, чтоб по вечерам засыпать от их нравоучения.

ПИСЬМО XLVI

От гнома Зора к волшебнику Маликульмульку

Чем более живу я между людьми, тем более истребляется в моих мыслях то понятие, которое я имел о них, видя тебя, любезный Маликульмульк, и некоторых подобных тебе мудрецов, и тем больше кажется мне, будто я окружен бесчисленным множеством кукол, которых самая малая причина заставляет прыгать, кричать, плакать и смеяться. Знатная барыня заплачет, и в ту ж минуту все лица вокруг ее сморщатся; большой барин улыбнется, и вдруг собранные вокруг его машинки на красных каблучках зачинают хохотать во все горло. Никто не делает ничего по своей воле, но все как будто на пружинах, коими движут такие же машины, называемые — *светская благопристойность*, *щекотливая честь*, *обряды* и *моды*. Тебя, может быть, удивляет слово *честь*, против которой я вооружаюсь; но знай, что это не та честь, которую разумели древние, и я не знаю, почему сию пружину называют ныне честью. Древняя повелевала быть обходительну, а нынешняя подымает у всех своих машин вверх носы. Первая заставляла прощать обиды, а вторая за нечаянно выговоренное слово повелевает у своего мнимого неприятеля обрезать уши или убить его до смерти. Ты увидишь сам, справедливо ли мое на нее вооружение, когда я расскажу тебе поступок, к коему принудила сия пружина некоторых кукол, которые не делают ни одного движения без посторонних действующих ими причин, но со всем тем называют себя свободными.

Недавно зашел я к одному из моих знакомых, с коим можно проводить многие часы, не теряя времени. Я застал его зевающего над нововышедшею в свет книгою, и потому он не досадовал, что я прервал скучное для него чтение. «Конечно, эта книга достойна хулы, любезный друг! — сказал я ему, — когда ты над нею зеваешь». — «Нет, — отвечал он, — это одна из таких книг, которые и ценить стыдно: десять модных повес расхвалили мне ее как творение отличнейшего автора, и я, зная цену их похвал, взял себе эти трагедии только для того, чтобы их читать от бессонницы и теперь, желая поскорее заснуть, за них принялся». — «Да почему ж эта книга столько нравится, — говорил я, — тем повесам, которые тебе ее расхвалили»?

«Потому, — отвечал мне мой знакомец, — что в ней есть новости, небывалые на нашем театре: например, в ней отпевают государя при его глазах тогда, когда он прогуливается спокойно между своими отпевальщиками, и потом чего также нигде не видано, он, желая скрыться от своих неприятелей, не выбрал в городе ни одного дома, в котором мог бы жить тайно, и поселился на кладбище, где всегда множество бывает набожных прихожих, посещающих гробницы своих сродников: это так же умно сделано, как , если бы кто, желая спрятать поскрытнее деньги, не выбрал ничего безопаснее, как положить их на большой улице. Тут есть и еще новость, что пронырливый и хитрый злодей, который во всех своих делах старается себя скрывать и казаться справедливым, схватывается браниться с восьмилетним ребенком, который вместо того, чтоб оробеть от его крика, делает перед ним скоропостижные нравоучительные вирши, а злодей отвечает ему также скоропостижными эпиграммами, выбранными из лучших французских писателей».

«Да скажи мне, — спрашивал я его, — разве нет у вас правил, которым следуя, можно бы было избавиться всех таких погрешностей?» — «У нас, — отвечал мне неугомонный критик, — авторы следуют общему правилу, и тот, кто желает сделать какое творение, должен только дать ему имя; достальное же все, как несносное рабство, выкинуто из употребления». — «Я ничего не пойму из этого».

«О! я вам растолкую яснее: например, автор, который имел терпение набрать из разных мест большую тетрадь стихов, думает, что он уже исполнил все правила, если поставил над

сим собранием стихов в красной строке: *Трагедия*, и потом разделил на пять разных доль, которые назвал действиями. Таким образом нередко поступает и сей автор, не заботясь о том, кстати ли он назвал кучу стихов, разговоров и определений трагедиею и подлинно ли она кончится там, где он конец выставить изволил. Оттого-то и другие наши авторы наудачу разрезывают свои стихи между действиями и нередко ошибкою ставят конец страницами тридцатью позже, нежели ему быть надобно. Случается иногда и то, что там, где должно поставить конец, ставят начало, и таким образом часто публика имеет удовольствие видеть, что драмы выставляют перед нею задом наперед; но я вам все это растолкую в моих примечаниях на здешний театр, где между прочим поместил я и то, что перерезать себе глотку за товарищество, без всякой нужды, не есть трагическое действие и что никто не станет плакать о том, если муж, запрятавшись в гробницу, станет стращать свою жену, как маленьких ребят стращают букою, и она, испугавшись мнимого мертвеца, упадет в обморок, между тем как наперсница ее, слыша тот же голос, с драгунскою твердостию перенесет нечаянную вылазку покойника из гробницы; и где также мне хочется доказать, что переводчик и сочинитель не есть одно; и что очень дурно переведенное сочинение назвать своим: в таком случае на всяком европейском языке могли бы быть сочинители *Илиады*, *Энеиды* и *Телемака*, ко вреду истинных их авторов». Рассерженный мой замечатель продолжал бы долее свои рассуждения, если б нечаянный шум, сделавшийся в ближней комнате, не привлек к себе нашего внимания.

Едва поразил он наш слух, как вбежала к нам в комнату молодая растрепанная женщина. «Государи мои! — кричала сия красавица, — сжальтесь над моим состоянием и воспрепятствуйте, чтоб не произошло в комнатах моих кровопролития: двое бешеных господ дошли до такой крайности, что в состоянии перерезать друг другу горло; выведите их хотя на улицу, чтобы избавить только меня из такой негодной истории. Боже мой! — продолжала она, — слышите ли вы этот шум! Конечно, они уже дерутся; дай небо, чтобы они хотя волосной схваткой были довольны и чтобы расчет их на одних только зубах кончился». При сих словах мы немедленно туда бросились, а миролюбивая красавица, бегучи

за нами, упрашивала нас, чтобы мы вывели их только из ее комнаты и оставили бы на волю их бешенству. Кого бы, ты думал, увидел я в ее комнате? г. Припрыжкина и старинного моего знакомца по кофейному дому Ветродума, который, ежели ты вспомнишь, обещал меня сводить к своей любезной тетушке для познания различных парижских модных дурачеств, которых ее туалет может назваться истинным барометром.

«Знаешь ли ты, — кричал Припрыжкин, не примечая нас, так же как и его товарищ, — знаешь ли ты, мой мелкий господчик, — что она принадлежит одному мне по всем денежным правам волокитного рыцарства? Знаешь ли ты, что я имею честь разоряться для этой богини и что целый город разумеет ее моей фавориткою, а ты смел войти в ее комнаты, в которых всякая доска, всякий стул и всякое зеркало стоят мне наличных денег или хороших векселей и в которые каждый мой приход опустошает в моих деревнях по крайней мере два или три крестьянских дома?»

«Тьфу, к чорту! — вскричал Ветродум, — ты насказал мне такие права, которые и всякого юриспрудента приведут втупик; однако ж знай, мой господин! что у нас, военных людей, совсем другие законы: у нас позволительно с соперниками воевать и брать крепости приступом, деньгами и хитростию: и тот только остается правым, кто в силах чем завладеть; а как у меня теперь денег нет, для того что я еще под опекою, приступом же брать мне не хотелось тебя беспокоить, а притом боялся я, чтоб нашим сражением не наделать вреда здешней крепости, которая, я не хочу, чтоб что-нибудь претерпела, то для того и решился я засесть в ней закрытым образом и пользоваться ею до тех пор, пока мне вздумается, ожидая спокойно твоего отступления, или когда я получу деньги, тогда открыть свою батарею, которая, не думаю, чтоб уступила твоей в изобилии зарядов. Вот, приятель мой! какое мое право; я опять напоминаю тебе, что в войне право хитрого и право сильного равно уважаются, но когда уже дьявольским, видно, к тебе благоволением сделалась открыта засадная моя батарея, то знай, что я до последнего своего или твоего зуба не уступлю места сражения».

«Перестаньте, государи мои! — вскричал мой хозяин, — вы заводите здесь такой шум и крик, что перетревожили

всех честных людей в доме». — «Это точная правда, — сказал я, — постыдитесь сделать из себя историю: воля ваша, мы не дадим вам шуметь, и если вы не перестанете из уважения к вашей красавице, то перестаньте хотя из уважения к полиции, которая, конечно, не преминет вмешаться в ваше дело и наделает вам много стыда, хлопот и убытков».

«Браво! — вскричал Припрыжкин, — браво, приятель! ты уже ныне проповедуешь! Тьфу, к чорту! только надобно тебе быть архи-Цицероном, чтоб утишить мой гнев на этого повесу». — «Как! я повеса? — вскричал Ветродум: — Ах! ты закулисный бродяга! можешь ли ты сказать это благородному человеку, который за оскорбление своей чести может с тобою очень исправно разделаться шпагою, палкою и кулаками?»

«О! мой любезный, — сказал Припрыжкин, — когда дело дойдет до драки, то я докажу тебе, что и я никакому негодяю спины не подставлю; увидим, кто из нас трус! Жаль только, что я теперь во фраке; а то, в сию же минуту, отмстил бы тебе за обесчещение моей особы и моего достоинства твоим к моей Кларине посещением; но завтра! завтра в шесть часов поутру, если ты честный человек, то приезжай в улицу Мотожилову и спроси собственный дом Припрыжкина, где найдешь меня и мою шпагу к твоим услугам; а поле сражения можешь ты выбрать, где тебе угодно. Увидим, голый мой господчик! как хорошо расплачиваешься ты за постоялое, без ведома хозяина... Ба! чорт меня возьми, — вскричал он, схватя его за руку, — вот мой перстень, который подарил я этой негодяйке; да вот и пряжки, которые выпросила она у меня своему брату! Прекрасно, господин голяк! прекрасно! продолжай жить на счет честных людей, если тебе удастся, а ты, моя красавица!.. Ба! вот хорошо! эта плутовка, для соблюдения доброго порядка, изволит лежать в обмороке. Ей! ей! не худо выдумано! обманщица театральная! она знает мою слабость: вот то самое положение, которым в первый раз она меня пленила! Она была моим божеством! да и теперь посмотрите, посмотрите, как она прекрасна! право, надобно ей помочь. Ну, господин подлипала! прощай, завтра мы с тобою увидимся!»

«Прощай, — сказал Ветродум, — завтра расквитаюсь с тобою за перстень и за все, если мне удастся: после этого ты, может быть, будешь учтивее с людьми, которые, не нару-

шая правил благопристойности, живут на твой счет. На твои же деньги, — продолжал он с насмешкою, — запасусь я сегодня добрым булатом и завтра буду иметь честь попотчевать тебя твоим собственным добром... Но что я вижу! — вскричал он, проходя мимо меня: — старинный мой приятель! каким образом ты здесь? Не вкладчиком ли ты в здешнюю обитель?» — «Нет, — отвечал я, — я пришел вас разнять и укротить, ежели можно, вашу ссору». — «Браво! вот прямо духовное намерение! очень хорошо! прекрасно! Завтра мы с ним пощекочем немного друг друга шпагами; а послезавтра можешь ты быть у нас посредником в нашем перемирии». После сего он, как стрела, вылетел из комнаты и оставил меня удивляться введенному между людьми дурачеству не иначе заглаживать свое оскорбление, как зарезать другого или дать себя зарезать. Но возвратимся к нашей повести.

«Господа мирители! — сказал Припрыжкин: — я прошу вас со мною здесь отужинать: это последний стол, который даю я в этих комнатах моим приятелям: с нынешнего дня не будет здесь нога моя... Но посмотрите, как прелестна эта плутовка в обмороке! Однако ж я ее более не люблю: желал бы я только знать, сыщется ли хотя один смертный, который бы усерднее меня захотел для нее разоряться... Негодяйка! за все это она не щадит моего доброго имени в городе и хочет, чтоб меня называли содержателем, может быть, целой толпы ее обожателей, из коих я ни одного с роду в глаза не видывал. Посмотрим, как она без меня будет жить! Но мне хочется сделать ей последнюю нечаянность». После сего снял он с руки своей бриллиантовый перстень и надел на ее руку, а часы свои, вынув, заткнул ей за пояс. «Я добродушен, — сказал он, — и в самой размолвке хочу с ней расстаться, как щедрый человек». Потом постарались мы подать ей помощь, и она не имела трудности ожить, не быв ни минуту мертвою.

«Ах! любезный Припрыжкин! — сказала она томным голосом, открывая глаза: — так я никогда уже более с тобою не увижусь! Ты ушел, о небо! Нас могли с тобою поссорить, когда я перед тобою так невинна, как трехлетний младенец!» — и, выговоря сие, закрыла платком свои глаза. «Вот, — подумал я сам в себе, — искусная актриса!»

«Как! ты невинна, — сказал Припрыжкин, — или думаешь ты, моя голубка, что доказательства твоей измены несправедливы?». — «Верю, что ты мог ими ослепиться; но со всем тем совесть моя меня не укоряет: сердце мое укоряет меня только в том, что я не умела сохранить твоей к себе доверенности». — «Посмотрим, посмотрим, плутовка! — сказал он, взяв ее за руку, — чем ты можешь оправдаться! Ну, например, этот повеса Ветродум к какой стати запрятался за занавес твоей постели? какая невинная причина заставила тебя отдать ему мой перстень и пряжки? и которая из семи добродетелей побудила тебя держать его у себя тайно три дни, о чем я недавно проведал?»

«Неблагодарный! — сказала театральная Лукреция, — самое то, что ты почитаешь знаком моей неверности, есть опыт жаркой моей к тебе любви: знай, что этот Ветродум хотел с тобою драться за то, что ты отбиваешь от него всех женщин, за коими он машет; я, приметя, что он в меня влюблен, захотела польстить ему надеждою, пока не пройдет в нем охота драться, и для того старалась продержать его у себя три дни, после коих он так много потерял своей бодрости, что и куренка бы не тронул; но я уверяю тебя, что он был здесь в таком же воздержании, как в монастыре; что же до пряжек и перстня касается, то, имея нужду в деньгах и не желая тебя беспокоить (ибо клянусь тебе, что люблю тебя не из корысти), продала я ему эти мелочи. Наконец недолго мне оправдаться и в последнем поступке: он зашел ко мне сегодня, желая убедить мою суровость, и лишь только сел, как ты пришел: признаюсь, что, зная твой ревнивый нрав, я не хотела, чтобы вы встретились, и для того спрятала его за занавес. Вот все мои преступления, будь теперь сам моим судьею».

«Божусь, — вскричал Припрыжкин, — что эта плутовка в самом деле невинна: помиримся же, моя милая! Признаюсь, что я сам перед тобою виноват, как собака. То правда, что я ревнив; но это оттого, что люблю тебя очень много; однако ж уверяю тебя, что если ты меня простишь, то с сего времени моя ревность не нанесет тебе никакого беспокойства». После сего они помирились, и мы расстались с великим веселием. Припрыжкин просил меня на другой день к себе, чтоб я был посредником в их поединке; я дал ему слово, надеясь, что, может быть, удержу его от этого дурачества,

и распрощался с ним, удивляясь потачливости его к своей театральной Лаисе, которая, как кажется, наблюдает твердо правила театра и ко всякому бывает равно чувствительна, кто с нею играет любовные роли.

ПИСЬМО XLVII

От ондина Бореида к волшебнику Маликульмульку

Ничего не может быть для меня страннее, любезный Маликульмульк, как жадность людей к собиранию бесчисленных богатств. Алчный к богатству человек столь много его желает, как будто бы никогда не должен он был умирать; и, глядя на сундуки свои, наполненные золотом, он столь боязлив и беспокоен, что всякую минуту опасается умереть и кажется приговоренным к смерти.

Не смешон ли покажется тебе человек, который для одной своей особы хочет заготовить семьсот тысяч кулей хлеба, зная, что он и тремястами может очень изобильно весь свой век пропитаться? Искатели богатств, зная хорошо арифметику, только сей одной задачи не умеют выложить; а эта ошибка часто заставляет их трудиться и вдаваться в опасности для тех лет, до которых они, конечно, не доживут. Очень забавно видеть, как такой человек ломает себе голову, чем ему чрез десять тысяч лет жить будет, и опасается, чтоб не умереть тогда с голоду; а такая странная и смешная забота столько его сокрушает, что он не доживает и восьмидесяти лет, полного человеческого века. Недавно видел я сам пример такой попечительности и думаю, что ты не наскучишь его выслушать.

На сих днях Нептун остановился с своим двором у подошвы прекраснейшей морской мели и расположился прожить на ней несколько дней. Можно сказать, что мы жили очень весело! Не проходило ни одного дня без новой забавы: ловля китов и собирание кораллов и лучших раковин были украшением Нептунова двора. Фетида также вздумала с своими женщинами вмешаться в ловлю рыб, и хотя Нептун уговаривал их, что это может быть для них очень опасно, со всем тем они, не слушая его, захотели непременно начать с сими животными открытую войну и сделаться новыми

амазонками, но чтоб не вдаваться в излишнюю опасность, то просили они Нептуна, чтобы он для утомления больших китов возмутил моря и произвел бурю; после чего удобнее надеялись овладеть своими неприятелями. Итак, Нептун, в угождение своей жене, всколебал все моря и подверг опасности несколько, может быть, миллионов бедных плавателей, только для того, чтобы его жена приобрела имя искусного ловчего рыб, которых пленять ни ей, ни ему никакой не было надобности. Таким образом, любезный Маликульмульк, часто забава одной особы стоит жизни многим несчастным, и таким-то образом один из ваших героев прошел множество земель, разорил тысячу селений и истребил несколько миллионов как своих сограждан, так и мнимых неприятелей только для того, чтобы, проложа такую кровавую дорогу за несколько тысяч верст от своего отечества, поставить надпись: *пришел, видел и победил.*

Между тем как взволновавшееся море, ворочая со дна песок и тину, тревожило немых своих обитателей и они, бегая по разным странам, чтобы сыскать спокойствие, лишались сил и зрения от песку, который, смешавшись с нашей стихиею, попадал им в глаза, Фетида с женщинами, в покрытой со всех сторон раковине, выехала прогуливаться на охоту и сидела в ней так же спокойно, как будто бы была самая глубокая тишина во всем море, хотя бедные тритоны, правившие лошадьми, насилу могли держать возжи в руках и проклинали потихоньку охоту, бурю и богинины причуды, подвергающие опасности их зрение и здоровье. Множество придворных окружали богинину раковину, и очень весело было смотреть, как они улыбались, желая показаться веселыми, и щурились от песку, повсеминутно в глаза им попадающего; а богиня между тем подшучивала над их нежностию и уверяла, что ей очень спокойно сидеть и что она до тех пор не возвратится домой, пока не поймает хотя шести китов; но думаю, что придворные не слишком радовались такой ее храбрости.

Нептун и я не чувствовали сей жестокой непогоды потому, что его морскому величеству угодно было остаться дома и приказать мне быть с собою. С ужасом ожидал я следствий богининой забавы; ибо, признаться, хотя я и морской житель, но люблю людей, несмотря на их дурачества, и мне очень было жаль, если два или три кита, побежденные Фети-

дою, будут стоить жизни, может быть, нескольких тысяч добродетельных человеков, по необходимости вдавшихся морским водам, которые, конечно, того не ожидали, чтоб пустое желание Нептуновой супруги ввергло их в такие опасности. И подлинно, я не без причины боялся.

Едва прошло четверть часа, как на вершину горы, под которою мы были, налетел один корабль и разбился на части. Бедные плаватели в полминуты разнесены были волнами. Один из них поспешнее всех потонул и упал к самой подошве горы. Я удивился, что он так тяжел; но удивление мое миновалось, как я увидел маленький сундучок, наполненный золотом, привязанный у этого корыстолюбца на поясу.

«Конечно, — сказал Нептун, — этот человек ожидал, что золото поддержит его на поверхности воды, и для того привязал он к себе этот ларчик, вместо пробочной рубашки; однако надобно подать ему помощь: он еще жив; поможем ему: я желаю, чтоб он, возвратясь в отечество, уговорил своих земляков не менять свою жизнь на блестящий этот металл и не надеяться на уважение мое к их богатству, которым могут они иногда откупаться от бед на сухом пути; но в море богачу может оно служить вместо камня, привязанного на шее, и скорее дотянуть его на морское дно». После сих слов не умедлил он, нашим старанием, возвратить жизнь и продолжить ее на несколько времени сему полезному члену света, который, как потом мы узнали, ездил по всем его концам для того, чтоб обманывать своих собратий.

«О! небо, — вскричал он, протирая свои глаза, — где я? где мои любезные денежки? (заметь, что мы отвязали от него ларчик) где душа моя?.. Ах! все погибло!.. Конечно, наказал меня господь за несметные грехи мои и лишил меня того, что после его, моего создателя, почитал я вторым божеством и для чего всякий день многогрешная душа моя преступала *десятисловие*!» — «Мне кажется, что ты очень честного нрава, — сказал ему Нептун, — и без обиняков сказать, ты по справедливости претерпел кораблекрушение».

«В священном писании написано, — отвечал наш законник, — что без воли божией не погибнет и влас со главы человеческой, а как золото дороже наших окаянных волосов, то, конечно, ему угодно было лишить меня семисот тысяч наличными золотыми деньгами. Признаюсь, что я грешен перед ним; но такое наказание превосходит меру и самых

тягчайших грехов». — «Не печалься о твоем сокровище, — сказал Нептун, — я могу тебе его возвратить; но скажи мне, неужели оно тебе и всем подобным тебе дороже жизни, что вы ею жертвуете для нескольких ящичков этого металла, который, может быть, по одному только предрассуждению предпочтен железу?»

«Ах, милостивый государь, — вскричал обрадованный сребролюбец,— надобно только заглянуть в большой свет, чтоб увидеть, сколь много обожаемо в нем золото: ум, дарование и доброе сердце — все оно собою заменяет; человек, одаренный сим металлом, от всех уважается в свете: его боятся бедные и ему поклоняются знатные... Но, милостивый государь! не морите меня долее, возвратите мне мое сокровище и скажите, в которую сторону должен я отправиться к моему отечеству... Ах! сколь обрадую я мою бедную жену и детей, которые, конечно, умрут с печали, когда узнают, что я претерпел кораблекрушение... Сколь обрадуюсь и я сам, когда, возвратясь домой, облобызаю мои любезные! мои милые сундуки! в которых осталась замкнута и запечатана лучшая часть души моей: тогда-то прямо почувствую я райское удовольствие! и обещаюсь, на радостях, отслужить молебен всем святым, накормить человек пять нищих и угостить великолепным столом человек десять знатных».

«Но неужели, — спрашивал у него Нептун,—почитаешь ты более в том добродетели, чтоб изобильнее накормить знатных, нежели нищих?» — «Хотя это усердие, — отвечал он, — и не совсем спасительно для вечности, но для временного блаженства ничего нет сего полезнее: нищих молитвы ходатайствуют у царя небесного за грешных, подпадающих муке вечной; а молитвы знатных ходатайствуют у царей земных за грешных, подпадающих своими грехами истязаниям временным. Итак, милостивый государь! обое равно полезно, ибо и богатство есть дар божий, писано бо есть, что *в деснице его спасение небесное, в шуйце же его богатство и честь*: так осмелится ли кто из бренных человеков пренебрегать и *шуйцею* создателевой, изливающею щедроты свои на грешных человеков чрез вельмож, кои некоторым образом могут назваться *шуйцею* его, ибо они на земле управляют богатством и честию; почему, угощая их, отдаю я почтение *шуйце*, о которой, как я грешный, так и

многие мои собратия более пекутся, нежели о *деснице*, и которой нередко мы, в лице вельмож, десятиною наших грешных приобретений воздаем жертву». — «Прекрасно! господин жертвоприноситель, — сказал ему Нептун, — ты думаешь, что, принеся такую жертву, ты уже совсем очистился в своей совести? Но видно, что судьба справедливее ваших вельмож: она наказала тебя за твои неправедные приобретения и загладила потворство к тебе твоих покровителей: видишь ли ты, что она не уважает богатых плутов!»

«Ах, милостивый государь! — вскричал он: — я твердо помню, что *богатый не внидет в царство небесное*; но всякий человек есть червь перед господом, и никто кроме его не может назваться богатым; так я ли, имеющий не более двух миллионов рублей, могу себя таковым почесть? Хотя и неправдою приобрел я свое имение, каюсь в том перед богом, но неужели сравняюсь я в грехах с теми, которые неправдами и грабежами приобретали по тридцати миллионов! Увы! я еще сущий перед ними младенец: согрешил, может быть, и я, окаянный, разорил на свою долю душ с шестьсот; но может ли это итти в сравнение с тем, что иногда один искатель земных сокровищ разоряет многие тысячи людей для приобретения новых доходов, кои — о, нестерпимый грех! — он же еще и расточает и предается тем бескорыстному греху, который, по изустным сказаниям наших предков, есть самый тяжкий грех на свете; я же могу похвалиться, что сему греху непричастен и могу найти в том себе много товарищей как за счетами, так и за красным сукном, которые ни грехов, ни добродетелей без корысти не делают».

«Но какую корысть, — спросил у него Нептун, — получаешь ты от своих грехов, когда, по твоим же словам, ты не пользуешься своим золотом, держа его в заключении и быв при всем своем богатстве так же беден, как последний нищий?» — «Ах, милостивый государь! — вскричал скупяга, — хотя для себя, для моей жены и для детей не трачу я излишних денег, но это делаю я не из скупости, а для их же пользы, желая, чтоб имение мое хотя несколько утешило их после моей смерти: они, бедняжки, так много! так много меня любят, как я золото, которое почитаю, как второго самого себя, и хочу его вместо себя им оставить после смерти. Я уверен, что бедная моя жена и дети, конечно, мне будут благодарны, когда я умру, за все труды, понесенные мною

ПОЧТА
ДУХОВЪ,

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ,

или

Ученая, Нравственная, и Критическая переписка Арабскаго Философа *Маликульмулька* съ водяными, воздушными и подземными Духами.

ЧАСТЬ I.



Печатано съ дозволенія указнаго

ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ 1789 ГОДА.

не для себя, но для них, ибо я сам (сказал он, заплакав), конечно, должен буду со временем расстаться с моими денежками и оставить родных своих по себе наследниками».— «Посмотрим, — сказал Нептун, — так ли они благодарны, как ты думаешь». После сего ударил он своей острогою в стену и превратил ее в зеркало. «Смотри, — говорил он скупцу, — и утешайся, видя, для кого собрал ты свое сокровище и для кого подвергал столько раз жизнь свою опасности».

Едва скупец взглянул на зеркало, как увидел свою любезную супругу, сидящую очень дружески с молодым офицером, которому отдавала она мешок с золотыми деньгами. «О боже мой! — вскричал купец, — что я вижу? Так! это злодейка моя жена! не боясь ни бога, ни меня, отдает она потом и грехами нажитые мои деньги какому-то проклятому подлипале за то, что он осквернил мою честь... Неблагодарная! беззаконница! ты не щадишь своей непорочности, и, что всего законопреступнее, не щадишь и моих денег!.. Посмотрим, когда я приеду, посмотрим, чем-то ты можешь оправдаться? Ах! если б я слышал теперь твои проклятые разговоры!» Нептун ударил острогою по зеркалу, и в ту минуту услышали мы речи действующих лиц.

«Возьми, любезный Ветродум, — говорила благочестивая половина нашего гостя,—возьми сие в знак моей к тебе любви и будь уверен, что я все способы употреблю содержать тебя в лучшем состоянии, доколе не выдешь ты из-под опеки». — «Ах, сударыня!»—вскричал подлипала,—вся моя горячность мала в заплату за такую щедрость... Обожания достойная женщина! сколь я сожалею, что не могу вечно обладать тобою; но твой муж!.. увы!.. меня страшит предчувствие, что он скоро возвратится». — «Не опасайся, мой любезный! — говорила она, — муж мой такой жадный к богатству человек, что, конечно, дотоле будет гоняться за ним по морям, доколе не потонет, и я уже надеюсь, что небо, давно услыша мои теплые молитвы, сослало его на дно морское за то мучение, которое терпела я от его ревности и скупости... Ты не поверишь, душа моя! какой это скряга! Он всякую полушку ценит дороже своей жены: сколько ни притворялась я, что его люблю, но за все мои ласки получала от него одно только увещание, что роскошь противна богу... Чтоб лукавый его взял и с его нравоучением! Но, благодаря бога,

вот уже три года, как он, наскуча обманывать в торговле одних своих земляков, вздумал обманывать весь свет и поехал на корабле, в намерении плутовством своим перещеголять самых безбожных купцов в свете. Он оставил здесь два миллиона наличных денег, и хотя они запечатаны, но желание женщины трудно удержать печатью, и я смело сорвала ее на другой же день его отъезда».

«Прекрасно! —вскричал Ветродум, — я радуюсь, что и в вашем состоянии начинает искореняться природный страх к мужьям и что женщины всего света, наконец, утвердят приговор, чтоб жена была главою мужу, а не муж жене».— «Ах! — сказала добросовестная хозяйка, — дорого нам достается за это желание; что до моего чудака, то он твердо придерживается писания и ни на волос не хочет уступить мне власти; а особливо над сундуками; и если он узнает, что я без его ведома вздумала вступить в управление расходов, то, конечно, самым подлым образом со мною разделается; однако ж благодаря моей хитрости я уже давно выдумала способ его обмануть, который состоит в том, чтоб взвести на воров свои поступки... Так, душа моя! и я немного перед ним солгу: ты этот вор! ты похититель моего сердца!.. но я не могу иначе тебя наказать, как моими пламенными поцелуями!»

«О безбожница! — вскричал скупец, смотря в бешенстве на их ласки, которые зеркало показывало без всякой утайки и которыми можно бы было раздражить и самого холоднокровнейшего мужа... О варварка! вот какая благодарность за все мое попечение, чтобы оставить тебя по себе богатою вдовою!.. Веселись, веселись умножением моих наследников! Скоро приберусь я к тебе, и всякий сучок моих рогов на тебе вымещу... Почтенный ворожея! — сказал он, оборотясь к Нептуну: — пожалуй, покажи мне поскорее мою кладовую: я хочу видеть, сколько эта беззаконница грешна передо мною; пусть за прикованные мне рога отвечает она перед богом; но за мое любезное золото я сам с нею управлюсь». В ту ж минуту, по его желанию, зеркало представило его кладовую, наполненную сундуками и мешками. Он оцепенел, взглянув на нее, а мы увидели новое зрелище.

Два молодые повесы с растрепанными волосами разламывали сундуки и кидали в окно к третьему деньги. «О небо! вскричал старик: — это мои исчадия! это мои дети! — вот

как они мучат родителя своего! вот для кого собирал я свое богатство!» В минуту услышали мы их разговоры. «Поспешим, дорогой Разврат! опорожнить этот сундук, — говорил меньшой бо̀льшему, — пока наша матушка занимается своим гостем; иначе очень будет худо, если нас здесь застанут: она не преминет и свои, и наши похищения — все батюшке взвести на нас». — «Тьфу, к чорту! — вскричал другой брат, — неужели ты думаешь, что батюшка наш проживет Аредовы веки; я так, право, думаю, что уже он давно отправился на тот свет, и матушка только для того нам говорит, что он еще жив, чтобы пользоваться его деньгами, которые она начинает делить пополам с нами, и если рассудить, то мы все правы, не выключая и нашей любезной матушки. Скажи, пожалуй, можно ли кому-нибудь поступать суровее с своими домашними, как поступает наш батюшка? Видал ли кто, чтоб жене своей не давать ни полушки? не стало ли это подвергать честь ее опасности? Но что и еще страннее, видал ли кто, чтоб, детей записав в службу, не давать им денег на порядочное содержание и для приобретения покровителей и друзей? Не дивно, что до его отъезда не получали мы ни малого повышения в чинах; а без него вся наша служба приняла иной вид: наши столы и подарки поставили нас в список ревностнейших сынов отечества, и я ручаюсь, что если он еще помедлит несколько лет своим возвращением, то застанет нас в таких чинах, которые принесут честь всему нашему поколению, и он сам будет иметь удовольствие найти в своих сынках покровителей всем своим тяжбам, откупам и подрядам, которых у него всегда великое множество; а между тем, может быть, он и подлинно, волею или неволею, расстался с здешним светом; итак, поспешим выпередить матушку в очищении сундуков, чтоб после при разделе не остаться нам в накладе».

«О! я не думаю этого, — отвечал старший брат, — чтоб кто-нибудь из нас был в накладе, выключая только нашу сестру, которая одна не вмешивается в наши издержки и живет скромнее всех в нашей семье; а все это оттого, что воспитана вместе с старухами в невежестве. Бедная девушка! она страшится вечных мук за всякое излишне выговоренное слово и живет в своей комнате, как монахиня. Пусть ее скромничает! она когда-нибудь раскается в своем воздержании». — «О! окаянные, — вскри-

чал чадолюбивый отец, — они же еще и смеются над моею бедною дочерью, которая, как видно, одна только достойна назваться моим отродьем... Покажите, господин ворожея! покажите мне ее, чтоб я мог хотя на минуту ею полюбоваться и потом, в награждение за ее невинность, возвратясь домой, вырвать из рук беззаконников божий дар и ее одну сделать владетельницею всего моего имения».

В ту самую минуту увидели мы комнату, в которой сидела его дочь. «Так!—вскричал старик,—вот истинное отродье ее бабки, а моей покойницы матери!.. Я познаю ее добродетель по сей лампаде, горящей в углу пред образами!»—И подлинно, дочь его с скромным видом сидела за толстою книгою, которую почитав несколько, выслала она всех женщин из комнаты, под видом, что хочет спать, и лишь только женщины от нее вышли и она заперлась, как влез к ней в окошко тот же самый Ветродум, который недавно был у ее матери. «Что это! — вскричал скупец, — зачем этот повеса пришел к моему любезному дитяти? Не ограбить ли он ее хочет?»

Но Ветродум скоро доказал, что он из числа тех воров, которые грабят девушек с их позволения. «Ах! любезный Ветродум!—сказала скромная девушка,—к чему ты меня принуждаешь? Я не в силах покуситься на твои соблазнительные убеждения: бабушка моя всякий день мне говаривала, указывая на эти образа, что они увидят, если я хотя мало что сделаю дурное, а ты хочешь так меня остыдить». — «Ах, жестокая,— вскричал Ветродум: — так я вижу, что ты не веришь никаким уверениям о моей любви!.. Постой же! я в минуту тебе докажу, сколь я тобою страстен!» Сказав сие, выхватил он ножик и хотел зарезаться. «Ах! — вскричала невинница: — ах, Ветродум! ты хочешь меня и себя погубить... Постой!.. Дай хотя мне загасить лампаду, чтоб не сбылись бабушкины слова». После сего она встала и, подошед со скромным видом, загасила лампаду, и в комнате вдруг так стало темно, что мы ни зги рассмотреть не могли.

«Ну, мой друг!—сказал Нептун—еще ли ты думаешь, что твое богатство приносит тебе хорошие плоды?»—«Ах! милостивый государь! — вскричал скупец: — пустите, пустите меня вырвать его из недостойных их рук... Поставьте меня поскорее туда; я в минуту отберу от них все мои денежки и убегу с ними в пустыню; там выкопаю две ямы и в одной закопаю мое сокровище, а в другой подле закопаюсь сам».

ПИСЬМО XLVIII

Эмпедоклу от волшебника Маликульмулька

Из всех доказательств, предлагаемых древними мудрецами, ни одного нет яснее и правдоподобнее того, которое предложил один ученый муж, что *большая часть людей злобны и развращенны.*

Развратность нынешнего века людей, любезный Эмпедокл, столь приметна, что оная разве только быть может неизвестна в пустынях или в самых отдаленнейших скитах; но человек, живущий в свете, против воли своей познает их пороки. И самые те, которые, будучи удалены от их сообщества, не могут видеть их злобы, не престают ощущать ее действий, которые часто достигают и до самых уединеннейших кабинетов. Нравоучение, предлагаемое людям, не что иное есть, как поощрение к исполнению их должностей: какая была бы в нем нужда, ежели бы люди не были подвержены ежеминутному искушению нарушать правила чести и благопристойности? Вся история дел человеческих, от самого начала света, наполнена злодеяниями, изменами, похищениями, войнами и смертоубийствами.

Но нравоучительные правила должны состоять не в пышных и высокопарных выражениях, а чтоб в коротких словах изъяснена была самая истина. Люди часто впадают в пороки и заблуждения не оттого, чтоб не знали главнейших правил, по которым должны они располагать свои поступки, но оттого, что они их позабывают; а для сего-то и надлежало бы поставлять в число благотворителей рода человеческого того, кто главнейшие правила добродетельных поступок предлагает в коротких выражениях, дабы оные глубже впечатлевались в памяти.

Находящиеся в средине течения своей жизни, сколь ни кажутся удивленными, что в такое позднее время предостерегают их от пороков; но, по претерпении многих несчастий и по изнурении своего здоровья, сами они, наконец, признаются, что сия предосторожность была для них весьма нужна и что они могли бы избавиться от всех бедствий, ежели бы заранее следовали благоразумным советам, им предлагаемым. В нынешнем веке, любезный Эмпедокл, много есть таких людей, которые впадают в превеликие несчастия

или приходят в совершенное разорение, не зная или пренебрегая тем правилом, которое предложено мною в начале сего письма.

Не проходит почти ни одного дня, чтоб не встретился в нынешнем свете какой-нибудь молодой человек, гордящийся полученным им богатым наследством, который, будучи не испытан в светском обращении, гоняется за утехами и за чинами. Он вступает в свет, не быв никому подвластен и не познав еще ни обмана, ни злобы людей, с которыми имеет обхождение; он всех искренно любит, будучи уверен, что и ему тем же отвечают: каждое сделанное ему приветствие доставляет ему новое знакомство, в котором думает он найти совершенную дружбу.

Также от времени до времени являются многие красоты, которые, привыкши непрестанно слышать себе похвалы, думают, что сердце человеческое не может чувствовать никакой другой страсти, кроме любви. Они тотчас бывают окружены бесчисленным множеством обожателей, которым во всем верят, потому что они им говорят только то, что им приятно слушать. Если же кто посмотрит на них влюбленными глазами и произнесет несколько вздохов, тот уже покажется им пришедшим в совершенное отчаяние.

Итак, по справедливости, тот должен быть почтен полезнейшим наставником, кто сим новым Венерам, не имеющим нималого испытания в свете, часто будет твердить, что *большая часть людей злобны и развращенны*, и кто всегда им будет припоминать, что богатство и красота есть такая добыча, за которою ныне весь свет гоняется, и что между всеми теми, которые им льстят, может быть, нет ни одного, который бы не старался, их обманув и обольстя, у одних похитить честь, а у других все имение, которым обогатя себя, разделить его с другими подобными себе обманщиками.

Добродетель, представляемая здравому рассудку и основательному воображению, толикие имеет прелести, столь достойна уважения и подкрепляется столь сильными доводами, что каждый неиспытанный человек должен удивляться, как могут быть в свете бесчестные люди, и потому все те, коим неизвестно еще могущество страстей и корыстолюбия и кои никогда еще не испытали ни коварного обольщения, ни гнусных примеров поврежденных нравов, ни того, с какою легкостию люди обращаются от одного злодеяния к

другому, ниже того, сколь много способствуют к их развращению соблазнительные разговоры, обыкновенно думают находить искренность во всех сердцах и откровенность на всех языках.

Совсем невозможно, чтоб люди, состаревшиеся в свете, не жаловались на несправедливость, вероломство и обманы, которые они от других претерпели; но молодые люди обыкновенно таковые их жалобы почитают пустыми роптаниями, старым людям свойственными; и для того, невзирая на все делаемые им наставления, смело впадают, с ослепленною доверенностию, в обманчивые сети нынешнего развращенного света, не предвидя опасностей, в которые сами себя ввергают.

Легковерие есть обыкновенная погрешность неиспытанных молодых людей; а потому и нужно бы было почасту им твердить, что вступать в свет без всякой осторожности, в надежде найти в нем справедливость и чистосердечие, есть равно как бы пускаться в море без карты и без компаса, в надежде иметь всегда благоприятный ветер и найти у всякого берега, куда ни пристанешь, спокойную пристань.

Если захотеть исчислять все различные причины, побуждающие людей к несправедливости и злодеяниям, то должно прежде рассмотреть все желания, которые ими обладают и кои всегда одерживают верх над добродетелью. Есть множество людей, у коих золото управляет всеми поступками и кои ничего не делают иначе, как в надежде приобрести более, каким бы то способом ни было. Таковых сребролюбцев должно почесть из всех порочных людей гнуснейшими; ибо они, невзирая на то, что ими все гнушаются, не престают обогащать себя разорением других, похищая у них последнее имущество без всякого сожаления.

Другие, еще сих злобнее, провождают всю жизнь свою, делая вред другому; ибо они не могут спокойно взирать ни на чье благополучие и питают ненависть ко всем тем, кто их богатее и честнее.

Многие есть и такие, которые хотя не столько погружены в пороки, однако ж совсем неспособны иметь дружбу или какую-нибудь искренность с кем бы то ни было.

Итак, вот сколь великие предстоят опасности, любезный Эмпедокл, от сообщения с людьми нынешнего века, от коих не иначе можно избавиться, как соблюдая величайшую осто-

рожность; и тот, кто всегда будет помнить сказанное мною в начале сего письма спасительное правило, без сомнения, научится заранее не верить никаким блистательным наружностям, которые мечтательным своим блеском ослепляют глаза молодым неиспытанным людям; и не допустит себя до того, чтоб, наконец, собственным своим опытом познать все бедствия, каковые случаются с теми, кои, не знав сего правила, без всякой осторожности впадают в сети, расставляемые пред ними человеческою хитростию и коварством.

Конец второй части



ЖУРНАЛЬНАЯ ПРОЗА

НОЧИ

Час било заполночь... Природа уснула... Городской шум утих... и люди, кажется, перестали дурачиться или, по крайней мере, решились до утренней зари дурачиться тихомолком. А я, казалось мне, что я один не спал, и окружающее меня глубокое молчание подавало мне случай к размышлениям.

Сия темнота, — так начал я свое размышление, — кажется, нарочно для того есть в природе, чтобы унижать гордость человеческую и помрачать мнимые дарования и прелести, которые блистали во время прошедшего дня. Человек!.. Хочешь ли ты видеть себя, свою ничтожность? Дай зайти солнцу и человеку снять с себя посторонние украшения, которые не принадлежат ему и которые одно его детское честолюбие себе присвоило.

Где теперь тот пышный вельможа, который, за несколько перед сим часов, заставлял мир думать, что в руках его находится спасение всех восьми планет и с их спутниками; который сам делал вид, что от его только мановения зависит переставить созвездие Скорпиона на место созвездия Тельца, и с которым встречаясь подлые его льстецы с набожностию глотали пыль, воздымаемую позлащенными колесами его кареты... Где он?.. Его превосходительство, валяясь в пышных пуховиках, изволит заниматься хорошими сновидениями; между тем как секретарь его готовит ему к завтраму

политические рассуждения, которые, конечно, выдаст он за свои; ибо сей господин уже привык думать секретарскою головою, которая есть его душа, а вельможа сей — ее тело; итак, он основательно может сказать во извинение беспрерывного своего сна: дух бодр, но плоть немощна, то есть: секретарь рожден обдумывать, а я подписывать спросонья его мысли.

Где та обольщающая красавица, за которою гонялись стада волокит; которой розовые уста приманивали к себе тысячи поцелуев, а нежная грудь вливала томные желания в юные сердца и даже самых грубых философов заставляла желать рождения нового Праксителя и Фидия; которой томные глаза всяким взором означали, что сердце тает в ней от удовольствия; коея тонкий, легкий стан и прекрасная ножка заставляли стихотворцев думать, что или Венера будет иметь скоро четыре грации, или одна из них лишится своего места, дабы уступить его сей красавице... Где она?.. Она спит, и все ее прелести раскладены на уборном столике: прекрасные зубы ее лежат в порядке близ зеркала; голова ее так чиста, как репа, а волосы, которым удивлялись, висят, осторожно накинутые на зеркало; нежный румянец ее и пленяющая белизна стоят приготовленные к утру в баночках; между тем как она походит на брошенную в постель мумию. Грудь ее присохла к костям, а подставная покоится в сохранности вместе с корсетом. Где же все прелести, которые заставляли о ней кричать? Где те приятности, те достоинства? Магниты, привлекающие к ней сердца молодых воздыхателей?.. О! они и теперь налицо раскладены в кошельках и в записных книгах на ее уборном столике.

Не подумай, однако ж, любезный читатель, что госпожа эта скудна разумом. Если бы и случилось кому покрасть ее прелести, то осталось у ней еще одно очарование, против которого никакое нынешнего света сердце не устоит: красноречие — вот ее сильнейшее оружие; она превосходит им сочинителя *Новой Элоизы*. Письма к ее любовникам очень убедительны; хотя, правда, все они на один образец; ибо начинаются так: «Объявителю сего платит Государственный заемный банк и проч.». Воскресни, Руссо! подобно Магометову отцу, на один только час, и увидь свою победительницу, а если ты столь отважен, что вздумаешь спорить с нею в преимуществе красноречия, то выставим на одну доску письма

твоей Элоизы и моей; и я ручаюсь, что последние станут торжествовать и что за них ухватятся все, не выключая академиков и самого тебя.

Где тот щеголеватый господчик, обвешенный золотыми цепочками, унизанный бриллиантовыми перстнями, который, целый день катаясь по городу в щегольской карете, кажется, имел усердное желание всех пешеходцев душить пылью и старался поспеть вдруг в тридцать мест, не быв нигде надобен. Еще не прошло пяти часов, как в кружку щеголих божился он, что изрубил всю Турецию, с великим жаром уверял, что он с такою же проворностью перерубливает людей, как тростник, и сожалел, для чего не заведут у нас войны со слонами, где бы мог он пощеголять своею саблею; без устали исчитывал он свои победы и тысячами поминал своих убитых. Надобно отдать справедливость сему молодому храбрецу, что он самую отважную ложь занюхивал иногда табаком, но не краснел никогда. Где же он?.. Где резвый язык его, которым мог он переговорить, если дозволят употребить такое смелое и сумнительное сравнение, самую проворную говорунью, и где блистающая его пышность? Он спит в мягких пуховиках; подле его лежит аттестат, данный ему его дядюшкою о храбрости его, оказанной такого-то числа, а подле аттестата развернута записная его книжка, в которой видно ясно, как день, что того числа за сто верст от сражения находился он для любовного приключения, ибо молодой этот человек любит порядок и ведет всем своим делам верную записку. Читатель, вспомни, что он был днем, сравни язык его с его постелью, и ты увидишь, что он лжет, как храбрый человек, а нежится, как женщина. Где же его богатство, которое, как сказывают, нажил он насчет побежденных им неприятелей? О, что до этого, то к утру же портной, сапожник и другие ремесленники сбираются засвидетельствовать в магистрате, с какою неустрашимостью подписывал он векселя, которых ни в двести лет оплатить не будет в состоянии, а наемный кучер его с щегольской каретою и лошадьми, коими пускал он городу пыль в глаза, этот удалой кучер, говорю я, дожидаясь с нетерпением утра, хочет оказать ему последнюю услугу и отвезти его в магистратскую тюрьму.

О благотворная ночь! — продолжал я свои восклицания, — чем не обязан тебе человек, который умеет

тобою пользоваться? Ты, прохлаждая его природу, успокоиваешь и возрождаешь ее; ты, обнажая смертного, которого гордость принуждает почитать себя превыше человеков, напоминаешь ему, что и он такое же слабое творение, каковых миллионы, им презираемы, и что он отличен от других людей единою своею гордостию. Ты каждым своим пришествием к нам напоминаешь нам вечность, быв сама изображение оной; подобно как сон, приносимый тобою, есть изображение смерти. Так, всякое возвращение твое к смертным есть наставление им, и от них только зависит оным пользоваться.

Гордый городской житель! если тебе случится быть ночью на великолепнейшей площади, окинь взором вокруг себя; сравни, если ты можешь, между собою пышные здания твоих сограждан, и покажи мне, когда смеешь, различие между убогим шалашом и огромными чертогами гордости.

Где пышные те здания, за несколько перед сим часов удивлявшие мимохожих и наружностию коих гордилось целое государство?.. Наступила ночь — и сравняла их с шалашами убогих. Смертный! вот изображение твоих дел; вот изображение того, каким образом вечность сравнивает честолюбивые твои подвиги с ничтожеством! Обратимся к прошедшим векам, и мы увидим, что вечная ночь сравнила гордые и пышные монархии с убогими их соседствами так, как ночь сравнивает великолепные здания с низкими хижинами. Едва помнят места, где стояли великолепные города; подобно как, проходя ночью городом, с трудом можно означить место, где есть богатое здание.

Что же есть достойного человека? Что может он произвести неподверженное разрушению веков? Его слово, его мысли — вот одно творение, дающее цену человеку и избавляющее его от совершенного разрушения; вот одно произведение, которое борется с веками, преоборает их ядовитость, торжествует над ними и всегда пребывает столь же ново и сильно, как и в ту минуту, когда рождено оное человеком. Сильнейшие монархии пали, исчезли с ними полки мнимых героев, идолов народа; все разрушается: владения и племена исчезают; на что ни обратим взоры, все скорыми шагами течет к своему ничтожеству; но Орфей и Гомер цветут, и глас их столь же пленяющ и чувствителен, как и в ту минуту, когда он ими произносился. Сколь превосходна и отмен-

на живая слава их от мертвой славы мнимых героев: последний умирает для всего света; и двух веков довольно, дабы изгладить следы его пребывания и смешать их с баснею; но первый по смерти живет, и слово его, подобно бессмертному духу, имеет дар, не разделяясь, во многих местах пребывать в одно время. Единый мудрец, торжествуя над смертию, похищает право говорить с позднейшим своим потомством.

Тебе, о нощь! бывает часто должен он произведением своих мыслей; и когда одеешь ты небеса мрачным покровом и усыпишь природу, он тогда вверяет тебе размышления свои. Не видя вокруг себя ничего, кроме рассеянного мрака, приводящего слабоумному сон, а мудрецу размышления, делает он суд над человечеством: кажется, что он один остался тогда во вселенной и что гордость и насильствие не дерзают налагать оковы на его мысли, которые только тогда нравоучительны без подозрения, когда следуют они своему собственному стремлению, не управляемые ни страхом, ни пресмыкающеюся лестию; иначе нравоучитель есть скопец, проповедующий девство, коего скованные насильством чувства не подражание, но посмеяние себе производят.

Но когда ты, мрачная спутница размышлений — ночь, бываешь свидетельницею, что не корыстолюбие и лесть заставляют его рождать славу героев, но добродетель и премудрость их, тогда нравоучение его, извлекаемое из великих дел их, чисто и свободно; тогда возбуждает он сердца удивляться себе и подражать добродетели воспетых им героев; тогда...

Вдруг отворилось окно в моей комнате, и женщина, лет под сотню, сидевшая на серебряной рогатой луне, спустилась по воздуху ко мне в комнату. Я тотчас узнал, что это ночь, для того что раза три видел ее на театре в *Амфитрионе*, комедии Мольера, где она точно так же спускается; с тою притом разницею, что там ее с небес спускают на веревках, которые часто видны, и заставляют нередко меня трепетать, чтоб госпожа богиня не раскроила себе череп и не убилась бы до смерти. Что до той ночи, которая посетила меня, то машинист ее, кажется, был исправнее театрального.

Я лежал в постеле; и как я не привык принимать столь знатных гостей в таком беспорядочном положении, то посещение сей госпожи очень меня встревожило.

«Конечно, милостивая государыня, — сказал я ей в страхе, — какой-нибудь новый Юпитер просил вас, чтобы продолжить здесь ваше присутствие для его забав, и вы, может быть, ищете Меркурия, чтобы через него отрапортовать богу громов, что время ему убираться на Олимп, если не хочет он, чтобы какой-нибудь Амфитрион переломал ему руки и ноги и подвергнул бы его опасности пролежать месяца три в публичной больнице». — «Нет, — отвечала она мне,— для нынешних Алькмен не нужны такие чудеса; надобно отдать справедливость, что и Амфитрионы ныне гораздо сговорчивее против старых веков, ибо Юпитер для них прибегает чаще к помощи Плутуса, нежели ко мне.

Итак, ты видишь, что я к тебе совсем не для того пришла, но мне есть надобность другого рода, которую хочу я на тебя возложить. Выслушай меня.

Недавно Момус давал богам вечеринку, и хотя я редко бываю в больших собраниях, но случилось так, что на этой пирушке сошлась я с Фебом. Мы разговаривали с ним очень долго о нашем жребии и должностях. Разговор зашел и о людях, около которых мы столь давно с ним вертимся. Между тем приметь, что полные чаши с вином без устатку обносились около гостей. «Признаться надобно, любезная Ночь,— сказал он, допивая двенадцатую бутылку нектару, — твоя должность мне жалка, и я дивлюсь, для чего не просишься ты у богов в отставку; а особливо в твои почтенные лета совсем неприлично таскаться по свету только для того, чтобы видеть сонные или зевающие народы». — «Милостивый государь, — отвечала я ему очень учтиво, — я нимало не думаю пенять на свою судьбу и очень довольна своим состоянием; а потому-то и ваше сожаление очень не у места. Правда, мои лета не детские, но я не много старее Венеры, и все это не доказывает, чтобы я была бесполезна; да если бы и в самом деле во мне пользы никакой не было, то моя порода одна дает мне право иметь олтари и собирать жертвы. Мало ли у нас есть богов-тунеядцев, которые не заслуживают ни фунта телятины, а пользуются такими жертвами, что могут жить богатее всякого, между тем как они делают народу более зла, нежели добра. Наш хозяин сам хотя не иное что, как шут на Олимпе, но он за свое ремесло получает более доходу, нежели все академии вместе. Скажи мне: какую пользу приносит Бахус? Весь Олимп думает, что

ЗРИТЕЛЬ

ежемѣсячное изданіе

1792 года.

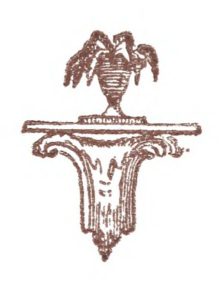
ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ, 1792 го..
въ типографіи Г. Крылова съ товарыщи.

С: ПЕТЕРБУРГСКІЙ

МЕРКУРІЙ,

ежемѣсячное изданіе
1793 года.

Часть Первая.



ВЪ САНКТПЕТЕРБУРГѢ,
Ѣ типографіи И. Крылова съ товарищи,
1793 года.

он не тратит время, которое проходит только в том, что он или пьет, или сочиняет негодные песенки, бывши столь же дурной писатель, как и политик, хотя то и другое ремесло почитает он рожденным для его головы: он один выдумал способ с зевоты собирать доход; и я думаю, что ему даром не пройдет, когда Морфей узнает, что пьяный Бахус своими песенками перебивает у него должность и усыпляет слушателей без его ведома.

Посмотрим теперь на Меркурия, достоин ли он таких больших доходов и такого прекрасного дома, который выстроил он на счет своих плутней. Ему поручены купцы, а он сам зачал входить в подряды: вспомни, давно ли Юпитер изломал об него всю кадуцею за то, что он зачал с подрядчиков сбирать взятки. Из всех его званий наблюдает он с лучшею исправностию звание бога воров; и можно отдать справедливость, что он у них первый по своему достоинству. Итак, видишь ли ты, господин Феб, что немного найдется богов, которые бы получали жертвы по справедливости.

Музы твои очень умные девушки, но и они померли бы с голоду, если бы Каллиопа не поддерживала их, взяв на подряд лучшие города, куда ставит она оды на именины и на похороны: да и этот торг начинает у нее плохо клеиться, для того что примечают в ее творениях все старое; а человеческое самолюбие ни к чему так не жадно, как к новым похвалам. Мельпомена твоя как ни жалко плачет, но во всю нынешнюю зиму она на башмаки себе не выплакала, и от ее трагедий плачут одни типографщики. Твоя Талия, правда, смешит народ и за это собирает изрядный доходишко; но желание добывать деньги заставляет ее доходить до подлости, и она час от часу более отваживает от себя честных людей, и вместо того, чтобы быть полезным и веселым учителем нравов, старается своими шутками понравиться пьяному народу, с которого, не думаю, однако ж, чтоб собрала она себе на порядочное пропитание. Что до других твоих муз, то есть надежда, что они скоро превратят Парнас в богадельню, а слух уже носится, что Клио твоя без памяти и без языка.

Итак, ты видишь, сколько найдется богов, которые пользуются доходами по своему достоинству. Что до моей должности, господин Феб, то я не знаю, почему бы она казалась достойною сожаления...»

«О, о! — сказал Марс, вслушавшись в наш разговор и вынимая табакеру, — твоя должность не только не унизительна, как говорит Феб, напротив, она презавидна: сколько раз доставляла ты мужьям украшение, которого нет способов прицепить им в присутствии этого светлого подзорщика; сколько раз, очень кстати, наносила ты сон строгим матерям, тогда как прелестные их дочки употребляли в пользу света свою бессонницу; сколько раз унижала ты гордость несправедливых судей, пособляя обкрадывать их Меркуриевым чадам, тогда как первые думали, что они одни красть имеют преимущество...»

«Какие мелочи, — вскричал Феб, — против моих подвигов! я освещаю знатнейшие дела природы и человеков и даю им настоящую цену; в моем присутствии освещаются славнейшие сражения; с моею помощию созидаются пышные здания; я бываю свидетелем великолепнейших обрядов: словом, для меня всякий день целый свет играет комедию, над которою — ты, Ночь, только что опускаешь занавес...»

«Пустое! — сказал, подошед, Бахус, и дотягивая двадцать четвертую бутылку шампанского, — пустое, господин Феб! Правда, что при тебе свет играет комедию, но развязка ее бывает ночью. Самых лучших явлений редко случалось мне при тебе видать: ты освещаешь пышность, гордость; твои лучи питают самолюбие красавицы, щеголя и надменного вельможи; но сердце более чувствует и голова более рассуждает ночью... Спроси у самих людей, и тебе признаются, что они более ищут счастливых ночей, нежели счастливых дней».

«Надобно отдать справедливость Ночи, — сказала с презрительною улыбкою Юнона, — что она очень полезная богиня для неверных мужей и для непостоянных жен...»

Тут Юпитер засвистал песенку из новой оперы, а Венера, улыбаясь, поглядывала на Марса.

«Что до меня, — вскричал Геркулес, — то я бы желал, чтобы Ночи лучше на свете не было: она только служит помехою славнейшим делам и помогает трусам укрываться от своих неприятелей. Сколько раз бывал я свидетелем, что эта богиня разводила величайшие брани в самом их жару, и когда толпы великих душ сходились из-за нескольких тысяч стадий, чтобы иметь сладкое удовольствие или зарезать, или быть зарезанными; когда неустрашимые умы, обожая славу, не имели предрассуждения бить неприятелей

своего отечества; но, почитая целый свет своим отечеством, дрались везде, где только есть случай перевести род человеческий, и со славою вмешивались во все ссоры, где их не спрашивают; когда целые народы...»

«Короче молвить, что вы хотите сказать? —спрашивал я у моей разговорившейся без устатку старушки. — И сверх того, — продолжал я, — чем касается до меня спор ваших богов? Неужели вы думаете, что я земский вашего Олимпа и должен решить все ваши раздоры, которые никогда не кончатся? А если вы из одного пристрастия говорить пересказываете мне все ваши приключения, то признаюсь, что мне теперь не время вас слушать. Мы с приятелем подрядились поставить к завтраму оду, и на мою часть досталось сделать пятьдесят две строфы похвал; и хотя надежда, что мне заплатят наличными, придает крылья моему воображению, и я списал из разных од три строфы; но все еще остается выписать сорок девять, а я еще и писателей не выбрал, с которых бы можно было собрать такой большой оброк». Ты видишь, любезный читатель, что я хотел только отделаться от этой гостьи, которая мешала моему уединению, и для того ничего не выдумал вероятнее этой лжи.

«Безумный смертный! — вскричала богиня. — Если бы ты не был мне нужен, то бы научила я тебя знать, каково помешать женщине; но помни мои наставления: женский язык останавливать и строить плотину во время разлития реки — это две вещи, которые более опасны, нежели возможны. Не думай, однако ж, чтоб повесть моя о Момусовой вечеринке не касалась до тебя: она есть первая причина, которой одолжен ты моим посещением. Но я хочу ее тебе досказать.

Едва Юнона и Геркулес пристали к Фебовой стороне и поддерживали его первенство передо мною, то передались на его сторону множество и других богов. Первая была Церера, которая зла на меня за то, что многие поселяне, оставляя ее нивы, стали, под покровительством моим, собирать с проезжих оброк, а потом переселялись совсем в города и там, воруя сперва в присутствии моем, наконец, под названием откупщиков и подрядчиков, стали безопасно уже воровать и днем, не помышляя ни о серпе, ни о жниве. Потом передалась Минерва, которая подозревает, будто я служу немалою подпорою сутолпищ игроков, которые, гоняясь за

счастием без кафтанов, умеют столь блестящим сделать свое состояние, что множество молодых фабрикантов и художников, оставя ее фабрики, взялись за легкий способ перекрадывать друг у друга деньги посредством карт и этим упражнением подрывают ее лучшие рукоделия и, разоряя себя, становятся своею праздностию в тягость целому обществу. Потом следовали и другие боги; так что, наконец, не знали, кому из нас с Фебом дать преимущество!

Тогда хозяин наш, Момус, встал и, поклонясь очень учтиво собранию богов, подал свое мнение.

«Милостивые государи, — зачал он, — я имею счастие быть богом дурачества; и мне шар земной принадлежит более, нежели всякому другому богу: Венера имеет свое время, Марс свое; но человек родится и умирает моим рабом; и надобно отдать справедливость, что я люблю заниматься этими размышляющими куколками, которые в том только почти и упражняются, чтоб ставить трофеи моему величию. Но, несмотря на то, что я не отступаю от людей ни на минуту, и доныне еще не знаю, когда люди усерднее мне служат днем или ночью; и потому-то не решусь, кого мне из вас предпочесть. Но послушайте моего мнения, как решить ваш спор: согласитесь, ты, Феб, и ты, госпожа Ночь, вести записку людских дел всякий по своей части, хотя один год; и когда окажется, что при ком-нибудь из вас люди менее дурачатся, тот пусть останется виноватым; а победителю я обещаю венок из ослиных ушей, вылитых из чистого золота. Не подумайте, чтоб этот подарок был маловажен: с обладанием золотых ослиных ушей совокуплено удачное волокитство, счастие в искании милости и способ казаться разумным, не имея ни на полушку разума».

Все боги одобрили мнение Момуса; а как я не хотела прекословить хозяину, то и согласилась на его предложение; имея в самой мысли намерение таким подарком подрадеть Фебу, решилась я вести записку ночных приключений. Признаюсь: хочется мне его видеть с таким же прекрасным убором, какой некогда подрадел он Мидасу; и намерение мое только все в том, чтобы он выиграл в этой тяжбе.

Несколько раз проходя мимо здешних мест, видела я часто, что у тебя горит свеча, и заключила, что или ты мучим сочинителями, или сам сбираешься мучить публику; и действительно, заметила я, что ты пишешь, а мне такой-то че-

ловек и нужен, который бы имел великий дух одним присестом исчерчивать дести по две бумаги, не имея малодушия страшиться ругательств и зевоты неугомонных читателей.

С сей ночи должен ты выходить в десятом часу, возвращаться домой в пятом по полуночи и записывать все то, что во время твоего выхода увидишь и услышишь; или бойся моего мщения: я женщина, и ты можешь быть уверен, что искусство отмщать мне небезызвестно. Слушай же, выбирай любое: если согласишься исполнить мое приказание, то я отдаю тебе во владение звезду Сириус; и хотя будешь ты от нее удален на миллионы земных поперечников, но я уверяю тебя, что жители ее, а твои подданные будут почитать и признавать тебя своим владетелем...» — «Как! — вскричал я с восхищением, — так я сам там буду?..» — «Нет, — отвечала моя гостья, — тебя там не будет, но я пошлю туда твою перчатку, которая будет так же свято почитаться, как ты сам, и все важные дела знатнейшие вельможи будут подписывать, надев ее на руку. Словом, ни одного дела не сделается, которое не было бы от твоего имени».

«Я вижу, милостивая государыня, — сказал я, — что вы хорошего мнения о нашем писательском ремесле, и думаете, что произведения нашего воображения можно так же и отплачивать наградою по воображению. Но, признаюсь, я не столько прельщен мечтательным миром, чтоб пленяться обладанием Сириуса, и чтоб, между тем как моя перчатка будет делать там великие дела, самому бы мне нравилось умирать здесь с голоду. И если всем моим товарищам писателям раздадут такие знатные королевствы на воздухе, то, для содержания наших величеств, должно будет со временем выстроить пространную богадельню».

«Дерзкий человек! — вскричала богиня, — не смей смеяться над дарами богов, и моли лучше их, чтоб жители Сириуса обожали твое имя (при сем взяла она мою перчатку) и чтоб вельможи как можно реже надевали эту перчатку для своей корысти и ко злоупотреблению. Если же ты заупрямишься вести записку ночных приключений нынешнего года, то, вместо звезды Сириуса, дам я тебе злую жену, которая у тебя в доме так же будет сильна, как твоя перчатка в Сириусе, и которая...»

«Не продолжайте! — вскричал я, — исполню вашу волю и всеми силами постараюсь заслужить награждение, кото-

рое приятно мне только тем, что избавляет меня от такого страшного наказания. Но как великому обладателю Сириуса надобно что-нибудь есть и как он от своих подданных, смотря по качеству вельмож, которые будут пользоваться его перчаткою, кроме усердных похвал, ничего не получит, а моральная пища очень худо варится в физическом желудке, то позвольте мне хотя открыть обществу ночные мои приключения и возвратить ему за наличные деньги то, что от него займу я украдкою».

«Печатай все, что увидишь, — отвечала она, — но берегись личности. Если, например, увидишь ты парнасского нищего, который, схватя вместо ножа свою оду, нападает с нею на первого денежного мимохожего и пересчитывает наугад достоинство того, кто едва по имени только ему известен; если увидишь ты, что он потеет над продажными похвалами и хочет переупрямить целый свет, навязываясь ему на шею со своими одами, в которых, наперекор здравому рассудку и истине, отводит он непременные квартеры добродетелям там, куда они заглянуть боятся, и ставит престол разуму в такой голове, в которой свищет сквозной ветер, то запиши это и скажи свое мнение; но не называй имени продажного писаки, а оставь для него на несколько букв порожнего места; и когда твой герой усовестится лгать, то пусть, при первом покаянии, подпишет под твоим описанием свое имя, с обещанием не гнуть вперед в дугу природу, рассудок и истину.

Когда увидишь ты, что нежная красавица делает счастие милого себе человека и вступает с ним в супружество, не осмеливаясь подозревать, чтоб любовь его к ней исчезла, и когда узнаешь, что новобрачный сей философ, за прежнее свое щегольское поведение, осужден судьбою играть у молодой и прекрасной жены своей мучительское для него лицо Тантала, тогда воздохни о нем, пожалей о подобных ему молодых людях, которые женятся только для того, чтобы вводить во искушение непостоянства самых скромных красавиц. Но не называй его по имени, и пусть, позабывшись, первый он улыбнется, читая описание себя, между тем как прекрасная жена его вздохнет украдкою о том, что ее замужество построило ей замки на воздухе и что она от своих подруг почитается обладательницею такого блаженства, которого сладость известна ей по одному воображению. Вот мои

правила: пиши так, чтобы всякий улыбался, читая твои описания, иные бы краснели; но чтобы на тебя не сердился никто».

«Милостивая государыня, — отвечал я, — сатира есть камень, которым бросают в кучу безумных: а вы знаете, что, бросся камень в многолюдную толпу дураков, нельзя остеречься, чтоб в кого не попасть; итак, если кто осердится...»

«Если кто осердится, то ты виноват; должно, чтобы никто не сердился, и сие-то есть искусство сатиры. Взгляни, например, на Антирихардсона: он в своем романе сердится на весь свет, а на него никто; он, вместо досады, возбуждает приятную зевоту... и самый щекотливый читатель заснет прежде, нежели успеет на него рассердиться. Посмотри на мнимого нашего Детуша: он с театра сильною рукою нападает на зрителей; но как в его комедиях нет ни одного человеческого подобия, то ни один слушатель не принимает его сатиры на свой счет; и когда автор бранит Петербург, то часто думают, что он ссорится с Пекином. Природа дала ему ключ, как ладить с публикой; дело все в том, что его никто не понимает; а кого не понимаешь, на того грех и сердиться.

Возьми в пример Баснобредова: он пишет целый век, бранит всех; но его никто не читает, сколько ни делал он объявлений о своих новостях; сколько ни печатал он своих сочинений, но никто не оскорбился его сатирою; ибо он успел первым своим сочинением столь обеспечить публику, что она никогда уже не любопытствует видеть и читать его новостей; итак, он может смело разругать весь свет, прежде нежели какая-нибудь живая душа о том догадается. Я помню, что он написал некогда презабавную и пренасмешливую комедию; признаюсь, я ожидала, что он не минует с кем-нибудь ссоры; но дело кончилось самым лучшим образом. Книгопродавец продал его комедию в овощной ряд с весу; все издание в короткое время расхватили по листам. Автор удовольствовал свой сатирический дух и при всем том в мыслях общества остался скромным писателем; хотя стоит только заглянуть в корзинку у первого разносчика, чтоб видеть, как ядовита его сатира.

Пользуйся такими хорошими примерами: брани, если уже то необходимо для твоей желчи; но брани так, чтобы тебя никто не читал; и ты будешь в великом согласии с публикою. Прости, помни слова мои... и в сию минуту начни твою должность... два часа заполночь: будь только приле-

жен, и ты не потеряешь время». И в ту минуту она исчезла, а я, зевнувши раза два, три, встал с постели, ворча сквозь зубы, оделся на скорую руку, накинул на себя епанчу и пошел слоняться по улицам, дабы записывать истину, которая всегда доставляет главный доход ругательствами.

Вот, любезный читатель, в чем хочу я сделать тебе доверенность. Днем ты можешь спокойно сам замечать, что тебе встретится, а что сделается ночью, о том я тебе буду тихомолком сказывать, и после мы посмотрим: Ночи или Фебу принадлежит завидный на Олимпе венок из золотых ослиных ушей.

Ночь I

Едва прошел я несколько шагов, как приметил карету и близ нее двух молодых человек, которые вынимали из нее веревочную лестницу. С великою осторожностию подошли они к одному богатому дому, кашлянули раза три, и с верхнего жилья спустилась к ним тоненькая веревочка, к которой прикрепили они свою лестницу... и оную в минуту зачали встягивать наверх... Как я начитался довольно таких любовных новостей в романах, то и не почел это происшествие достойным примечания; а, пожелав приятного сна мужьям и матерям, продолжал путь свой далее... и, миновав карету, пробирался подле стенки; как вдруг услышал у ворот того дома двух женщин, очень тихо разговаривающих. «Ах, мадам Плутанвиль, — говорила одна другой, — они уже привязывают лестницу... мы едва не опоздали; хорошо мы вздумали, что оставили вверху Плутану, а то бы некому и лестницы было принять... Но признаюсь вам, что я робею от этого приключения, когда воображаю, что мне надобно будет слезать в теперешнюю темноту к моему любезному Ветрогону с такой вышины, то сердце у меня замирает».

«Вот странная прихоть! — сказал я сам себе: — всходить в третье жилье и лезть оттоль по веревочной лестнице к своему любовнику, тогда как она сама стоит от его кареты в десяти шагах. Надобно думать, что эта девушка жалует околичности... но удовольствую свое любопытство и рассмотрю, что значит это странное происшествие...»

В сих мыслях возвратился я к карете, надеясь выведать что-нибудь от кучера, который один там остался. Едва услы-

шал он близ себя шорох, происходящий от меня, как вступил со мною в разговор. «Иван! не ко мне ли ты?» — спрашивал он меня. «К тебе», — отвечал я. «Что делает барин?» — «Барин еще должен дрогнуть с час на морозе: лестница коротка, и он приказал тебе бежать домой, принести другую веревочную лестницу и несколько веревок, чем бы можно было привязать ее к первой, а мне велел посмотреть за каретой». — «Чорт возьми все любовные приключения!— ворчал кучер, слезая с козел.— Этого мало, что я с час дрог для негодной француженки, которую бы променял я теперь за полный стакан вина; надобно еще, чтобы я околесил версты три!..» — «Ты прав, — отвечал я, — но как же быть: надобно делать, что велят; а чтобы тебе не так скучно было, то вот, возьми этот рубль: ты можешь за него на дороге отогреться; мы еще успеем». — «О! когда так, — сказал с радостию кучер, — то с таким хорошим товарищем готов я обегать весь Петербург, лишь бы было мне чем во всяком кабаке учредить станцию». После того бросился он от меня, и в пяти шагах не было уже его видно за темнотою.

«Начало прекрасно! — рассуждал я сам в себе. — Одного уже нет; и если успею я так же проворно отправить и последних, то не мудрено мне будет дать случай сбыться пословице: «орлы дерутся, а молодцам перья». Может быть, еще удастся мне сделать доброе дело и спасти честь этой девушки, зашедшей, что легко станется, невинно в сети, расставленные ей плутовством француженки и богатством господчика, который, с помощию набитого кошелька, как Язон с помощию Медеи, похищает это новое руно». — «Опомнись, — вещал мне рассудок, — с каким намерением вышел ты из дому? Ты хочешь нападать на порок; а едва отошел пять шагов, как сам делаешь шалости». — «Кричи, что хочешь, господин рассудок, — отвечало сердце, — а у меня есть своя маленькая философия, которая, право, не уступит твоей. Твой барометр измеряет сухая математика; но мой барометр не менее справедлив в своих переменах...» — «Прекрасно, любезное сердце, прекрасно! и если твоя философия не столь глубока, то по крайней мере она заманчива и приятна... и я отныне с пользою буду наблюдать, когда опускается и поднимается твой барометр...»

«Что это за чудный барометр?» — спросишь ты, любезная читательница. — Это, сударыня... но ты краснеешь... неж-

ная грудь твоя трепещет и напрасно старается удержать томный вздох... Ах! если б не было тут твоей бабушки или тетушки, то бы, потупя глаза и со скромною стыдливостию, давно бы сказала ты, что это... любовь... — «Любовь!.. к незнакомой женщине, которую никогда не видывал ты в глаза?..» — О! если вы не верите, сударыня, то загляните только в романы: вы найдете там тьму страстных любовников, которые не видывали в глаза друг друга; загляните в элегии: вы найдете, что поэты прежалко воспевают любовь свою к красавицам, которых случалось им видать разве во сне, и пишут престрастные письма к несравненным прелестям, которые родятся в их чернильницах и умирают в книжной лавке на полках. Итак, вы видите, что ничего нет легче, как влюбиться в совершенства такой особы, которой на свете не было. Что до меня, то один голос моей незнакомки разлил по моим жилам электрический огонь; а воображение приятности ночного приключения довершило дурачество мое сделаться героем такого романа, в котором должен бы я был играть эпизодическое лицо мужа. Правда, совесть меня упрекнула, что я срываю с вилки у ближнего кусок, совсем мне не принадлежащий; но кто в сем свете работает на себя?

Крестьянин потеет и трудится целые годы, чтобы выплатить колесо богатой кареты или пуговицу с кафтана своего господина Промотова, которых он никогда не увидит. Судья высасывает у челобитчика набитый кошелек для того, чтобы жена его нарядила в обновку капитана Хватова, молодого его соседа. Неустрашимый офицер Храброн дерется для того, чтобы щеголеватого его товарища, Юлу, племянника его сиятельства Дурындина, назвали храбрецом. Толстый Безмозгов платит богато прекрасной своей Неотказе, не воображая, что его щедростию пользуются человека четыре молодых подлипал, не включая в то число Неотказина волосочёса, кучера и егеря. — Вот сколько примеров собралось у меня тогда на оправдание моего поступка; итак, для чего же мне не пользоваться тем блюдом, которое не для меня готовится?.. На свете сем все, как повара, суетятся и готовят кушанье для других; между тем как сами хватают с таких блюд, которые нечаянно попадаются к ним под нос. В таких-то размышлениях подкрадывался я к ночному похитителю. Ударило час, и я услышал у него со слугою следующий разговор:

Иван. Еще час бьет, сударь, и нам, по условию, остается ждать битых полчаса...

Барин. Ах, если б ты знал, Иван, как мне время длинно кажется!..

Иван. Верно, не так, как мне, сударь... признаюсь, я очень неохотно вдаюсь в такое приключение, от которого, кроме худа, ничего нам ждать нельзя.

Барин. Если избегать худа, то ни в одно приключение нельзя вдаваться. Что до меня, то я всегда на мои предприятия смотрю с одной доброй стороны. Теперь, например, я одним тем занят, как моя милая Жанета пылка, влюблена, прелестна, невинна...

Иван. О красоте я ни слова, сударь: в любви, как в кушанье: иной любит кислое, иной соленое, и трудно уверить, что лучше. Но что до невинности, то я соглашусь скорее искать смыслу в Антирихардсоновых романах и остроты в комедиях Мнимого Детуша, нежели искать невинности во французской лавке... где...

Барин. О! да ты еще и в учености вмешиваешься... Но послушай, у меня страшная охота бить разумных людей; итак, не советую тебе никогда при мне вплетаться в рассуждения, для того, что это совсем не ваше дело.

Иван. Почему ж, сударь?

Барин. Почему... почему?.. У меня есть на это хотя тонкие, но гибкие доказательства...

Иван. А! а! понимаю: вы говорите про палки... и признаюсь, что убедительнее Руссо доказываете мне вредность наук... Оставимте же этот разговор: я не охотник до ученых споров... и станем лучше говорить о том, что к нам ближе. Скажите, например, к чему вам вздумалось вести любовь свою такими околичностями и обижать честную мадам Плутанвиль, похищая у ней украдкою такой товар, которым эти честные мадамы расторговываются более, нежели модными шляпками?

Барин. Какое дурацкое сравнение! неужли ты думаешь, что и моя прелестная Жанета так же, как и ее подруги, француженки, не отличает своих прелестей от продажных лент и булавок?.. Грубо ошибаешься, друг мой! Если бы ты знал, как за нею прилежно волочились Промот и Голосум...

Иван. Станется... Я и всегда был уверен, что против без-

денежных волокит нет добродетельнее женщины, как ваша Жанета и ее подруги. Если бы не почла она вас богатым, то, поверьте, что никогда не поколебали бы вы ее целомудрия...

Барин. Не должно, мой друг, так грубо рассуждать о женской добродетели...

Иван. О! добродетель женщины по моде так же тверда, как стекло, которое никакою острою бритвою, кроме алмаза, не разрежешь... Да скажите мне: куда вы намерены девать вашу Елену, не имея ни полушки денег? Разве хотите вы уморить ее с голоду и дать случай писателям к новому роману?

Барин. Лишь бы удалось мне увезти любезную Жанету, и мы с нею докажем, наперекор всему свету, что и во французских модных лавках есть предобродетельные женщины...

Иван. Сомневаюсь, сударь: ныне не такой век, чтоб чудесам верили. Но скажите, не совестно ли вам изменять прелестной вашей Вертушкиной, которая теперь одна поддерживает ваш блеск насчет любезного своего супруга...

Барин. Куда как худо толкуешь ты любовь! По твоему мнению, она должна быть так же тверда и постоянна, как старинное супружество, чтобы наскучить в две недели. Пустое, мой друг! Любовь, как смородина, которую как бы ты ни жаловал, но она в шесть минут набьет тебе такую оскомину, что ввек на нее не взглянешь, если не возьмешь предосторожности употреблять ее реже. Измена и неверность, мой друг, есть ключ к сохранению модной любви, и для того-то я знаю много супружеств, которые продолжаются в добром согласии только для того, что супруги не скучают друг другу безотвязною верностию. Но я слышу, что вверху кашлянули... приготовимся принять Жанету.

Услыша это, отошел я от них и ожидал, чем кончится приключение. Сперва мне пришло в мысль самому сесть на козлы и отвезти к себе Анжелику. Но как я не надеялся управиться с лошадьми, то едва было не отказался от моего предприятия, если б нечаянная встреча не подала мне помочь. Я увидел, что шагах в пяти от меня бродит человек, который не отходил от того места и, кажется, хотел быть свидетелем происходящего приключения. «Друг мой,— сказал я ему, — не занят ли ты чем, и можешь ли оказать мне услугу, за

которую тебе дано будет на водку?» — «Охотно, сударь, — отвечал он,— я сторож этого дома и хожу по очереди около него; но это такая должность, за которою еще десять могу я отправить. Что вам угодно?...» — «Мой барин сговорился уйти с одной девушкой...» — «Не из этой ли французской лавки?» — «Точно так». — «Не Жанетою ли ее зовут?» — «Ты угадал...» — «А барина твоего Вертушкиным?» — «Правда... Да ты почему все это знаешь?» — «О! я часто видал, как они перебрасывали друг другу письма, и уже ожидал, что из этого выльется что-нибудь доброе». — «Эта мысль требует еще подтверждения, — отвечал я. — Но выслушай же мою просьбу. Жанета скоро спустится к нам, а кучер наш ушел и, верно, в кабак; барин про это узнал и грозится уже наградить его палочным увещанием. Так не хочешь ли ты, когда я тебя через минуту позову, сесть на его место, не говоря ни слова, и отвезти нас к *** мосту в дом ***?»— «Охотно, боярин. Я очень люблю править лошадьми и рад случаю вам подслужиться...»

В ту минуту подошел к нему один человек. «Ну, Сидорыч, — сказал он моему новому знакомцу, — долго ли нам дрогнуть? Мои товарищи, восемь человек, все от морозу зубы повыколотили, и нам бы теперь не худо руки погреть...» — «Подите домой, братцы, — отвечал дворник, — вы мне более не надобны...» — «Как не надобны? Разве не станут в нынешнюю ночь...» — «Ну, слышите ль, вы мне не нужны, — прервал дворник с досадою, — дело без вас обойдется...» — «А кто же заплатит нам за то, что мы всю ночь стерегли?»— «Приходите завтра ко мне: я заплачу вам так точно, как будто б вы все сделали. Поди же и скажи товарищам, чтоб они разошлись, а Семену скажи, чтоб он с лошадьми поехал домой... понимаешь ли?..»—«Понимаю»,— отвечал другой и скрылся от нас...

«Что это значит? — спрашивал я со смятением дворника, — к чему собраны были у тебя все эти люди?» — «Это ничего, боярин, — отвечал он. — Мы узнали, что в нынешнюю ночь соседские лакеи собрались ограбить моего хозяина и для того-то запаслись мы маленькою засадою, чтоб сделать добрый отпор и переломать им руки и ноги; по как теперь уже время, назначенное для этого посещения, прошло, и они, видно, узнали, что здесь взяты предосторожности, и для того отменили свой поход, то я распустил своих това-

рищей». — «Но к чему же этот человек с лошадьми?» — спрашивал я его. — «О! он был приготовлен, чтоб, в случае нужды, гнаться верхом за этими буянами; но дело все кончилось благополучно и опасаться нечего. Да и правду сказать, лучше мне трястись за деньги на козлах, нежели даром дрогнуть у ворот на улице и стеречь, чтоб не обокрали моего барина, к которому к самому надобно бы было приставить караул и смотреть за ним, чтоб он не грабил бедных челобитчиков, на счет которых выстроены эти палаты». — «Стой же, мой друг, и дожидайся меня! — сказал я ему, — а я пойду, и когда время придет, то тебя позову». Потом от него возвратился я к моим похитителям, расположа в мыслях, как должно случиться делу.

Я подходил, когда уже невинная Агнеса спускалась. Кстати бы здесь было поместить все восхищения любовников, но они и в комедиях мне наскучили, и я чрезвычайно обрадовался, когда в некоторой новой комедии увидел, что автор двух любовников обвенчал, не дав им ни слова сказать друг другу о любви. Что до меня, то и расслушать мне у моих любовников ничего было не можно, ибо все дела происходили тихомолком.

Уже наша чета приближалась к карете, когда приметили, что нет кучера. «Бездельник этот, верно, где-нибудь пьянствует»,— говорил сквозь зубы волокита. «Бога ради, говорите тише, сударь, — шептала красавица, — если услышат вверху этот шум и мадам Плутанвиль догадается о моем побеге, то я погибла: у нас честь очень строго хранится... Подите лучше с вашим человеком и постарайтесь поскорее его отыскать, а я останусь у кареты и подожду вас здесь». — «Вот неробкая героиня! — подумал я сам в себе, — кажется, эта девушка уже давно привыкла к ночным приключениям».

Едва отошел он от своей Анжелики, как я бросился к подговоренному дворнику. «Ступай, мой друг, — сказал я, — не надобно терять времени, садись на козлы, притворись пьяным и скажи только, что ты отогревался в ближнем трактире, а между тем вези нас, куда я уже тебе сказал». — «Поверь, барин, что я дело кончу так проворно, как ты не думаешь», — отвечал он и после того бросился на козлы, а я подкрадывался за ним, притворясь, как будто потерял дорогу. — «Любезная Жанета, здесь ли ты?» — спрашивал я.

«Здесь,— отвечали мне тихонько, — кучер твой пришел; но, кажется, он пьян: я не расслушала, что он пробормотал... с тобой ли твой человек?» — «Его нет, любезная Жанета, для того что я строго запретил ему возвращаться без кучера, а он долго его проищет, так лучше поедем одни; он и без нас умеет домой воротиться...» — и я тотчас отворил дверцы, посадил красавицу, вскочил за нею в карету, затворил за собою дверцы и велел кучеру скакать домой, не заботясь о том, охотно ли к себе возвратится мой несчастливый совместник пешком и без любовницы, которую уже почитал он верною в своих руках.

Едва ударили по лошадям, как моя скромница зачала хохотать во все горло; голос ее показался мне знакомым. «Чему ты так хохочешь, душа моя?» — спрашивал я ее. «О! это ужасть смешно, — кричала она, — когда я воображаю, как рассердится старая моя мадам Плутанвиль, не нашед меня в моей комнате. Скажи мне, мой ангел, не щегольски ли мы ее провели?..» — «Боже мой! это ты, Маша?» — вскричал я. «Ах! Мироброд*, негодный!.. каким странным случаем? Я не знаю, радоваться ли я должна или сердиться за нашу нечаянную встречу? Какой дьявол занес тебя в эту карету, когда, не видясь с тобою года три, я менее всего тебя тут ожидала...» — «Каким образом встретилась ты мне, когда и в ум не приходило, чтоб моя милая Маша составляла свиту французской уборщицы?..» — «Каким образом превратился ты в похитителя?..» — «Как переродилась ты из русской горничной девушки во француженку, не имея понятия о французском языке?» — «О! мои приключения не чудны. Вскоре после того, как мы с вами расстались, барышня моя ушла с одним молодым офицером, чему много помогла француженка, ее учительница, которая подговорила также ее увезти из дому много бриллиантов и денег. Я, как проворная девушка, тотчас смекнула намерение француженки и ни денег, ни алмазов не выпускала из своих рук, так что французская плутовка, наконец, открылась мне, русской, в своих намерениях, для которых она и барышню мою подговорила к побегу; и мы оставили влюбленную эту чету без

---

* Г. читатель может здесь видеть, что герой этой повести — Мироброд и издатель ее — Крылов суть два разные лица; но последний будет всегда доволен, если публике понравится первый.
Примечание типографщика.

денег и без вещей на попечение судьбы, питаться одною взаимною страстью, и уехали в здешний город, где моя учительница завела французскую модную лавку на счет моей барышни; а как ей нельзя от меня отвязаться, не опасаясь от меня мщения, то я по необходимости сделалась первою ее подругою, и мы с ней торговали пополам очень удачно, пока не влюбилась я в молодого Вертушкина и хотела пожертвовать ему моим счастьем и...» — «Плутовка! — вскричал я, захохотав, — я был свидетелем всего вашего ночного приключения; и когда еще, возвращаясь домой с твоей француженкой, говорила ты с ней у ворот, то я все слышал и заключил справедливо, что ты влюблена, да только не в Вертушкина, а в его деньги». — «Ты демон, а не человек, — отвечала моя красавица, — от тебя ни в чем утаиться нельзя, и я вижу, что тебе во всем признаться надобно... Повеса! — продолжала она, — выслушай все, и ты увидишь, что я доныне от тебя никакой тайны не имею.

Если бы модные торговки жили одними уборами, то бы не вывозили так много денег в чужие краи; но главный торг их состоит в том, чтоб украшать не одних женщин, но часто и мужей иных, которые иногда, не подозревая, отпускают своих жен в модные лавки себе за головным убором. Притом же эти честные француженки нередко доставляют случай молодым девушкам видеться со своими любовниками и за это берут порядочную пошлину. Этого недовольно: они держат у себя в лавке много молодых учениц, с тем чтоб приманивать волокит, и мнимою строгостию и препятствами своим девушкам увеличивают желания воздыхателей, а когда увидят, что надобная минута наступила и кошелек любовника туг, тогда из-под руки дают своим девушкам согласие на побег; и таким образом вдруг получают и деньги и остаются с добрым именем; ибо таких похищений не смеют приписывать на их счет, видя, что они сами более всего за то шумят и жалуются». — «Прекрасная выдумка! — сказал я. — Итак, моя любезная Маша...» — «Твоя любезная Маша, — вскричала она, захохотав, — под покровительством модной уборщицы теперь имеет честь в восьмой раз представлять невинность...» — «Я любопытен видеть, искусная ль ты актриса, Маша. Но карета остановилась, войдем ко мне, и будь уверена, что твоя невинность здесь в такой же безопасности, как и во французской лавке».

Дверцы каретные отворились, и едва успел я выскочить, как ударили по лошадям, закричали: «К Обухову мосту!» и кареты стало неслышно. Любезная моя Маша, с ее невинностью, и уже конченное почти приключение — все исчезло, как приятный сон, и я очутился в руках мощного повесы, который, сказав мне, что от моего молчания зависит моя жизнь, толкнул меня на двор и запер за собою ворота.

Тут мягкая и нежная рука схватила мою руку, и женский голос сказал мне, чтоб я более всего стерегся сделать шуму. «Барыня уже вас ожидает, сударь, — говорила мне моя предводительница. — Ах! если б вы знали, в каком она смущении...» — «Я и сам в неменьшем беспокойстве», — отвечал я тихонько и дрожа от страха. «Бога ради, — продолжала она, — постарайтесь ее утешить... Но не правда ли, что мы щегольски вас увезли и умели в пору разорвать вашу любовь с этою негодною беглянкою, про которую я уже все разведала? Но оставим этот разговор: вы, конечно, простите моей барыне то, чему одна любовь ее к вам причиною... или она умрет с печали, бедная!.. Но теперь более всего опасайтесь кашлянуть и говорить громко; если барин проснется, то мы все попадемся в такие хлопоты, из которых трудно будет нам выдраться, и вы можете легко потерять ребра четыре».

После такого утешительного предуведомления вела она меня через долгие сени, не говоря ни слова, и мы прошли тихомолком большой ряд комнат, а наконец, остановились в восьмой или девятой. «Останьтесь в этой уборной,—сказала она мне, — барыня тотчас к вам выдет; впрочем, бояться вам нечего: уборная эта вам, верно, знакома». При сих словах пожала она мне руку, дала горячий поцелуй и оставила одного размышлять о странности моих приключений.

«Где я?.. Каким образом сюда попался?... Зачем с такою скоростию умчали мою невинную Машу?.. Кто все это спутил?.. И как выйду я из дому, не смея сделать ни шага и не зная расположения комнат, коих прошел такое множество?..» Вот сколько вопросов задавал я сам себе, и смущенный мой рассудок ни на один из них не был в силах сделать ответа.

Правда, я ждал к себе женщины, и приключение могло кончиться для меня не слишком бедственно; но страх, что всякую минуту я могу быть узнан и побит, делал меня почти

неспособным ощущать предстоящее благополучие... Тогда-то вспомнил я некстати нанятого мною кучера и его товарищей, которых распустил он, как ухватился за случай взмоститься на козлы, — словом, у меня родились тысячи догадок, из которых одна другой была хуже... «Если все это приключение, — прошептал я, вздохнувши, — кончится на моих боках, то надобно отдать мне справедливость, что я самым искусным образом придрался к случаю быть побитым».

Когда таким образом, оставленный один, в темной комнате, размышлял я, который бок выгоднее подставить неприятелю, если появится каменный град, то услышал, что дверь тихонько отворилась и женщина, легкая, как самый зефир, приближалась ко мне осторожными шагами. «Милый и неверный Вертушкин, — говорила она тихонько, схватя меня за руку, — изменник! ты, который и самою своею ветреностию умеешь к себе привязать, смотри, какой опасности я для тебя подвергаюсь, и когда ж! — в самую ту минуту, когда ты мне изменяешь, я тебе жертвую своим спокойствием... и именем. Хочу говорить с тобою с тем, чтобы, разбраня тебя, расстаться с тобою навсегда, и чтобы обезоружить опасные твои глаза, нарочно приготовляю явление это в темноте; уже я думала, что ты обезоружен, но ах! — лишь только коснулась до тебя, как чувствую, что приятное мление объемлет все мои члены. Ноги мои подгибаются... я дрожу... любезный повеса! Ах! я чувствую, что в твоей воле, не говоря ни слова, получить от меня прощение...»

При сих словах она своими мягкими и нежными руками сжимала крепко мои руки; я чувствовал, что слабое трепетание отнимало все ее силы; она оперлась на меня и, конечно, не сдержала бы себя на ногах, если б я не поддержал ее, обхватя тонкий и стройный стан ее моими руками; сердце ее билось изо всей силы, и мое отвечало ему подобным трепетанием; пламенная грудь ее, то опускаясь, то воздымаясь до моих уст, изображала смущенное состояние ее души — мое воображение довершало начертывать совершенства сей женщины, коея прелестями восхищался я по одному осязанию. Я не знаю, каким образом то сделалось, горящие уста наши сплелись и, кажется, друг у друга занимали дыхание; оно перерывалось беспорядочными вздохами. Мы уже дышали друг другом, но все еще, казалось,

нечто нас разделяло; сердца наши, отвечая друг другу согласным трепетанием, составляли одно сердце, которое разливало по нашим жилам один огонь и одинакие чувствования.

«Постой, что хочешь ты начать?» — сказала мне смущенная моя незнакомка. Никогда любопытство женщины не было более некстати, как в сей раз. «Ах, сударыня! — шептал я ей тихонько: — разве не знаете вы мою страстную любовь...» — «Повеса! — отвечала она мне, — ты все так же запрометчив и ветрен: или позабыл ты, что в соседней комнате спит мой муж, которому может легко показаться подозрительным наше свидание, и хотя, при всей своей молодости и пригожестве, он менее пятидесятилетнего старика в праве жаловаться на неверность жены, со всем тем с удовольствием выбросит за окно того, кто вздумает быть его Созиею. Яснее тебе сказать: муж мой из числа тех причудливых заик, которые, на муку своим слушателям, хотя по три часа заикаются над всяким словом, но со всем тем сердятся, если кто вздумает за них изъясниться. Итак, ты должен меня оставить, и пусть будет это служить наказанием за твою ко мне измену». — «Сударыня! неужли вы так мстительны?» — «О, конечно! Или ты думаешь, что твое дурачество должно остаться без наказания? Поверь, что нет: я решилась до завтрашней ночи на тебя сердиться. Итак, если ты хочешь сделать со мною мир, то будь завтра в маскараде в белом домине, в полной черной маске и в перчатках того же цвету; и когда увидишь там в таком же приборе мужчину, то подходи смело к нему — это буду я; а чтоб избавиться от всякой опасности, то мы поедем к тебе ужинать и заключим там торжественный мир». — «Но ваш муж?» — «О, мой муж так много занят в свете, что он и за тем не смотрит, что сам делает: так ты можешь поверить, что ему некогда заниматься трудною должностию — присматривать за верностию жены. Прости, милый ветреник, мне некогда с тобою более говорить: я боюсь, чтоб муж мой не проснулся. Я уже сказала, что он не будет столь умен, чтоб жаловаться на себя. Но всю вину взложит на нас и подвергнет меня опасности видеть тебя изувеченного. Прости!»

С сим словом оставила она на устах моих горячий поцелуй, и я уже не слыхал ее боле. В ту минуту подошла ко мне

моя прежняя проводница. «Довольны ли вы, сударь, вечером?» — сказала она мне. «Не совсем, — отвечал я, — прелестная твоя госпожа все еще на меня сердится». — «О, так, конечно, вы перед нею виноваты!..» — «Как, после такого долгого свидания!» — «Ах! я по всему вижу, что и мне еще рано перестать на вас сердиться. Подите же и будьте готовы хотя завтра исполнить, что вам приказано. Желаю только вам лучших успехов для будущего вечера, нежели какими сегодня можете вы похвалиться». Я слышал, что плутовка смеялась тихонько при сих словах, и после того проводила меня прежнею дорогою за ворота, пожелав мне сонливого дня и потом веселой ночи.

Сколько мыслей, сколько рассуждений и догадок зачало тесниться в моей голове! На всяком шагу встречалось что-нибудь новое моему воображению. «Кто эта женщина? — спрашивал я сам себя: — кто эта несчастная, которая, как кажется, вышла за одну живопись, и кто этот презренный муж, который, вместо того чтобы принести своей жене новое пылкое сердце и хорошие нравы, растерял свои чувства на приманчивые прелести, прибыточные своею нежностию одним аптекам, и который вступил в супружество тогда, когда уже он умер для супружества?»

В таких-то важных рассуждениях пробирался я домой и подслащивал их распоряжениями, как бы лучше завтра кончить свое намерение, или, лучше сказать, я бранил дурачества других и сбирался, если можно, умножить их глупости целым ноликом. Таков человек, любезный читатель: нередко у того бутылка с вином в кармане, кто проповедует трезвость. Наконец, дошел я домой. Заря уже начинала заниматься, и я едва доплелся до постели, то, утомленный моими размышлениями и приключениями, предался сну, занимаясь воображаемыми прелестями милой моей незнакомки.

Любезные мои собратия, подольные жители Парнаса! Вы, которые в своих сочинениях прицепляетесь ко всякому случаю видеть сон — сонливые подлипалы муз — уже вы ожидаете от меня какого-нибудь сновидения, и признаюсь, что случай для этого не худ: заря, любовь, страх, надежда, женщина — все это вместе могло бы составить нечто изрядное; но подивитесь моей скромности: в этот раз ничего не видал я во сне.

Ночь II

Одиннадцать часов пополудни ударило, и я уже был в маскараде. Какое это поле для сатирика, который прицепляется ко всякому случаю побранить людей! Гораций, Ювенал и ты, Боало, я бы желал воскресить вас на два часа и дать вам билет в наш маскарад: какое бы это было прекрасное блюдо для вашего острого пера! Там бы увидели вы верченую щеголиху, привлекающую за собою толпу волокит; вы бы увидели, как выставляет она свою тоненькую ножку, подбеленные ручки; как возбуждает во всех любопытство узнать ее и не смеет снять свою маску, для того что она лучше ее лица. В другом месте попался бы вам искусный плут, который под приятною личиною, надеясь не быть узнан, несет карты, — сей ножик разбойников высокого света, и хочет погубить бедного простачка, виноватого перед ним только тем, что он, по легковерию своему, почитает его честным человеком. Тут бы попался вам, в ямском кафтане, счастливый шут, и вы бы увидели, как он своими кривляньями старается веселить целый маскарад, чтобы только заслужить улыбку какой-нибудь важной домины. Вы бы, может быть, подумали, что это обезьяна в ямском кафтане: совсем нет, это — повелевающий четверкою, почтенный Низкосерд, счастливый только тем, что он часто надевает кафтан ниже своего состояния, а сердце имеет ниже кафтана. Вы бы увидели, как Антидетуш, нарядясь ребенком, с гордою скромностию носит под пазухою азбуку, и, может быть, посоветовали бы ему с нею познакомиться поболее, прежде нежели он опять примется за любимую свою работу раздирать зевотою рты у своих благосклонных слушателей. Одним словом, вы бы множество нашли там придирок побранить прекрасно шалости людей и, не прибавя им ума, прибавили бы, конечно, себе славы. Что до меня, то мне некогда было ценить посторонние дурачества: я бегал по всему маскараду, чтобы сыскать мою прелестную незнакомку в белой домине с черными перчатками, и лишался уже надежды, не находя ее нигде, как вдруг маска, одетая дьяволом, взяла меня за руку.

«Браво! любезный Мироброд, браво! — вскричала она, — уже ты ныне записался в большой свет, уже шатаешься по

маскарадам — прекрасно! О! я, несмотря на твои нравоучения, всегда думал, что в тебе прок будет...» — «Тише, государь мой, — отвечал я с сердцем, — вы позабыли правило благопристойности маскарадной и называете громко меня по имени...» — «Тьфу, к чорту, да это уже и любовным приключением пахнет. Ну, ну, в добрый час, успехов вам желаю. Правда, что ты меня принял холодно; это, право, бессовестно не узнавать старых своих знакомых, признаюсь, что я сам виноват: я немножко курнул и совсем не так начал с тобою разговор. Ведь ты, верно, не узнал меня?» — «Вы это точно так же угадали, как мое имя».—«О! что до твоего имени, то я не угадал его, а видел, как ты у буфета выпил украдкою стакан лимонаду, и тотчас узнал тебя, старинного моего приятеля». — «Очень рад свиданию, прошу только не мучить долее мое любопытство и сказать...» — «Кто я, не правда ли? Признайся, что в дьяволах ты никогда бы не узнал твоего Тратосила...» — «Тратосил! — вскричал я, — это ты?.. Давно ль ты здесь, в городе! Признаюсь, что я желал бы многое с тобою переговорить, но теперь, как ты угадал, я занят любовным приключением, и ты сделаешь крайнее одолжение, когда приедешь ко мне». И я тогда же рассказал ему, куда ко мне приехать.

«Будь уверен, — говорил он, — что ты скорее меня у себя увидишь, нежели думаешь. Но теперь я тебе не мешаю: ночь всю пропью за здоровие твоей красавицы. Согласись, любезный друг, что ничего нет приятнее...» — «Я на все соглашаюсь, — отвечал я, увидя вдали надобную мне маску, — только с тем условием, чтобы ты меня теперь извинил и оставил бы одного». — «Боже мой! неужели ты думаешь, что я тебя не понимаю? Оставайся с покоем (маска давала мне знак рукою), нельзя ли только слова два, три...» — «Никак нельзя, прощай!» — «Прощай, любезный Мироброд!.. Э, постой! я позабыл тебе сказать новость: ведь у меня ныне есть прекрасная аглинская карета...»—«О, что мне нужды, безотвязчивый человек...» — «Да знаешь ли, как я ее достал?» — «За деньги». — «Это правда, а деньги-то почему?» — «Потому что ты сделан судьею». — «А судьею-то я отчего?» — «Оттого, что ты женился... Негодный человек! да отвяжешься ли ты?» — «Ха, ха, ха! так ты все знаешь; так прости ж...» И я, уже ни слова

не отвечая, бросился от него к своей домине, предавая проклятию всех досадчиков в свете.

«Ах, сударыня!» — «Говорите как можно тише, — перервала моя незнакомка, крича мне странным голосом: — я боюсь, чтоб нас не узнали. Мне сказали, — продолжала она наклонясь мне на ухо,— что муж мой будет здесь, переодетый так странно, что его нельзя узнать. Я не понимаю, что это за намерение, только оно для нас не совсем безопасно; но мы хорошо сделаем, если скорей отсель выедем». — «Да чего ж вам бояться?— отвечал я, — разве муж ваш знает, в каком вы платье?»— «О! конечно, нет; это бы было дурачество с моей стороны; но со всем тем у наших мужей, в таких обстоятельствах, нос бывает иногда очень некстати чуток...»

«Продолжай, любезный друг, продолжай, — говорил мне кто-то на ухо,—желаю тебе веселых часов». Я оборотился посмотреть, кто это, и увидел моего докучливого дьявола вполпьяна, и который не отставал от меня. Вообразите мое бешенство! Я хотел уже с ним браниться, как он перервал речь мою в самом начале. «Не беспокойся, — говорил он, — я тебе не хочу мешать. Ах! уже лет пять, как я стал так скромен, что никому не мешаю в любовных делах, и мое сердце...» — «Если оно у тебя хорошо, так ты должен меня оставить...» — «Признайся, что это грубо, — отвечал он, — но влюбленному я все спускаю. Прости ж, мы скоро увидимся. Мне очень хочется узнать, счастливо ль ты кончишь свое приключение?» После сего он скрылся от меня в толпу масок, и я его не видал более. «Если все дьяволы так умеют мучить, — сказал я с досадою, — то надобно признаться, что ад ужасен!» — «Поедем отселе, любезный Вертушкин!— говорила незнакомка, — за нами, может быть, присматривают, и мы очень хорошо сделаем, если убежим от глаз любовных дозорщиков». — «Я вашего мнения». Мы тотчас оставили маскарад, и я, посадя ее в свою карету, велел скакать ко мне домой. «Теперь-то уже ничто не помешает мне владеть моею Еленою», — думал я сам в себе. Увы! любезный читатель, ты увидишь, захотела ли судьба оправдать это радостное восклицание.

В нетерпеливости подъезжаю я к дому. «Разве ты уже переменил свою квартеру?» — спрашивала меня моя лю-

безная незнакомка. «Вы это все тотчас узнаете», — отвечал я и в ту минуту вхожу с нею в комнату. Мы скидаем наши маски; нам подают свечи, и...небо! Кого бы, думаете вы, увидел я в моей комнате? — Того самого дьявола, который не давал мне отдыха во весь маскарад; он спал без маски, сидя в комнате у меня, на канапе. Я оборотился к моей незнакомке и еще более смутился, увидя ее положение: она взирала с ужасом то на меня, то на злого нашего духа; глаза ее помутились; она начала бледнеть; я уже хотел кричать помощи, как она сказала, тихонько трепеща: «Ах, сударь! я вижу, что я обманута и прощаю вам все; только ради бога не кричите: это мой муж! О небо! как я обманута!» И бедная красавица, конечно, упала бы в обморок, если бы случился близко ее стул; в самую ту минуту проснулся наш злой дух, который, кажется, заклят был адом не давать нам покоя.

«Ба, да ты уже дома, любезный Мироброд! Признайся, что я сдержал свое слово и не замедлил обрадовать тебя своим посещением. Только этот маскарад и вино дьявольски вскружили мне голову! Ну, скажи же мне, как кончил ты свое приключение? Ба! да что я вижу! — продолжал он, протирая глаза: — это кто с тобою?»

Обмана (*весело*). Капитан Хватов к вашим услугам, который, в армии получа письмо, что сестра его вышла замуж за г. Тратосила, приехал сюда ее видеть.

Тратосил. Чорт меня возьми, если сегодняшний вечер для меня не самый счастливый. Да знаете ли вы его в лицо?

Обмана. Совсем нет; и для того-то (*указывая на меня*) я просил наперед моего приятеля, чтоб он со мною к нему поехал.

Тратосил. Это я, любезный Хватов, это я, твой зять! Только, чорт меня возьми, ты так похож на твою сестру, что я бы в состоянии был наделать великих дурачеств, если бы, к чести вашего и нашего дома, не знал, что это вторая Лукреция.

После того они зачали крепко обниматься и строить друг другу тысячи приветствий. «О, женщины! — говорил я тихонько, — чье перо в состоянии хотя слабо списывать все те обманы, которые пылкое воображение вам изобретает в минуту?» Но станем продолжать наш разговор.

Тратосил. Итак, скажи ж, мой любезный Хватов, надолго ль ты здесь?

Обмана. Я отпущен на двадцать на девять дней, и уже срок моему отпуску так близок, что мне должно через день неотменно выехать. Я хотел только увидеть вас и мою сестру, ибо мне из деревни писали, что вы поехали сюда в город, и для того я прямо из армии пустился сюда.

Тратосил. О! мы еще с тобою успеем в это время опорожнить бутылок дюжины две, три шампанского. И, чорт меня возьми, нам надобно крепко познакомиться: я думаю, что мы рождены друг для друга!

Обмана. О! я того же мнения, и для того-то вы позволите мне обходиться с собою без чинов.

Тратосил. Да, да, без чинов! Поедем же к тебе на квартеру, и если у вас есть хоть бутылка чего выпить, то мы так плотно познакомимся, что вечно останемся друзьями.

Я. Перестань, любезный Тратосил, ты видишь, что он ослабел: ему нужен покой.

Обмана. Это правда, я очень много ходил. (*Мне, тихо.*) Ради неба, скажите своей карете, чтоб она со мною ехала. (*И я в ту же минуту исполнил ее волю.*)

Тратосил (*мне, взяв Обману за руку*). Ну, так поедем же к нему, любезный друг, уложим его в постелю, спросим пуншу и просидим у него всю ночь: нам не меньше оттого будет весело...

Я. Разве не можешь ты в другое время?..

Тратосил. Нет, я так рад, что не хочу ни минуты тратить, а притом же я таков, что меня иногда в год не заманишь. Итак, надобно ловить меня в ту минуту, когда расположен я где быть, если не хочешь упустить меня года на два.

Обмана. Но теперь, любезный друг, я так плотно утомлен маскарадом что не в силах вас угостить. Этот проклятый маскарад!..

Тратосил. О, этот маскарад — бич на молодых людей, и для того-то жена моя никогда их не любит. Посмотрел бы я, как бы ее кто вздумал заманить в маскарад! Она прочтет столько нравоучений, наскажет столько от печатного... О! твоя сестрица — настоящий проповедник!.. Только знаешь ли ты, как она на тебя похожа... Если б мы не ждали тебя сюда и если б не рассказывала она мне часто, что ты

на нее похож, то бы, ей-ей, наделал я таких шалостей... Но что же, мы едем?

Обмана (*улыбаясь*). Ко мне, право, нельзя.

Тратосил. Понимаю, ты, верно, здесь зажил семьянином, но я, право, не строг; а, впрочем, когда нельзя к тебе, так пойдем ко мне.

Обмана (*особо*). Новое несчастие! Как, в эту пору! Нет, я не хочу встревожить безмерною радостию нечаянно мою сестру.

Тратосил. Ничего, ничего! Это предобродетельная женщина: ее десять таких шалунов, как мы, не обеспокоят, и она их целую беседу, право, философски вытерпит.

Обмана. О, я никогда не соглашусь!

Я. Оставь его; разве нельзя это отложить до завтра?

Тратосил. Ни под каким видом: или он ко мне, или я к нему ехать непременно должен.

Обмана. Ну, так поедем же к тебе, только с тем условием, чтоб до завтра не говорить обо мне ни слова сестрице.

Тратосил. О, охотно, только ты ночуй у меня.

Обмана. Да ты точно меня не обманешь?

Тратосил. Божусь, что нет; и, для уверения, я лягу с тобою перед спальною в одной комнате; мы и будить ее не станем.

Обмана. Это прекрасно вздумано!

Тратосил. О, когда дело пошло на хитрости, то я подлинно дьявол. А поутру, когда она будет меня бранить, что я вздумал ее оставить, то, чтоб утишить ее гнев, я ей тебя представлю.

Обмана. Это божественно! Поедем же. А я так устал, что, я думаю, камнем упаду в постель, и желал бы уже теперь быть у тебя. Да как далеко отсель до вашего дома?

Тратосил. На самой П... площади... Что ты вздыхаешь?.. в доме...

Обмана. Ах! любезный друг, подле самого этого дома у меня заведена любовная интрига...

Тратосил. Очень кстати теперь о любви. Поедем скорее ко мне...

И в минуту они сели в карету Тратосилу и, пожелав мне доброй ночи, уехали домой.

Вообрази, любезный читатель, мое бешенство: кажется,

судьба нарочно для того подсунула мне под нос любовное приключение, чтобы после надо мною подшутить. При всей своей досаде я очень желал знать, как выпутается из этих хлопот моя прелестная незнакомка. Тысячи беспокойных мыслей мучили меня; в первый раз постеля моя показалась мне пустынею. «Таковы-то все мои предприятия! — вскричал я с досадою, — нет ни одного дела, которое бы кончилось, так, как я им располагаю. На что же мне жить более?» При сих отчаянных словах вознамерился я умереть, а чтобы сделать это спокойнее, то я разделся, надел колпак, лег в постелю, взял, вместо ножа, Одохватову оду, и только что наставил ее на глаза, как зрение мое померкло, руки опустились, ноги протянулись, — и я захрапел в одну минуту.

РЕЧЬ,

говоренная повесою в собрании дураков

Милостливые гусудари!

Когда, простой памяти, предки наши оставили нам в наследство приятную способность делить время с лошадьми и собаками, воображали ли они, что сие дарование, которое одно мешало им зевать во всю их жизнь, не зажимая рта, будет осмеяно некоторыми беспокойными головами и что их прилипчивая система жить, поджав руки, или, если позволят мне употребить такое смелое изображение, система их жить, поджав умы, найдет дерзких сатириков, которые осмелятся доказывать, наперекор модному рассудку, что человеку большого света нужно иметь разум не для злословия, вкус не для кафтана и сердце не для волокитства. Но, государи мои! к стыду нашего века это делается, и когда ж?

Тогда как просвещение взошло у нас на вышнюю степень; когда почувствовали мы, что природа, сотворяя человека, не могла избежать некоторых погрешностей; когда, желая заменить ее недостатки, обрезали мы стан его целою четвертью, привязали к нему под шею жабот, причесали голову его анкрошет; словом: показали, каков бы он должен быть создан, если бы из рук природы вышел по совету премудрых французов. Но приступим подробнее к истории

нашего модного просвещения, дабы тем яснее доказать грубость сатиры и возбудить в сердцах ваших благородную ревность переломать сатирикам руки и ноги.

Мода уже давно со справедливою завистию видела, что науки обращали к себе внимание наших одноземцев и угрожали изо всего государства сделать одну академию. Сожалея о погибающем человечестве и более всего сожалея о бедных женщинах, которые бы должны были зазеваться до смерти подле своих мужей или любовников, слушая ученые их рассуждения; она принуждена была войти к нам украдкою и ввести сюда своих первых рачителей французов, которые, делая нам честь, для нас оставляли в своем отечестве достоинство французских водоносов и разносчиков, чтобы образовать наши нравы и обычаи. Они-то из медведей сделали нас людьми; они-то показали нам необходимость переменять в год по пятидесяти кафтанов; открыли нам ключ, что удачнее можно искать счастья с помощию портного, парикмахера и каретника, нежели с помощию профессора философии; они-то, наконец, научa нас танцовать, открыли нам нужную для светского человека тайну, что ученые ноги в большом свете полезнее ученой головы.

Не подумайте, милостивые государи, что пристрастие управляет моим языком; нет, без самолюбия скажу, что я в сем случае философ и все нации люблю, выключая моего отечества. Итак, говоря о просвещении, нельзя умолчать мне об агличанах. Им-то обязаны мы искусством изъясняться с аглинскими лошадьми и превращать грубых наших крестьян в стальные пуговицы и пряжки; их-то скромный кафтан и французская ветреность составляют нечто неподражаемое из наших модных господчиков, которые одни имеют великое дарование соединять в себе благородную ветреность французских парикмахеров и философскую важность аглинских конюхов.

С каким ужасом, государи мои, воспоминаю я то время, когда у нас молодой человек при первом слове был виден, как далек он в невежестве: должно было или учиться, или опасаться посмеяния и самого презрения. Должно было проводить время в кабинете, вместо того, чтобы с удовольствием убивать его в кофейных домах; должно было читать книги полезные... Но, любезные слушатели! я примечаю, что от одного напоминовения о таком варварском времени

вы зеваете, и многие чувствительнейшие из вас патриоты зазевались бы до слез, если бы продолжал я такое жалкое описание. Но оставим его. Сие время уже прошло; ныне молодой человек, желающий слыть ученым, не имеет большой нужды в грамоте; за недостатком своего ума можно иметь у себя на полках тысячи чужих умов, переплетенных в сафьян и в золотом обрезе, а этого уже и довольно, чтобы перещеголять своею славою лучшего академика.

Но чем не обязаны мы счастливому нашему просвещению! Если б вздумал я описывать все в нем выгоды, то бы речь моя была длиннее всех предисловий Т... вместе; она бы показалась пространнее комедии Мнимого Детуша, которая в своем пространстве столько неизмерима, что в ней ученый свет не находит ни начала, ни конца; она бы показалась протяжнее романа Антирихардсона, которого долготерпеливейшие читатели не дочитывались до половины.

Но мне ли, государи мои, с слабыми моими силами, прилично говорить о пользах модного просвещения: сия материя так неисчерпаема, как древние авторы, которые под рукою молодых наших писателей перерождаются, как Протей, в тысячи разных видов, один одного хуже. Довольно и того, когда доказал я, что модное просвещение взошло у нас на вышнюю степень; и в подтверждение этого стоит только вам взглянуть друг на друга, чтобы видеть истину моих доказательств и почувствовать выгоду вашего состояния, приманчивого для человека, которое одно только можно поддержать, не имея ни ума, ни сердца.

Были дерзкие писатели, которые утверждали, что петиметры ниже человека, и полагали их в число животных. Безумные! они не приметили, что таким заключением делали нашу славу. Так, государи мои! согласимся, что петиметр не человек; но если он скот, то, конечно, умнее всякой скотины, не выключая и самой обезьяны. Итак, не лучше ли быть первым между скотами, нежели последним между людьми? А сие-то лестное первенство получили мы в нынешний век, и оно-то посеяло яд зависти в беспокойных сердцах и вооружило на нас сатиру или, лучше сказать, пасквиль, покушающийся сделать жалким щеголя в большом свете, где играет он первое забавное лицо. Сей пасквиль желает разрушить наши труды, тогда как мы в разборчивости платья и в щегольстве превосходим самих женщин; дерзкий

сей пасквиль, кажется, осмеливается отнимать наше первенство и доказывает, что будто из человеческой головы можно сделать лучшее употребление, нежели то, чтобы давать ее французу всчесывать анкрошет, и будто голова не для того нам дана, чтобы носить на ней аглинскую шляпку.

Вот, государи мои, причина, для которой собралось теперь наше почтенное общество. Надобно подавить в самом начале дерзость; надобно доказать нашим противникам, что без хорошего парикмахера и портного нельзя ни заслужить уважения публики, ни подружиться со счастьем; что истинное достоинство состоит только в том, чтобы уметь одеваться по погоде и подделывать свой тупей под крымские овчинки так же искусно, как французы подделывают медь под золото.

Почему ж, возразят мне, может быть, некоторые, вооружаетесь вы на сатиру за то, что она нападает на порок, не указывая ни на чье лицо?.. Будто рассказывать дурачествы разных особ не есть то же, что выставлять их лица на осмеяние. Так, государи мои, не выставлены наши имена, но дела наши обнаружены.

Когда описываю я сочинителя, который своими романами перебивает у аптекарей торг сонными порошками и который отважно передразнивает славного сочинителя *Клариссы* или *Новой Элоизы*, нужно ли тогда долго задумываться, чтобы в неутомимом этом дразнильщике угадать неустрашимого Антирихардсона? Члена, который делает собою украшение нашему обществу, стремится подражать авторам, не читая их, и который всегда выигрывает у своего подлинника большинство томами, — нужно ли долго отыскивать его имя? Конечно, нет; и он имеет неоспоримое право назвать на себя личностью всякую сатиру, где осмеивается усыпляющий автор; хотя бы такое описание было сделано и за сто лет до его рождения. Не имеет ли право вступиться за себя сиятельный Юла, как скоро описывают щеголя, который, как состаревшаяся в невестах девушка, проводит перед туалетом две трети своего века, старается всем понравиться и думает, что о красоте его твердит весь город, между тем как едва примечают, что он двигается в большом свете? И много ли надобно трудов Одохвату на то, чтоб доказать оскорбление стихотворной своей особы там, где ругаются оды без стихотворства, стихи без остроты и без смыс-

ла и когда упоминается стихотворец, который похвалами своими мучит героев более, нежели Боало мучил своими сатирами Прадона и Котина; где говорится про оды, в которых не только красот, но и смысла все академии вместе в триста лет не отыщут, — трудно ли, говорю я, Одохвату доказать, что тут разругана его особа? Нет, государи мои! стоит только ему вынуть первую свою оду, и самый скромный читатель согласится, что сатира метила на него.

Взгляните на описание Тарантула, который разжился женою, поставя себе прекрасным правилом, что нет вреднее двух случаев: если у купца деньги, а у него жена назаперти, и который хочет переломать руки и ноги сочинителю за то, что тот издал описание его по-русски, которое покойник Ле-Саж еще до рождения его написал прекрасно по-французски. Кто не узнает в нем нашего милого Тарантула; кто, имеющий сердце и палку, не вооружится за его особу, как скоро увидит сочинителя, осмеивающего золотые рога? Если вам надобно подтверждение, что это сатира на него, то сам Тарантул выставит до двадцати доказательств, что, не обижая его, нельзя бранить рогатых, хотя и он еще не все доказательства знает; что ж, если вступится в это дело его жена? Какой бездны доказательств тогда ожидать мы должны! О! тогда-то, если только приговорят в наказание пасквиленту рвать у него по волоску за всякое доказательство Тарантуловой жены, то в два месяца останется у него менее волосов, нежели у усерднейшего музульманина.

Итак, не ясно ли видны ваши имена, когда дела ваши выставлены? И не достойно ли такое ругательство явного мщения? Вооружимся же, государи мои, и поищем способов унизить дерзких сатириков! Отмстим и докажем, что если мы не в силах отбраниваться пером, то кулаки, палки и брани словесные суть такие в наших руках орудия, которыми можем мы прогнать армию Цицеронов.

При слове мщения нельзя не обратить мне моей речи к любезному нашему Тарантулу и не отдать справедливости, что он под французским кафтаном носит италиянское сердце и ни на чем не остановится, лишь бы отмстить тому, кто ему не мил. Он в состоянии сатирика своего вызвать на аглинский бой головами и не задумается прибавить сучка четыре к своим рогам только для того, чтобы раскроить ему череп

на-двое. Вот пример, которому если мы будем рачительно последовать, то или наши неприятели смирятся, или нас принудят смириться... Станем подражать Тарантулу, и пусть похвала, которую я к нему обращу, послужит нам поощрением, а ему наградою.

Он не подражал некоторым слабым душам, которые, увидя в сатире свое лицо, или стараются исправить свои слабости, или возвышают пирамиды печатной бумаги и пишут сатиру на сатиру. Нет, едва ощупью по рогам узнал он свой портрет, как дал клятву сломить голову сатирику, его типографщику и даже мастеровому, у которого покупает он чернило; и если б страх кончить свою историю в смирительном доме не удержал его, то бы доказал он, что и маленькое тело может сделать великое зло. Со всем тем это не привело его в отчаяние: он стал рассевать, как Бомаршев Базиль зловредные на сатиру толки, и там, где говорят о пуговицах, он доказывает, что обижается чье-нибудь лицо; там, где бранят пьянство, он силится доказать, что оскорбляют честь; а там, где осмеивают податливого мужа, торгующего рогами, он силится уверить, что оскорбляют добродетель и человечество: словом, сидя в своей конуре, выдумывает он всевозможные кривые толки и ищет поссорить сатиру со всеми честными людьми, когда она ссорится с одними пороками. Он не смеет явно выдавать таких толков, но, как скромный автор, не ставит имя у своих творений, и читатель, задремав над его стихами, уже, проснувшись, угадывает, что это должен быть Мнимый Детуш; подобно и Тарантул наш по делам своим заставляет угадывать свою особу. Так точно рассерженный клоп, едва приметный в океане веществ, забивается в маленькую скважину, пускает вонь на своего неприятеля, которого телом он питается, и имеет дарование беспокоить нос, не опасаясь быть увидим. Он знает, что его не иначе льзя отыскать, как носом; и хотя всякий нос может до него довести, но что и самый терпеливый нос в две минуты отступится от таких мучительных поисков и оставит ему поле сражения.

Вот, государи мои, пример, которому должны мы последовать, если хотим избавиться от ига сатиры. Дадим же себе слово переломать сильною рукою перья наших неприятелей, и если уже воображение наше слабо сравниться в выдумках с воображением маленького Тарантула, то будем хотя

пользоваться его советами, которыми он в своем роде перещеголяет Генлея.

Итак, вы, почтенные собратия, которые ощупаете себя в сатире, не будьте так слабы, чтобы признавать свои погрешности и стараться их поправить. Но, подражая Тарантулу, старайтесь мстить сатирикам. Нет, ничего, хотя бы автор и не думал о вас: уже он ваш открытый неприятель, когда бранит дурачества, и вы получаете право злословить его особу, намерения и побить самого его, если вам удастся. Одним словом, я признаю, что тот не член нашего общества, кто не палкою станет оправдываться и не кулаками доказывать истину; а тот будет нашим украшением, кто ко всему этому прибавит злословие и вредные толки на сатирика. Может быть, не станут нас слушать, но зато какая слава и удовольствие для нас, если выиграем мы поле сражения! Тогда-то мы будем дурачиться, как хотим, и если уже станут хохотать над нами наши современники, то по крайней мере не будем мы воздержаны страхом, чтоб над нами смеялись позднейшие наши потомки... Тогда-то... но восторг меня объемлет и понуждает хотя кратко изобразить то золотое время. Последую движению моего духа и сим изображением, как самым приятным для вас местом, кончу мою речь.

Тогда-то, говорю я, кокетка будет спокойно щеголять белыми своими зубами и длинными волосами, не опасаясь, чтобы напечатано было, что зубы ее искусно сделаны из слоновой кости, а волосы проданы ей молодым щеголем, которого тетка, расточа все свое имение, оставила ему в наследство одни только свои прекрасные волосы.

Тогда-то щеголь, не находя о себе ни строки, будет иметь удовольствие мотать до тех пор, пока не заставят его в магистратской тюрьме сличить приход с расходом; тогда-то расчетистый Тарантул, который любит свою жену, как рыбак свою удочку, не будет опасаться, чтоб беспокойный сатирик иссчитывал сучки его рогов и предостерегал бы молодых людей от западни, которая старается ловить сердца, чтобы очистить имение. Тогда-то романы прилежного Антирихардсона будут спокойно лежать на полке, не опасаясь, чтобы кто-нибудь их бранил, выключая малого числа неблагодарных читателей, которые, несмотря на то, что автору своему бывают часто обязаны хорошим сном, имеют без-

божную привычку, проснувшись, бранить его первого. Тогда-то, наконец, всякий из нас будет смело дурачиться, не опасаясь, чтоб дурачеству, которое сделал он в Петербурге, стали смеяться даже в московских книжных лавках. Одним словом, мы тогда, читая древних авторов, будем иметь удовольствие смеяться их дуракам и иметь перед ними то преимущество, что нам наши потомки смеяться не станут и не будут нашими именами бранить своих дураков.

РАССУЖДЕНИЕ О ДРУЖЕСТВЕ

Во всех временах дружество почитали из числа первых благ в жизни; сие чувствование родится вместе с нами; первое движение сердца состоит в том, чтобы искать соединиться с другим сердцем, и между тем целый свет жалуется, что нет друзей. С начала мира все веки вместе едва-едва произвели три или четыре примера дружества совершенного. Но если все люди согласны, что дружество прелестно, почто же не ищут наслаждаться сим благом? Не есть ли сие заблуждение слепого человечества и следствие развращения оного — желать блаженства, иметь его в своих руках и убегать его?

Выгоды дружества блистательны сами собою: вся природа единогласно подтверждает, что они приятнейшие изо всех благ земных. Без дружества жизнь теряет свои приятности, человек, оставленный самому себе, чувствует в своем сердце пустоту, которую единое дружество наполнить может; от природы заботливый и беспокойный, в недрах дружества утишает он свои чувствования.

Коль полезно пристанище дружбы! Она охраняет от коварства людей, которые почти все непостоянны, обманчивы и лживы. Первое достоинство дружбы есть вспомоществовать добрым советом. Сколь бы ни рассудителен кто был, но всегда нужен проводник; не должно без опасения вве-

ряться своему собственному разуму, который страсти наши заставляют часто говорить по их воле.

Древние познали все благо любви, но они описания дружества сделали столь огромными, что заставили почитать оное за прекрасную выдумку, которой нет в природе. Кажется, они худо знали свойства человека, когда умышляли прельщать его такими описаниями и заставлять искать дружбы, столь богато раскрашенной ими: они как будто позабыли, что человек более склонен знатным примером удивляться, нежели им последовать.

Но более ли ныне умели познать дружество? К стыду нашего века, кажется, признают, что делить с другом своим имение свое есть вышняя степень дружества и величайшее ее усилие. Но люди, которые так рассуждают, не изъявляют ли сим одно развращение нынешнего времени, алчность и привязанность свою к богатству, и способны ли они чувствовать дружество? В таких описаниях, желая дать почувствовать цену дружества, не оное, но свое корыстолюбие они изображают: главнейшая выгода дружества состоит в том, чтоб в друге своем найти образец добродетелей; нам всегда лестно приобретать почтение любимой особы, и сие-то желание заставляет нас последовать добродетелям, которым мы в ней удивляемся.

Сенека советует другу своему выбрать почтеннейшего между людьми, поступать всегда, как будто б был в его присутствии, и давать ему отчет в своих делах: сей великий человек, сей судья наших деяний есть наш друг; никто столь за нас не отвечает нам самим, никто не оправдывает нас столь в глазах общества, как друг почтенный. Нам непростительно быть несовершенными в его глазах; и потому никогда не видно порочного в дружестве с добродетельным. Неприятно видеть того, кто судит и обвиняет нас беспрестанно. Надобно быть прежде уверенными хорошо о беспорочности своего сердца и правил, если хочешь выбрать себе друга. Выбирая друга, ты судью себе избираешь: порочный удобен ли отважиться на такой выбор и выбор сей не принадлежит ли единой добродетели?

Я боюсь, говорил Плиний, лишась своего друга, я боюсь, чтобы не ослабеть в пути добродетели; уже потерял я моего проводника и свидетеля моей жизни. Дружество по необходимости заставляет нас быть добродетельными: оно не

может храниться иначе, как между почтенными * людьми, и тот, кто желает сохранить дружество, должен стараться подражать в добродетели своему другу. Итак, в дружбе находятся и полезные советы, возбуждения последовать добрым примерам; друг с нами делит наши печали, помогает нам в наших нуждах, не побужденный ни просьбою, ни корыстию, ни исканием. Рассмотрим же теперь истинное свойство дружества, по коему бы можно было познавать оное.

Первое достоинство, которое должно сыскивать в друге, есть добродетель: она-то уверяет нас в нем, что он способен к дружеству и оного достоин. Не надейся нимало на ваши обязательства, как скоро не на сем основании они утверждены: ныне не выбор, но нужды соединяют людей, и для того-то нынешнее дружество так же скоро кончится, как и начинается: дружатся без разбору и ссорятся не раздумывая; ничто столь не презренно: худой выбор оказывает или дурное сердце, или дурной разум. Из тысячи умей выбрать себе друга, ничто столь не важно, как сей выбор, ибо от него зависит наше благополучие. Помысли, что нас судят в наших друзьях; выбрать друга значит дать обществу свой образ и открыть свое сердце. Всякий бы трепетал, если бы размыслил, сколь важно признать кого своим другом. Хочешь ли быть почтен? Обращайся с людьми почтенными. Итак, надобно хорошо познать прежде, нежели войти в обязательствы. Первый знак, могущий уверить, что выбранный достоин дружества, есть добродетель. Потом должно, чтобы выбираемый друг был свободен и неподверженный страстям: одержимые гордостию и надмением неспособны к таким чувствованиям, а еще менее те, кои окованы узами любви! Любовь похищает всю цену дружества; она есть страсть жестокая, а дружба — ощущение приятное и спокойное. Любовь напояет душу некоим восторгом радости, за коею нередко следует жестокое сокрушение; но дружба есть наслаждение рассудка всегда чистое и всегда ровное; ничто не может его переменить ни ослабить; оно питает душу, и время не сокрушает, но подкрепляет его.

Занимающиеся исканием почести также не способны к сему чувствованию: они более ищут богатства, нежели

---

* Чрез слово почтенный не разумею я чиновный, так как многие очень неправильно принимают сии слова за синонимы.

дружества. В дружестве не менее нужны чистые нравы; тот подвергается великой опасности, кто вступает в дружбу с человеком развращенного поведения.

Я думаю также, что чрезмерная молодость неспособна к наслаждению совершенным дружеством: мы видим много молодых людей, которые называются друзьями и думают, что это истина, но их связывают одни забавы; а забавы не суть узы, достойные дружества. Мы в летах, приличных дружеству, говорит Сенека своему другу: сильнейшие страсти в тебе угасли, остались одни приятные, и мы будем наслаждаться забавами дружества.

Но рассмотрим должности дружбы.

Три время находятся в дружбе: начало, продолжение и конец. Как всякое начало дружества наполнено чувствованиями, то все наполнено забавою при рождающемся дружестве. Но часто случается, что вкус притупляется привычкою, очарование исчезает, и тогда уже должно поддерживать дружество по рассуждению; подпора всегда слабая. В дружбе, как в любви, должно щадить чувства и вкус от притупления: сия предосторожность позволена. Но кто может воздержаться от утешения невинного и позволенного? Итак, должно утверждать дружество на крепчайшем основании; почтение, подкрепляемое знанием достоинств; вот основание, которое никогда не может поколебаться. Любовь пишется с завязанными глазами; но у дружества снимается сия завязка; дружество рассматривает прежде нежели избирает и привязывается к одним достоинствам особы; ибо те одни достойны быть любимы, которые в себе самих заключают причину, побуждающую их любить.

Сделав добрый выбор, надобно на нем утвердиться и иметь к своему другу непременчивое почтение, и основанное не на одних чувствах, но на рассуждении, ибо чувства могут охладеть, и тогда почтение, сопряженное со справедливостию, только остается непременным. Не надобно дозволять себе ценить слабости в своем друге и еще менее говорить о них; должно почитать дружбу. Но как она дана нам к тому, чтоб быть помощию добродетели, а не участвовать в пороках, то должно уведомлять, когда друг твой уклонится с пути добродетели; если он упрямствует, вооружись властию и силою, которую подают премудрые советы и чистота добрых намерений.

Не думай, что по окончании дружбы ты уже ничем не обязан: обязательства труднейшие остаются тебе исполнить, и в коих одна честь может тебя поддержать; к старому дружеству должно хранить почтение.

Некоторые думают, что смерть разрушает все обязательства, и малое число людей умеют быть друзьями умерших, хотя великолепнейшее украшение на наших похоронах суть слезы наших друзей и приятнейшая нам гробница — их сердца. Не думай, однако ж, чтоб слезы, проливаемые только на погребении твоего друга, были последним знаком твоей к нему горячности: ты еще остаешься обязанным их имени, славе и дому, он должен жить в твоем сердце, в твоем воспоминании, в твоих устах похвалами и в твоих поступках подражанием его добродетелям.

Вот правила, вот образ дружества, начертанный на моем сердце самою природою, и я тогда только почту себя несчастливым, когда сердце мое охладеет к толь благородным чувствованиям; когда дружество меня оставит и свет претворится для моего сердца в пустыню.

МЫСЛИ ФИЛОСОФА ПО МОДЕ,

или способ казаться разумным, не имея ни капли разума

Любезные собратия! — так начинает мой философ, — уважая вашу благородную ревность казаться разумными в большом свете и в то же время сохранять наследственное прилепление к невежеству, предприял я быть вам полезным и преподать способ, лестный для нынешнего воспитания, способ завидный — казаться разумным, не имея ни капли разума.

Намерение такое удивит угрюмых читателей и философов. Может быть, и вы сами почтете его странным, уважая старинную пословицу: «Ученье свет, а неученье тьма». Но кто учен, друзья мои? И когда сам Сократ сказал, что он ничего не знает, то не лучше ли спокойно пользоваться нам наследственным правом на это признание, нежели доставать его с такими хлопотами, каких стоило оно покойнику афинскому мудрецу; а когда уже быть разумным невозможно, то должно прибегнуть к утешительному способу — казаться разумным. Поставим себе в пример женщин, станем учиться у них: у них нет науки быть пригожею, но пригожею казаться — вот одно искусство, над которым многие лет по семидесяти трудятся, и часто с успехом.

Науки ныне в таком же малом уважении, как здоровье.

Быть дородною, иметь природный румянец на щеках — пристойно одной крестьянке; но благородная женщина должна стараться убегать такого недостатка: сухощавость, бледность, томность — вот ее достоинства. В нынешнем просвещенном веке вкус во всем доходит до совершенства, и женщина большого света сравнена с голландским сыром, который тогда только хорош, когда он попорчен... То же можно заключить и о нашей учености: прямая ученость прилична низким людям. Учение, к удовольствию модных господчиков, уравнено с другими ремеслами, и здесь Невтон и Эйлер, конечно, менее уважены, нежели Брейтегам и Гек; но искусство притворяться учеными — вот одно достоинство, приличное благородному человеку и которое делает его милым в глазах общества! Самые женщины, открытые неприятельницы книг, любят слушать его рассуждения, для того что оные не унижают их самолюбия. Женщине очень приятно видеть, когда мужчина лет под сорок рассуждает так забавно, как пятнадцатилетняя девушка, и такою прекрасною уловкою скрадывает у себя лет двадцать. Скажите мне, друзья мои, не первая ли должность мужчины нравиться женщине? Но что же для ее разборчивого и расчетистого вкуса может быть приятнее молодого мужчины, с разметанным разумом, который бы, не утверждаясь ни на чем, старался о всем говорить, который бы своими рассуждениями о важных делах был так же забавен и основателен, как маленькая девушка за куклами?

И не ужасно ли, когда молодой благородный человек вздумает от чистого сердца прилепиться к наукам и представлять особу столетнего старика? Один вид такого невежи жить в большом свете заставит зевать самую учтивую женщину. Но вы, друзья мои, не должны опасаться, чтоб к вам относилась эта укоризна: обожая моду, вы не выступаете из ее правил; вы с искусством убегаете наук и с похвальным усердием храните, как талисман щеголих, наследственное невежество; вы не знаете, что такое есть мыслить, и можете служить первым доказательством, что человеку большого света не нужно иметь ни сердца, ни ума и что тот уже довольно одарен от природы, кто имеет проворный язык и может, не уставая, говорить по десяти часов сряду. Вы, наконец, столь искусно умеете играть лицо маленьких ребяток, что из вас стариков по одним седым волосам узнать мож-

но; вы часто умираете прежде, нежели догадываетесь, что вы живете и зачем вы на свет родились.

Пусть смеются над вами; пусть пишут на вас сатиры, сказки, песни, эпиграммы: вы все это сносите с стоическим терпением, или, лучше сказать, вы ничего этого не видите и доказываете только тем, что ваши сатирики, желая вас переменить, оставляют вам поле сражения... Так точно старый осел, привыкший к понуканиям и к брани своего хозяина, с терпением слушает его восклицания и ругательства... зная, что это один пустой звук, и продолжает свой путь попрежнему, тихим шагом, оставляя хозяина в надежде, что он когда-нибудь его уговорит. Вот пример, которому вы последуете, — и справедливо делаете, друзья мои! Оставьте сатириков кричать и будьте уверены, что, нападая на вас, не вашей пользы, но своей славы они ищут, и вы только служите им богатым оселком, около которого острят они свой разум. Не думает ли свет, чтобы Боало перестал браниться, когда бы Прадон и Котин его исправились? Поверьте, что нет: он бы сыскал кого-нибудь еще глупее для своих насмешек. Сказать ли вам более: перестаньте только дурачиться, вздумайте быть рассудительны, если только это можно, — и сатирики первые огорчатся такою переменою. Вы у них отнимете любимую их пищу, и многие из них помрут с отчаяния, что глупее, смешнее и забавнее вас никого побранить не сыщут. Но посудим философски: достойны ли вы даже и насмешек их и во многом ли они перед вами преимущество имеют?

Говорят строгие нравоучители, что первая и труднейшая должность человека есть победить свои страсти. Но вы, вы не имеете страстей, которые бы были для вас опасны, или, лучше сказать, вы совсем бесстрастны и поступаете так же равнодушно, как прекрасные куклы, показываемые в народных игрищах; и которые приписывают вам волю и страсти, так же обманываются, как мужики, которые, увидя разные движения кукол, думают, что оные делают все кривляньи по своему хотению. Поутру, едва проснетесь, комнатные служители обертывают вас и подымают с постели, после того волосочёс вертит вашею головою, потом возят вас по городу, сажают за стол и к вечеру опять укладывают в постелю: доказывает ли все это, чтобы в вас были хотя малые порывы страстей?

Тогда как важных ваших противников занимают желания, которые почти выше человека; когда они ищут таинства природы, стараются даже проникнуть в связи миров; когда измеривают, сколько далеко отселе до солнца, как будто бы желая вычислить, как дорог им станет туда проезд; когда занимаются топографиею луны; когда они устремляются еще в важнейшие рассуждения и силятся продолжать далее свой путь, несмотря на то, что перед ними открыта его бесконечность, — вы тогда спокойно занимаетесь игрушками; вас утешают зайчики, кареты, собаки, кафтаны, женщины, нередко случаются у вас и драки; но и дети ведь дерутся за свои безделки: ваши ссоры не важнее их, и потому-то вы не более их виноваты.

Вы не занимаетесь тем, далеко ли отселе до Сириуса, и довольны, если кучер ваш знает, близко ли от вас первый хороший трактир или клоб; вы не думаете, солнце или земля скорее вертится, — довольно для вас и того труда, что вы вертитесь с ними вместе, — и это важнейшая работа, которая в жизни вас занимает...

Но, завлеченный восторгом вас хвалить, любезные собратия, я не примечаю, сколь много отдалился я от моего виду, и позабываю, что обширностью моего письма я подвергаю себя опасности не быть никогда вами прочтенным. Приступим же поскорее к самому делу.

Теперь уже ясно, сколь велики ваши выгоды, которых первая важность состоит в том, чтоб блистать остроумием. Щеголь, который не умеет притворяться разумным, не может играть блистательного лица в большом свете, а к сему-то и нужны некоторые правила, приведенные в порядок... Вот предмет моего труда! Я посвящаю его вам, друзья мои, и буду доволен, если один из тех французов, которые готовят вас в свет и учат трудной науке ничего не думать,— если один из тех французов, говорю я, прочтя мои правила, скажет, что они согласны с образцом, по коему он воспитывал благородное наше юношество.

1

С самого начала, как станешь себя помнить, затверди, что ты благородный человек, что ты дворянин и, следственно, что ты родился только поедать тот хлеб, который

посеют твои крестьяны, — словом, вообрази, что ты счастливый трутень, у коего не обгрызают крыльев, и что деды твои только для того думали, чтобы доставить твоей голове право ничего не думать.

2

Приуготовя себя таким прекрасным началом, из коего следуют все другие правила, делающие блестящим человека в большом свете, должен ты отвергнуть некоторые предрассуждения, мешающие иногда блистать остроумием молодому человеку, и для того привыкай заранее шутить над тем, что для предков наших было священно. Ничто так не блистательно, как молодой человек, когда он шутит над важными вещами, не понимая их; при всей мелкости своего ума, он тогда так мил, как болонская собачка, которая бросается на драгунского рослого капитана и хочет его разорвать, между тем как он равнодушно курит трубку, не занимаясь ее гневом. Как мила и забавна смелость этой собачонки, так точно забавна смелость вашего ума, когда огрызается он на вещи, перед коими он менее, нежели болонская собачка перед драгунским капитаном.

3

Должно быть забавным в обществе, уметь убивать время и делить его весело; а к сему нужна только одна наука — играть в карты: она заменяет в большом свете все другие науки. Бойся не играть в карты: ничего нет глупее молодого человека, который, не зная карт, лишен способа кстати проиграть деньги барину или его любовнице... Карты суть душа наших собраний: без них четыре человека, съехавшись, по несчастию, вместе, не знали бы, что делать; и справедливо должно сомневаться, бывали ли, полно, до выдумки карт какие-нибудь собрания.

Французские учители многие очень хорошо делают, что питомцев своих учат играть в карты, и я бы не советовал родителям принимать для своих детей никакого учителя, если он не знает игор, которые в употреблении. Молодой достаточный человек, вступая в свет, может спокойно забыть свои науки, имея деньги и дядюшек: он уже имеет право на невежество и на счастье, но карты ему необходимы:

без них он в лучших домах будет мертвецом, и на него станут указывать пальцами, как на выходца с того свету!.. «Вообразите,— скажут женщины, — он невежа до такой степени, что не может сделать партию в виск!»

4

Будь насмешлив, сколь можно: молодой человек, умеющий осмеять и подшутить, ищется, как клад, в лучшие общества; злословец не может быть дурак: вот определение модного света! Старайся его заслужить, и ты будешь взыскан; но не будь низок и не шути над тем, что в самом деле достойно осмеяния: это знак слабого воображения, если молодой человек смеется над смешными только людьми или вещами: остроумник нынешнего века должен бегать такого недостатка и острить свой язык насчет важных и почтенных людей. Никакой нет славы смеяться над Антирихардсоном и над Мнимым Детушем: это значит бить лежачих; и без тебя весь свет знает, что они гадкие писатели, но если ты будешь смеяться над Ломоносовым или, увидя на театре, станешь бранить славную Ле-Саж и Делпи, то подашь тем знак о превосходстве твоего вкуса, который и столь великими талантами не мог быть удовольствован.

5

Отбери несколько авторов наудачу, затверди их имена, вздумай, что один из них пленил тебя своими красотами, так, как Дон-Кишот вздумал, что его пленила Дульцинея, которой он и в глаза не видывал; таким образом пожаловав одного какого-нибудь автора (тем больше тебе чести, если он иностранный) в свои любимцы, брани других и занимайся им одним, приписывай тем погрешности, которых в них нет, и придавай ему прелести, коих в нем не бывало. Ничего нет милее, как видеть двух молодых щеголей, когда спорят они за своих авторов, не читав их, и мне часто случалось быть свидетелем, как Руссовы эпиграммы над Юнговыми *Ночами* одерживали победу, которая всегда оставалась на той стороне, у чьего защитника здоровее горло.

Маленькие дети ныне очень искусно учатся передразнивать своих родителей, и если им не мешают в таком прият-

ном упражнении, то можно со временем ожидать, что из такого ребенка сделается презабавный для света повеса; такие дети бывают обыкновенно неустрашимого духу, и на пятнадцатом году они уже в состоянии колотить своих отцов или выталкивать их со двора.

6

Умей говорить, не думая; думать прилично ученому, а учение не пристало щеголю, и ты должен остерегаться, чтоб не сказать чего умного. Молодой человек, который говорит умно, очень глуп в большом свете; а ты должен быть забавен: большая часть женщин любит попугаев; хочешь ли и ты теми же самыми женщинами так же быть любим, старайся говорить, как попугай, и ты прослывешь остряком; выучи поутру несколько чужих острых слов и умей их сказать кстати... Твой разум, как женщина, должен быть прибран за уборным столиком: вот ключ к доброй славе. Умей поутру выкрадывать, что надобно тебе говорить днем, и половина города не приметит, что ты невежа.

Есть и другой способ говорить забавно без ума, буде только язык твой гибок и проворен, как трещотка; но это трудная наука, которой только у женщин учиться можно. Старайся подражать им, старайся, чтоб в словах твоих ни связи, ни смысла не было, чтоб разговор твой переменял в минуту по пяти предметов, чтоб брань, похвала, смех, сожаление, простой рассказ, — все бы это, смешанное почти вместе, пролетало мимо ушей, которые тебя слушают, и, наконец, чтоб ты, как барабан, оставлял по себе один приятный шум в ушах, не оставляя никакого смыслу. Молодой человек с такими дарованиями нужен в модном обществе, как литавр в оркестре, который один ничего не значит, но где должно сделать шум, там без него обойтись не можно.

7

Остерегайся быть скромен или ты заставишь думать, что тебе нечего сказывать, а это великий недостаток. Молодой щеголь нынешнего века должен быть то же, что морская труба: принимая в один конец слова, выдавать их тотчас в другой; и чем кто смешнее умеет пересказывать, тем бо-

лее приписывают ему ума. Не заботься, если от таких пересказов родятся ссоры, драки и бедствия: тем более чести пересказчику, чем более и блистательнее действие произведет его пересказ. Легко станется, что ты и бит будешь, но это есть лавры, составляющие лучшее украшение пересказчиков: чем сильнее тебя побьют, тем яснее доказательство, что память и воображение твое обширны; и чем более тебя бранят, тем виднее, что ты привлекаешь к себе внимание. Многие франты совсем забыты от света, не имея дарования переносить вести; а это жалкая участь щеголя, если о нем помнят одни его заимодавцы.

Вот, любезные мои собратия, маленький опыт правил, столь необходимых тому, кто хочет с успехом блистать в модном свете! Пользуйтесь ими; я знаю, что многие французы будут завидовать, для чего другие написали то, чему они словесно учили; но я не самолюбив и охотно признаюсь, что эти прекрасные правила не моей выдумки и что мы обязаны оными тем снисходительным французам, которые, кончив на галерах свой курс философии, приехали к нам образовать наши нравы.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ

в память моему дедушке, говоренная его другом в присутствии его приятелей за чашею пуншу

Любезные слушатели!

В сей день проходит точно год, как собаки всего света лишились лучшего своего друга, а здешний округ разумнейшего помещика: год тому назад, в сей точно день с неустрашимостию гонясь за зайцем, свернулся он в ров и разделил смертную чашу с гнедою своею лошадью прямо по-братски. Судьба, уважая взаимную их привязанность, не хотела, чтоб из них один пережил другого, а мир между тем потерял лучшего дворянина и статнейшую лошадь. О ком из них более должно нам сожалеть? Кого более восхвалить? Оба они не уступали друг другу в достоинствах; оба были равно полезны обществу; оба вели равную жизнь и, наконец, умерли одинаково славною смертью.

Со всем тем дружество мое к покойнику склоняет меня на его сторону и обязывает прославить память его, ибо хотя многие говорят, что сердце его было, так сказать, стойлом его гнедой лошади, но я могу похвалиться, что после нее покойник любил меня более всего на свете. Но хотя бы и не был он мне другом, то одни достоинства его не заслуживают ли похвалы и не должно ли возвеличить память его,

как память дворянина, который служит примером всему нашему окольному дворянству?

Не думайте, любезные слушатели, чтоб я выставлял его примером в одной охоте; нет, это было одно из последних его дарований, кроме сего имел он тысячу других приличных и необходимых нашему брату дворянину: он показал нам, как должно проживать в неделю благородному человеку то, что две тысячи подвластных ему простолюдимов выработают в год; он знаменитые подавал примеры, как эти две тысячи человек можно пересечь в год раза два-три с пользою; он имел дарование обедать в своих деревнях пышно и роскошно, когда казалось, что в них наблюдался величайший пост, и таким искусством делал гостям своим приятные нечаянности. Так, государи мои! часто бывало, когда приедем мы к нему в деревню обедать, то, видя всех крестьян его бледных, умирающих с голоду, страшимся сами умереть за его столом голодною смертью; глядя на всякого из них, заключали мы, что на сто верст вокруг его деревень нет ни корки хлеба, ни чахотной курицы. Но какое приятное удивление! Садясь за стол, находили мы богатство, которое, казалось, там было неизвестно, и изобилие, которого тени не было в его владениях; искуснейшие из нас не постигали, что еще мог он содрать с своих крестьян, и мы принуждены были думать, что он из ничего созидал великолепные свои пиры. Но я примечаю, что восторг мой отвлекает меня от порядку, который я себе назначил. Обратимся же к началу жизни нашего героя: сим средством не потеряем мы ни одной черты из его похвальных дел, коим многие из вас, любезные слушатели, подражают с великим успехом; начнем его происхождением.

Сколько ни бредят философы, что по родословной всего света мы братья, и сколько ни твердят, что все мы дети одного Адама, но благородный человек должен стыдиться такой философии, и если уже необходимо надобно, чтоб наши слуги происходили от Адама, то мы лучше согласимся признать нашим праотцем осла, нежели быть равного с ними происхождения. Ничто столь человека не возвышает, как благородное происхождение: это первое его достоинство. Пусть кричат ученые, что вельможа и нищий имеют подобное тело, душу, страсти, слабости и добродетели. Если это правда, то это не вина благородных, но вина природы, что

она производит их на свет так же, как и подлейших простолюдимов, и что никакими выгодами не отличает нашего брата дворянина: это знак ее лености и нерачения. Так, государи мои! и если бы эта природа была существо, то бы ей очень было стыдно, что тогда как самому последнему червяку уделяет она выгоды, свойственные его состоянию, когда самое мелкое насекомое получает от нее свой цвет и свои способности, когда, смотря на всех животных, кажется нам, что она неисчерпаема в разновидности и в изобретении, тогда, к стыду ее и к сожалению нашему, не выдумала она ничего, чем бы отличился наш брат от мужика, и не прибавила нам ни одного пальца в знак нашего преимущества перед крестьянином. Неужли же она более печется о бабочках, нежели о дворянах? И мы должны привешивать шпагу, с которою бы, кажется, надлежало нам родиться. Но как бы то ни было, благодаря нашей догадке мы нашли средство поправлять ее недостатки и избавились от опасности быть признанными за животных одного роду с крестьянами.

Иметь предка разумного, добродетельного и принесшего пользу отечеству — вот что делает дворянина, вот что отличает его от черни и от простого народа, которого предки не были ни разумны, ни добродетельны и не приносили пользы отечеству. Чем древнее и далее от нас сей предок, тем блистательнее наше благородство, а сим-то и отличается герой, которому дерзаю я соплетать достойные похвалы, ибо более трехсот лет прошло, как в роде его появился добродетельный и разумный человек, который наделал столь много прекрасных дел, что в поколении его не были уже более нужны такие явления, и оно до нынешнего времени пробавлялось без умных и добродетельных людей, не теряя нимало своего достоинства. Наконец появился наш герой Звениголов; он еще не знал, что он такое, но уже благородная его душа чувствовала выгоды своего рождения, и он на втором году начал царапать глаза и кусать уши своей кормилице. «В этом ребенке будет путь, — сказал некогда, восхищаясь, его отец, — он еще не знает толком приказать, но учится уже наказывать; можно отгадать, что он благородной крови». И старик сей часто плакал от радости, когда видел, с какою благородною осанкою отродье его щипало свою кормилицу или слуг; не проходило ни одного

дня, чтобы маленький наш герой кого-нибудь не оцарапал. На пятом еще году своего возраста приметил он, что окружен такою толпою, которую может перекусать и перецарапать, когда ему будет угодно.

Премудрый его родитель тотчас смекнул, что сыну его нужен товарищ; хотя и много было в околотке бедных дворян, но он не хотел себя унизить до того, чтобы его единородный сын разделял с ними время, а холопского сына дать ему в товарищи казалось еще несноснее. Иной бы не знал, что делать, но родитель нашего героя тотчас помог такому горю и дал сыну своему в товарищи прекрасную болонскую собачку. Вот, может быть, первая причина, отчего герой наш во всю свою жизнь любил более собак, нежели людей, и с первыми провождал время веселее, нежели с последними. Звениголов, привыкший повелевать, принял нового своего товарища довольно грубо и на первых часах вцепился ему в уши, но Задорка (так звали маленькую собачку) доказала ему, как вредно иногда шутить, надеясь слишком много на свою силу: она укусила его за руку до крови. Герой наш остолбенел, увидя в первый раз такой суровый ответ на обыкновенные свои обхождения: это был первый щипок, за который его наказали. Сколь сердце в нем ни кипело, со всем тем боялся отведать сразиться с Задоркою и бросился к отцу своему жаловаться на смертельную обиду, причиненную ему новым его товарищем. «Друг мой! — сказал беспримерный его родитель; — разве мало вкруг тебя холопей, кого тебе щипать? На что было трогать тебе Задорку? Собака ведь не слуга: с нею надобно осторожнее обходиться, если не хочешь быть укушен. Она глупа: ее нельзя унять и принудить терпеть, не разевая рта, как разумную тварь».

Такое наставление сильно тронуло сердце молодого героя и не выходило у него из памяти. Возрастая, часто занимался он глубокими рассуждениями, к коим подавало оно ему повод; изыскивал способы бить домашних своих животных, не подвергаясь опасности, и сделать их столь же безмолвными, как своих крестьян, по крайней мере, искал причин, отчего первые имеют дерзости более огрызаться, нежели последние, и заключил, что его крестьяне ниже его дворовых животных.

Чадолюбивый отец, приметя, что дитя его начинает ду-

мать, заключил, что время начать его воспитание, и сам посадил его за грамоту. В пять месяцев ученик сделался сильнее учителя и с ним взапуски складывал гражданскую печать. Такие успехи устрашили его родителя. Он боялся, чтобы сын его не выучился бегло читать по толкам и не вздумал бы сделаться когда-нибудь академиком, а потому-то последнею страницею букваря кончил его курс словесных наук. «Этой грамоты для тебя полно, — говорил он ему, — стыдись знать более: ты у меня будешь барин знатный, так непристойно тебе читать книги».

Герой наш пользовался таким прекрасным рассуждением и привык все книги любить, как моровую язву. Ни одна книга не имела до него доступа. Я не включаю тут рассуждения Руссо о вредности наук; вот одно творение, которое снискало его благосклонность, по своей привлекательной надписи. Правда, он и его не читал, но никогда не спускал с своего камина. «Прочти только это, — говаривал он, когда кто вздумает хвалить перед ним науки,— прочти это, и ты будешь каяться, что в тебе более ума, нежели в моей гнедой лошади! О, Руссо — великий человек!» — продолжал он и после этого принимался с подобострастием считать листы в его сочинении. Это было величайшее его снисхождение к учености, которое оказывал он только одному сочинителю *Новой Элоизы.*

Время, наконец, наступило записывать его в службу, и редкий родитель его, отпуская, дал сыну своему последнее наставление. «Помни, любезный сын, — говорил он ему, — что у тебя две тысячи душ, помни, что ты старинный дворянин и остался один в своем роде. Итак, береги себя, не подражай бедным людям, которые, не имея куска хлеба принуждены на службу тратить здоровье. Служи так, чтобы не быть разжаловану, а о достальном не пекись. Пусть бедные ищут чинов, а нашу братью, богатых, чины сами должны искать. Будь только порядочного поведения, то есть не выходи из передней знатных, более всего берегись досадить женщине, сколь бы низкого состояния она тебе ни казалась: наружное состояние женщины бывает сходно с молодым деревом, которое сколь ни кажется слабо и презренно, но часто корень его глубоко под землею сплетен с корнем великого дуба, который может задавить тебя своею тяжестию. Короче, вот тебе в двух словах мое завещание: я не требую,

чтобы ты возвратился заслуженным, но чиновным»,—и после сего наградил он его своим родительским благословлением и двумя тысячами рублей на дорогу. Спустя же три дни после его отъезду кончил свою знаменитую жизнь.

Сколь ни жаден был наш герой пользоваться наставлениями, со всем тем благородная его душа неохотно приняла сии последние или, лучше сказать, он из них одобрил половину, то есть, последуя отцу своему, не хотел он служить, но не хотел также состареться в передних. Эти два правила поссорили его с двумя его дядюшками, со службою и сделали философом; суеты большого света скоро ему наскучили; он видел, что куда он ни приходил, то или он зевал, или над ним зевали, и взял миролюбивое намерение расстаться со светом, видя по всему, что они друг другу не надобны.

Редкое великодушие, неподражаемая скромность, — сии два любезные качества видны в нем были с самого приезду его в столицу. Честолюбивый на его месте, имея столь знатную родню, как он, не отстал бы от больших обществ и искал бы въезду в первые домы, но герой наш просиживал целые ночи в трактирах. Он убегал пышности и часто под вечерок из толпы завидливых игроков возвращался домой смиренно без кафтана. Он не был злопамятен и очень спокойно обедал там, где накануне били его за ужином! терпелив был до крайности. Я сам, государи мои, был свидетелем, с какою умильною кротостию принимал он побои от своих приятелей и после с ними вместе запивал свое горе. Иной бы честолюбивый, на его месте, повторяю я, был соблазнен примерами большого света и увлечен его суетами, но он равнодушно слушал вести, что такой-то его сверстник пожалован, что тому дано место, другому награждение. Всем этим не тронута была великая его душа, и он, зевая, стоически слушал такие новости. «Может быть, половину этих чиновников мне же кормить достанется, — говаривал он, — полно и того, что у меня есть две тысячи душ: это такой чин, с которым в моем околотке везде дадут мне первое место». «Все суета сует», — так заключал он обыкновенно свои рассуждения и после того, оставясь кругом дюжиною бутылок портеру, садился метать банк.

По сему можете вы заключить, милостивые государи, что общества его были хотя не пышные, но весьма веселые.

Правда, замешивались иногда в них люди чиновные, но обыкновенно первые две дюжины бутылок восставляли во всей беседе совершенное равенство и дружество. Но это не было скучное дружество, заведенное лет на пять: нет, это было вольное и благородное дружество — такое, что часто, не конча еще взаимных о нем уверений, вцеплялись друг другу в виски, но без всякой злобы, и нередко для одного препровождения времени.

Вот, государи мои, образ городской его жизни: он, не гоняясь за счастием, искал одних удовольствий; он не ездил по этикету зевать в большие домы, но, любя вольность, часто в своих дружеских беседах засыпал под столом; он не занимался тем, чтоб когда-нибудь привлечь на себя внимание всего света: ему довольно было и того, что имя его знали наизусть во всех трактирах и кофейных домах. Он никогда не намеревался быть политиком, но не для того, чтоб недоставало ему ума: нет, государи мои, он был слишком умен и нередко даже был за это бит от своих приятелей за картами, где более всего щеголял он остроумием. Но как ум гоним в целом свете, то очень скоро наскучил он быть умным и зачал играть в карты с философскою простотою и с благородною доверенностию: друзья его, вместо того чтобы удивляться сим любезным качествам, в два месяца очистили все его имение и оставили нашего философа полунагим, несмотря на то, что северный климат совсем не удобен к цинической философии.

Всякий бы другой изнемог духом в таких стесненных обстоятельствах; всякий бы пришел в отчаяние, но он не поколебался нимало и, сидя дома, с крайним умилением сердца ожидал, как заимодавцы поведут его в тюрьму. Как Юлий, не бежал он от своего несчастия и даже не выходил за ворота, хотя тогдашними темными вечерами мог он прогуливаться по улице в одном камзоле и туфлях, не нарушая городской благопристойности. Он не искал даже помочь своему несчастию. «Что будет, то будет», — говорил он, зевая неустрашимо. И судьба наградила его к ней доверенность. Тогда как казалось, что он оставлен от всего света; когда все ворота были для него заперты, выключая ворот городской тюрьмы; когда в кухне его, как в Риме, не осталось ни тени древней славы и, что всего бедственнее, когда последнюю бутылку портеру у него разбила испостившаяся

кошка, искав с таким же усердием черствой корки, с каким Колумб искал новой земли; когда, говорю я, все сии несчастия собрались вокруг него, тогда родной его дядя, славный своею экономиею, которую храня двадцать лет уже он не ужинал, вздумал, наконец, и не обедать, оставя в наследство герою нашему пять тысяч душ и сто тысяч денег.

Может быть, подумаете вы, что это сделало его надменным? Нимало! В тот же день пошел он к знакомому винному погребщику, напился с ним вместе и очень смиренно провел у него ночь на голом кирпичном полу.

Но уже страсти в нем начали угасать, и он, пользуясь прошедшими своими несчастиями, не захотел более ни в которой масти искать счастия, получил чин, пошел в отставку и намерился удалиться в свои деревни, дабы украсить собою наш уезд; имея же к шумным прощаньям отвращение, уехал из города, не уведомя ни одного своего заимодавца. Может быть, по скромности его, нравился ему также французский обычай уходить не простясь, ибо, свидетельствуют достовернейшие маркеры, что, когда только мог, уходил он по-французски из трактиров, сколь ни убедительно они ему за то пеняли.

Наконец удалился он от городского шуму и вступил в новое поприще для испытания своих дарований, и вы, государи мои, сами были свидетели, как сильно умел он ими блистать.

Едва появился он здесь, как объявил открытую войну зайцам и набрал многочисленную армию псов; наблюдая пользу поселян, хотел он истребить весь заячий род и сдержал свое слово. Правда, многие из строптивых его крестьян кричали, что они бы лучше хотели кормить зайцев, нежели бесчисленное множество псов и тунеядливую шайку охотников; что им милее было в хлебе своем встретить зайца, нежели полсотни лошадей и вдвое более того собак. Но герой наш, умея кстати и к месту пересечь сих рассказчиков, укротил их роптания и продолжал непримиримую ненависть к зайцам, как Аннибал к римлянам, а чтобы вернее их выжить, то вырубил и продал свои леса, а крестьян привел в такое состояние, что им нечем было засевать поля. С каким внутренним удовольствием герой наш выезжал тогда на поля и находил их так чистыми, как скатерть, не тревожась сомнением, чтобы где мог скрыться заяц. В три года обрил он так чисто свои земли, что неустрашимейшие

зайцы могли в них искать одной только голодной смерти. «Скажи, — спрашивал у него некто, — не лучше на землях своих видеть тысячу сытых зайцев, нежели пять тысяч голодных крестьян, и не смешон ли тот, кто зажжет свой дом, желая выжить из него тараканов?» — «Молчи только, — отвечал наш герой, — я сам знаю, что моим крестьянам есть нечего, но еще лет пять, и зайцы позабудут мои земли: они будут бегать их, как песчаной степи. А тут-то я и обману весь этот род трусливых грабителей, восстановя прежний порядок и изобилие».

Какой редкий ум, милостивые государи! Имел ли кто когда-нибудь такое великое и смелое предприятие? Нерон зажег великолепный Рим, чтобы истребить небольшую кучку христиан. Юлий побил множество сограждан своих, желая уронить вредную для них власть Помпея. Александр прошел с мечом через многие государства, побил и разорил тысячи народов, кажется, для того, чтобы вымочить свои сапоги в приливе океана и после пощеголять этим дома. Но все эти намерения и труды не входят в сравнение с подвигами нашего героя. Те морили людей, дабы приобрести славу, а он морил их для того, чтобы истребить зайцев. Но судьба, завидующая великим делам, не дала совершить ему своего намерения, подобно как множество других героев, которые, захватя себе дел тысячи на две лет, умирали на первом или на втором году своего предприятия.

Вот, государи мои, подвиги героя, которые... Но что я вижу! Любезные мои слушатели заснули с умилением, почтенные головы их лежат, как прекрасные бухарские дыни, вокруг пуншевой чаши. Торжествуй, покойный мой друг! Твои друзья, любя тебя, наследовали твои нравы. Так точно некогда засыпал ты на своих веселых вечеринках с половину окунутым в ендову носом. Увернись, если можешь на одну минуту от Плутона, взгляни из-под пола на твоих друзей, потом расскажи торжественно адским жителям, какое приятное действие произвела похвала твоей памяти, и пусть покосятся на тебя завидливые наши писатели, которые думают, что они одни выправили от Аполлона привилегию усыплять здешний свет своими творениями.

КАИБ

Восточная повесть

Каиб был один из восточных государей; имя его наполняло вселенную. «Слава твоя, — говорил ему некто из его стихотворцев, — слава твоя была бы подобна солнцу, если бы оно не заходило». Каибу нравились хорошие сравнения; и за это, пожаловав его в евнухи, сделал смотрителем над своею сералью. Богатства Каибовы были неисчерпаемы; дворец его, говорит историк, был обнесен тысячию яшмовых столбов, коих капители были изумрудные, коринфского ордена, а тумбы из чистого литого золота; дворец сей был сделан из черного мармора, и стены его были столь гладко вылощены, что лучшие щеголихи смотрелись в них, как в зеркало. Окны были пропорции новейшей италиянской архитектуры, немного более того, как делаются городские ворота, и во всяком окне было только по одному стеклу, но которые были так тверды, что потачливейшие мужья нынешнего времени не в состоянии были бы прошибить их своим лбом. Крышка была из листового серебра, но столь чисто отработанного, что часто в ясные дни целый город сбегался ко дворцу, думая, что он горит, когда всю сию тревогу производило одно ее сияние. Заметь, любезный читатель, что все это говорит Каибов историк.

Внутреннее великолепие дворца поражало всякого, кто туда ни входил: простолюдимов ослепляло золото, жемчуг и

каменья, коих было более, нежели ортографических ошибок в наших новых писателях. Знатоков привлекало искусство, блистающее во всех украшениях дворца: там развевали завесы из непроницаемого штофу, который был толще всех четырех частей *Беседующего Гражданина*, переплетенных вместе; там блистала резьба, отделанная с такою чистотою, что никакой бы автор не пожелал видеть лучшей чистоты на переплете своих сочинений; многие комнаты украшены были живописью, обманывающею зрение, и надобно отдать справедливость Каибу, что хотя не пущал он ученых людей во дворец, но изображения их делали не последнее украшение его стенам. Правда, стихотворцы его были бедны, но безмерная щедрость его награждала великий их недостаток: Каиб велел рисовать их в богатом платье и ставить в лучших комнатах своего дворца их изображения, ибо он искал всячески поощрять науки; и подлинно, не было в Каибовом владении ни одного стихотворца, который бы не завидовал своему портрету.

В другом месте, продолжает историк, видны были из драгоценных перьев чучелки, сделанные с таким вкусом, что сколько ни старались придворные дамы подражать им в пестроте своих одежд, но часто с досадою видели, что на прекрасных чучелок любовались более, нежели на них. В иных местах резвились на золотых цепочках забавные обезьяны, которые кривлялись с такою приятностию, что искуснейшие придворные ставили за честь у них перенимать, а нередко, по слабости человеческой, выдумки обезьян выдавали за свои, отчего между тогдашних обезьян и придворных была великая вражда, о коей историю в тридцати шести томах в лист издала тамошняя академия. Там, на великолепных пьедесталах, блистали Каибовых предков бюсты, которые высокостью работы не уступали своим высоким подлинникам.

Внутренние комнаты его убраны коврами столь редкой красоты и цены, что величайшие цари, современники Каибовы, приезжали играть на них шемелой и приказывали историографам записывать это в число величайших своих подвигов. Зеркала его хотя были по двенадцати аршин длиною, из чистой стали, но не столько почитались редкими по своей величине, как по свойству, данному им некоторою волшебницею: зеркала сии имели дар показы-

вать вещи в тысячу раз прекраснее, нежели они есть. Старик видел себя в них молодым красавцем, изветшалая кокетка — пятнадцатилетнею девушкою, урод — пригожим, а разгильдяй — ловким. Со всем тем Каиб никогда в их не смотрелся, а держал для одних своих придворных, и то для того, чтоб забавляться, видя, как отвратительнейшие лица перед сими зеркалами спорят о своей красоте и заводят ссоры, которыми Каиб любовался. Тысячи попугаев говорили в его клетках скоропостижные вирши; многие из сих попугаев были красноречивее тогдашних академиков, хотя академия Каибова почиталась первою в свете потому, что ни в какой академии не было такого богатого набора плешивых голов, как у него, и все они бегло читали по толкам, а иногда очень четко писали к приятелям письмы. Со всем тем многие уступали в красноречии попугаям, из коих многих Каиб, любя ученость, сделал членами академии только за то, что они умели выговаривать чистенько то, что выдумал другой. Что ж до изобилия, то Каибов двор превосходил оным все восточные дворы, и последний ложкомой Каибов ел вкуснее, нежели у Гомера цари. Календарь Каибова двора был составлен из одних праздников, и будни были там реже, нежели именины Касьянов.

Сераль его был наполнен первыми красавицами в свете, из коих не было ни одной старее семнадцати лет. Сколь фабрики ни стараются ныне доходить до совершенства в составлении румян, но лучшие румяны показались бы дикими в сравнении с природным румянцем последней из его султанш. Девушки его не портили своих прелестей излишними жеманствами; они не падали в обморок от пауков и тараканов, для того чтобы разметаться приятным для глаз образом. Когда находила на них задумчивость, столь обыкновенная семнадцатилетнему женскому возрасту, то не принимали они чистительного, чтобы иметь лучший цвет лица. Великолепные его конюшни наполнены были редкими лошадьми, которые были статнее наших щегольков и послушнее первых его визирей. Ледники его трещали под тяжестью вкуснейших вин. Сами боги, говорят, с удовольствием напивались в его погребах допьяна и предпочитали вина его нектару, который опостылел им с тех пор, как стихотворцы начали разливать его своим героям так же небрежно, как бабы льют коровам помои.

Весь свет, взирая на Каиба, почитал его счастливым; типографщики наживались, издавая претолстые книги о его блаженстве. Когда стихотворцы тогдашнего времени хотели описать торжества богов и райские веселия, то не иначе к тому приступали, как доставши через какого-нибудь евнуха случай втереться между музыкантов, чтобы посмотреть придворного великолепия и серальских праздников; однако ж, и на то несмотря, описания их божеских пиров часто пахли гнилою соломою, на которой они сочинены. Весь свет кричал, что Каиб счастлив, и один только Каиб знал, что это неправда; но он никому этого не говорил, боясь, чтобы не сочли его неблагодарным противу благодеяний судьбы, чего он всегда остерегался. Он часто в своих стихотворцах читал описания своего счастья и смеялся пустому их воображению; или иногда завидовал для чего не был он так же слеп, как они, чтоб видеть себя только со счастливой стороны. Как бы то ни было, а Каиб не столько был счастлив, сколько о нем кричали; в сердце его оставалась какая-то пустота, которую не могли дополнить окружающие его предметы. Придворные господчики, женщины, обезьяны, попугаи — ничто его не увеселяло: на все это с высокого своего престола смотрел он позевывая; иногда улыбался на скачки обезьян или на кривлянья придворных, но в сих улыбках видно было более сожаления, нежели удовольствия.

Весь двор примечал, что он был задумчив, но никто не мог выдумать, чем бы его позабавить; и обер-шут его двора, который был шутоватее всех италиянских опер вместе, с отчаянием видел, что высочайший его владетель уже два месяца не давал ему щелчков по носу; все это заметили и заключили, что он уже не в такой большой силе у двора, как был за два месяца, когда, к досаде своих завистников, всякий день получал он пинков по двадцати в зад, по стольку же щелчков по носу и показывал всем на боках своих знаки Каибовой к себе милости.

Но что была за причина Каибовой скуки? Вот чего никто не знал, а что всего чуднее, то это и самому ему было не известно. Он чувствовал, что ему чего-то недостает, но не мог познать, в чем этот недостаток; ему казалось, что он один во всей вселенной, или, что еще ближе, как будто был иностранец между миллионами людей, им одолжен-

ных, которые не могли его разуметь, ни помочь его скуке.

Сперва подумал он, что сему причиною любовные желания, и бросился искать счастья в серале; но самые скромные девушки показались ему кокетками, которые, желая ему угодить, искали только своей пользы; правда, всякая из них хотела, чтоб на нее брошен был султанский платок, но часто более для того, чтобы тем досадить своей совместнице, нежели сделать его счастливым. Желание ему нравиться было смешано во всех сердцах с желанием корысти или с честолюбием; он заметил по повторению, что все приветствия, все ласки выучены были наизусть и в месяц сераль так ему наскучил, что он перестал в него заглядывать и заключил, что не с этой стороны должен искать счастия.

Каиб вздумал потом, что скорее всего разгонит грусть свою новыми победами; повелел — и вдруг армия, многочисленнее древней, Ксерксовой, и не уступающая в храбрости грекам, умершим при Термопилах, была готова и двинулась собирать лавры. Война загорелась, — открылось поле славы для героев и для стихотворцев; сочинители мелкого разбору зачали заготовлять пирамиды од, надеясь при первом случае сбыть их за хорошую цену. Многие жены поседелых героев заранее любовались перед зеркалами, сколь пристанет к ним траур, и твердили науку упадать в обморк, чтобы пользоваться ею, когда принесут к ним весть о кончине их мужей; купцы возвысили цену на черные материи; сочинители эпитафий сделались неприступны.

Первые две победы, одержанные Каибовыми войсками привели его в восхищение; третью новость о победе слушал он равнодушнее; наконец зачал уже зевать, слушая такие новости, и решился дать свету отдых. Войска возвратились, обремененные славою и корыстями, а Каибова зевота не уменьшилась, и он не без зависти взирал, что полунагие стихотворцы его более ощущали удовольствия, описывая его изобилие, нежели он, его вкушая.

В одну ночь, удивляясь неодолимой своей скуке, ворочался Каиб на своих пышных пуховиках, и сон, как будто не смея войти в царскую спальню, заставлял храпеть в ближней комнате его служителей. Вдруг увидел он, что его любимец кот гонялся за мышью. Она всячески старалась от него увернуться. Так точно часто челобитчик желает увер-

нуться от подарка своему судье; но напрасно заговаривает он с ним о дурной погоде и о хорошей, о старых временах и о нынешних, хотя бы заговорил он с ним о Эмпедокловых туфлях, взяткобратель и от них искусно склонит речь на то, что ему надобны деньги. То же происходило и у мыши с котом: стараясь его обманывать, металась она в разные стороны, искала спасения по всем углам... и вдруг вскочила к султану на кровать. Какая бы красавица утерпела при сем прекрасном случае, чтобы не броситься с постели стремглав, не поднять содому, не скликать весь свет, ежели можно и, наконец, чтобы потом не упасть раза два, три в обморок? Но Каиб был неустрашим: он не боялся мышей, пауков, тараканов и с радостию бедную мышку принял под свое покровительство; притом же начитался, ибо он любил учености, и *Тысячу одну ночь* всю знал наизусть; он начитался, что в таких случаях делаются великие чудеса, как прекрасная Шехеразада — сей неподражаемый историк его предков — свидетельствует; а Каиб верил сказкам более, нежели Алкорану, для того что они обманывали несравненно приятнее.

Дело и подлинно кончилось чудом: менее нежели в минуту, гонимая мышь превратилась в прекрасную женщину, Какой вздор! — скажет любезный мой читатель, но прошу не дивиться: в Каибов век была такая мода на чудеса, как ныне на аглинские шляпки, и тот дом, в котором не случалось в неделю по крайней мере два чуда, был так же смешон, как ныне дом, где не играют в карты.

«Каиб, — сказала ему превращенная женщина, — ты спас мне жизнь; должно, чтоб я усладила твою: благодеяние рождает благодарность. Проси от меня, чего ты хочешь, и я в минуту исполню твое желание, хотя бы оно целило на богатства всего света».

«Великодушная фея! — вскричал удивленный Каиб,— не имею я нужды в сокровищах; они столь велики, что сколь визири меня ни обворовывают, но ущерб в них так же мало приметен, как ущерб в Эзоповой реке, которую хотели выпить жадные собаки; и я надеюсь, что мои собаки так же перелопаются прежде, нежели вылакают море моих сокровищ; из сего можешь ты заключить, нужно ль мне желать их более? Сколь ни бесценною великий наш муфтий почитает свою бороду, но если бы захотел я соблазнить чест-

ного этого старца, то бы всю ее мог скупить по волоску, нимало не расстроив своих богатств. У меня нет также недостатка в красавицах; природа меня не обидела, и мой взгляд еще не находил ни одной спорщицы в любви,—столько-то одарен я способностию нравиться! Впрочем, состояние мое столь блестяще, что спустя еще семьдесят лет не будет при моем дворе ни одной Венеры, которая бы не захотела меня иметь своим Адонисом; и хотя природа станет им противоречить, но воображение, конечно, ее победит. Может быть, пожелал бы я славы; но стихотворцы мои, хотя и спят сами на открытом воздухе, а мне настроили столько храмов славы, что если бы можно было их составить вместе на земле, то бы вышел из них город пространнее Пекина и великолепнее древнего Рима. Итак, ты видишь, что мне ни в чем нет недостатка. Со всем тем я зеваю, и по этому-то одному догадываюсь, что мне чего-нибудь недостает, но что это такое, того ученейшие из моих подданных отгадать не могут».

«Каиб, — сказала ему волшебница, — желание твое исполнится: я знаю, что нужно к твоему блаженству. Исполни, что написано на этом перстне (при сем подала она ему перстень). Завтра поутру начни свой труд; но берегись его оставить. Как же скоро успех увенчает его, то не будет человека на земле, который бы мог с тобою сравняться блаженством. Прости и помни, что я всегда готова к тебе на помощь; как же скоро буду я тебе нужна для какого-нибудь совету, то вот тебе целый том од одного из бесприютных строителей храмов славы: едва прочтешь ты одну строфу, как на тебя найдет беспамятство; в сие-то время буду я тебе являться и давать нужные наставления. Прости, государь!» — повторила волшебница и в миг исчезла.

Каиб, отворотясь к стене, захрапел, оставя до утра исследование дела; он даже — подивись прекрасный и любопытный пол! — он даже не посмотрел, что написано на перстне.

На другой день нашел он на нем вырезанные сии слова: «Ступай не медля и ищи человека, который бы назывался твоим врагом, не зная, что тебя любит, и который бы тогда ж назывался твоим другом, не зная, что тебя ненавидит. Тот, в котором увидишь ты сие противоречие, один может излечить тебя от твоей зевоты». Вот довольно огром-

ная для перстня надпись! — скажет критик... Может ли она уместиться на перстне? это невероятность!» — очень сожалею, когда свет ныне так испортился, что не верит сказкам; впрочем, вообрази, милостивый государь мой, такой перстень, на котором бы вся эта надпись поместилась, и критика исчезнет. «Но где же взять такую руку, которой бы в пору был этот перстень?» — спросят меня опять. О! кто знает Голиафа и Атланта, тот поверит, что на их перстнях можно было уписать более, нежели на надгробных досках людей нынешних веков.

«Милостивейший государь! — сказал Каибу шут, увидя сию надпись, — перстень этот есть явное на меня гонение моих неприятелей». — «Почему ты это думаешь?» — спрашивал его Каиб. «Повелитель правоверных! — продолжал шут, — тебе советуют лечиться от скуки и не прописывают меня лекарством: не явное ли это желание унизить мой сан и силу? Как будто бы моя священная должность — смешить ваше величество — ничего не значила!» — «Не опасайся, — отвечал калиф, — изо всех моих визирей никто так хорошо, как ты, сорокою не скачет; итак, мои милости к тебе непоколебимы». — «Еще слово, государь,— вскричал шут, целуя его полу; — время, пожирающее все, может и меня лишить моих способностей служить вашему величеству, и я потеряю свою легкость; опасаясь, чтоб враги мои тогда не восторжествовали, предпринял я заранее оставить двор».— «Пустое, пустое!—вскричал Каиб,—разве не можешь ты при моем дворе сыскать дела? Выучись к тому времени ползать черепахою». Шут еще раз поцеловал полу его одежды, а Каиб, не сказав истинного происшествия своего перстня, зачал в самом деле заниматься своим предприятием.

На другой день Каиб созвал свой диван, чтобы подумать обстоятельнее о своем важном предприятии. Надобно приметить, что Каиб ничего не начинал без согласия своего дивана; но как он был миролюбив, то, для избежания споров, начинал так свои речи: «Господа! я хочу того-то; кто имеет на сие возражение, тот может свободно его объявить: в сию ж минуту получит он пятьсот ударов воловьею жилою по пятам, а после мы рассмотрим его голос». Таким удачным предисловием поддерживал он совершенное согласие между собою и советом и придавал своим мнениям та-

кую вероятность, что разумнейшие из дивана удивлялись их премудрости. И для того-то хотя иногда терпел он визирей с крепкою головою, но не мог терпеть тех, у коих крепки были подошвы. «Такие люди, — говаривал он, — всегда думают, что они умнее других и они для меня не годятся. Мне надобны визири, у которых бы разум, без согласия их пяток, ничего не начинал». Теперь, любезный читатель, можем мы продолжать нашу повесть.

Каиб представил, что ему нужно выехать из города тайно месяцев на восемь или более; что от этого зависит его спокойствие, а следственно, благополучие целого государства; что в сие время не может он управлять никакими делами; что более всего нужно скрыть его путешествие от народа и, следственно, не остановлять никаких дел; что, наконец, во всем этом полагается он на их рассуждение.

Диван разделился на две стороны; одни говорили из учтивости, что калиф нужен государству и что оно не может обойтись без его высокой особы так долгое время, другие говорили, из учтивости же, что он может исполнить свое предприятие и что государство ничего не потеряет, если он отлучится на несколько месяцев. Каиб дал им волю спорить и между тем занимался будущим своим путешествием. Наконец, наскуча шумом, сказал: «Господа! я так хочу». Визири первого мнения, вспомня, что у них есть пятки, согласились с визирями последнего мнения. Путешествие было определено.

«Друзья мои! — сказал калиф, — я признателен к вашей сговорчивости; и хотя ни у какого калифа люди за слово *так* не получают столь большого жалованья, как у меня; хотя никакой султан не содержит такого числа полезных государству людей, при важной должности выговаривать чисто *так*; но вы столь усердно исполняете свое почтенное звание, что я охотнее издерживаю деньги на вас, нежели на лучших арабских лошадей и китайских кукол. Из сего вы можете заключить, как приятно мне всегда видеть у двора своего разумных людей, коих премудрые советы полезны государству столько же, сколько скотные дворы полезны хлебопашеству».

Чувствительные визири были тронуты до слез такою похвалою, а Каиб, улыбаясь, продолжал: «Итак, когда вы согласны, то ничто уже не остановит моего путешествия;

по мне еще нужен благоразумный ваш совет: я уже сказал, что отъезд мой должно скрыть от народа и что нужно не оставлять государственных дел; а к сему-то я еще никаких способов не выдумал; и если б не надеялся на ваше остроумие, то бы отчаялся согласить эти две вещи. Итак, любезные визири, присоветуйте мне, кто из вас как думает? Тому же, кто лучшее подаст мнение в сих важных обстоятельствах, обещаю я подарить полное собрание арабских сказок в богатом сафьянном переплете и перевод Конфуция, писанный в лист, на такой твердой бумаге, из которой можно сделать прекрасные летучие змеи». Визири все видали перевод Конфуция, были охотники спускать змеи и не менее любили арабские сказки. Богатое обещание щедрого Каиба воспламенило их воображение, и они все пошли на голоса.

Первый был Дурсан, человек больших достоинств: главное из них было то, что борода его доставала до колен и важностию походила на бунчук. Калиф сам хотя не имел большой бороды, но он знал, что такие осанистые бороды придают важность дивану, и потому-то возвышал Дурсана по мере, как вырастала его борода; а когда, наконец, достала она до пояса, тогда допустил он его в свой диван. Дурсан, с своей стороны, не был беспечен: видя, что судьба назначила его служить отечеству бородою, ходил он за нею более, нежели садовник за огурцами, и до последнего волоска держал на счету. Впрочем, делал он много важных услуг отечеству: когда бывал при дворе праздник, тогда наряжался он пышнее всех женщин; и когда у калифа случалась бессонница, тогда сказывал он ему сказки. Сей-то знаменитый муж начал таким образом:

«Великий обладатель океана, самовластный повелитель известных и неизвестных земель и законный наследник всех монархий, какие только будут открыты! Для такой мелкой словесной твари, как я, велико уже и то снихождение, что ты попускаешь ей думать; но с чем могу сравнить мое блаженство, когда ты, великий монарх, позволяешь мне объяснить пред тобою мысли мои и, что еще более, требуешь моего совета! Но солнце может ли от земли заимствовать свет? Нет, великий обладатель правоверных! Подобно я не рожден ни думать, ни говорить пред тобою, ниже знать, что ты думаешь! Голова твоя так же непостижима, как священный наш Коран; а голова моя пред тобою то же, что подушка,

на которой я сижу; оба мы счастливы твоею щедростию, и лизать прах ног твоих есть священнейшая и важнейшая моя должность, коею наградил ты слабые мои способности. Велико уже и то мое счастие, когда употребляешь ты меня вместо морской трубы, чтобы объявлять мною рабам свои повеления».

«Это все правда, любезный Дурсан, — отвечал калиф, — я радуюсь, видя, что ты помнишь свои права... Но иногда философ видит перед собою пылинку, которую пренебрегает; потом, всматриваясь, познает, что пылинка эта двигается; наконец, разбирая далее, узнает в ней тварь чувствующую и находит, что сколь ни мало это насекомое, но оно может приносить ему пользу. Мы, калифы, обязаны вам, людям, такою же справедливостию. Часто, смотря на вас, пресмыкающихся, сомневаемся мы, можете ли вы думать; но, рассматривая далее, находим, что и вы иногда удобны рассуждать; и хотя неоспоримо, что мозг ваш не может быть такой же доброты, как мозг потомков великого Магомета, избираемых управлять вселенною, со всем тем и ваши рассуждения можно иногда употреблять с пользою: и они бывают довольно изрядны, а особливо в сравнении с рассуждениями черни, так что, под нашим смотрением, действительно можно дозволять вам мыслить. Итак, любезные визири, скажите мне ваши мнения. Не опасайтесь, если и глупо вздумаете: я знаю, что вы люди; природа не создала вас калифами». После такой скромной речи Каиб обратился к Дурсану, чтобы его дослушать.

«Когда обладатель земли повелевает мне объявить мои мнения, — говорил Дурсан, — то, волю его ставя своим законом, скажу устами, что чувствую сердцем. Итак, государь, нет больших препятств ни скрыть путешествия твоего от народа, ни продолжать государственных дел. Для первого нужно немедленно выдать повеление, чтобы подданные твои падали ниц на землю, когда мимо их будешь проезжать, и, под опасением смертной казни, страшились бы на тебя взирать. Если повелитель правоверных дозволит, то я беру на себя сочинить сие повеление, в котором докажу ясно, как непростительно дерзновение знать в лицо обладателя подлунного света и сколь велико оскорбление священной его особы, если черты ее впечатлеваются на грязном мозгу простолюдима; сколь, напротив того, спасительно валяться

на земле, уткнувшись носом в грязь, когда проезжает мимо великий повелитель морей и суши. Потом, государь, дабы приучить к сему твоих подданных, можешь ты сделать несколько выездов по городу, и стоит только повесить первую дюжину любопытных, чтобы достальному числу верных рабов твоих отбить охоту подымать взоры до священного чела твоего. После сего можешь ты спокойно ехать. Мы же, одевши пышно куклу, будем привязывать ее к твоей верховой лошади и возить всякий день по городу, возвещая народу, что это ты сам... Все упадут ниц; и тот будет великий чародей, кто затылком узнает разницу между куклою и твоею священною особою. Сие можем мы продолжать до твоего возвращения. Если же к кукле сей приделать такие величественные усы, какими ты удивляешь вселенную и превосходишь всех монархов, то тайна будет еще непостижимее. Что ж до правления дел, то можешь ты, до возвращения своего, поручить их тому, кому более всего доверяешь; и не излишнее бы было, если б выбор твой, в таком важном случае, пал на человека достойного, с почтенною бородою, коея длина была бы мерою его глубокомыслия и опытности. Ибо, великий государь, непокорнейшие сердца смотрят на длинную бороду как на хороший аттестат, данный природою. Такой человек пусть именем твоим производит дела и дает повеления, коих вся добрая слава упадет на тебя, и никто из народа не приметит твоего отсутствия». После сего Дурсан замолчал и начал разглаживать длинную свою бороду.

«У тебя довольно пылкое воображение,— сказал калиф,— и если б я был более горд, то бы употребил твои советы; но, любезный Дурсан, мне не нравится, чтобы мои народы валялись по грязи во время моих выездов. Мне приятнее, когда подданные мои продираются друг сквозь друга меня смотреть и после спорят, из какого вещества я создан; мне очень мило слышать, как одни говорят, что я весь вылит из серебра, другие, что я скован из золота; что я за тысячу миль вижу блоху так же свободно, как будто бы сидела она у меня на носу, и что я один в день столько же могу съесть, сколько целая армия в неделю, не опасаясь нималого отягощения в желудке. Такие прекрасные рассуждения и заключения меня забавляют, и мне жаль отнять у народа свободу меня смотреть, когда он с таким успехом в меня вглядывается и

смешит меня иногда до слез своими догадками. Нет, нет, выдумайте другое средство; а это столь сурово, что я по любви своей к моим музульманам никогда его не употреблю».

Тогда Ослашид, первый по Дурсане, разгладил на обе стороны свои усы, растворил рот и начал... Но, любезный читатель, позволь мне познакомить тебя и с этим визирем. Речь сильнее действует, если оратор нам известен.

Ослашид еще за триста лет до своего рождения предназначен был играть не последнее лицо в диване, ибо он был из потомков Магомета, и белая чалма, которую надели на него при рождении, давала ему право на большие степени и почести. Правда, что голова его не знает, как она попала в белую чалму, дающую право на такие выгоды, а душа его не знает, как она попала в голову, имеющую право на белую чалму; но Ослашид был верный музульманин: он, не исследывая своих прав, старался только ими пользоваться и сохранял теплую веру, что судьба имела свои расчеты надеть на него белую чалму и произвести на свет обладателем великих сокровищ. Не вмешиваясь в виды ее, он ставил правилом проживать свои сокровища, как истинный музульманин. Ослашид имел у себя прекрасный сераль, множество евнухов, еще более невольников-христиан, которых прилежно секал за то, что они не принимают его закона и не могут понять того, чего он сам никогда не понимал. Он дивился, как люди могут не верить, что в обыкновенный рукав можно запрятать луну, которая в диаметре имеет не более 473 немецких миль, и говорил, что для верного музульманина очень легко вообразить, как в одну ночь льзя проехать более, нежели сколько пушечное ядро может, со всею своею скоростию, пролететь в 500 000 лет и иметь еще довольно досугу понаделать на всё исторические замечания. Словом, Ослашид верил всему с удивительною способностию, и это было первое его достоинство у двора, которое заставляло в нем терпеть множество других недостатков. Сей-то достойный визирь начал так свою речь:

«Истинный потомок великого пророка, блистательный калиф, снисходящий по прямой линии от просветителя вселенной, Магомета, ибо я несомненно верю, что, начиная от его жен, жены всех предков твоих были столь же верны, каковыми обещаются нам райские гурии, и что твое родословное дерево не покривлено ни одною женою твоих

предшественников; и потому-то право твое повелевать нами столь же священно, как право самого Магомета, для рабства коему создан весь мир. Повелитель правоверных, имеющий власть связывать и разрешать руки и мысли, власть неоспоримую, которая, с помощию благословения пророка, поддерживается 500 000 вооруженных музульман, почитающих счастьем перерезать горло тому, кто вздумает отымать у тебя право их перевешать; обладатель самовластный великого быка, на рогах которого взоткнуты твои пространные владения, — великий калиф! удостой выслушать мнения последнейшего из твоих рабов! Сколь ни премудр совет Дурсана, но, мне кажется, нет нужды заводить таких больших обрядов с народом, а особливо, когда человеколюбие твое признает их суровыми. Всего лучше, великий калиф, выехать тебе в путь сколь можно великолепнее; но при самом выезде за ворота объявить своим подданным, что ты, любя свою столицу, никуда не намерен от нее отлучаться. И тогда, хотя весь город будет видеть, что ты удаляешься, но рабы твои, конечно, поверят тебе более, нежели своим глазам, и будут твердо уверены, что ты здесь, тогда как будешь ты осчастливливать своим присутствием другую половину земного шара. Притом же, отъезжая, можешь им сказать, что ты всякую неделю один раз будешь проезжаться по городу, и назначить день, в который после мы можем водить по улицам под уздцы верховую твою лошадь. Хотя тебя на ней не будет, но рабы твои согласятся скорее поверить, что они все вдруг ослепли, нежели подумать, что ты не сам, высочайшею своею особою, сидишь на лошади, которую почтут они счастливейшею из всех чувствующих тварей, для того что она носит на себе величайшего в свете калифа. Что же до дел, то также можешь ты сказать, что все дела, которые решатся в такое-то время, будут непосредственно рассматриваемы и решены тобою. Словом, можешь ты заключить, что всякий тот преступник, кто в сие время осмелится, поверя пяти своим чувствам, усумниться в твоих словах. Такая речь, величайший калиф, произведет чудеса, и выезд твой для всего государства останется тайною».

«Способ, изрядно выдуманный, — отвечал калиф, — но он хорош для моих только музульман, а над иностранцами, не думаю, чтоб произвел подобное действие, и что еще досаднее, могут разгласить, что я калиф над слепыми на-

родами, а это мало принесет мне чести. Нет, друзья мои, я хочу, чтобы подданные мои верили иногда своим глазам или мне должно со временем терпеть величайший труд сказывать всякому, что он видит и что чувствует. Выдумайте какое-нибудь другое средство: я столько люблю моих подданных, что мне жаль сделать вдруг бесполезными несколько миллионов глаз. Итак, любезный Дурсан и почтенный Ослашид, вы не получите от меня арабских сказок в сафьянном переплете и не будете иметь удовольствия спускать змеев из Конфуциева переводу. Посмотрим, любезный Грабилей, будет ли счастливее твоя выдумка».

Грабилей не имел ни долгой бороды, ни счастия родиться в белой чалме; он был сын чеботаря, который в свое время обувал со вкусом целый город. Грабилей, прискуча видеть с младенчества трудную работу отца, задумал блистать в свете совсем иною славою и искал способов, как бы со временем разувать тот народ, который отец его обувал с таким успехом. Для сего-то вступил он в приказную службу. Грабилей был умен; он тотчас понял систему своего звания и начал драть с одних, дабы передавать другим. С таким прекрасным правилом недолго засиделся в нижних званиях и тотчас сделан кадием. На сем-то месте почел он нужным развернуть все свои способности и пользоваться всею уловчивостию, коею природа его одарила. Он тотчас понял трудную науку обнимать ласково того, кого хотел удавить; плакать о тех несчастиях, коим сам был причиною; умел кстати злословить тех, коих никогда не видал; приписывать тому добродетели, в ком видел одни пороки. Знал, когда нужно кланяться в землю и когда в пояс, умел кстати зажмуриваться на своей судейской подушке; но что всего важнее, знал кстати обирать и кстати одаривать. С такими-то блестящими дарованиями пролагал он себе путь к дивану и недолго медлил на сем пути. Калиф уважал способности... Грабилей стал одним из числа знаменитейших людей, снабженных способами утеснять бедных и освященных важным преимуществом получать удавку из рук самого султана. Грабилей так начал речь свою:

«Законный наследник всех имений, неоспоримый владетель сердец и помышлений, повелитель стихий и причина всех бывших и впредь будущих благ человеческого рода! Прости, что я осмеливаюсь шевелить языком моим в при-

сутствии священной твоей особы. Я бы никогда не дерзал при тебе и мыслить, если б не было сие во исполнение верховной твоей воли, которая управляет всеми моими чувствами и делами, подобно как солнечное движение управляет движением тени. Мне кажется, самый лучший способ для удержания в тайне путешествия есть тот, чтоб сделать запрещение говорить, каким бы то образом ни было, о твоей высокой особе и даже выговаривать священное твое имя, под опасением лишения живота и имений. Издав такое повеление, можешь ты спокойно отправиться в свой путь; и хотя некоторое число рабов твоих будет догадываться, что тебя здесь нет, но, в силу запрещения говорить о тебе, они не возмогут никому сообщить своих догадок, ниже простирать вопросами свое любопытство далее. Известно, что молчание есть единственный способ хранения тайностей; так не самое ли лучшее средство — наложить его на языки болтливых рассказчиков и выспрашивателей, которых двумя или тремя примерными наказаниями можно уверить, что язык им дан только для того, чтобы, с помощию его, было легче глотать пищу».

Калиф не был доволен и сим мнением: он сам, любя говорить, знал, как тяжело честному человеку хотя на два часа лишиться этого прекрасного упражнения; притом же, хотя и мог он надеяться унять мужчин, но где, думал он, взять столько силы, чтобы унять говорить женщин? Калиф был премудр: он знал, что выдать закон на удержание говорливости женщин есть то же, что выдать закон для удержания прилива и отлива морского. Он требовал также совета у достальных визирей, наполняющих диван, но их не слушал, не ожидая от них ничего доброго. Калиф был расчетист: обыкновенно одного мудреца сажал между десяти дураков; умных людей сравнивал он со свечами, которых умеренное число производит приятный свет, а слишком большое может причинить пожар; и часто говаривал, что ему, для сохранения доброго порядка, дураки по крайней мере столько ж нужны, как и умные люди. Вот причина, что и диван калифов был ими изобилен.

Все они пошли на голоса: приметить должно, что они охотнее всего расточали свои советы, хотя часто могли видеть, что оные ни на что ненадобны; но чем глупее голова, тем щедрее на советы. Наконец, калиф вышел из дивана

распустя своих визирей, не быв доволен ни одним голосом, удалился во внутренние свои чертоги и надеялся в уединении найти то, чего не мог сыскать в многолюдстве.

Первый предмет, встретившийся его глазам у него в комнате, была книга, данная ему волшебницею. Хотя Каиб никогда не советовался с книгами, потому что они по большей части писаны не калифами, но, вспомня, что этой книге приписано важное свойство — усыплять, взял он ее в руки, в надежде увидеть во сне добрую свою покровительницу. Калиф развернул — видит оду визирю, недавно повешенному им за взятки... Добродетели его были воспеты с таким восторгом, что калиф зачал уже опасаться, не святого ли он повесил. Это привлекло его к важному рассуждению: сколь должно великому калифу быть осторожну в награждениях и в наказаниях... «Фея, — ворчал он тихонько, — фея, конечно, ошибкою дала мне эту книгу: она обещала мне с нею приятный сон, а книга эта, напротив того, подает мне причину к важным рассуждениям, приличным моему сану и полезным моему народу...» Но калиф не примечал, что он уже дремал, выговаривая последние слова... и действительно, в одну минуту погрузился он в глубокий сон и позабыл награждения, наказания, повешенного визиря, стихотворца и свою книгу, которую из рук выпустил к себе на колени.

Едва заснул калиф, едва увесистое собрание тяжелых стихов, обременявших за минуту руки его, сползло с коленей на богатый ковер, как покровительствующая фея явилась ему во сне. Она была прелестна, как... как то, что тебе всего милее, любезный читатель... Скупой, ты можешь ее сравнить с твоим рублем; если ты автор, то вообрази, что она была так прекрасна, как твои стихи; или вообрази, что она прекрасна, как твоя любовница, — если ты читаешь это накануне своей свадьбы; если же на другой день, то признаюсь, что сравнение мое никуда не годится.

«Каиб, — сказала она калифу, — я выдумала способ сокрыть путешествие твое от народа и от самых визирей твоих. Проснувшись, ступай из дворца твоего, не говоря никому ни слова. Я приготовила куклу и дала ей такие способности, что она, до возвращения твоего, заменит с успехом твое место. Так некогда Аполлон на Троянской брани подменил Энея подделанною под его вид статуею; и между тем как Эней отдыхал дома, то статуя храбро сражалась с гре-

ками; хотя Гомер ничего не говорит, но я знаю точно, что тогда многие славные дела ее приписаны самому Энею, чему он, по сговорчивости своей, никогда не противоречил. То же точно намерена я с тобою сделать. Иди и старайся только исполнить волю оракула; достальное я беру на себя. Поверь: ни одна душа не узнает, как изрядно подменю я тебя статуею из слоновой кости, которая в твое отсутствие наделает много славных дел; все они умножат в народе к тебе благодарность. Прости, калиф, ступай не медля, сложи с себя на время всю пышность, приличную твоему сану, и ты увидишь то, чего бы никогда не видал ни в какую зрительную трубку с высокого твоего престола, а, наконец, найдешь награждение, обещанное тебе оракулом». Фея исчезла.

Как бедный стихотворец, увидя во сне, что сочинения его вдруг разошлись четырьмя тиснениями и что он осыпан золотом, просыпается, и хотя не видит вокруг себя ничего, кроме огромных своих рукописей и разломанных стульев и стола, но, полагаясь на сновидение, наполняется надеждою, засвечает свечу и, не сходя с постели, гоняется за Пегасом по белой бумаге, которую покрывает следами своей скорости, так Каиб, просыпаясь, утешается, что во сне он выдумал более, нежели наяву, и, надеясь на обещание волшебницы, скидает пышные свои одежды, одевается так скромно, как сторож академической библиотеки, берет несколько мелких денег... Сколь ни верил он волшебствам, но знал очень, что есть много таких случаев, где и самое сильное чародейство наличных денег заменить не может; потом оставляет великолепный свой дворец и начинает поиск, предписанный ему оракулом.

Это было ночью; погода была довольно худа; дождь лил столь сильно, что, казалось, грозил смыть до основания все домы; молния, как будто насмех, блистая изредка, показывала только великому калифу, что он был по колено в грязи и отовсюду окружен лужами, как Англия океаном; гром оглушал его своими порывистыми ударами. Тогда-то калиф в первый раз усумнился, столь ли самовластный он повелитель стихий, как то говаривали ему визири. Желая укрыться от негодной погоды, искал он, при свете молнии, какой-нибудь хижины; скоро, проходя далее, увидел в стороне огонь и пошел прямо на него, надеясь у хозяина выпросить позволения осушить платье.

Калиф подходит к хижине, отворяет дверь, видит большую комнату; в одном углу стоит кровать, в другом стул, который, опираясь о стену щитом, стоял довольно гордо на остальных двух ножках; на полу набросано несколько старых книг и порядочный запас белой бумаги; немудрено калифу догадаться, что тут живет автор. Он всегда любопытствовал побеседовать с людьми этого роду; хотя прежде сияние его сана не дозволяло унижать ему себя до такой степени, но теперь не мог он не радоваться, нашед к тому удобный случай... Я было позабыл, описывая комнату, упомянуть о самом важном приборе: на кровати лежала сухощавая особа; с великою важностию рассматривала она старые рукописи и, казалось, с обгрызанным половину пером в руке, определяла судьбу целого света.

«Милостивый государь, — начал Каиб, — я лишь пришел в сей город и никого в нем не знаю, позволите ли вы страннику пользоваться гостеприимством?» — «Очень рад дорогому гостю! и если, не обижая вас, можно сделать заключение по скромному вашему платью, то позвольте спросить, не ученый ли вы?» — «Да, это правда, что я читаю книги».

«Читаете?.. По вашему разодранному кафтану я подумал, что вы их пишете. Но тем лучше. Я написал теперь оду Ослашиду и хотел бы знать ваше мнение».—«А! вы пишете оды?»— «Да, это самое безопасное ремесло, но не всегда прибыльное. Недавно написал я оду одному вельможе; он восхищался ею и обещал мне щедро заплатить; но, как знатный человек, позабыв данное слово, умер на другой день. После этого я написал оду другому визирю; этот был не менее доволен, обещал меня наградить, и, верно бы, не обманул, но его на третий день повесили за взятки». — «Как, вы писали оду и недавно повешенному визирю? Я ее читал...»

«Признайтесь, что она недурна. Теперь я пишу оду Ослашиду, неприятелю повешенного визиря. Можно сказать, что она мне труда стоит: в этом добром человеке нет ни ума, ни добродетели; такие люди ужасно трудные содержания для лирической поэзии. Я же, не хвастаясь, скажу, что я более пишу для славы, нежели для денег; доказательство — мне хуже платят за оды, нежели за битые стеклы, которые иногда покупают у меня разносчики. Со всем тем я не оставлю лирического стихотворства».

«Мне удивительна способность ваша хвалить тех, в коих, по вашему ж признанию, весьма мало находите вы причин к похвалам». — «О! это ничего, поверьте, что это безделица: мы даем нашему воображению волю в похвалах с тем только условием, чтоб после всякое имя вставить можно было. Ода — как шелковый чулок, который всякий старается растягивать на свою ногу. Она имеет здесь совсем другое преимущество, нежели сатира. Если я хочу на кого из визирей писать сатиру, то должен обыкновенно трафить на порок, коему он более подвержен; но и тут принужден часто входить в самые мелкости, чтобы он себя узнал, что до оды, то там совсем другой порядок: можно набрать сколько угодно похвал, поднести кому угодно; и нет визиря, который бы описания всех возможных достоинств не принял сколком с своей высокой особы».

«Но если свет знает, что ваше описание ложно, что герои ваши — пустые пузыри, надутые вами?» — «Что же до того нужды? Аристотель нѐгде очень премудро говорит, что действия и героев должно описывать не такими, каковы они есть, но каковы быть должны,—и мы подражаем сему благоразумному правилу в наших одах, иначе бы здесь оды превратились в пасквили; итак, вы видите, сколь нужно читать правила древних».

«Я всегда думал, что стихотворцы приступают к одам, воспаленные добродетелями и совершенствами своих героев».—«Как вы ошибались: они воспаляются одним воображением и выбирают первого, кто попадется, как художник выбирает кусок мармору; чем грубее и несовершеннее отломок, тем более славы и искусства дать ему нежный вид».— «Ах! — сказал, вздохнувши, калиф, — как же мало люди должны гордиться такими похвалами, которые нередко их ослепляют!»

«Вольно им дурачиться, — отвечал стихотворец; — если бы они приписывали похвалы не своим достоинствам, но случаю и нашей необходимости кого-нибудь ими украшать, то бы не столь были горды. Не хотите ли, я вам скажу на этот случай короткую басню, которую скоро намерен переложить в стихи?

Славный живописец, пленясь новою мыслью, вздумал написать Венеру, натянул кусок полотна и с великим успехом исполнил свое намерение; картина была драгоценна и со временем стала украшением чертогов славнейшего импе-

ратора. Множество зрителей стекалось ее смотреть. Полотно, на коем была написана Венера, вздумало, что оно причиною всех восторгов, примечаемых в зрителях. Паук, раскидывая на нем сети для мух, вывел его из заблуждения. «Ты напрасно гордишься, полотно, — сказал он, — если б не вздумалось славному художнику покрыть тебя блестящими красками, то бы ты давно истлело, быв употреблено на отирку посуды».

Стихотворцы то же делают с людьми, и последние такую же имеют причину гордиться, как рисованная холстина, которая думала, что живописец старался прославить ее, когда заботился он только о своем имени. Когда я читаю Гомера, то, признаюсь, вместо того, чтобы удивляться его героям, я удивляюсь ему, а на них смотрю, как на людей, которых великий этот муж сделал вьючными ослами своей славы; итак, не ясно ли видно... но вы дремлете, вам нужен покой! Не хотите ли чего поужинать?»

«Охотно бы; признаюсь, что я очень проголодался». — «Жаль же очень, что вы не пришли ко мне ранее только пятью минутами: мы бы прекрасно отужинали. По крайней мере, на чем вы охотнее спите: на тюфяках или на пуховике?» — «На пуховиках», — сказал, вздохнувши, калиф.

«Ложитесь же на эти кипы печатных бумаг, — отвечал стихотворец, указывая в угол, — ложитесь на них; если они и не так мягки, как пуховики, по крайней мере, толще всякого пуховика на свете. Мои друзья ночуют у меня на них спокойнее, нежели калиф наш на лучших своих пуховиках».

Каиб лег, положил в голову стопу бумаги и в минуту захрапел так крепко, что соблазнил стихотворца себе последовать.

На другой день рано Каиб собрался в путь.

«Вы, конечно, хотите странствовать?» — спрашивал его стихотворец.

«Это правда. И хотя нет двух дней, как я начал свое путешествие, но мне столь это понравилось, что, может быть, несколько лет употреблю я на то, чтобы видеть вещи, которые, сидя дома, видел я через десятые глаза».

«Вы ничего нового не увидите. Где есть люди, там всегда найдете добродетели и пороки; где есть деньги, там найдете роскошь и скупость, богатство и нищету; в городах увидите равнодушие к несчастию ближнего, в деревнях сострадание и гостеприимство, ибо сельский житель, подражая природе,

учится у нее быть податливым, а городской житель, гоняясь за счастием, учится у него быть слепым и несправедливым». После сего они расстались, и Каиб продолжал свой путь.

Он пустился по большой дороге, желая с нетерпеливостию посмотреть сельских жителей. Давно уже, читая идиллии и эклоги, желал он полюбоваться золотым веком, царствующим в деревнях; давно желал быть свидетелем нежности пастушков и пастушек. Любя своих поселян, всегда с восхищением читал в идиллиях, какую блаженную ведут они жизнь, и часто говаривал: «Если б я не был калифом, то бы хотел быть пастушком».

Уже далеко был он от своей столицы, как в один день увидел рассеянное по полю стадо. — «Великий Магомет! — вскричал он, — я нашел то, чего давно искал!» — и сошел с дороги в поле искать счастливого смертного, который наслаждается при своем стаде золотым веком. Калиф искал ручейка, зная, что пастушку так же мил чистый источник, как волоките счастия передние знатных; и действительно, прошед несколько далее, увидел он на берегу речки запачканное творение, загорелое от солнца, заметанное грязью. Калиф было усумнился, человек ли это; но, по босым ногам и по бороде, скоро в том уверился. Вид его был столько же глуп, сколь прибор его беден.

«Скажи, мой друг, — спрашивал его калиф, — где здесь счастливый пастух этого стада?» — «Это я», — отвечало творение и в то же время размачивало в ручейке черствую корку хлеба, чтобы легче было ее разжевать. «Ты пастух! — вскричал с удивлением Каиб — О! ты должен прекрасно играть на свирели». — «Может быть; но, голодный, не охотник я до песен». — «По крайней мере, у тебя есть пастушка; любовь утешает вас в вашем бедном состоянии. Но я дивлюсь, для чего пастушка твоя не с тобою?» — «Она поехала в город с возом дров и с последнею курицею, чтобы, продав их, было чем одеться и не замерзнуть зимою от холодных утренников». — «Но поэтому жизнь ваша очень не завидна?» — «О! кто охотник умирать с голоду и мерзнуть от стужи, тот может лопнуть от зависти, глядя на нас». — «Признаюсь, что я много верил эклогам и идиллиям, — сказал калиф. — Фея! слова твои сбываются: я вижу то, чего бы никогда не подозревал. Стихотворец сказал правду, что поэты обходятся с людьми, как живописцы с холстиною.

Но такую гадкую холстину, — продолжал он, смотря на пастуха, — такую негодную холстину разрисовать так пышно... Это, право, безбожно! О! теперь-то даю я сам себе слово, что никогда по описанию моих стихотворцев не стану судить о счастье моих любезных музульман». И калиф пошел далее.

Некогда под вечер шел он по большой дороге, и хотя уже начинало смеркаться, но никакого города не видно было вдали. Это его смущало. «Волшебница шутит надо мною, — говорил он сам себе, — она, кажется, хочет, чтоб я, подобно календеру, состарелся на больших дорогах. Вот уже более трех месяцев странствую я, но и тени нет счастия, обещанного мне феею; а что еще досаднее, то сегодня едва ль не в поле должен я ночевать. Я верю, конечно, что пророк любит своего потомка; но сказать правду: медведю из лесу до меня ближе, нежели Магомету с седьмого неба». Такие мысли возмущали Каиба: владетель морей и суши не на шутку боялся быть заеден голодным волком.

В самое то время занимался он такими заманчивыми рассуждениями, встретился ему крестьянин. «Друг мой, далеко ли до города?» — спросил у него калиф. «Часов восемь; к утру можешь ты там быть». — «Но нет ли где переночевать, не попадется ли мне на пути деревня?» — «Ни двора; а если хочешь, то, прошед немного, можешь свернуть по тропинке вправо и лесом, через старое кладбище, пройти до деревеньки, где можешь найти ночлег».

Прошед немного, и действительно Каиб увидел вправе тропинку, проложенную в лес; он пошел по ней и в четверть часа выбрался на маленькую площадку, украшенную развалившимися гробницами. Каибу некогда было любопытствовать: страх и приближающаяся ночь понуждали его итти далее; как вдруг, прошед площадку, увидел он, что тропинка разделилась на-двое. «Боже мой! — вскричал Каиб, — по которой должен я итти? Ну, если я выберу самую трудную и долгую, тогда всего вернее, что мне должно будет спать на земле, без всякого защищения от зверей; но если я ворочусь — а до города еще восемь часов!.. это ужасно! Нет, — продолжал он, окидывая глазами кладбище, — нет, я лучше соглашусь как-нибудь провести ночь здесь», — и тогда ж, увидя высокий надгробный камень, решился он выбрать его своим ночлегом. Каиб подошел ближе к камню и увидел на нем высеченные сии слова:

«Кто бы ты ни был, не приближайся; взирай с благоговением на камень, под коим покоится прах мой, и познай, что я... (имя так изгладилось временем, что Каиб никак не мог разобрать)... победитель вселенной, коего имя гремит и вечно будет греметь во всех концах земли: оружием моим покорил я множество народов, одержал 729 побед и не имел сражения, на коем бы побито было менее 15 000 неприятелей. Свет сей оставляю в законное наследство сыну моему и его потомкам. Умираю доволен, что основал племени моему твердое и неколебимое наследие, сокровища неисчерпаемые, славу бессмертную, и страх имени моего столь великий, что не будет смертного, который бы осмелился коснуться до моего надгробного камня».

«Какая прекрасная надпись! — сказал Каиб и вскарабкался с великим трудом на камень. — Здесь точно безопасно, — ворчал он тихонько, — камень этот и высок и неприступен для зверей... только желал бы я очень знать, чья эта гробница. Это ужасно, что такие славные имена стираются с надгробных камней! Как же после этого можно полагаться на историю, ибо я твердо верю, что тысячи славных людей, понаделавших столько же знаменитых дел, как и нынешний мой хозяин, не внесены в историю только для того, что надгробные их камни были рыхлы и удобно размывались дождем. Какой это для меня прекрасный урок! О! я, конечно, выберу для моего надгробия камень потверже и ручаюсь, что слава моя будет продолжительнее славы моего хозяина». Потом вынул Каиб из кармана хлеб и кусок сыру; в минуту отправил он по-походному ужин. «Как мало нужно для человека! — сказал калиф, — на день два фунта хлеба и три аршина земли на постелю при жизни и по смерти! Я бы желал знать, отчего, за четыре месяца перед сим, вся вселенная казалась для меня тесна, а теперь и камень этот для меня очень просторен? И слово «*мое!*», на которое право стоило мне, может быть, 300 000 добрых музульман, — слово это теперь меня не восхищает! О, гордость, сколь ужасно тебе воздаяние! при жизни тебя ненавидят, по смерти презирают или забывают. Ах! может быть, и я со временем буду служить постелею какому-нибудь страннику, который, не посмотря на гордую мою надгробную надпись, спокойно выспится на том, на кого предки его не смели взглянуть без ужаса».

Каиб заснул. Вдруг видит он, что камень отодвигается и из-под него выходит величественная тень некоего древнего героя.

Рост его возвышался дотоле, доколь в тихое летнее время может возвышаться тонкий дым. Каков цвет облак, окружающих луну, таково было бледно лицо его. Глаза его были подобны солнцу, когда, при закате своем, опускается оно в густые туманы и, изменяясь, покрывается кровавым цветом. Главу его покрывал огромный шлем, который, казалось, мог противустоять громовым ударам. Руку его обременял щит, испускающий тусклый свет, подобный тому, какой издает ночью зыблющаяся вода, отражая мертвые лучи бледных звезд. Калиф тотчас догадался, что герой его из числа тех знаменитых особ, которые называются победителями народов и на земном шаре с великим успехом заменяют собою всемирный потоп. Он молчал и ожидал, что будет далее.

«Каиб! — сказало ему видение, — ты зришь пред собою тень того, коего прах покоится под сим камнем. Надпись о делах моих, высеченная на камне, справедлива: я победил весь свет; ничто не смело вооружаться против меня, кроме моей совести, которая одна могла мучить того, кто мучил вселенную. По смерти моей небо истребило память мою в людях, а меня осудило мучиться дотоль, доколь не буду я причиною хотя одного доброго дела. 20 000 лет уже гробница моя стоит здесь, и во все это время не был я причиною ни одного доброго дела. Доколе память моя еще не затмилась, дотоле возбуждал я себе последователей, столько же вредных свету, как был вреден ему я сам. Память моя погибла; но мои последователи имели также своих подражателей, и всем бедствиям, угнетавшим после того землю, был причиною я, дав первый пример любочестия. Наконец, небо избрало тебя быть моим избавителем: ты, делая последнее унижение моей гордости, надгробие мое сделал своим ночлегом. Высокий камень мой спас тебя от хищных зверей, коим бы ты был непременно добычею в сем диком лесу — и вот первая польза, которая в 20 000 лет от меня произошла.

Гробница моя и надпись на ней внушили тебе благоразумные размышления; сердце твое удобно ими пользоваться, а сии размышления в толь великом калифе, каков ты, будут причиною счастья миллионов людей, — вот благо, происшедшее также от меня. Судьба исполнила меру своего пра-

восудия: в сей день кончились мои мучения. Небо, разрешая меня, позволило, чтоб я принес тебе благодарность; позволило оно, чтобы я тебе подтвердил истину надписи, запретя только сказывать свое имя, осужденное к вечному забвению на лице земли; позволило оно также сказать тебе, что ты близок от вещи, для которой путешествуешь; счастие тебя ожидает. Но, калиф, да не развратит нега его твое сердце — не забывай никогда того, что ты видел теперь. Помни, что любочестие наказывается чрезмерным унижением; помни, что право твоей власти состоит только в том, чтобы делать людей счастливыми, —сие право дают тебе небеса; право же удручать несчастьями похищаешь ты у ада». Изрекши сие, изменяться стала тень и исчезать, подобно тускнеет сребристое облако, когда луна от него удаляется и, развеваемое по лазуревому небу, становится невидимо взорам смертных.

Наутро калиф проснулся рано и, дивясь странному сновидению своему, продолжал свой путь по одной из двух тропинок. Три часа шел он дремучим лесом и, наконец, вышел на прекрасный луг, через который лежала дорога к маленькой хижине. Каиб любовался местоположением и, осматривая окрестности, удивлялся природе, как вдруг, оборотясь направо, увидел прекрасную четырнадцатилетнюю девушку. Она с великою прилежностию искала чего-то в траве; прекрасные глаза ее орошены были слезами, — знак, сколь дорого она ценила потерянную вещь. Каиб подошел к ней; она его не примечала; он не спускал с нее глаз: всякая черта, всякое движение, всякий шаг ее воспламеняли в нем кровь. Каиб обладал многими женщинами, он чувствовал иногда сильные желания, но теперь в первый раз узнал, что такое любовь.

«Иностранец, — сказала ему красавица, увидя его, — не находил ли ты здесь портрета? Ах! если он у тебя, так возврати Роксане то, что ей дороже жизни». — «Нет, прекрасная Роксана, — отвечал калиф, — судьба не хотела наградить меня счастием быть тебе полезным...» — Калиф бы далее продолжал свои учтивости, но прекрасная его незнакомка, не выслушав и сих, отошла от него искать портрета. Калиф, не говоря ни слова более, сам стал шарить в траве. Надобно было посмотреть тогда величайшего калифа, который, почти ползая, искал в траве, может быть, какой-нибудь игрушки, чтобы угодить четырнадцатилетнему ребенку. Он был так

счастлив, что в минуту нашел потерю. «Роксана! Роксана! портрет!» — кричал он, показывая ей издали портрет.

Она уже была от него далеко, как, услыша сей голос, бросилась к нему из всей силы. Радость, торопливость и нетерпение сделали то, что она запуталась в траве и упала бы, если б не поддержал ее Каиб. Какое приятное бремя чувствовал он, когда грудь Роксаны коснулась его груди! Какой жар разлился по всем его жилам, когда невинная Роксана, удерживаясь от падения, обхватила его своими руками, а он, своими поддерживая легкий и тонкий стан ее, чувствовал сильный трепет ее сердца. «Возьми, прекрасная Роксана, сей портрет, — говорил ей Каиб, — и вспоминай иногда сей день, который возвратил тебе драгоценную потерю, а меня навсегда лишил вольности». Роксана ничего не говорила, но прелестный румянец, украсивший ее лицо, изъяснял более, нежели бы она могла сказать. «Незнакомец, — сказала она Каибу, — посети нашу хижину и дозволь, чтоб я отцу моему показала того, кто возвратил мне потерянный мною портрет моей матери».

Они вошли в дом, и Каиб увидел почтенного старца, читающего книгу. Роксана рассказала ему приключение, и старик не знал, как отблагодарить Каиба. Его просили остаться у них на день, — можно догадаться, что он не отказал; этого мало: чтобы пробыть долее, он притворился больным и имел удовольствие видеть, сколь Роксана о нем сожалела и как старалась оказывать ему угождения... Может ли любовь долго скрываться? Оба они узнали, что они любимы взаимно; старик усмотрел их страсть: множество на этот случай насказал он прекрасных нравоучений, но чувствовал, сколь они бесплодны; и сам Каиб, который с восхищением видал, как прекрасная Роксана чувствительна была ко нравоучениям и как нежное сердце ее уважало добродетель, — сам Каиб не хотел бы, чтобы теперь слушала она нравоучения противу любви. Старик, любя дочь свою и пленясь добросердечием, скромностию и благоразумием Каиба, решился отговорить его от охоты к странствию и умножить его семейство.

Роксана просила его нежно, чтобы предпочел он спокойную жизнь и любовь ее — желанию скитаться. «Ах! Гасан, — сказала она ему некогда, — если б знал ты, как ты мне мил, то бы никогда не оставил нашей хижины ни для

великолепнейших чертогов в свете... Я люблю тебя столько, сколько ненавижу Каиба нашего». — «Что я слышу? — вскричал калиф, — ты ненавидишь Каиба!» — «Да, да, я его ненавижу столько же, сколько тебя люблю, Гасан! Он причиною наших несчастий; отец мой был кадием в одном богатом городе; он исполнял со всею честностию свое звание; некогда, судя родню одного царедворца с бедным ремесленником, решил он дело, как требовала справедливость, в пользу последнего. Обвиненный искал мщения; он имел при дворе знатную родню; отец мой был оклеветан; повелено отнять у него имение, разорить до основания дом его и лишить жизни. Он успел убежать, подхватя меня на руки. Мать моя, не перенеся сего несчастия, умерла в третий месяц после нашего сюда переселения, а мы остались, чтобы докончить здесь жизнь в бедности и в забвении от всего света».

«Оракул, ты исполнился! — вскричал калиф. — Роксана, ты меня ненавидишь!..» — «Что с тобою сделалось, Гасан? — прервала смущенная Роксана, — не тысячу ли раз говорила я тебе, что ты мне дороже моей жизни. Ах! во всем свете я ненавижу одного только Каиба». — «Каиба! Каиба! Ты его любишь, Роксана, и возводишь своею любовью на вышний степень блаженства!» — «Дорогой мой Гасан сошел с ума! — говорила тихонько Роксана, — надобно уведомить батюшку». Она бросилась к своему отцу: «Батюшка! батюшка! — кричала она, — помогите! бедный наш Гасан помешался в уме», — и слезы навертывались на ее глазах. Она бросилась к нему на помощь, но уже было поздно: Гасан их скрылся, оставя их хижину.

Старик сожалел о нем, а Роксана была неутешна. «Небо! — говорил старик, — доколе не престанешь ты гнать меня? Происками клеветы лишился я достоинств, имения, потерял жену и затворился в пустыне. Уже начинал я привыкать к моему несчастию, уже городскую пышность воспоминал равнодушно, сельское состояние начинало пленять меня, как вдруг судьба посылает ко мне странника; он возмущает уединенную нашу жизнь, становится любезен мне, становится душою моей дочери, делается для нас необходимым и потом убегает, оставя по себе слезы и сокрушение».

Роксана и отец ее проводили таким образом плачевные дни, как вдруг увидели огромную свиту, въезжающую в их пустынь. «Мы погибли! — вскричал отец, — убежище наше

узнано! Спасемся, любезная дочь!..» Роксана упала в обморок. Старик лучше хотел погибнуть, нежели ее оставить. Между тем начальник свиты к нему подходит и подает ему бумагу. «О, небо! не сон ли это? — вопиет старик, — верить ли глазам моим? Мне возвращается честь моя, дается достоинство визиря; меня требуют ко двору!» — Между тем Роксана опомнилась и слушала с удивлением речи своего отца. Она радовалась, видя его счастливым, но воспоминание о Гасане отравляло ее радость; без него и в самом блаженстве видела она одно несчастие.

Они собрались в путь, приехали в столицу. Повеление дано представить отца и дочь калифу во внутренних комнатах. Их вводят. Они падают на колени; Роксана не смеет возвести глаз на монарха, и он с удовольствием видит ее печаль, зная причину оной и зная, как легко может он ее прекратить.

«Почтенный старец! — сказал он важным голосом, — прости, что, ослепленный моими визирями, погрешил я противу тебя: погрешил против самой добродетели. Но благодеяниями моими надеюсь загладить мою несправедливость, надеюсь, что ты простишь меня. Но ты, Роксана, — продолжал он нежным голосом, — ты простишь ли меня и будет ли ненавидимый Каиб столь счастлив, как был счастлив любимый Гасан?»

Тут только Роксана и отец ее в величайшем калифе узнали странника Гасана. Роксана не могла ни слова выговорить: страх, восхищение, радость, любовь делили ее сердце. Вдруг явилась в великолепном уборе фея.

«Каиб! — сказала она, взяв за руку Роксану и подводя к нему, — вот то, чего недоставало к твоему счастию; вот предмет путешествия твоего и дар, посылаемый тебе небом за твои добродетели. Умей уважать его драгоценность, умей пользоваться тем, что видел ты в своем путешествии — и тебе более никакой нужды в волшебствах не будет. Прости!» При сем слове взяла она у него очарованное собрание од и исчезла.

Калиф возвел Роксану на свой трон, и супруги сии были столь верны и столь много любили друг друга, что в нынешнем веке почли бы их с ума сшедшими и стали бы на них указывать пальцами.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ НАУКЕ УБИВАТЬ ВРЕМЯ,

говоренная в новый год

Любезные слушатели!

Наконец сбыли мы с рук еще один год, убили триста шестьдесят шесть дней и можем сказать торжественно: не видали, как прошло время!

Строгие философы! вы, которые жалеете утратить минуту, как скупой полушку, и плачете о потерянии дня, проведенного без пользы! Придите и позавидуйте нашей способности радоваться о том, что мы целый год провели, не сделав ни одного такого дела, коим, по вашему мнению, человек отличается. Зарывшись в книгах, вы почитаете невероятностию, что тот может радоваться, прощаясь с старым годом, кто три четверти его проспал, а достальную прозевал; вам покажется баснею, чтобы человек, который целый год одевался и раздевался, причесывался и растрепывался, чтобы сей человек не плакал, утратив таким образом время; вы никогда не поверите, чтобы тот, кто пропрыгал и прошаркал триста шестьдесят шесть дней, хотя бы в конце года заметил, что он целые двенадцать месяцев таскал по-пустому свою голову. Но Сократы, Платоны, Пифагоры прошедших веков! воскресните на одну минуту, выбрейте себе бороды, причешитесь анкрошет, чтобы вас не стыдно было принять в большом свете; войдите в него, и вы увидите, сколь справедливо мое описание; увидите, как много философия ваша наделала

успехов. Воскресните и проповедуйте, если хотите, сколько нужно соблюдать время. Вы увидите, что люди большого света лучше вас знают, к чему оно дается; и что наука убивать время есть одна наука, прямо достойная благородного человека, который умеет чувствовать, что небо дало ему голову только для того, чтобы она пересказывала, когда желудку его нужна пища.

Вот, милостивые государи, что бы я сказал философам, употребившим все силы свои на то, чтобы научить нас скучному упражнению размышлять. Они бы взглянули на вас и признались бы, что человек может обойтись без размышления, если только имеет проворный язык, и что мы, имея дарование не думать, по крайней мере, столько ж счастливы, как люди золотого века.

Недоверчивый, глядя на нас, на образ нашей жизни, конечно, усумнится: ему покажемся мы игрушками мод, мучениками суетных желаний; или, что еще более, сочтет он нас безумными, а потому-то и несчастливыми; как будто бы дурак, любезные слушатели, должен быть непременно несчастливее мудрецов, коих самолюбие заставляет признавать счастливыми только себя и коих дикий ум не понимает, какое счастие заключено в том, чтоб делить по-братски время свое с обезьянами, с попугаями, посвятить себя блестящей службе четырех мастей, — словом, они не чувствуют прелестей науки убивать время, науки, впрочем, столь неисчерпаемой, что свет наш несколько тысяч лет в ней трудится и всегда открывает новые поля, столь же обширные, какие приписывают математике.

О сей-то прелестной науке, милостивые государи, хочу я ныне распространить свою речь: не для того, чтобы желал я вас в ней осовершенствовать! Нет, вам уже не нужны учители: природных способностей ваших к тому довольно, и вы, подражая предкам вашим, понимаете сие искусство самоучкою; притом же, когда праотцы наши убили семь тысяч лет, то стыдно бы нам было, имея величайшие примеры в истории и в глазах, требовать наставников, как убить несколько десятков лет, которые на нашу часть достались. Итак, я намерен сплести только достойную похвалу сей завидной науке, к которой обращается целый свет и которой имя столь же редко слышно, сколь часто ее употребление, ибо, к стыду нашему, любезные слушатели, мы обладаем сим сокрови-

щем, почти не чувствуя, что им наслаждаемся. Но да не смущает вас сия укоризна: недостаток ваш требует только исправления. Мы найдем в свете довольно примеров, что человек часто обладает сокровищем, пренебрегая его по незнанию. Так некогда американцы ходили по золоту и, не умея его обделывать, с радостию отдавали за европейские игрушки.

Может быть, критики скажут мне в возражение, что слово мое бесполезно; что доселе убивали мы время без всякого поощрения ораторов; что молодые люди наши, воспитанные в глазах французских гувернеров и в виду гончих и борзых собак, наполняются с младенчества благородною страстию расточать время; что по прошествии юношества учители отдают их с рук на руки французским ростовщикам, иностранным магазейнам и театральным сборщицам сердец; что в сем новом свете получают они новые способы убивать время и иногда в одной переписке векселей не видят, как проходят целые годы, или, не имея наследственного достатка, трутся около глупых Мидасов, побужденные благородною ревностию истреблять монополию в деньгах, и таким образом, в приятной надежде обмануть удачно, сбывают неприметно с рук последнюю половину своего века; что все это делается без помощи убеждений; что, наконец, нужно только человеку броситься один раз в большие общества, и он будет иметь удовольствие умереть, прежде нежели приметит, что он жил на свете.

Не противоречу многому. В самом здешнем собрании вижу я примеры природных способностей: вижу с восхищением прелестниц наших праотцев, которые, пережив три поколения, и доныне не могут догадаться, что они не ровесницы шестнадцатилетним девушкам. С набожностию взираю я на сих долговечных Венер, на коих глядя, кажется, что они одногодки римской Капитолии или, по крайней мере, Августовым медалям, и которые при всем том не досчитываются у себя пяти шестых доль своего века. Какой резкий знак, что это время мастерски убито! В другом месте вижу я почтенных старичков, которые с таким же просвещением входят в могилу, с каким вошли в колыбель, и еще кажутся младенцами. Они примечают глубокую свою старость только потому, что им нельзя грызть орехов. Какая скромность! Проносить семьдесят лет голову и не сделать из нее

никакого употребления! Прожить век на скотном дворе и ограничить отличие свое от животных только тем, чтоб ходить на двух ногах! Иметь душу и не дать никому приметить, что ее имеешь, или, что еще более, самому этого не заметить! Вот чрезвычайная умеренность, которой не понимают тщеславные философы, хотя умеренность они и проповедуют.

Мы одни, милостивые государи! мы одни способны к сей блистательной добродетели, украшающей общества большого света, и между тем как малая кучка самолюбивых мудрецов старается только о том, чтоб целый мир перед нею стыдился, между тем вы, милостивые государи, такою скромностию обуздываете свои умы, что и лошади бы ваши не краснели, на вас глядя, хотя бы они и имели способность краснеться, способность вредную, которой остатки и в нашем просвещенном веке наносят иногда тягость прелестному полу.

Признаюсь, что все завидные сии подлинники образовались без всякой помощи ораторов. Но следует ли из того, чтобы словесные возбуждения были излишни? Нет, любезные слушатели, красноречие всегда умножало рвение умов, и если иногда не было поощрением, то служило награждением отличных дарований, которые уже поздно было поощрять, ибо, милостивые государи, премудрого человека весьма трудно заметить, прежде нежели пройдет триста лет после его смерти; и потому-то многие благоразумные народы сперва убивали своих мудрецов, а после делали им статуи. Когда же вывелось это из употребления, тогда сыскали лучший способ: допускали их умирать в нуждах, в гонении и в презрении, а спустя после их смерти лет сто говорили им похвальные речи. Такой поступок умножил полки ученых, которые добровольно терпели первое и не получали последнего. Но благородная жадность к похвале не есть ли общая всему человеческому роду? Не она ли причиною, что многие великие души, подобные душе Сезостриса и Александра Великого, ожидая величания от будущих веков, сносят терпеливо проклятие настоящего? Когда же похвала столь лестна, то для чего же не возвеличить ею божественную нашу науку убивать время? Все науки имели своих защитников, своих хвалителей; ужли она одна останется в молчании? Как будто бы наше веселое общество, блистая ее выгодами, стыдилось признаться, до какого довело оно ее совершенства.

Другая причина, еще важнейшая, понуждает подать о ней

полнейшее понятие: все науки, выключая математики, подвержены расколам: наша также избежать их не может. Я сам бывал свидетель, что многие молодые люди садились за книги только для того, чтобы убить время и, пристрастясь к постыдной для благородного человека жадности обогащаться познаниями, зачали скупиться временем, вздумали быть нас умнее: вздумали узнать свою голову короче, нежели сколько знали ее их волосочёсы; и потом — жестокая неблагодарность! — сверх того, что сделались отступниками от нашего общества, первые стали на нас вооружаться и соблазнительным своим примером увлекли за собою последователей, которые вместо того, чтобы блистать на балах и в больших собраниях, свели скучное знакомство с мудрецами. Такие-то развратительные примеры, происшедшие, может быть, от одного любопытства заглянуть в книгу, не должно ли прекратить и предостеречь наших молодых людей, чтобы они опасались всякой книги, выключая только полезных книг, заклейменных печатью Воспитательного дома?

Дадим же, сколько можно, ясное понятие о сей науке. А вы, любезные юноши, которые под покровительством проворной гребенки и верных ножниц назначены, может быть, играть великие лица на театре света; вы, прелестные грации, которые будете некогда требовать от наших правнуков такой же нежности, какой ныне мы ищем от вас, выслушайте меня и умножьте свои силы победить наступающий год, и если уже необходимо должно, чтоб в физике вашей произвел он перемены, то оградитесь роскошью и леностью, и пусть хотя на морали вашей время не оставит никаких следов.

Время убивается двояким образом: или проводится оно в бездействии, или в таких упражнениях, которые на душе нашей никакого по себе следа не оставляют, и оттого-то в старых телах видим мы часто молодые души, хотя казалось, что люди, в которых примечается это явление, были во весь их век чрезвычайно заняты. Какой великий предмет для благородного человека! убивать то, что все убивает! преодолевать то, чему ничто противустоять не может! Герои, упражняющиеся в таких великих подвигах, не должны ли заслужить хвалу величайших в свете мудрецов, основанную даже на нашем признании, что мы перед ними нищи духом?.. Так, государи мои! согласимся, что они умнее нас; поверим, что они лучше знают ценить вещи, и послушаем их учения.

Тот истинный философ, говорят они, кто умеет презирать мирские сокровища. Потом сказывают, что время драгоценнее золота и лучше всех земных благ. Но когда мудрецы сии тщеславятся достоинством, что они презирают золото, то сколько ж почтеннее мы их, пренебрегая самое время, сие сокровище, коего тратить нет даже и у них довольно твердости духа! Итак, мы-то истинные мудрецы, милостивые государи! Они презирают вещь, которая всегда в их руках быть может; но мы тратим равнодушно время, зная, что воротить его не в силах. Удивляются Сципиону Африканскому, что он сжег свой флот, дабы воспрепятствовать возвращению своему в Рим. Редкая вещь! имея храбрых воинов, он надеялся сожечь Карфаген и возвратиться домой на новых судах, но мы, сожигая, так сказать, наше время, не имеем никакой надежды возвратиться к нашему младенчеству и, следовательно, всякую минуту превосходим Сципиона мужеством. Великий Тит плакал, говорят, о том дне, который проводил, не сделав доброго дела, но мы — о, пример истинного великодушия — мы проживаем лет по пятидесяти по-пустому и ни разу о том не поплачем!

Я уже сказал, что первый способ убивать время есть тот, чтобы ничего не делать или спать; но, к несчастию человек не может быть столь совершен, чтобы проспать шестьдесят лет, не растворяя глаз и не сходя с постели, ни так же просидеть все это время, поджав руки. Хотя и старались гишпанцы осовершенствовать сию часть; хотя нередко встретить можно там героев, которые, поддерживая древнее свое благородство, почитают за честь умереть с голоду, поджав руки; но великим подвигам легче удивляться, нежели последовать. Нам нужны другие способы. Притом же мало ли есть таких прекрасных упражнений в большом свете, которые почти столь же знамениты, как и дарование ничего не делать, а такие-то упражнения и нужны для нашего общества. Делать, ничего не делая, говорить, ничего не сказывая, — вот два сильнейшие способа убить время: с сими двумя правилами человека уважаю я столько же, как и того, кто имеет гишпанскую твердость духа скорей согласиться дать себе отрубить руки и голову, нежели ими действовать. Рассмотрите хорошенько около себя, и вы найдете тысячу великих душ, которые располагаются проспать будущий год, половину зажмурясь и лежа, а другую половину — ходя и с открытыми

глазами, и подают вам пример сбывать с рук время. Нужно ли вам знать имена их? Исполню ваше желание. А вы, почтенные образцы! простите, если, уступая моим восторгам, потревожу я несколько вашу скромность, дабы поощрить юношество подражать вам. И пусть слабая похвала моя послужит вам малым воздаянием, доколь небо не увенчает вас завидною наградою лежать, не переворачиваясь с боку на бок. Повторим, любезные юноши, с благоговением их имена.

Первый встречается мне Подлон: с математическою точностию делит он утренние часы будущего года по числу прихожих, в которых проходит важную науку помрачать достоинства гибкостию спины. Уже назначает он там себе самые выгодные места, где бы надежнее было ловить улыбки и благосклонные взгляды вельмож; уже, кажется, слышу я, как гибкий его язык, с беспристрастием историка, перед одним барином пересказывает дурачества другого, а этого едет бранить к третьему. Платя богатую подать новостями, мчится он по всему городу их собирать, чтобы назавтрее позабавить своего покровителя насчет чести ближнего; он держит верный список рогам, выключая только своих; чувствуя, сколь становится он необходим, жалуется, что великих его трудов не может вынести четверня, и покровитель его, умея различать дарования, обещает ему шестерню. Но когда с четырью только товарищами любезный наш Подлон наделал столько подвигов, то согласитесь, почтенные слушатели, что несравненно полезнее отечеству будет он сам-семь, и более получит способов оказать свои достоинства, когда резвое счастие, награждая поворотливость его языка, прибавит ему еще двух товарищей.

Замотов подает вам другого роду образец, как убивать время. Вооружась против него, рассекает он уже мысленно будущий год на тысячу частей, чтобы разбросать их по кофейным домам, по маскарадам и по вечеринкам; сбирается глядеть на все и ничего не видать, говорить все и ничего не думать. Везде старается он поспеть. Всегда занят и никогда ничего не делает. Беспрестанно хлопочет, чтобы нажить новые долги. Одним словом, вот примерный молодой человек, который добивается мастерски триумфального въезду в полицию. Уже мысленно вижу я великолепный сей въезд; вижу, как торжественно препровождается он толпою портных, сапожников, каретников и волосочёсов, которые все,

подобно унылым пленникам, следуют за ним, повеся головы и держа в руках огромные реестры знаменитых его дел. Дела сии привлекают внимание правительства, и герой наш, подобно древним атлетам, принимается на казенное содержание.

Но какой новый предмет представляется моему взору! Подборов, вооружася бесчисленными дюжинами карт, выступает против нового года и назначает себя к продолжению благородного ремесла метать неусыпно направо и налево. Наполнясь приятною надеждою обмануть ближнего, преодолевает он сон и голод; пренебрегая все науки, погружается он только в одну важную науку, — выметать направо все то, чего ждет налево его соперник. Сему-то одному искусству посвящает он все свои дарования и, подобно Александру, не полагая границ своим победам, в героическом восторге грозится целый свет пустить по миру.

Но до сих пор, любезные слушатели, предлагал я вам в пример особ, которые с возможною ревностию убивают время, достающееся на их часть; теперь хочу заключить, выставя в пример неподражаемого героя, который силится убить время даже своих потомков. Таков несравненный Скукобред. Он, наводняя своими сочинениями публику, хочет и несколько веков спустя быть орудием убивать время. Какой похвалы не заслуживает он, когда, просиживая насквозь ночи, занимается важным предметом усыплять даже десятое наше поколение по нисходящей линии; не покоряется усталости, и хотя часто голову его раскачивает приятная дремота, но мощная рука его никогда не перестает писать — и что всего удивительнее, милостивые государи! то никакая академия не в силах различить, что он написал сквозь сон и что наяву.

Но сей пример, любезные слушатели, не с тем выставлял я, чтоб возбудить в вас охоту ему подражать; довольно уже и того, если возбудит он в вас удивление. Мы уже видели, сколь вредно и опасно благородному человеку заниматься книгами. Но со всем тем, если кто из вас, милостивые государи, чувствует в себе геройскую смелость, никогда не читав, начать писать, тому не советую оставлять такой прекрасной склонности, которая производит пирамиды печатных бумаг в честь парнасским каникулам нынешнего времени.

Но сим ли одним примером можно пользоваться? Другие

не менее блистательны и более свойственны для благородного человека, который, и не принимаясь за перо, имеет право не называться безграмотным для того, что прадед его знал читать и писать. Для чего не подражать другим подлинникам, коих число столь велико, что предел речи моей не позволяет обо всех упомянуть, ибо я не намерен ни искусить терпения вашего, ни перещеголять бесконечностию те отборные предисловия, которым книги, кажется, печатают в приданое.

Теперь, милостивые государи, надеюсь я, что вы можете чувствовать, что есть наука убивать время; можете видеть ее необходимость и силу в большом свете. Главная уловка состоит в том, чтобы никогда не думать. Педанты скажут, что это невозможно, но вы, не вдаваясь в словесные споры, можете им доказать истину на самом деле. Правда, молодым девушкам очень пристало иногда задумываться, но думать — никогда: это ремесло прилично только тем низкорожденным людям, которые не могут обойтись без своей головы и которые имеют бесстыдство не различать нас с обезьянами. Но, не занимаясь трудными спорами и розысками по натуральной истории, что совсем не наше дело, встретим лучше, милостивые государи, как можно веселее наступивший год, подобно как храбрая армия встречает весело своего неприятеля. До сих пор часто видал я, что люди встречают новый год в таком восхищении, как молодой супруг свою новобрачную или как малый ребенок новую куклу; а на третий день все они скучают своими новостями, зевают и не знают, куда деваться от скуки, то есть не знают, как убить время; но мы, любезные слушатели, получа теперь несколько подробнее идею, как сживать его с рук, мы, конечно, не будем подвергнуты опасности мучиться зевотою.

Соединим же нашу ревность, милостивые государи, год уже наступил; уже это время наваливается на наши руки, но ободритесь — остерегайтесь мыслить, остерегайтесь делать, и год сей будет служить нам оселком, над которым наука убивать время покажет новые опыты, достойные нашего просвещения.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ ЕРМАЛАФИДУ,

говоренная в собрании молодых писателей

Ужасно видеть, милостивые государи, с какою завистию критика всегда вооружалась на дарования. Тысячу бы примеров нашел я в истории о словесности; но как мы обязались благородною клятвою писать все и не читать ничего, то, не хвастаясь, скажу, что ни одного довода сделать я не в состоянии. Но к чему нам доводы? Мы сами не ясное ли доказательство неблагодарности читателей? Соединенные благородною ревностию просвещать свет, не даем мы отдыха типографщикам, а ослепленная публика на стихи наши жалуется, как египтяне на саранчу, коею небо хотело обратить их на путь истины. Книжные лавки ломятся от нашей прозы и стихов; но когда войдешь и посмотришь на полки, где лежат наши сочинения, то подумаешь, что это зараженные товары, до которых никто не смеет дотронуться, и они остаются в сей неволе, доколе табачники и разносчики не расхватят их по клочкам, а нечувствительная публика смотрит на то равнодушно, оставляя им терзать наши неподражаемые произведения.

Плачевное предчувствие! скоро, я думаю, надобно будет прежде читать, нежели писать; надобно будет думать — слезы навертываются у вас на глазах, милостивые государи!

Привыкшим писать, не думавши, такое порабощение словесности, конечно, для нас будет ужасно. И в чем же неумолимые сии критики полагают свободу словесных наук, если думают они, что писатель должен последовать правилам или читать авторов, дабы подражать их красотам? Нет, любезные слушатели: великий ум никогда ничему не следует. Не нужны ему ни правила древних, ни их творения; и он, не справляясь ни с какими книгами, садится за письменный столик, как скоро почувствует только позыв на письмо. Фразу свою кончит тогда, когда надобно перо обмакнуть в чернильницу; период тогда, когда нужно его перечинить; как же скоро пленяется он новым содержанием, тогда, на первом своем сочинении подписав торжественно: *конец*! принимается тотчас за другое, которое обрабатывает с такою же благородною вольностию. Таков-то есть почтенный Ермалафид, герой и сотрудник наш, коему дерзаю я соплести венец, достойный похвалы, в досаду злой критике, взирающей с завистию даже и на то, что в сочинениях его завертываются груши.

Может быть, удивятся, что, не дождавшись смерти моего героя, говорю я ему похвальную речь, но должно ли дожидаться смерти, чтобы увенчивать дарования? Если бы последовать сему правилу академий, то, судя по здоровью почтенного Ермалафида, может быть, должен бы я был прожить еще двадцать лет прежде, нежели испытать мои слабые дарования на сем драгоценном оселке. Нет, любезные слушатели, дарования нашего героя столь блистательны, воспаление мое прославить их столь велико, что я не в силах дожидаться так долго Ермалафидовой смерти, и осмеливаюсь нарушить правила академий презирать писателей при жизни и величать их после смерти. Притом же можем ли мы надеяться на долговременность нашего собственного века и не подвержены ли мы все такой же нечаянной смерти, как наши сочинения?

Часто, смотря на увесистое новорожденное творение, по толстоте оного заключаем мы, что славе его не будет износу, а оно на другой же день погребается на полках вместе с старыми календарями. Не можем ли и мы все перемереть так же нечаянно и оставить вершину парнасскую нашим критикам, которые некогда, может быть — плачевное воображение! — будут показывать нас молодым своим писателям, как спартане показывали своим детям пьяных слуг, и тогдашняя публика, вместо того чтобы завидовать тем, кому

удалось быть нашими современниками, станет благодарить небо, что она не в наш век вывелась. Предупредим же такое несчастие, любезные слушатели, и если уже нас никто не хвалит, то станем хвалить себя сами; ополчимся противу критиков и назло им, отдав справедливую похвалу неподражаемому Ермалафиду, докажем, что и в нашем обществе есть великие люди. Одного такого, каков герой мой, довольно, чтобы озарить славою все наше почтенное собрание. Откроем глаза предубежденной публике, которая упрямится читать неподражаемые его творения и старается погрузить нашего героя в море забвения, в сие ужасное море для нашего парнасского легиона; и в то же время посмотрим, как бесценный Ермалафид, поддерживаемый своими сочинениями, подобно как пузырями, не страшится погрязнуть; посмотрим, как неумолимая критика занимается тем, чтобы прокалывать сии пузыри, и, наконец, с какою неутомимостию надувает он новые, не страшася, что с ними будет равная первым участь. — В сем месте оратор остановился, дабы дать роздых своему воображению и принять справедливые похвалы за прекрасное изобретение *моря забвения* и за счастливое сравнение Ермалафидовых сочинений с пузырями, — потом продолжал далее.

Я не буду распространяться о родословной нашего героя, да и он сам, как истинный автор, знает тверже, кто был отец Гомера или Ромула, нежели от кого он сам родился. Немного есть чего сказать и о его богатствах: не может похвалиться он большим имением, но зато воображением столь богат, что часто не на что купить ему чернил, дабы сделать сему драгоценному богатству опись для сведения публики, и столь глубокомыслен, что если, спустя десять дней, вздумает прочесть свое сочинение, то уже не понимает, что он хотел сказать. «Для чего, — спросил у него некто, — пишешь ты без разбора и не обдумывая все, что придет тебе в голову?» — «Друг мой, — отвечал несравненный наш Ермалафид, — надобно более знать мою природу и потом уже судить о моих сочинениях. Если я одну только неделю не попишу, то чувствую сильный головной лом; самое ничто бухнет в моей голове, как горох, и я необходимо должен, как можно скорей выгружать мысли мои на бумагу, — или мою голову так разопрет, что я потеряю равновесие».

Кто может из нас, милостивые государи, похвалиться

таким изобилием мыслей? Кто, кроме нашего бесценного Ермалафида, так много раз и в столь разных порядках может раскладывать наши тридцать две литеры на бумаге? — Конечно, никто! — Он один только в состоянии с такою легкостию кстати о Гомере напомнить, что дрова дороги, и, хваля Юнговы *Нощи*, заметить, что немцы обуваются щеголеватее французов. Он один только может с таким плодословием волочить надежду читателя через триста листов и на последней странице удивить его приятною нечаянностию, подписав: *конец*! — Сие non plus ultra его обширного воображения. Но как, спросят меня, мог он достигнуть до такого богатства? Какими орудиями открыл такое сокровище? Предмет, поистине достойный вашего любопытства и который исследовать ставлю я моею должностью.

Если б обратились мы к древности, то бы нашли, может быть, что не герой наш первый изобретатель сего редкого искусства, но судьба, кажется, из зависти прячет от взора смертных лучшие их сокровища. И потому-то произведения пера, подобного Ермалафидову, столь же редки, как календари прошедших веков. И вот причина, заставляющая меня признавать его изобретателем сего способа. Ибо кому мог он подражать, не читая никого, как то скоро увидите вы из шествия его ума, коего пути осмелился я исследовать в сем слове и представить для подражания молодым нашим собратиям, которые, имея великие способности, ожидают только случая, кому последовать, и, за недостатком резких подлинников, принуждены с великим трудом отыскивать погрешности у Ломоносова и их выкрадывать или занимать их у Сумарокова. Но теперь я намерен для сего указать им неисчерпаемый источник в Ермалафиде и, дабы удовольствовать ваше любопытство, обращаюсь к моему предмету.

Едва минуло от роду пятнадцать лет нашему герою, как отдан он на руки учителям и посажен за российскую азбуку. Пламенный дух его недолго оставался при первых затруднениях, и менее нежели через 2 года зачал он писать *азы*. В сем-то случае творческий дух его оказал первые свои способности! Ермалафид никому не подражал в почерке; умнейшие из учителей не различали у него *аза* от *мыслетей*; казалось, что он, не читав никакого письма в свете, выдумал свою азбуку; учители сперва приписали это тупому его понятию, и вот причина, что редкий ум нашего героя четыре года

задержан за российскою азбукою. Наконец приметили они, что он поставил себе правилом никому не следовать и систематически водить каракули. Тогда-то, сделав безошибочное заключение в его великих способностях к словесности, дали они ему в руки грамматику — и менее нежели в месяц не осталось в ней ни листа живого — он просил новой книги. «Разве ты всю грамматику выучил?» — спрашивали у него. «Нет, — отвечал неоцененный герой, — но, поверьте, что я и без грамматики могу пощеголять моим слогом». У него потребовали опыта, и в один час — в один только час он написал столь красноречивое письмо, что премудрейшие из учителей его не поняли. Это убедило их, и они представили ему логику. «Что это за наука?» — спрашивал восторжествовавший над грамматикою герой. «Наука мыслить, — отвечали ему, — и важная тайна поместить кстати ergo». — «Мне не нужна эта наука, — говорил Ермалафид, — двадцать лет думал я без логики, так неужели достальную половину своего века не возмогу без нее обойтись?» Возражение сильное, коему никто не осмелился противоречить. Настала очередь риторике явиться на суд героя. Он развернул ее, прочел строк пятнадцать, зевнул, почувствовал сильную наклонность ко сну и отложил до завтра решение о сей науке.

На другой день повел он учителей в свою библиотеку и указал им на полку, заваленную романами. Там наслаждались ненарушимым покоем творения Бредина, покровенные пылью, равнолетною им самим; там почивали мертвым сном томные произведения Антирихардсона; в другом месте глотали пыль герои, произведенные подражателем Руссовым. «Есть ли тут риторика?» — спросил Ермалафид, указывая на все это собрание. Учители читали все сии романы и согласились единодушно, что в них риторики нет. Он сделал им тот же вопрос о груде журналов: они их знали и принуждены были по совести сказать, что в них имени красноречия нет. После сего показал он им связку од — и они признались, что здесь большею частью пишутся оды без красноречия. «Когда такое множество людей пишут без риторики, — отвечал он гордо, — то неужели думаете вы, что я всех их глупее и не могу без нее обойтись? Поверьте, что мне не нужна эта наука; и я откровенно скажу вам, что я, и знавши риторику, не написал бы ни на волос лучше того, как писал, и стану писать, не зная ее ни строчки».

После сего несравненный Ермалафид с такою же благородною гордостию отвергал все другие науки одну по одной. «Когда я буду читать, то когда ж писать останется мне время? Нет, я намерен учить, а не учиться. Для меня низко узнавать, что другие думали: я хочу лучше, чтоб целый свет, читая меня, старался отгадать, что я думаю. Довольно долго страдала республика ученых, стесненная правилами: я родился их разрушить, и для того-то хочу развязать своим примером молодые умы; хочу писать без правил и доказать на самом деле, что словесность есть свободная наука, не имеющая никаких законов, кроме воли и воображения». С такими-то прекрасными правилами герой наш вступил в поприще писателей и, чтобы начать чем-нибудь знаменитым свои подвиги, написал он трагедию.

Доныне, милостивые государи, жалко было видеть с каким бесчеловечием проливалась кровь в трагедиях; жестокие авторы, кажется, только с тем намерением заманивали в партер, чтобы у всякого из них испортить фунта по три крови — но какая приятная новость! Едва появилась трагедия нашего героя на сцену, то, казалось, что в партере сидит целый народ строгих стоиков: толико-то глубокое спокойствие царствовало во всем партере. Зрители не были возмущены ни страхом, ни жалостью, ни ненавистью; казалось, что герои Ермалафида превыше всех страстей; ни одной не было в них приметно, и если бы глухому показать столь прекрасное зрелище, то бы, конечно, он подумал, что греческие мудрецы с театра преподают партеру курс математики. Не подумайте, однако ж, милостивые государи, чтобы трагедия нашего героя не привлекала внимания! Напротив того, нередко партер надрывался от смеха, и Ермалафид, бесценный Ермалафид сам смеялся от радости, видя, что трагедия его производит такое прекрасное действие. «Начав трагедию, — говорил он, — я хотел утешить, а не встревожить и не опечалить партер», — прекрасное правило, коему последовали многие писатели, и с того-то времени, милостивые государи, у нас начали писать столь же шутливые трагедии, как итальянские оперы *буффо*. Сей успех еще ободрил более нашего героя, и он решился продолжать со славою свои подвиги в письменном свете.

Давно уже грозился он прибрать комедию к своим рукам; давно с неудовольствием видел, что гордые комические

писатели стараются смешить партер, не заботясь о том, понимает ли их парадиз. Такое пренебрежение его тронуло, ибо он сам часто глядывал комедию из райка и чувствовал, сколь обидно честному человеку слушать два часа, не понимать ни слова и платить деньги только за то, чтобы видеть, как другие смеются. «Партер довольно посмеялся, — сказал он некогда: — теперь хочу я утешить парадиз», и начал писать. Менее нежели через две недели объявляют новую комедию: зрителей стекается множество, открывают занавес, и — какое приятное удивление! — на сцене появляется целый народ в лаптях, в зипунах и в шапках с заломом — в парадизе раздались радостные восклицания. Сапожники, разносчики, каменщики — все узнавали на сцене своих земляков. Тогда-то всеобщее веселие разлилось по театру; на сцене появились фляжки и ендовы; в парадизе зазвенели рюмки и стаканы. На сцене заплясали — и весь парадиз зачал прищелкивать; казалось, что сцена и парадиз составляют одно семейство. Тогда-то гордый партер в первый раз почувствовал, что он в сей беседе лишний; что он не понимал в свою очередь ни слова изо всего, что переговорено в три часа; и что, наконец, в свою очередь, заплатил он деньги за то, чтобы послушать, как хохочет парадиз. Но кто же бы, думали вы, милостивые государи, загнал расчесанный партер в растрепанную крестьянскую шайку слушать нравоучения? — Кому, кроме бесценного нашего Ермалафида! Он один в состоянии высокое нравоучение подстроить под балалайку, и под его только разумные рассуждения могут плясать мужики на барках. Завидливая критика не умедлила на сие вооружиться; кричали, что расслабляется вкус, истребляется благопристойность, но вся небритая часть была на стороне нашего героя и, утвердя его славу, включила в число знаменитейших дней тот день, в который для бородатых зрителей выставлены на сцену бородатые актеры.

Теперь подумаете вы, может быть, что уже он, пленясь сими успехами, посвятил себя одному театру? Совсем нет; великий дух его не чувствовал себя отличнее привязанным ни к какому роду писания. Он хотел писать все и сдержал свое слово. Удивительная способность, милостивые государи! Часто, дописав до половины свое сочинение, он еще не знал, ода или сатира это будет; но всего удивительнее, что и то, и другое название было прилично, а может быть, и все

его сочинения со временем воздвигнут между академиями войну за споры, к какому роду их причислить. Из сего-то ясно видно, как гнушался великий ум его следовать правилам, предписанным всякому роду писания. Он поставил себя выше всех законов. «Одно только правило свято, — говаривал он, — и оно состоит в том, чтобы не следовать никаким правилам».

С сим-то прекрасным заключением вздумал он свободные часы свои посвятить удовольствию публики; под свободными часами разумею я только то малое время, которое оставалось ему от сна, от обеда и от ужина. Сколь ни мал был сей остаток, но и его не хотел он потерять напрасно, и для того-то решился он во всякое *новолуние* разгружать на печатном станке грузное судно своего воображения — короче сказать: начал журнал.

Какое поле открылось для его неутомимости! Озабоченный намерением просветить вселенную, не давал он ни дня, ни ночи отдыху своему типографщику: тут-то увидели бы вы, милостивые государи, с какою удивительною способностию пишет он прямо набело суждения, решения и определения о самых важных предметах! Казалось, что перо в руках его замерло — и наборщик никак не мог сравняться с ним в поспешности. Критика также получила себе новую пищу; одни говорили, что он, проповедуя добродетель, одним своим слогом в состоянии умножить число отступников от добродетели; другие кричали, что ежемесячные его сочинения суть ежемесячные вылазки противу бессонницы, но его это не устрашило — напротив, он имел дарование редкое всякую брань толковать в свою пользу. Сколько писателей оставили в самом своем начале поприще словесности, устрашенные первыми нападениями критики; но герой наш не таков: если над ним смеются, то он восхищается способностью своею смешить и сранивает себя с Мольером и Боало; если его бранят, он ласкает своему самолюбию, заключая, что брань есть знак зависти — и, по крайней мере, доволен он уже тем, что им занимаются, а это уже одно и доказывает ему, что публика его не забывает. После сего, милостивые государи, кто может составить для его ума такое крепительное, после которого бы он не чувствовал позыву на письмо?

С сими блистательными качествами соединял он благородное презрение ко всем тем авторам, коих имени не мог твердо

выговорить: под сим разумею я всех иностранных писателей. Приятно было смотреть, милостивые государи, с какою непринужденною смелостию бранил он Мольера, Расина и Боало, никогда их не читав, и с каким равнодушием смотрел трагедии Корнелия. «Скажи, — спрашивал у него некто, — для чего не учишься ты языкам иностранным и делаешь такие смелые заключения, не понимая их авторов?» — «Сердце у меня слышит, — отвечал он с благородною простотою, — что в них во всех менее толку, нежели в *Бове Королевиче*, притом же я знаю склады на многих языках, но российские склады красноречивее всех складов на свете. А как склады служат основанием словесности, то кто может меня уверить, чтоб из дурных припасов можно было воздвигнуть прекрасное здание?» Какое сильное, какое убедительное доказательство преимущества российской словесности! Не нужны ему были ни авторы, ни истории: одними складами открыл он сомнительную истину и доказал, сколь полезно ученому человеку знать склады.

Но только ли его совершенств? Чем более я говорю, тем неисчерпаемее становится мой источник. Язык мой не успевает следовать за моим воображением: воображение мое не находит пределов. Но если уже природа человеческая столь слаба, что ни мне всего того, что бы я хотел сказать, ни вам всего, что бы я сказал, выслушать не станет сил, то дадим ей роздых. Пусть наше согласное молчание увенчает достоинства бесценного Ермалафида, и пусть будет оно служить символом спокойствия, коим некогда будут наслаждаться в ученых анбарах его неподражаемые творения.



ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЦЕНЗИИ

ПРИМЕЧАНИЕ НА КОМЕДИЮ «СМЕХ И ГОРЕ»

Если бы рукоплескания публики служили для авторов непоколебимым одобрением, то бы я сказал, что комедия *Смех и горе* есть одно из прекраснейших творений театральных, ибо редкое сочинение принималось с таким успехом; но как сии же рукоплескания нередко расточаются и в шутовских операх, то я мало к ним легковерен. Если бы брань безграмотных зоилов определяла падение сочинений, то бы, нимало не раздумывая, поставил я моего автора наряду с двумя или тремя мелочными волокитами Пегаса, которых имени не упоминаю только для того, дабы не разрушить спокойной неизвестности, коею сии добродушные люди наслаждаются в воздаяние за свою авторскую неутомимость. Но меня не предубеждает ни то, ни другое: зоилы не были довольны Расиновою *Федрою*, ругали Мольерова *Тартюфа* и *Мизантропа*, публика возносила до небес рукоплесканиями Прадона! Вот сильные причины не основываться на скоропостижных приговорах, которыми учреждает или случай, или невежество, или льстивое дружество, или ядовитая ненависть.

Я вознамерился сколько возможно беспристрастно рассмотреть сию комедию и предать замечание мое на суд

публике. Я не намерен ни ослепить автора ласкательною похвалою, ни огорчить его грубым и бранчивым суждением. Словом, я поступлю так, как бы желал, чтобы поступлено было со мною в таковых же обстоятельствах и как бы должно было поступать со всяким новым автором. Пристрастная и чрезмерная похвала изнеживает и расслабляет дарования, колкая брань и насмешка их повергает в отчаяние и задушает в самом рождении, но беспристрастное суждение очищает вкус и, указывая на погрешности одною рукою, увенчивает другою красоты. Такое суждение не утушает и не ослепляет самолюбия, но оставляет его в той степени, какая нужна для воспламенения дарований.

Увидит ли кто погрешности в моем суждении, пусть откроет мне их: сие открытие послужит и к пользе моей, и к пользе нашего автора.

Содержание комедии

Вдова Вздорова, богатая кокетка, и Старовек, ее деверь, старик добрых нравов, имеют девушку племянницу, именем Приягу, которую хотят выдать замуж. Вздорова, по любви к ветрености, к щегольству и к большому свету, прочит ее за Ветрона, молодого повесу, которого очень хорошо изображает его имя. Старовек, напротив того, почитая достоинства, добрые правила и хорошие нравы, хочет выдать ее за Пламена, офицера, влюбленного в Прияту, и в коего она влюблена взаимно. Вздорова всячески противится этому, тем более, что она сама в него влюблена. Между тем, появляются два ложные философа—Хохоталкин и Плаксин. Первый сватается на Прияте, второй метит жениться на самой Вздоровой, прельстясь ее имением. Вздорова старается обоих их проводить, щеголяя сею приличною своему полу уловкою. Служанка, в свою очередь, желая провести самое Вздорову, подкидывает письмецо Пламену, в котором советует, чтобы он казался влюбленным во Вздорову, если не хочет потерять Прияты. Пламен, последуя сему и поощряемый Андреем, своим слугою, делает Вздоровой любовное объяснение, в котором застает его любовница, с ним ссорится, и, наконец, что очень обыкновенно между

любовниками, опять мирятся. Пламен, с своей стороны, почитая Ветрона своим соперником, ссорится с ним, думая, что тот похищает у него Прияту; но когда узнает свою ошибку, то все они вместе делают заговор противу Вздоровой. Пламен продолжает притворяться в нее влюбленным. Подговаривают Вздорову в маскарад, случившийся в тот день; и чтобы более там блеснуть, то в маскарадных платьях и в масках протверживают дома менует. Когда хотят они к сему приступить, то входят Хохоталкин и Плаксин, первый наведаться о Прияте, в которой получает отказ, второй желая увериться о самой Вздоровой; но как она уже получила слово от Пламена, то и этот отходит с отказом. Они оканчивают сию размолвку комически. Потом в то время, когда зачинают танцовать, слуга, который между тем переоделся в женское платье, подменяет Прияту, которая уходит и венчается с Пламеном в домашней церкви. И когда Вздорова пляшет по-русски со слугой, думая, что пляшет с своею дочерью, тогда вдруг слуга снимает маску, любовники входят, обман открывается. Старовек все это объявляет Вздоровой. Она уходит, проклиная весь свет. Любовники довольны, а мнимые философы остаются с отказом, утверждая — Хохоталкин — что все смешно, а Плаксин — что все жалко.

Вот содержание комедии; приступим к замечаниям.

Автор открывает себе обширное и прекрасное поле своим выбором, желая осмеять порок двумя различными способами: смехом и плачем. Что может быть богатее сего содержания: Хохоталкин и Плаксин, его два лица, которых разнообразная и острая сатира никогда не может показаться сухою. Автор, зная театр, чувствуя, сколь блистателен бывает характер, если оттениваем он присутствием противного характера, старается почти всегда Плаксина и Хохоталкина выводить вместе и тем увеличивает их силу.

Удивительно мне, что тот же самый разум, который, делая такой прекрасный выбор, кажется, искал обширного себе поля, — что тот же самый разум связал себя, сделав Плаксина и Хохоталкина эпизодическими особами в своей поэме и, отняв у них способы действовать, заключил их в тесные правила, каким подвержены эпизодиче-

ские лица. Сия бы погрешность менее видна была, если бы автор сам названием комедии не обещал, так сказать, основать ее на Плаксине и Хохоталкине: она бы менее была приметна, если бы сии два лица не пленяли столь публику и не заставили бы ее сожалеть о том, что их сгоняют без причины только для того, чтобы дать место другим особам, без коих бы более можно было обойтись. Сделав сию ошибку, отняв у сих прекрасных лиц действие и оставя им одни слова, автор не мог избежать другой ошибки, происходящей из первой. Чувствуя, сколь нужно оттенять сии два характера один другим, старался выводить он их вместе на сцену, но без довольной на то причины. Сего бы, конечно, не могло случиться, если бы, увлеченный своим плодовитым воображением, мог он остеречься от первой своей ошибки.

Ветрон есть третье лицо. В нем прекрасно изображается модный повеса. Легкость слога, склонность к болтовству, эпиграммы, сказанные на самого себя, невежество, вырывающееся тогда, когда хочет он пощеголять своим умком: ничто не упущено, чтобы сделать сие лицо блестящим и подвести его ближе к природе.

Но сколь бы герой привлекателен ни был, какое бы дарование ни трудилось, дабы его осовершенствовать и придать ему всевозможные красоты; сколь бы много остроты, ума и вкуса на него истощено ни было — все это не произведет полного действия, если герой введен в поэму без причины, а таков есть Ветрон: прекрасный этот характер, кажется, зашел в эту поэму из другой комедии, и если бы несколько менее дарования на него было истощено, то бы скоро сделался он скучным; но чистые стихи и легкость слога причиною тому, что партер позабывает спросить, зачем Ветрон появляется на сцену. Правда, в первом своем явлении говорит он со служанкой о ветреной любви своей к Прияте; но как о том нигде более не упоминается и из сего никакого не выходит следствия, то это похоже несколько на натяжку, ибо причина слаба для введения лица в поэму, если она не побуждает его действовать в продолжение всей поэмы; притом же необходимо должно, чтобы лицо, объявившее в первой своей сцене причину, для чего оно показалось и какую имеет связь с другими лицами сей драмы, — чтобы лицо сие

выходило на театр и уходило с театра только для того, чтобы достичь цели, для которой оно выведено. Но сего-то и нет в Ветроне. Правда, Вздорова имеет намерение отдать за него Прияту, но это намерение не может еще сделать его действующим, а лицо, наполняющее поэму без действия, есть ошибка в поэме.

Вздорова есть также прекрасный характер, и что еще более, то всегда действующий. Автор, кажется, не желая, сделал из нее героя поэмы, потому что в ней в одной более действия, нежели слов. По сему лицу, кажется, льзя судить, что бы был в силах сделать автор, если бы во всех характерах соединил он сатиру с действием.

Старовек, деверь Вздоровой, есть нравоучитель. Автор, кажется, вывел это лицо, дабы более оттенить характер Вздоровой, в чем он очень изрядно успел, сделав только ту ошибку, что и этому лицу не дал действия. На театре должно нравоучение извлекаться из действия. Пусть говорит философ, сколь недостойно питать в сердце зависть к счастью ближнего; сколь вредна страсть сия в общежитии, сколь пагубна в сильных людях; пусть истощает все риторические украшения, дабы сделать отвратительное изображение сей страсти: я буду восхищен и тронут его красноречием; но драматический автор должен мне показать завидливого, коего ритор сделал описание, — он должен придать ему такое действие и оттенки, которые бы, без помощи его слова, заставили меня ненавидеть это лицо, а с ним вместе и пагубную страсть, в нем образованную. Мольер в своей комедии, не говоря длинных нравоучений против скупости, заставляет ненавидеть Гарпагона и делает его смешным; но в некоторых наших комедиях старики говорят преизрядные и предлинные нравоучения, охлаждают ими жар действия, и весь успех, производимый ими, это тот, что слушатели желают только скорее дождаться счастливой минуты, когда опустят занавес.

В расположении поэмы сей более всего заслуживает внимание развязка. Она нова, наполнена жаром и производит прекрасное действие над зрителем, перед коим открывается тогда, когда он менее всего ее ожидает: нужно и то заметить, что развязка сия не расхоложена длинными отпусками, которые драматические писатели при-

выкли читать своим героям на конце поэм. В ней нет и той погрешности, какою также наполнены многие комедии и которая состоит в том, что авторы, набрав на руки множество лиц и навязав всякому из них любовь или другие хлопоты, принуждены бывают развязку делать в начале пятого акта, чтобы достальную его часть наполнить новыми развязками и отданием отчета публике, к какому, так сказать, месту пристроено всякое эпизодическое лицо. Сего часто не мог избежать и Мольер, который, впрочем, не щеголял развязками; но г. Клушин счастливо увернулся от сей погрешности.

Заметим же и недостатки, какие есть в развязке.

Всякое действие должно быть на театре вероятно и исполняемо в своем месте. Автор не должен казаться чудотворцем, но подражателем природы. Скупому очень свойственно зарыть деньги; но если бы автор вздумал заставить своего скупого зарыть их на большой улице серёдь бела дня, то сколь бы ни комически обработал он такое явление, но зритель все остался бы им более удивлен, нежели восхищен. Такового же роду погрешность находится и в сей развязке: приготовляя ее, слуга переодевается в женское платье; но где же? В той комнате, через которую весь свет проходит и в которой сыграно четыре действия. «Ну, если его застанут?» — спрашивает зритель. Автор должен отвечать: «Я волен, сударь! в это время никого на сцену не выпустить», — и зритель остается обнадежен, но если бы в самой вещи случилось такое переодевание, то бы, конечно, слуга не выбрал к тому прохожей комнаты.

Самая развязка не иное что есть, как свободная и хорошая игра авторского воображения, она прекрасна, если смотреть и судить ее одное; но излишня, если взять ее в связь поэмы.

Никогда хитрость достигнуть к цели не должна быть труднее препятств, к тому противуположенных. А еще более никогда не должно употреблять там большой хитрости, где нет больших препятств, которые бы ее оправдывали. В комедии *Севильский цырюльник* хитрости графа, чтобы увидеться с своею любовницею, привлекательны потому, что он поминутно встречает себе в Бартоло, в доне Базиле и в самой своей любовнице новые препятствия. Но

если бы Бартоло употребил такие же переодевания, чтобы видеться с Эмилией, сие бы была хитрость некстати — для того что она живет у него под опекою. К чему же и в сей поэме только хлопот, чтобы обвенчаться на девушке, которая всякую минуту видится с любовником, живет нимало не назаперти, и коея дядя на то согласен. Хитрые любовные похищения пристойны там, где любовницы крепко стерегутся; но тут вся трудность состояла только в том, чтобы вывести Прияту в церковь и обвенчаться. Притом же несколько неестественно и то, что старушка едет в маскарад в тот вечер, когда намерена обвенчать свою племянницу.

Кстати об излишних хитростях. Упомянем еще раз про Плаксина. В третьем действии Плаксин обнаруживает, что он притворно принимает на себя характер плачущего философа, для того, чтобы получить руку Вздоровой. Но Вздорова сама более ветрена и весела, нежели сколько пристойно ее летам: итак, принимать на себя свойство, ей противное, есть дурной способ ей понравиться: приличнее бы было подделываться под ее характер. Кто удобен притворяться, тот уже неотменно должен иметь столько осторожности, чтоб не брать на себя лицо, которое бы могло нанести ему вред.

Слог в сей поэме почти везде чист; стихи хороши, вольны, сатира наполнена соли и остроты, выключая, что есть некоторые повторения мыслей. Но приведем несколько примеров и отдадим их на суд самому читателю.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Явление пятое

Ветрон

(входит на сцену и говорит служанке).

Старушка у себя ль? Скажи, что я здесь был;
Но что за крайнею я нуждой укатил.
Я б сам к ней мог войти, с Приятой повидаться,
Да некогда: лечу с Промотовым кататься.
Пришли из Англии недавно корабли,
Так в пять аршин ему саврасху привезли,
Семь тысяч заплатил за эту он скотину;

Но будет ли она под пару господину,
И кто полезнее для света может быть,
На Красном кабачке должны мы разрешить:
Задача мудрена и пр.

Кажется, довольно ясно и коротко образовано свойство модного повесы, который, оставляя свидание с своей невестой, торопится беспутствовать на Красном кабачке.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Явление первое

Хохоталкин
(входя, смеется постепенно).

Какие странные на свете перемены!
Нет верности нигде, везде одни измены:
Вчера, казалось, я Приятой был любим,
Сегодня так и сяк; а боле не терпим.
Потупя томный взор, то плачет, то вздыхает
И кисло на мои вопросы отвечает.
Но это ли одно на свете сем смешно?
Страмец ведет страмца; что глупо, то умно;
Друзья против друзей; мужья противу жен;
А жены против них — и, стало, свет смешон.
На место должного к несчастным сожаленья
Наполнены сердца счастливцев к ним презренья.
Ну, не смешон ли свет? Смешон, я уверяю.
Итак, смеясь всему, я дельно поступаю.

Сей монолог очень хорош, выключая того, что несколько в нем более есть важности, нежели надобно для шутливого и насмешливого характера, каковым выводится Хохоталкин. Следующий, кажется, более подходит к характеру, для которого он сделан.

Явление второе

Хохоталкин и Плаксин *(входя, плачет постепенно).*

Плаксин.

Творенье жалкое, несчастный человек!
Живи, крушись, страдай и плачь ты целый век!

Ты во грехах рожден, в грехах и умираешь
И гроба за дверьми несчастия скончаешь.
Ты учишься к чему? К погибели своей!
Ты ешь и пьешь, как зверь и сам себе злодей.
Хотя пришлец ты в мир; но в вечность не стремишься,
Мечтою омрачен, величием гордишься.
Не знаешь истинных для смертного утех,
И что ты шаг ступил, то сделал тяжкий грех.
Войди в себя, себя ты убегать старайся
И целый век потом слезами обливайся.
Беги от женщин прочь: один их нежный взгляд
Преобращает наш покой в смертельный яд.
Театра берегись и берегись познаний,
Не исполняй своих нимало ты желаний,
Ешь мало, меньше пей, старайся больше спать,
Чтоб от грехов хоть тем сколь можно избежать.

Из сих образчиков можно, кажется, судить о способности нашего автора к стихотворству. Привел бы я некоторые места в довод дарования его, с каким оживляет он многие комические сцены в своей поэме, но краткость времени и места мне того не дозволяют. Дабы кончить мои замечания, скажу короче: желательно бы было, чтобы автор к дарованию своему присоединил осмотрительность в сочинении планов для будущих своих поэм, и тогда бы, может быть, драматические творения его служили обогащением российского театра.

[РЕЦЕНЗИЯ НА КОМЕДИЮ А. КЛУШИНА «АЛХИМИСТ»]

Июня 13-го представлен был в первый раз *Алхимист* — комедия в одном действии в прозе, сочинения г. Клушина, в которой один актер играет семь различных ролей. Вот содержание сей комедии:

Вскипятилин, богатый, с ограниченными сведениями человек, пристрастился до сумасшествия к алхимии, желая снискать философский камень, о котором столько веков различным образом бредят. Проживает свое имение, забывает о состоянии дома, жены и о воспитании детей; тщетно Здравомыслов, друг Вскипятилина, уговаривает его оставить постыдное ослепление, унижающее человеческий разум. Наконец изобретает средство для его исправления: переряжаясь в различные платья, приходит к нему в виде Рубакина, Криспина, Разгильдяева, глупого дворянина, Ветхокрасовой, состаревшейся женщины, Сгорепьянова, живописца, и Смертоноса, доктора; в одной роле бранит его, как незнающего человека, в другой осмеивает, в третьей льстит и так далее. Наконец в Смертоносе вызывает его на дуэль, как человека, который составляет универсальное лекарство от болезней и, следственно, вооружается противу медицины, обезоруживает его и принуждает бросить алхимические упражнения. Вски-

пятилин отказывается, Здравомыслов скидает с себя платье, открывается перед ним. Вскипятилин в удивлении; Здравомыслов убеждает его языком друга, именем нежной жены и детей. Вскипятилин приходит в себя, дает честное слово не приниматься никогда ни за колбу, ни за ретorду.

Комедия сия в новом роде и есть первая, сочиненная на нашем языке. Г. Клушин, без сомнения, подражал в выборе сего рода писания французам, у которых появились недавно «Pourquoi pas?»,«Jerome pointu» и «L'on fait ce qu'on peut et non ce q'on veut».

Сей род комедий не иное что есть, как забавная шутка, освобожденная от всех строгих правил театра и от самого вероподобия. Она состоит в одних разговорах; следственно, и было бы излишнее судить ее строго и требовать от автора более, нежели чего должно ожидать в таком роде сочинения, в котором публика должна более взыскивать с актера, нежели с автора, ибо первому надобно иметь много дарований и смелости, чтобы решиться играть в весьма короткое время множество различных лиц.

Что ж до комедии, то, не вдаваясь в подробные суждения, я предлагаю самому читателю из нее то, что попадется мне на глаза. Мы уже слышали стихи в комедии *Смех и горе* г. Клушина, известного публике как по сей комедии, так и по другим своим сочинениям. Здесь посмотрим его прозу.

Явление четвертое

Вскипятилин и Криспин.

Вскипятилин.

По что, вы русский, или?..

Криспин.

Я? — сын целого света; дом мой Север, Восток, Юг и Запад; а родился в России.

Вскипятилин.

В России?

К р и с п и н.

Да, сударь. Но что касается до того, кто мне был батюшка, я у матушки никогда не спрашивал *.

Далее:

В с к и п я т и л и н.

Довольно много!

Явление девятое

Вскипятилин и Сгорепьянов *(вполпьяна)*.

В с к и п я т и л и н.

Вы бы могли лучшее предприять.

С г о р е п ь я н о в.

Да что лучше вина, чтоб быть пьяну? Как ни думай, ничего не найдешь.

В с к и п я т и л и н.

Я не о том говорю, сударь. Вы бы могли найти людей, которые бы вам помогли.

С г о р е п ь я н о в *(с горячностью)*.

Что! Искать покровителей художнику? Ах! Это у меня сердце рвет! Не думал я, чтобы ты разумел меня подлым человеком. Пусть ищет тот покровительства, который без него жить не может. Достойного человека покровители — его достоинства.

В с к и п я т и л и н.

О, сударь! Вы бы отнеслись к некоторым знатокам или любителям художеств: они бы, конечно...

С г о р е п ь я н о в.

Поддержали бы меня, хочешь ты сказать? Хе, хе, хе! Ну! да у меня ни картин, ни денег нет, а без этого, сам посуди, что сделаешь!

---

* Криспин ниже говорит, что отец его поехал в Сибирь на казенный счет для искания золотых руд; не худо бы было автору согласить сие противоречие.

Вскипятилин.

Что же вы намерены делать в теперешнем вашем положении, чтобы счастливу быть?

Сгорепьянов.

Пить, вот те и вся недолга; связывает меня только жена и дети; да, мои дети, ей-богу, мои! Они часто без куска хлеба сидят! Вот от этого я нередко даже и пьяный плачу. *(Заплакав.)* Эх, как мне их жаль! милые мои, любезные мои! я бы рад вам жизнь мою отдать, кровь мою за вас пролить, да нет, уж не могу! Я часто сам себе говорю: пьяница негодный, пьяница премерзкий! полно тебе пить. Горесть мною овладеет, слезы польются ручьями, я еще больше напьюсь.

Вскипятилин.

Да для чего ж вы напиваетесь?

Сгорепьянов.

Для того, чтобы трезвым не быть.

Рассматривая комедию со стороны языка и прозы, я должен сказать, что и то, и другое очень хорошо, что ж до суждения, то уже сказал я, что она не может быть подвержена строгому. Со всем тем сделаю одно примечание.

Разговоры все в сей комедии очень остро ведены; но по большей части отдалены они от содержания комедии и наполнены эпизодами, которые ничуть не служат к исправлению Вскипятилина, что бы, кажется, в виду должен был иметь автор — комедия же вообще наполнена остроты и соли.

Я уже сказал в примечании моем на комедию *Смех и горе*, что г. Клушин подает великую надежду к обогащению российского театра, и в этом согласятся со мною многие знатоки и любители российского театра. *Алхимист* его принят с рукоплесканиями, и не часто можно видеть в театре такого стечения публики.

МАРФА ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГРАДА

(Драма в трех действиях, напечатана в С.-Петербурге 1807 года)

«Актер г. Шушерин (изъясняет автор в своем предисловии), убедивший меня наскоро написать сию драму, есть виновник ее порождения, а театр, обраковавший оную за единое ее содержание, есть причина непоявления оной на сцену...» (И там же в конце): «Станок тиснул листы, мое дело окончено, талант в продаже за семь гривен, и читателям остается теперь судить, стоит ли чернил произведение...»

Воспользуемся позволением сочинителя.

«Во время правления Марфы Новым-Городом царь Московский присылает Холмского с воинством и требует, чтобы новогородцы ему покорились. Они, упорствуя, делают вылазку, проигрывают сражение, и Холмский входит победителем в город». Вот содержание драмы. Я не говорю о переписке Марфы с Казимиром, королем польским, и об умысле предать ему Новгород, ибо это в течение действия не производит перемены, и даже если бы совсем о том упомянуто не было, то бы главное происшествие ничего не потерпело, и участь Новгорода была бы та же.

Автор, желая украсить свое содержание, выводит Михаила и Димитрия, двух витязей новогородских. Они оба

ненавидят Марфу за ее властолюбие, и последний, сверх того, влюблен в дочь ее Ксению. Сия ненависть и любовь обещали бы, повидимому, много театральных происшествий, но сии витязи столь умеренны в своих страстях, что в продолжение всего представления остаются без всякого с своей стороны действия, а особливо удивительно терпение Димитрия, при котором даже выдают его любовницу за Мирослава, и он уже принужден отговориться *нечаянным недугом и расслаблением*, чтобы не быть у жениха отцом посаженым. Редкий пример скромности в дурном человеке, каков Димитрий, что он не открывается в своей любви ни матери, ни дочери, и даже соперник его не догадался о сей страсти. Правда, что и Мирослав ему в скромности не уступает: от него ни слова не было слышно о Ксении, и хотя Марфа в конце первого действия говорит, что она перед отшествием его на сражение вручит милый ему дар, но из молчания сего любовника можно заключить, что он нимало не догадывается, о чем она говорит. Марфа, однако же, не огорчаяся сим молчанием, во втором действии, перед тем как войску итти на брань, ведет Мирослава к венцу с своею дочерью.

Скромен Димитрий, скромен Мирослав, но едва ли не обоих скромнее Ксения! В явлении, когда Марфа намерена вручить ее Мирославу и, наперед испытывая сердце дочери, предлагает ей на выбор из двух женихов или Димитрия, или Мирослава, — Ксения молчит. Марфа говорит, что она по многим признакам догадывается о любви ее к Мирославу, — Ксения молчит. Марфа вручает ее Мирославу: Ксения все молчит; наконец Ксению уводят в церковь — венчать, а она и уходя все-таки молчит.

Вот характеры Михаила, Димитрия и Ксении! Что касается до Марфы, то во всех чувствах автор выводит ее героинею. Она поручает в сражении двух сыновей своих Михаилу, своему неприятелю, из уважения к его добродетели; выдает дочь за безродного Мирослава для того только, что он исполнен достоинств; поручает в правление посаднику Молинскому попечение о внутренней тишине Новгорода во время битвы — словом, везде оказывает благородные и высокие чувства, которые, однако же, несколько противоречат тому, что она в заговоре с Казимиром, чтобы предать ему своих сограждан новогородцев

из единого властолюбия, а такое противоречие в характере заставляет читателя любопытствовать, любовь или ненависть хотели возбудить в нем к Марфе.

В третьем действии, по сравнению с двумя первыми, приметно более огня и движения. Ксения сокрушается о супруге, находящемся на сражении; постепенно открывается, что войски новогородские побеждены и рассеяны, и, наконец, они совершенно разбиты. Холмский входит в торжестве, покоря Новгород. Марфа заколается; убиты из действующих лиц четыре: два сына Марфы, Мирослав и Димитрий; тяжело ранен один — Михаил, да без вести пропал посадник Делинский, ибо в третьем действии его нет, и автор не говорит, что с ним сделалось. Столь чрезвычайная потеря действующих лиц приводит автора к необходимости оставить на сцене Холмского одного, который кончит драму.

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРЕДИСЛОВИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ И ПР.

П Е Р Е В О Д Ы.

П Р О И З В Е Д Е Н И Я, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ КРЫЛОВУ

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРЕДИСЛОВИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ И ПР.

[ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ «ПОЧТЫ ДУХОВ»]

В книжных лавках близ Кузнецкого моста у книгопродавца Зандмарка и на Покровке у книгопродавца Миллера принимается подписка на выходящее вновь с генваря месяца сего 1789 года ежемесячное издание под заглавием: «Почта духов, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Издатель оного в объявлении своем уведомляет, что он служит секретарем у сего недавно приехавшего сюда арабского волшебника, имеющего великое отвращение к бешеным домам и расположившегося несколько времени прожить здесь *инкогнито*, почему и намерен выдавать переписку сего знатного в своем роде господина, и уверяет, что издание сие будет любопытно для тех, кои не путешествовали под водой, под землей и по воздуху; что сочинители сих писем все духи очень знающие и что сам Маликульмульк человек пресамолюбивый, который всегда говорит хорошо только о себе, отзывается иногда об них не худо и сказывает, будто многие из них очень добрые духи; но только иные не любят крючкотворцев, ростовщиков и лицемеров, а иные не жалуют щегольства, волокитства и мотовства, и от того-де они никак не могут ужиться в нынешнем просвещенном свете видимыми, а ходят в нем невидимыми и бывают иногда так дерзки, что посещают

иногда в самые критические часы комнаты щеголих, присутствуют в кабинетах вельмож, снимают очень безбожно маски с лицемерных и выкрадывают иногда очень нахально и против всех прав общежития из записных книжек любовные письма, тайные записки, стихи и пр., и пр., чем-де многие делают беспокойства в любовных интригах и плутовствах, а потому нет почти ни одной новоприезжей на тот свет тени, которая бы ни подавала на них челобитную Плутону или бы через него не пересылала их к Нептуну, не могущим однако ж со всей своей властью унять сих шалунов. Итак, г. Маликульмульк бранит только сей их проступок; однако ж признается, что он сим похищениям и входам без доклада обязан многими весьма любопытными письмами, которые от них получает и делает благосклонность прочитывать без остатка. Вот что объявляет секретарь ученого, премудрого и богатого Маликульмулька и прибавляет к тому, что как он не имеет достаточного числа денег для напечатания сих писем (ибо-де место секретаря у ученого человека очень бесприбыльно), то просит почтенную публику, чтобы желающие читать и получать ежемесячно издаваемое им собрание сих писем благоволили в вышеобъявленных местах подписываться, заплатя наперед деньги за каждый экземпляр на целый год на александринской бумаге по 9, на любской по 8, на простой по 7 рублей с пересылкой.

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ В «ЗРИТЕЛЕ»

ВВЕДЕНИЕ

Один или многие будут издавать «Зрителя», о том, кажется, нет нужды уведомлять благосклонного читателя. Пускай представляют человека, который любопытным взором смотрит на все и делает свои примечания. Сей-то воображаемый зритель позволяет себе, выбрав из самой природы, образовать разные свойства по своему рассуждению, не дерзая нимало касаться личности; подобно как живописец, желая написать на своей картине различные страсти, рисует человека во всех правилах естества, но ничьего прямо лица не изображает.

Право писателя представлять порок во всей его гнусности, дабы всяк получил к нему отвращение, а добродетель во всей ее

красоте, дабы пленить ею читателя: сим правом вознамерился пользоваться «Зритель».

Любезные россияне, предмет моего внимания и душевного почтения! если в свободные часы я, т. е. воображаемый вами зритель, явясь очам вашим в сих листах, извлеку на лицах ваших улыбку... вот моя слава! вот мое торжество!

Уведомляю притом, что не все буду я сочинять и не все также переводить. Вздумается сочинить — сочиню; вздумается перевесть — переведу; вздумается о чем рассуждать — рассужу; вздумается написать небылицу — напишу; услышу или увижу какую-нибудь новость на Парнасе и вздумается об ней сказать — скажу... Не подумает ли кто, что здесь стихов не будет?.. Боже сохрани!.. без стихов ежемесячник — как пища без питья или как чай без сахару. Угостит ли тот хозяин гостей, который представит им обед, хотя бы преизобильный и превкусный, но без всяких напитков?.. без стихов нельзя.

Наконец «Зритель» посвящает себя благосклонным читателям всякое первое число: дай боже! чтоб мог им понравиться.

*

Ныне высокос, февраль именинник — вот причина, для чего «Зритель» начинается с февраля!

*

Издатели покорнейше благодарят г. Неизвестного за присылку прекрасного его сочинения к помещению в журнал. Просвещенный читатель увидит, что сие творение столь же много делает чести их изданию, как легкому, приятному и острому его перу. За желание же издателям *орлиного зрения* взаимно желают они г. Неизвестному *мудрости змииной* и *силы львиной*, дабы он, вооружаясь противу пороков, сделал и впредь честь издателям присылкою своих сочинений, которые с отменным удовольствием поместятся в их листках.

ПРЕДИСЛОВИЕ И ИЗВЕЩЕНИЕ В «С.-ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕРКУРИИ»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Цель издания нашего двоякая: и желание угодить и быть полезным нашим читателям.

Мы имеем множество периодических изданий, много хороших, но едва ли есть на нашем языке два журнала, подобных журналам иностранным. В них или мало, или совсем ничего нет свойственного журналам.

Для чего не сказать публике о новых произведениях российской литературы? Для чего не возвестить о театре, что на нем играно, особливо нового и как играно? — Сие право позволенное, и мы хотим им пользоваться.

Наши замечания, наши суждения по сей части не есть суждения деспотические. Рецензор ошибается: критик восстает и исправляет его погрешности, а вот уже и очевидная польза для наших словесных наук.

Издание продолжится год непременно. Ежели оно публике понравится, ежели издатели заслужат ее внимание и доверенность, будет выходить и далее.

Сочинения в стихах и прозе, подражания и переводы издателей будут печататься с их именами. Какая нужда скромничать именем, ежели цель сочинения не противна благонравию и не нарушает ничьего спокойствия? — Особы, сделавшие честь присылкою своих сочинений, подражаний или переводов, пользуются своим правом.

Всякий месяц будет выходить к первому числу предыдущего. Издавать в свое время со всевозможною исправностию — наша должность. Обмануть публику значит оскорблять нечто священное.

Иван Крылов.
Александр Клушин.

[ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ «С-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕРКУРИЯ»]

Год «Меркурия» кончился—и за отлучкою издателей продолжаться не будет.

Долгом своим поставляем мы признать нашу благодарность почтенным читателям за благосклонное принятие наших трудов. Одобрение от просвещенной публики приписываем более ее сни-

схождению, нежели нашим талантам, и ничего столь не желаем, как произвести со временем что-нибудь более достойное внимания читателей нашего века.

Мы слышали иногда критики и злые толки на наши писания, но никогда не были намерены против них защищаться. Если они справедливы — защищение не поможет, если ложны — то исчезнут сами собою. Слабо то сочинение, которое в самом себе не заключает своего оправдания.

А. Клушин.
И. Крылов.

П Е Р Е В О Д Ы

НЕСЧАСТНЫЙ МЕНОС, ИЛИ ПРИМЕР СЫНОВНЕЙ ЛЮБВИ К МАТЕРЯМ

(Перевод с италиянского)

Уже солнце взошло на горизонт; взору поселянина представлялись отвсюду зеленеющиеся луга и рощи; несчастный Менос не ведает великой потери! Солнце ударяет лучами своими в его храмину, но он покоится беспечно. Наступает восьмой час утра, час приятный и полезный для смертного в летнее время; он проходит, наступает девятый, и сей подобно последующему протекает; наконец пробило десять, наступил одиннадцатый час, несчастный для бедного Меноса, — час, поразивший слух его ужаснейшим известием. Приходит служительница в раздранном рубище, лицо ее покрыто смертною бледностию, русые власы растрепавшись лежали в беспорядке на раменах ее. Раба, по верности своей достойная величайшей награды, входит в жилище пятнадцатилетнего юноши Меноса, то приближается к одру спящего, то удаляется, дабы не нанесть ему смертного удара, и, наконец, подходит. Боже!.. какое зрелище! Сия вернейшая раба упадает подле юноши... юноши невинного и добродетельного. Падением своим пробуждает Меноса, встает он и содрогается — спешит привесть ее в чувство, наконец, открывает очи, возводит их на небо...

«Всевышний и всемогущий боже! — рекла она. — Покровитель сирот и защитник невинности! Сохрани уже другой день оставленного родительницею своею юношу, внемли мольбам вернейшей

рабы его; отврати его от несчастий, могущих приключиться ему в сем коловратном свете. Прости, моя Дога! прости навеки, милая госпожа моя! ты его оставила, и оставила без защиты, без помощи... Увы! я зрю его погибель...» При сих словах опять закрываются очи ее. Она уже не чувствует ничего, не зрит юноши, — юноши, с торопливостию надевшего легкое платье и стремящегося к телу любезныя родительницы. Двери другой комнаты были отворены, он спешит туда, зрит мать свою, лежащую во гробе; ее окружают множество знакомых, родственников и приятельниц. Менос стремится ко гробу; но предстоящие удерживают, он рвется, кричит, лицо его уже начинает покрываться томною бледностию, язык недвижим, глаза смыкаются, все мнят свободным допуском для облобызания дражайшей его родительницы подать ему облегчение, но увы! Уже тщетно! Он недвижим... Вскоре возвращены чувства, но ах, не надолго. «Злодеи! — вскричал несчастный, бедный сын, — для чего давно мне не возвестили о смерти любезной родительницы моей? Для чего вы сделали меня несчастным! Сына, того сына, которому мать еще при жизни обещала благословение? Простите! Вы будете отвечать!» Сказал, и его уже зрят мертвым, лицо побелело, и, казалось, желал он, простерши руки ко гробу матери, обнять ее в последний раз. В таком положении скончал жизнь свою Менос.

Поистине безрассудный, но чрезмерно любящий сын. Он положен был подле виновницы его жизни.

РЕЧЬ, В КОТОРОЙ ЖАЛУЕТСЯ САПОЖНИК НА ЖЕНУ СВОЮ,

написанная для примера риторических фигур

Когда я говорю да, она отвечает нет; вечер и утро, ночь и день — всё бранится (Antithèse, *противуположность*). Никогда, никогда нет с нею покоя (Repetition, *повторение*). Это фурия, дьявол (Hyperbole, *увеличение*). Но, несчастная, скажи (Apostrophe, *обращение*), что я тебе сделал (Interrogation, *вопрошение*)? О боже! как безумно поступил я, что на тебе женился (Exclamation, *восклицание*)! Зачем я не утопился прежде (Optation, *желание*)? Я не упрекаю тебя ни в том, чего ты мне стоишь, ни в заботах моих доставать нужное (Prétérition, *прехождение*); а прошу тебя, заклинаю: ос-

тавь меня в покое и не мешай работать (Obsécration, *умоление*), или клянусь... страшись довести меня до крайности (Imprécation et Réticence, *заклинание* и *умолчание*). Она плачет; ах, смиренница! Вы увидите, что я же виноват во всем (Ironie, *ирония*). Хорошо! пусть так; я, конечно, скор, несколько вспыльчив (Concession, *уступление*). Сто раз желал, чтобы ты была дурна; проклинал, ненавидел эти ехидные глаза, этот обманчивый вид, который меня с ума свел (Asthéïsme ou louange en reproche, *похвала с упреком*). Скажи мне, не лучше ли бы ладить со мною добрым, ласковым обхождением (Communication, *сообщение*)? Наши дети, приятели, соседы, — все видят, что мы живем недружно (Enumération, *исчисление*). Они слышат вой твой, жалобы и ругательства, которыми ты меня потчуешь (Accumulation, *собрание*). Они видели, что ты, выпуча глаза, покраснев, как огонь, с растрепанными волосами, гонялась за мною с угрозами (Description, *описание*). Все говорят о том с ужасом; придет соседка — рассказывают ей, прохожий слушает, пересказывает другим (Hypotypose, *изображение*). Подумают, что я грубиян, злодей, что во всем ты нуждаешься, что тебя бью, бью насмерть (Gradation, *восхождение*). Нет, все знают, что я тебя люблю, что сердце у меня доброе, что желаю видеть тебя спокойною и довольною (Correction, *поправление*). Небось, свет не обманешь неправда при неправом остается (Sentence, *изречение поучительное*). Увы! твоя бедная мать столько раз обещала мне, что будешь похожа на нее! Что скажет она? что теперь говорит? ведь она видит все, что делается. Так, я надеюсь, что она слышит; сам слышу, что упрекает она тебя за мои несчастия. Ах, мой бедный зять, говорит она, ты достоин лучшей участи (Prosopopée, *олицетворение*).

Фигуры суть орудия, которые натура дает в руки людям для нападения и защищения себя; человек, коим обладает страсть, употребляет оные слепо и по внутреннему вдохновению; рассказчик делает из них ремесло; красноречивый имеет ту выгоду, что действует ими сильно, проворно, благоразумно и кстати.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ КРЫЛОВУ

РОДНЯБАР

Роднябар звонит в колокольчик, поспешно два человека входят в его спальню, открывают тихонько занавес у его кровати и надевают на него верхнюю рубашку так, что он совсем того не чувствует. Он подъемлется мощными их руками очень осторожно и сажается в шелковом халате на широкие кресла. Каждый из сих двух прислужников берет по одной его ноге и надевают на них чулки, исподнее платье и сапоги; а между тем сзади парикмахер принимается за его голову, как за главнейший член сего редкого создания. Все это исполняется с такою поспешностию, с такою нежностию и с таким искусством, что в одну минуту он совсем уже причесан; тогда подносят ему зеркало, и он, открывая глаза, взирает сам на себя с приятною усмешкою. Потом опять его поднимают и надевают на него платье: ему остается только протянуть собственную свою руку для взятия шпаги, которую он надевает на себя сам. Наконец он смотрится еще в зеркало и выходит вон из своих комнат; по лестнице сводят его под руки и сажают в карету, а за десять пред тем минут лежал он в постеле. Без сомнения, меня спросят: не принц ли это какой, которого таким образом одевали; ибо принцы имеют преимущество никогда ничего не делать своими руками?.. Нет, это молодой полковник, который поехал учить свой полк.

<ПИСЬМО СМИРЕННОЛЮБОВА>

Господа издатели!

На сих днях, будучи принужден по своим нуждам быть в доме у одного из тех господ, которых называют знатными вельможами, где надлежало мне, по ведущемуся обыкновению в сих домах, дожидаться выхода большого барина в прихожих его комнатах, которые обычайно наполнены бывают ежедневно великим множеством людей, в числе коих находились тогда и такие особы, которые по своим летам, чинам и заслугам достойны были отличного уважения, но будучи тут, как думать должно, по своим должностям или особенным надобностям, были принуждены толкаться наряду с дерзкими хвастунами, выдающими себя в сих домах за случайных людей. Между прочими бывшими тут приметил я одного человека, стоящего в дальнем углу того покоя; вид его, под бедною одеждою, изображал нечто такое, которое почитать его заставляло; скромный взор, соединенный с унылостию, и черты огорченного его лица, показывающие в нем величайшую печаль, привлекли к нему сердечную мою любовь и соболезнование. Ах! помышлял я сам в себе, неужели честный и почтения достойный человек должен быть всегда печален, недостаточен, унижен и без покровительства? неужели не должен ни един честный и несчастный человек иметь у себя друзей, его подкрепляющих? — Нет! ибо дружба такого человека, который, будучи со всех сторон беден, какую может принести кому пользу! — Кто ж без собственной своей пользы станет дружиться! — Все говорят о таком человеке, что он честен; но и все от него удаляются, унижают его и стыдятся быть с ним вместе! Для чего же то бывает? Для того, конечно, что он имеет более достоинств, нежели они, и заслуживает пред ними лучшее почтение.

Размышляя таким образом, усмотрел я, что те господчики, которые всегда ищут случая на счет ближнего показать остроту своего разума и кои поставляют себе славою в поступках своих вместо пристойной вольности, оказывать наглую дерзость, обратили ядовитые свои взоры на моего незнакомца и оказывали ему, телодвижениями и язвительною усмешкою, свое презрение, что меня чувствительно тронуло. Как, говорил я сам в себе, он для того презираем, что имеет на себе поношенное платье, под коим сохраняет, может быть, чистоту своих нравов; и презираем еще от таких людей, кои под богатыми своими одеждами сокрывают развращенность своих сердец. Золото и серебро, блистающее на оных,

куплено ценою бесчестия, будучи приобретено на счет ближнего, картами или какими-нибудь другими обманами и хитростями; ибо их одежды более им стоили, нежели сколько получали они в год доходу. Тогда я делал в мыслях своих сравнение, кому должно давать преимущество, бедно ли одетому, но честному человеку, или в богатом платье дерзкому и обманом живущему наглецу?

Не успел я вытти из сего моего размышления, как появилось всеми ожидаемое божество, то есть вышел вельможа, совсем уже одетый, чтобы ехать со двора. В одну минуту окружен он был сими смельчаками, которые, несмотря на то, что не делал он ни малейшего внимания на их речи, заглушали его пустыми своими болтаниями, для избежания чего он поспешно откланялся, не удостоя почтенных и заслуженных людей, имевших до него свои надобности, с собою об оных поговорить, для того, что не были они столько ж дерзки, как первые. В сие самое время, с пристойным почтением, подходит к нему мой незнакомец, но как сие было уже на походе, а притом одежда его и некоторого рода робость, сопровождающая обычайно несчастных, не заслуживали внимания знатного вельможи, почему он и не остановился для выслушания его дела, а, продолжая свой путь большими шагами, заставил незнакомца моего за собою бежать, отчего по слабости в груди и от стеснения в оной он задыхался и не мог порядочно объяснить своей до него нужды, что заставило меня сделать свое замечание, из которого заключил я, что, когда несчастные просят сильных властей сего света, и хотя обладают они правотою и добротою своего сердца, но дух имеют всегда короток.

Я слышал, что вельможа, садясь в свою карету, что-то ответствовал ему вполголоса; но в то ж самое время служители его хлопнули каретною дверью и закричали кучеру: *пошёл!* отчего и половины его слов не можно было слышать. Карета уже удалилась, а мой незнакомец стоял еще, как в изумлении, с протянутою шеею для выслушивания невнятных речей сего вельможи. Таковое его положение в дерзких наглецах произвело смех, которые на счет его не постыдились почесать язвительных языков своих, на что он, не сказав ни слова, с важным видом посмотря на них довольно пристально, отошел прочь.

Вот вам, господа издатели, небольшой анекдот, пожалуйте поместите его в вашем издании, а отговариваться, как кажется, вы права не имеете; ибо взялись печатать все то, что служить может к поощрению добродетели, следовательно, и к уничтожению порока, а тут порока очень много... Особенно же у нас ныне ввелся

такой обычай, что наглецы везде и всегда берут преимущество пред честными и скромными людьми, сохраняющими должную пристойность. Правда, что иногда сим смельчакам запрещают вход в знатнейшие домы; но сие бывает политично, ибо они почасту, отталкивая стоящего при дверях служителя, силою входят во внутренние комнаты вельмож, которые не взыскивают на них такую дерзость, а оставляют их или без примечания, или из пристойности сносят их перед собою, а через то подают им повод слыть случайными, делать более дерзостей и обманывать других.

Исполня же мою просьбу, вы одолжите многих, а особенно вашего покорного слугу

Смиреннолюбова.

МОДНЫЕ ТОРГОВКИ

Сидя в своих модных магазейнах одна подле другой, приводят они в порядок токи, шляпки, чепцы и косынки, сии великолепнейшие трофеи, рождаемые и переменяемые модою. Их можно всякому свободно видеть, и они также глядят свободно на всякого.

За 70 лет назад не видно было здесь ни одного магазейна; француженки еще сюда не показывались и не осмеливались включать в число своих данников модных наших щеголей и щеголих; а наши девушки, не зная заменять искусством природных прелестей, привлекали к себе мужчин одними только добрыми своими качествами, тихим нравом и разумом, довольно просвещенным на то, чтобы быть доброю хозяйкою, хорошею женою и не наводящею скуки приятельницею. Но сии времена невежества уже исчезли, а наступил век просвещения, и ныне все большие улицы наполнены сими торговками, продающими замену добродетели и разуму. Все стараются друг перед другом наперерыв приходить в их лавки за новыми модами и за французскими товарами, кои берут они в наших же лавках и продают за вывезенные в тот день из столицы мод просвещенных народов. Наши модные щеголихи, наполненные к ним теплою верою, покупают у них за свежий товар такой, который, завалявшись в русской лавке с три года, почти уже сгнил от лежанья, и если от француженки проходят мимо русской лавки, то с презрением глядят на нее, а купец, узнавши свой товар, смеется их глупости. Девки, сидящие в модных лавках с иглою в руках, непрестанно взглядывают на улицу;

ни один прохожий от них не увернется, и всякая из них старается занять место ближнее к окошку, как самое лучшее и способное; ибо мимопроходящие мужчины всегда ей первой делают любовный взгляд.

Ей приятен всякий взор, брошенный на нее; она воображает, что имеет у себя столько любовников, и множество мимопроходящих, следуя одни за другими, умножают ее удовольствие и любопытство. И так сие скучное упражнение становится для нее сносно потому, что присоединяется к нему забава многих видеть и быть самой видимою. По справедливости надлежало бы всегда самой пригожей из них занимать место у окна, о чем нередко стараются и сами торговки, чтобы тем приманить молодых людей в свою лавку, которые не иначе входят в оную, как под видом покупки каких-нибудь модных безделиц; а иногда и в самом деле покупают на несколько времени у содержательницы лавки ближний товар к окошку.

В сих лавках бывают видны прекрасные личики подле самых отвратительных лиц, и мысль о серале против воли приходит на память; ибо первые из них кажутся быть достойными занимать место любимых султанш, а последние хранительниц их верности. Многие щеголихи призывают их с уборами к себе в дом, где сии прелестные ученицы модной торговки выбирают лучшие для них уборы. Они украшают голову и грудь спорящихся с ними в красоте; принуждают умалчивать свойственную их полу зависть и, исполняя свое звание, доставляют уборы тем, кои с надменностию с ними обходятся. Иногда лицо уборщицы бывает столь прелестно, что помрачает собою гордое чело богатой и знатной госпожи. Пригожая торговка в простом платье бывает у туалета сей гордой щеголихи, в коем сама она не имеет нужды, и ее прелести торжественно помрачают все искусство пожилой кокетки. Обожатель сей пышной госпожи в одну минуту делается ей неверным и ни на что более не смотрит, как на прелестные уста и на розовый румянец прекрасной уборщицы, не имеющей у себя ни швейцара, ни знатных предков; однако ж он продолжает казаться страстным престарелою графинею, чтобы на ее подарки содержать сию нимфу и получить вход к содержательнице лавки, которая одна играет лицо швейцара у двадцати своих учениц и получает от сего места иногда не менее прибыли, как и от самой своей лавки.

Нередкая из них также делает один только скачок из-за прилавки в щегольскую аглинскую карету и, бывши прежде лавочною сиделицею, чрез месяц приезжает уже сама в сию лавку для

закупки себе модных товаров; становится гордою, не узнает старых своих подруг и говорит повелительно с своею бывшею мастерицею, которая за несколько недель назад могла ее наказывать; но теперь она сама платит ей презрительным видом и все то делает для того, чтобы вскружить головы от зависти у любезных своих подружек.

Она уже не принуждена сидеть в лавке, но наслаждается всеми выгодами молодых лет; не спит уже более на простой постеле без занавеса и не обеспокоивается старанием уловить в сети свои на два часа какого-нибудь худоплатова щеголя. Она катается в богатом экипаже наполненная удовольствием, что может обрызгать с ног до головы прежнюю свою подругу. После сего примера все ученицы, смотря попеременно то в зеркало, то на свои кровати, ждут нетерпеливо от судьбы той минуты, чтобы, бросив иглу, вытти из сей неволи.

Проходя мимо сих лавок, храбрый воин, молодой судья и щеголеватый купец заходят туда, чтобы поболтать с красавицами. Они притворно показывают, будто хотят что-нибудь купить, единственно для того, чтобы войти в разговоры с прелестными сиренами. Молодой судья покупает пудру и духи, а воин спрашивает батисту на манжеты и поддерживает аршин у прекрасной ученицы, которая отмеривает ему его покупку и, взглядывая на него, улыбается. Таким-то образом любопытство заставляет всякого мимопроходящего или проезжающего щеголя заходить в сии лавки под видом покупки каких-нибудь безделиц.

Некоторые модные лавки содержатся на самых строгих правилах, как будто бы для того, чтобы от других казаться совсем отличными. Там все девушки содержатся назаперти, и кажется, что рука притворного постоянства приготовляет сии пышные и великолепные уборы, коими украшаются модные кокетки. Там их убирают, однако ж им не подражают и не оставляют для себя ничего из тех уборов, коими украшают оперных девок. Там хотя на них работают, но не дозволяется даже и видеть сих искусниц. Они подобны тем товарам, которые не должны никогда отведывать с приготовляемых ими блюд. Вот состояние сих девок, работающих под строгим присмотром и совершенно лишенных всей свободы.

Но содержательница такой лавки столь восхищается чудным установленным у нее порядком, что хвалится тем перед всяким к ней приходящим. Кажется, что она ударилась бы о заклад со всем светом и хотела бы поместить в истории, что у нее есть такая модная лавка, где все девки совершенно целомудренны и что сие чудо должно приписать ее тщанию и добродетели.

Но если посмотреть хорошенько, то можно тотчас увидеть, для чего все это делается. Молодой повеса, который с подобными ему ищет всегда первых побед, прельщается ее рассказами и почитает самолюбие свое огорченным, если не победит ее присмотра; и для того, чтобы получить желаемое, он месяца два сряду всякий день ездит в лавку за тем, что бы другой получил в три часа. Он прежде всего старается смягчить своими взорами сих весталок, приученных уже играть роли Агнес, и, наконец, сделавши много прибыли содержательнице своими покупками, а нимфе подарками, получает желаемое и хвалится пред своими товарищами победою невинности, которая за наличные деньги, платя пошлину своей мастерице, продолжает попрежнему играть роль Агнесы.

Но надлежит признаться, что сия работа модных уборов есть художество, от всех обожаемое и торжествующее, которое в нынешний век в великом уважении. Оно бывает благосклонно принято в знатнейших домах, и модная торговка имеет доступ туда, куда и посредственная знатность никогда входить не смеет. Там рассуждается о платье, советуется с нею о головном уборе, и искусство, присоединясь к дарованию природы, украшает и самые знатные титулы.

Но кто более достоин славы, та ли голова, которая выдумывает сии моды в уборах, или та рука, которая со тщанием производит их в действо? Сию задачу решить очень трудно; ибо редким известно, какой догадливой торговки выдумка производит перемену на всех головах здешних кокеток и какой модницы приговор осуждает на вечную ссылку старые уборы. Если сегодня какой убор на женщинах в публичном гулянии, то, пришед туда же спустя неделю, увидишь совсем новый свет, и прежние головные уборы будут там столь же редки, как древние строения египтян, сириян и римлян. Зрители смеются щеголихам, одетым в старомодные уборы, а француженки всегда остаются в барышах. Когда проезжает пышный экипаж графини, окруженной скороходами, арапами и лакеями, тогда она, подымая пыль на улицах, кажется, позабывает весь свет; все тянутся из окон посмотреть ее позлащенную карету, и она никого не удостаивает своего взгляда; но коль скоро проезжает мимо окон своей торговки, то взглядывает на нее с приятностию, предпочитая ее всей публике, и удостаивает ее своей улыбки.

Ее соперница сохнет от зависти, ворчит на ее незнание, порочит ее вкус и всячески старается унизить ее славу, подобно журналисту, который в своих листах бранит автора, приобретшего по-

хвалу от публики. Но ее ворчание мало имеет успеха, ибо сия знатная торговка покровительствуема всеми придворными и знатными госпожами, кои дают законы в щегольстве и коих законы всеми уважаются.

Модные торговки, начиная от столицы до дальних провинций, награждают всех наших щеголих своими искусно сделанными мелочами. Их выдумки всеми одобряются и приняты бывают с восхищением. Но сии платьи, накидки, чепцы, шляпы, блонды и косынки делают то, что в нынешний век много пригожих девушек вечно не выходят замуж.

Всякий муж страшится сих модных торговок и без ужаса взглянуть на них не может. Желающие жениться, лишь только увидят сии великолепные приборы, богатые платья, шляпы и чепцы, обожаемые нынешними девушками, впадают в задумчивость, делают вычеты и остаются холостыми; девушки же, с своей стороны, говорят, что они столько же любят блондовые наколки, шляпы и чепцы, сколько и мужей. Пусть так: оставим их следовать обычаю нынешнего света.

ПОКАЯНИЕ СОЧИНИТЕЛЯ КРАДУНА

Долгое время живучи в свете и угождая своему непреодолимому желанию писать, выдал я множество долгих книг моей работы: укоряли меня многие, и как я воображал, что это было из зависти, что во всех под моим именем изданиях нет ни здравого смыслу, ни связи; но я презирал таковую молву и смеялся моим завистникам. Им ли находить смысл там, где я сам его не отыскивал. Голова моя набита была тем высоким о себе мнением, что чем непонятнее сочинение, тем более должно иметь к нему уважения. По злости ли моего сердца, или по другому чему, я внутреннее находил удовольствие мучить читателя за его ко мне снисхождение, что он принимался за мои сочинения и за его дурачество, что он за них платил деньги. Некогда вооружился я противу всех читателей намерением издать бесчисленное число томов всех изданных моих сочинений, умножа, поправя и вновь просмотря, да прибавя к ним еще вдесятеро новых произведений моея неутомимости. Уже я восхищался мысленно, что типографщики, книгопродавцы и все читатели изрекут на меня бездну проклятий; от сего сладкого воображения объял меня сон, который удержал меня от знаменитого моего намерения; он распространил ужас в душе моей; и я уже навеки отрицаюсь от ремесла писать и в по-

следний раз решился помучить читателя начертанием сна как причины к моему покаянию и самым покаянием.

Приснилось мне, будто я лежу возле горы Парнасской в болоте; вокруг меня накладены превеликие горы печатной бумаги моего произведения. Я было восхитился от сего видения; но увы! я увидел, что на всех бумагах ничего нет кроме моего имени, точек, запятых, вопросительных и тому подобных... «Где ж девалися слова?» — вопросил я сам себя. Вдруг всякий лист застенал и произвел страшный на меня вопль... «Мучитель! — закричали они болезненным голосом, — и ты еще осмеливаешься о том спрашивать? Несчастная та бумага, которую ты два раза мучил смертельно ненасытимой твоей яростию обкрадывать всех сочинителей на свете. Сперва стенала я в тисках тебе подобного в злости типографщика, и сколь ни тяжко мне было от его давительной руки, но я бы довольна была, если бы он давил меня не произведениями твоего пера: нет заключения ужаснее, когда оное сверх страдания обременяет еще и справедливым стыдом терпящего, а твое проклятое перо произвело сие со мною. Я думала после всех страшных мучений успокоиться забытою от всего света в книжных лавках или в библиотеках тех смертных, которые тщеславятся великим количеством своих книг, а читать их ставят себе в порок; но к усугублению моей напасти лавочники продавали меня одним табачникам, и я лишена была и того горестного удовольствия по причине твоих сочинений, чтоб хотя в меня конфекты завертывали. Признаться, это несколько утешало меня, что табак, завертываемый во мне, имел некоторое сходство с твоими сочинениями; ибо я была у табачников самой низкой статьи, которые для крепости и лучшего запаху мешали в него золу, известь и веничный лист. Наконец достигла было я до совершенного спокойствия, ибо никто не стал покупать и табаку, завернутого в твоих сочинениях... как вдруг велением всесильного Аполлона собрана я сюда для большого и жесточайшего еще мучения.

Обезображенные в покраже твоей сочинители, потеряв долготерпение, убедили сего бога учености, чтоб позволил он всякому свое из меня вырвать... С чем может сравниться мое мучение, когда на каждую страницу напало по десяти авторов. Представь ты себе того смертного, который мучится ежеминутно угрызением совести по причине нажитого им имения беззаконно: он им не пользуется, сердце его беспрестанно трепещет, представляя ему тех несчастных, у коих хищением умножил он свои прибытки, и каждая нажитая неправильно им копейка грозит ему неумолкно

наказанием, что ж бы он тогда почувствовал, если бы все стали у него отбирать свое? Я точно была в таком же положении. Безжалостные сочинители вместо того, чтоб им отступиться от своей собственности при безобразном ее виде, вышедшем из твоих рук, нет, они хотя и ужаснулись при первом взгляде, но тотчас, вошед в себя, вырвали из меня все до последней буквы, и я осталась в сем, едва тень существа моего представляющем, виде... осталась проклинать тебя до тех пор, пока тлен и черви не прекратят горестного моего на свете пребывания».

Никто представить себе не может, с каким неудовольствием я все сие слушал. «Как! — закричал я, — да где же заглавия... по крайней мере в них никто укорить меня не может; они мои...» Бумага никакого ответу мне не дала, за что пуще я взбесился и намерен был всю ее изодрать в мелкие лоскуточки; но вдруг полился на меня дождь свинцовых букв, коими были набираны краденые мною сочинения, к которому присовокупились укоряющие меня крики обокраденных мною сочинителей; сии крики показались мне ужаснее самого грому; а буквенный дождь избил меня так, что я проснулся от нестерпимой боли... Я чувствовал боль во всех моих членах; а поражающий голос бумаги и сочинителей остался во мне впечатленным... Долгое время не решался, что мне делать; но совесть моя принудила меня покаянием загладить воровство мое; с твердым обещанием впредь никогда не красть... Едва я вознамерился к сему, то почувствовал некоторое внутреннее успокоение.

Должно мне наперед сказать, что́ вселило в меня охоту писать: нельзя пристраститься к писанию, не учась, следовательно, и я учился. Грамматика мне была понятна; но риторика и стихотворство были как для меня, так и для учителя моего камнем претыкания: не должно забыть здесь, что учитель мой был француз, который старался более всего научить меня произношению французскому; а о красноречии всегда мне говаривал, что в здешнем холодном климате его красноречие замерзло, которое он намерен разогреть, возвратясь во Францию, российскими деньгами. Он читал мне наизусть множество французских стихов и заставлял, не зная почему, восхищаться их красотами; он уверил меня, что для сочинителя подражание необходимо; он уверил меня печатными французскими книгами, что и самые славные французские авторы обкрадывали Грецию, Латынь, Ишпанию и Англию, отчего родилась во мне смертная охота обкрадывать всех, кто мне на глаза попадется. Все, что я ни читал, ничто не ушло от моего

пера. Во-первых, начал я обкрадывать французов; но как сильное знание мое во французском языке или весьма мало, или совсем ничего не понимало, то я думал, что кража моя больше походить будет на мою выдумку, в чем я весьма обманулся, потому что читатели столько же меня не понимали, сколько я не понимал тех, откуда что я брал. Зато я имел удовольствие писать весьма пространно, и всякое мое сочинение, какого бы оно роду ни было, являлось свету во многих томах.

Вздумалось мне однажды написать комедию в пяти томах, и ужасно хотелось, чтобы ее представили на театре. Не могу и теперь удержаться от бешенства, которое произвел во мне актер, которому я намерен был прочитать ее; на сей конец было с ним и познакомился и в назначенный день привез к нему мою комедию на дровнях; двое слуг внесли ее к нему на рычаге, просунув его сквозь веревку, коей была она связана, и едва на нее взглянул актер, то затрясся от ужаса. «Неужели это одна только комедия ваша?» — «Да, — отвечал я гордо, — признайся, что ни на каком театре в свете подобной не бывало...» Актер засмеялся и не хотел ее читать, за что я, отвезши мою комедию домой на тех же дровнях, писал множество на него эпиграмм и раскидывал их по партеру, и всегда, когда он играл на театре, собирал я немалое число шикалов, дабы уронить его, и всегда старался помешать, когда ему рукоплескали. В сей комедии я поместил все, что я ни читал театрального; я не спустил ни Траяну и Лиде, ни Сакмиру; я читал много содержаний балетов и описания декораций и то всё поместил в мою комедию, и сколь она ни длинна, но я всегда прочитывал ее одним присестом и с отменным удовольствием. Этого не довольно; я был однажды у одного автора, который собирался писать комедию; и как авторы все имеют страсть читать свои сочинения всякому, кого только им поймать удастся, а сей, и ничего еще не написав, рассказал мне все содержание и лучшие места в будущей своей комедии, я, пришед домой, и без угрызения совести не замедлил поместить все слышанное в свою готовую комедию; одно было мне досадно, что я принужден был ее снова переписывать... Переписывать это было мне гораздо труднее, нежели сочинять. Но как сей комедии не было ни в представлении, ни в печати, то я и написал об ней для того, чтоб очистить писательскую мою душу пред теми, которых я имел удовольствие мучить чтением оной.

Раз, взбешен будучи неуспехом моей комедии, решился я написать трагедию под названием «Чтец»: намерение мое было

морить моих героев не ядом и не кинжалом, но всех их зачитать до смерти; я было обрадовался, что мысль сия новая, однако ж я увидел в одной французской комедии, что старик, сошед с ума на сочинении, едва не уморил чтением шестиактной своей трагедии молодого человека. Это место так мне понравилось, что я хотел затмить покражу расположением моей трагедии на двенадцать действий: но и тут вышесказанный актер в представлении оной мне помешал; а я было подрадел ему в ней первую роль. Успех был бы несомненный: ибо я сам, окончав ее и прочитав до половины, упал в обморок, от которого служанка моя крепкими спиртами едва привела меня в память. Как бы славно я отмстил моему недоброхоту-актеру, если бы моя трагедия была удостоена к представлению! Не могу по сию пору надивиться, что за люди актеры: им показалось трудно учить роли, а я уверен в душе моей, что в моей трагедии не было ни одного стиха, которого бы они раз по сту не читали в театре в разных трагедиях.

Таковые неудачи отвратили меня совершенно от писания для театра, и я принялся за оды; первая ода была мною выкрадена из Ломоносова; я не устыдился брать целыми строфами, переставя передние стихи назад, а задние наперед, отчего смысл выходил совсем новый, я то же самое делал и со строфами. Я сию оду поднес одному барину, на пожалование его в чин. Барин, не читав, ее, подарил мне сто рублей, что весьма меня ободрило, и вот первое мое творение, которое я предал печати. Четвертую часть подарка содрал с меня варварски типографщик за печать, а остальными деньгами я несколько поправился, ибо в то время так я издержался на бумагу, что я стоял одной ногой при дверях нищеты. Теперь пришло мне на мысль, какой бы это смешной был нищий, который бы стал просить: подайте милостыню промотавшемуся на бумагу сочинителю!

Обрадованная муза моя внушила мне стихотворную свою политику, которая состояла в том, чтоб я отыскивал поминутно богатых именинников, и я не пропускал ни одного без оды и все оные печатал, и преимущественно те, за которые давали мне деньги; года с полтора я торговал одами весьма удачно, как вдруг одно несчастие истребило во мне охоту к одам.

В один день многие достойные люди получили награды за свои услуги к отечеству; я, нимало не выправляясь, кто за какие услуги награжден, решился в один вечер всем им написать по оде. Жаркое мое воображение обещевало мне, что я сберу весьма хорошую с них подать; принялся я марать бумагу. Но увы! в истощен-

ном моем мозге я ничего не нашел: все сочинители мною уже были обокрадены. Что делать? иной бы на моем месте стал втупик; но храброе писательное мое сердце тотчас нашло мне пособие в сем трудном для меня обстоятельстве: я схватил все мои прежние оды и выписал из каждой по строфе, отчего составилась преогромнейшая ода, с которой я велел списать рук в десять списки и понес к каждому новопожалованному по списку... Сперва мне давали деньги, и я, обходя дома четыре, спешил в радостном восхищении к пятому, где — о ужас! — я нашел того, у которого уже я был с одою, и, к несчастию моему, хозяин стал читать мою оду, а гость приехал к нему, прочитав уже оную. Пусть всякий представит себе то, что я тогда чувствовал, когда оба сии господа смеялись надо мною изо всей мочи. Наконец дело решилось тем, что мне тут ничего не дали, а хозяин спросил у гостя, что он мне дал? И, услыша о сумме, обещал ему заплатить половину, сказав смеючись: «Несправедливо тебе одному платить за оду, которая написана для нас обоих. Я от стыда не знал, куда деваться, поклонился и вышел вон; а все тут бывшие проводили меня громким смехом.

Опомнясь на улице, первое мое дело было проклинать этот неудачный случай, и я уже поопасся итти в другие домы, чтобы не случилось подобной встречи. В самое то время пришло мне в голову, что один богатый откупщик именинник, который по глупости своей никогда не разумел моих од, хотя и читал их пьяный, но, по тщеславию своему, всегда мне платил за них щедро. Осталось еще у меня довольно списков с несчастной моей оды, и я, выбрав на улице, который из них покрасивее списан, пошел к откупщику. Едва я подошел к его воротам, как винный запах возвестил мне, что во всем его доме пахнет именинами. Я взлетел к нему на крыльцо и увидел его в сенях в халате и уже вполпьяна; множество разных людей суетились по его приказаниям, и все доказывало, что сегодня в его доме будет пир горой... Я поднес ему мою оду; он принял ее с лицом веселым, повел меня в горницу и спросил по стакану пуншику покрепче. С двадцать человек бросилось исполнять его приказание, но пуншу более часа не подавали, между тем откупщик заставил меня читать мою оду, и сколь ни глуп он был, а сказал мне по прочтении, что он не помнит где-то читал похожее; я ему отвечал, что ода новая и нарочно писана для его именин. Не знаю, что сделалось с откупщиком, что он стал скуп и начал со мной торговаться; вот точные слова его: «Благодарен, государь мой! Вы уже несколько лет не пропускаете моих именин, и я прежде платил вам без торгу, а это в купеческом быту не водит-

ся; так не угодно ли вам взять за эту двадцать пять рубликов и то ассигнациею: ныне, ей-ей, на серебро промен дорог...» Удивлен сими словами, я сказал ему, что я не для денег это делаю, а единственно из моего к нему усердия. «Добро, государь мой! за усердие быть так, за усердие ваше прибавлю еще пять рубликов, больше копейки не дам; ей-ей дорого... подождите меня здесь, я вам вынесу эти деньги; нынче у меня гостей будет много, хозяйка печет пироги, так эта бумага пригодится ей под пироги, и я за столом нынче могу похвастать, что пироги у меня печены на тридцатирублевой бумаге». Он встал и ушел от меня, а я остался в неизреченной досаде и едва мог утешиться ожиданием тридцати рублей... Но что ж вышло?.. Когда судьба на кого восстанет и рок ожесточится! Нечаянный случай лишил меня и этих тридцати рублей. Исполнители правосудия входят к откупщику и берут его под стражу за какое-то его плутовство и за воровской провоз беспошлинных товаров; жена и дети его заплакали, и у самого откупщика полилось вино из глаз... Я, негодуя на сих жестоких людей, сказал сам себе, чтоб им погодить часа два, я бы успел взять у откупщика деньги... а потом пускай бы они делали с откупщиком, что хотели.

Досадуя на свою участь, я дал себе клятву дома, чтобы впредь и не думать об одах; рад-рад, что хотя в первых четырех домах удалось мне получить рублей до двухсот. Итак взял я свою комедию, трагедию и все оды и, перемешав их вместе, составил из них преогромный роман, который я продал книгопродавцу на вес, и еще не успели отпечатать первого листа, как я тот же роман продал другому книгопродавцу в Москве, и я думаю, что оба они получили великий барыш; знаю только то, что я едва не попался в словесный суд, когда сии книгопродавцы между собою поссорились, публиковав в одно время в ведомостях о продаже моего романа.

Я в удовольствие их написал их ссору стихами и всячески старался сделать ее смешнее; доказательством тому, что я выбрал ее всю из «Раздраженного вакха» или «Елески», и признаться надобно, что из всех моих сочинений я никогда так не смеялся, как читая эти стихи.

Вздумалось мне писать эпиграммы — Пиплиерова грамматика попалася мне тогда в руки, и я всю ее переложил в стихи, не выключая склонений и спряжений; рифмы же выбрал я из Сумароковых трагедий, и, ей-ей, сие сочинение было у меня из лучших. И один довольно зажиточный критик не устыдился мне в глаза сказать сатиру, которую я, пока жив, не забуду. Я приходил иногда к

нему советоваться о сочинениях и думал, что он всегда подавал мне чистосердечные советы; но последний уверил меня, что он только что надо мною смеялся. Я ему сказал: «Государь мой! дайте мне совет; я все переложил в стихи, что мне ни встретилось, теперь уже не знаю, что перекладывать...» Он указал мне у себя на дворе поленницу дров. — «Вот какое множество осталось еще, что вам перекладывать!» Я взбесился, а он смеялся надо мною.

После того я решился ни с кем не советоваться, принялся за всех сочинителей на свете, ломал и коверкал их по своей воле и написал столько, что сам себе по сию пору надивиться не могу, как меня стало на эдакую пропасть. Я писал поэмы, сатиры, речи, стансы, эпиталамы, мадригалы, дифирамбы... но признаюсь по чистой совести, что и по сию пору не знаю, какое содержание оные заглавия вмещать в себя должны... и мне кажется, что эпиталамы должно писать на погребение, эпитафии на свадьбы, мадригалы на разлучение любовников, стансы на осмеяние пороков, а сатиры на похвалу добродетели.

Множество я написал критических, сатирических, политических, ямбических и всяких ических рассуждений, но никогда я не касался ни до учености, ни до правописания; ибо француз, мой учитель, не зная никакого на свете языка, учил меня российской грамматике, и могу сказать смело к чести моей, что я, обкрадывая разных сочинителей, умел обмануть и самого Аполлона, если он, приказывая сдирать с бумаги чужие слова, велел оставить точки и запятые, почтя их произведением моим, то весьма ошибся в своем мнении: ибо я крал и с точками и запятыми; правда, слова я переворачивал, а точки и запятые всегда оставлял на их местах точно таковыми, каковы они были.

Вот истинное и чистосердечное мое покаяние; а чтобы очистить мою совесть от всех писательных грехов, то я должен сказать, хотя против моей воли, что и в сем покаянии нет ни одного моего слова, а все выкраденное.

Написав сие и утвердив клятвою вовеки не марать бумагу, я положил тетрадь мою под голову и уснул спокойно. Опять увидел я во сне, что я лежу в том же болоте; но бумага моя уже молчала и начинала сотлевать, и решением Аполлона определена она в пищу насекомым. Я обрадовался сему явлению, оборотился на другую сторону и увидел вдали мучимого музыканта, который, подобно мне, обкрадывал всех капельмейстеров, с тою только разностию, что он был во сто раз меня богатее, и лежал хотя в том же болоте, но в штофном халате и на премягком пуховике; вокруг его

находилось множество ушей, его укоряющих, которые он тиранил своею музыкою и за сие брал с них огромные суммы денег. И ему велено написать покаяние, подобное моему, на нотах; жаль только, что я его не услышу, а то всякая напасть бывает гораздо сноснее, когда человек находит в злополучии своем товарищей.

ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗБОЙНИК

Шайка разбойников, состоящая из двенадцати человек, чрез несколько времени беспокоила окрестности. Наконец в одном небольшом городке она была захвачена; разбойники, видя себя открытыми, в отчаянии принялись за оружие, ранили несколько чиновников и солдат. Один только из них, по имени Иван, тотчас сдался и с рыданием подал свои руки связать, между тем как прочие продолжали около часа защищаться. В самой той тюрьме с необычайною терпеливостию переносил он свою участь. Когда товарищи его произносили ругательства и проклинания, то он молил бога о милосердии и их увещевал к такой молитве; часто столь горько рыдал он о своем преступлении, что самые тюремщики — сколь ни далеки сии люди от сострадания — утешали его.

Он обстоятельно показал все злодеяния сей разбойничьей шайки и своей собственной истории сделал следующее искреннее признание:

Он родился в Баварии, в поместье графа Н., где отец его, добрый старик, около сорока лет был живодером. Редкая честность старика сего и знание лечить скотские болезни сделали его известным во всем околотке. Сколь ни часто скотский падеж свирепствовал в соседстве, не причинял однако ж ни малейшего вреда в местах, где ему вверено было смотрение, почему, несмотря на его низкое ремесло, он любим был своим господином.

На шестьдесят шестом году его жизни случилось с ним несчастие — гончая собака молодого графа, нового его господина, порученная его присмотру, нечаянно околела. Хотя в смерти ее он нимало не был виновен, но ему не верили; она была любимая у графа—и бедный, изнеможенный старик лишен пропитания и места.

Сей несчастный, лишенный пристанища и пищи и не имея уже сил доставать себе хлеб, ходил по миру с сыном своим Иваном, еще осьмилетним мальчиком. Некоторые крестьяне, человеколюбивее графа, давали ему скудные крохи, пока он изнемог и от скорби и бедности умер.

Иван тогда был девяти лет. Двоюродный брат отца его, одинакого с ним ремесла, взял его к себе. Этот человек был скрытный злодей — вскоре бедный мальчик приучен был к некоторым маловажным воровствам так хитро, что он сам не мог догадываться, на что был употребляем. Наконец начал проникать эту хитрость, и однажды, когда уже при нем сговаривались итти на добычу и ему назначено было взлезть и отворить окошко, дух отца его живо ему представился; ему казалось, он еще раз слышит все его наставления: он не осмелился нарушить их и в тот же самый вечер скрылся.

Путь его был в ближний город. Там шатался он несколько дней; наконец один слесарь по усиленной его просьбе, принял его к себе в ученики. Целый год работал он у него ревностно, и, по словам самого слесаря, был трудолюбив, послушен, тих, понятен и богобоязлив; и, конечно, был бы самый искусный художник, если б нечаянно не узнали, что он был сын живодера; будучи чужд предрассудка, он сам при первом вопросе не утаил истинного своего рождения, за что с поруганием и жестокостию выгнан был из цеху.

В замешательстве и горести пришел он в ближнюю деревню. Тогда наступало время жатвы. Он принялся в работники к одному крестьянину, сколь ни мало известна ему была деревенская работа. В сей должности пробыл он до конца жатвы; а когда оттуда отпущен был, как более уже ненужный работник, познакомился он с одним деревенским мальчиком, который ходил стрелять дичь.

Сей пригласил к своему ремеслу бедного, пристанища и пропитания лишенного Ивана. Но и тут не прошло еще и году — он был пойман и по собственной его просьбе назначен в солдаты. Но так как в ту зиму, в которую он ходил стрелять, отморозил он себе обе ноги, так что одной и вовсе лишился, то и здесь не был принят, получил несколько лозонов и был прогнан. Сие самое лишило его последней надежды кормиться честным образом. Снова обруганный, без пропитания и не могши доставить себе его, возвращается он к своему дяде и находит его гораздо в лучшем состоянии, нежели в каком оставил.

Ожесточенный на человеческий род, который повсюду гнал его, и ободренный благосостоянием, в каком нашел своего дядю, последовал он его приглашению, и, попустивши склонить себя к первому воровству, был уже верен и в других подобных случаях. «Ты уже первым своим поступком заслужил смерть, — думал

он, — чего ж тебе бояться?» При всем том, хотя в шести воровствах был он виновен, но, по словам самых его товарищей, нигде не мог быть употребляем на главное, тем паче для наложения оков на ограбленных ими людей. Напротив, чувствительное его сердце заставляло его часто просить за них; но сего еще мало — по удалении разбойничьей шайки, он некоторых тихонько освобождал, подвергая опасности себя и своих товарищей; и однажды их было всех переловили, и едва с величайшим трудом могли они спастися бегством. В заключение надобно сказать, что он ни на что более не был употребляем, как только на отпирание замков и дверей — искусство, которым он обязан слесарю, у которого прежде жил и без которого он сам принужден был сделаться разбойником.

Может быть, кто-нибудь почтет историю сию ничего не значащею; но пускай прочтет ее внимательнее. Предположа, что человек во всяком состоянии так, как человек, нам подобен; и что, по правам природы, бедный нищий может назвать братом своим самого знатного дворянина; предположа, говорю сие, кто удержится от негодования, когда увидит, что смерть любимой собаки графа могла сделать нищим заслуженного и престарелого старика и дряхлое его тело отдать на жертву голоду, наготе и крайней бедности? Кто не полюбит этого мальчика, который, несмотря на молодость его лет, был так верен наставлениям уже умершего своего отца, что прежде захотел на все отважиться, нежели сделаться разбойником? Кто не ожесточится на варварский предрассудок, который тщетно благоразумие старается истребить, тщетно запрещен светскими законами, все, однако ж, оставаясь в своей силе, нередко лишает государства многих полезных людей, и который и в сем случае юношу, толь ревностно желающего сделаться полезным человеком, принудил злодейством себе снискивать пропитание? Кто, наконец, не извинит самого преступника, который даже в преступлениях своих не чужд сострадания к тем самым, которых принужден он грабить, когда без сего жестокие товарищи его не дали бы ему пропитания?

Перемени обстоятельства сего несчастного: пусть будет он иметь родителей, которые бы своим происхождением, счастием и имуществом могли доставить ему звание в кругу общества, и тогда б, может быть, современники и потомки внесли имя его в памятник тех полезных и великих людей, которые славятся за свое человеколюбие и великодушие.

ГИЛАС И ИСМЕНИДА

Всем, которые любят (кто не любил из вас?), известен мыс Левкадский. Там возвышается гора, с которой бросались в море все те несчастные, кои желали потушить любовный пламень, в крови разливающийся; и они, верно, исцелялись, потому что никто живым оттуда не возвращался.

Не без осторожности они повергались и в волны морские; привязывали себе крылья или сами привязывались к живым орлам; но это было только утончение смертоубийства; птичьи крылья не лучше служили Икаровых, а орлы тогда лишались привилегии, которою они пользовались по похищении Ганимедовом; и все те, которые низлетали на них, вместе погребались в неизмеримой громаде вод.

В то время, когда страсть умирать почиталась наказанием за любовь; в то время, когда страсть сия свирепствовала во всей Греции, один молодой атлет (боец), получивший множество награждений в играх Олимпийских, влюбился в Лесбосе в дочь жреца Юпитерова. Один только раз любовники виделись во храме, но в новых и согласных душах увидеться один раз значит на век полюбить друг друга.

Гиласу (так назывался любовник) назначали в супружество дочь короля спартанского. В оные героические времена славою гремящий государь не поставлял себе за унижение иметь зятем простого гражданина, коего слава вывела из мрачности; но славный боец сам унижался быть супругом недостойной дочери королевской.

С другой стороны, жрец Юпитера Лесбосского обещал дочь свою жрецу Юпитера Олимпийского. Междоусобные жреческие ссоры через целые двадцать лет разделяли их семейства, и Исменида долженствовала быть залогом их примирения.

Гилас не знал назначаемой ему принцессы; Исменида хотя и знала жреца своего, однако ж не более оттого любила; но оба, повинуясь воле родительской, стенали и не противоречили: тогда отец был царем семейства, и семейство всегда управляемо было мудростию.

Гиласу не приказано было ласково смотреть ни на какую лесбосскую девицу. Когда он стоял возле Исмениды, повинуясь сердцу своему, искал ее взглядов, встречал их; и отвращался, повинуясь повелениям родителя своего.

Исмениде запрещено было ласково смотреть на юношей лес-

босских; отец имел над нею такую волю, что все думали, что она презирает Гиласа.

Оба любовника ошибались во взаимном хладнокровии. «Тиранка! — говорил боец, — с каким удовольствием она исполняет волю родительскую!» — «Жестокий! — говорила дщерь жреца лесбосского, — он летит за счастием в Спарту... Кажется, я никогда не найду его».

Огнь любви разгорается тем более, чем больше его угашают. Огнь любви свирепствовал в сердцах любовников, но им приходят возвестить о приготовлениях к их бракам.

«Так и быть! — говорит Гилас с слезами; — предмет, которым я живу, достается моему сопернику; бесчувственная ни во что ставит славу мою; мне не позволяют пожертвовать царской дочерью той, которую я обожаю. Так и быть! я выбрал единственную участь, вдохновенную сердцу богами. Пойду на вершину Левкадского утеса, повергнусь в бездны морские, умру либо возвращусь исцеленным. — Исцеленным! — от чего? не от того ли, что я люблю Исмениду? Нет! смерть не так ужасна, как таковое исцеление».

Исменида посреди святилища Юпитерова храма занималась одинакими же мыслями; она предпринимала то же пагубное средство и, несмотря на слабость своего пола, непоколебима пребывала в намерениях своих; она ожидала с нетерпением ночных мраков для исполнения своего предприятия.

Подобные предприятия женского пола, конечно, нас удивляют, пола, который нашим воспитанием разнежен и доведен до малодушия, но на что ж скрывать поступок Исмениды? Наши девицы, конечно, не отважатся подражать ей: нравы тех веков, в которые жили Аррии, Епонины, Аспазии, Сафы, существовали, хотя теперь не осталось и следов их.

Настала ночь. Исменида, провождаемая приятельницей, которой она не всю тайну свою поверила, опасаясь, чтобы она по нежности своей ей не изменила, приходит к Левкаду; но Гилас, пошедший после, предупреждает их пришествие.

Возле горы стоял храм Аполлонов, куда самопроизвольные жертвы любви имели обыкновение приходить до совершения жертвы своей; тут пред жертвенниками клялись они с мужеством повергнуться в недра вод. Таковые осторожности нужны были для подкрепления того, что софисты называют слабостями натуры. Правда, что не всегда повиновались сему; известно, что некто спартанец, поклявшись наперед, взошел на утес и, измеряя вво-

рами глубину бездны, возвратился. «Я не знал, — говорил он, — что нужно сделать еще обет, дабы побужден я был броситься в море». Так силен инстинкт натуральный, существо человека сберегающий, говорит один из красноречивейших философов нашего века; так превозмогает он власть смертоубийственной моды.

Гилас приходит в храм, хочет произнесть клятву, но не застает жреца; с волнением ходит взад и вперед любовник Исмениды; безмолвие, слабый свет сумрака, едва сквозь своды проницающий, — все служит пособием колеблющемуся его духу. «Мудрый старец, виновник жизни моей! — взывает он: — я вижу твою едва простирающуюся от двери гроба слабую руку. Лесбос! коему Персия угрожала разрушением, варвары шествуют уже к стенам твоим, но поздно ожидаешь ты моей помощи, вотще призывает меня глас твой, отечество! Родитель мой! Любовь желает, чтоб я навсегда с вами разлучился... навсегда! нет! боги, хотящие исцелить меня от погубной страсти, не имеют нужды в жизни моей: есть способы, коими я могу уменьшить свое падение; я ими воспользуюсь, переплыву бездну, послушаюсь сердца своего, но никогда не изменю своей должности».

Бегая в беспамятстве по храму, он видит птичьи крылья, назначенные для самовольных жертв любви; он поражен между прочим кожею страшного орла, в которую можно было совсем одеться посредственной величины человеку. В первоначальные времена сии вся природа была оживлена силою: мужчины жили по полутораста лет, женщины были героини, и орлы были шести футов вышиною.

Гилас приближается, разглаживает кожу и примеривает, не впору ли она ему. Едва успел он обернуться, видит входящую молодую прекрасной талии девицу; лицо ее закрыто покрывалом; она обнимает жертвенник Аполлонов и с стремлением восклицает: «Жестокий! он желает ужасной сей жертвы. Боже мой! одушеви меня мужеством; докажем Греции, кто умеет любить, тот и умирать не страшится».

Душа Гиласова вся обратилась во внимание; он никогда не слыхивал голоса своей возлюбленной; мрачное покрывало затмевало ее прелести; одно сердце его могло ощущать приближение Исмениды; чувствительное сердце и не ошибалось.

«Умереть! — говорила в себе Исменида, — о, как горестна мысль о разрушении, все чувства мои волнуются, буду ли я в силах совершить сие жертвоприношение!»

Тогда она читает, что низвержение себя с горы Левкадской установлено было для исцеления от любви, но не для умерщвления; она воспоминает, что говаривали, будто орлиные крылья спасают и женщин; тайное побуждение влечет ее к Гиласу.

Но чуть она дотрагивается до орлиной кожи, крылья расстилаются и облекают прелестную. «Боги! — восклицает добросердечная красавица, — и птицы смягчаются моим несчастием; но единое существо на земле, которого чувствительность для меня драгоценнее всех сокровищей, существо сие презрением своим ведет меня к смерти!» Орлиные крылья с силой прижимали героиню любви: быстрое пламя пролилось сквозь перья, воспламенило чувства любовницы Гиласовой. «Бог любви! — в восторге вскричала Исменида, — ты, который оживляешь прах существ бесчувственных, для чего не показал ты власти своей над возлюбленным моим героем? Для чего Гилас превирает меня?» — «Он обожает Исмениду и никогда не престанет боготворить ее!» — с жаром прерывает Гилас слова своей возлюбленной, исторгаясь из грубой оболочки, в которой он заключался. Исменида узнает его, вскрикивает, падает в обмороке на хладный мрамор святилища.

Юная героиня, подымая очи свои, видит стоящего на коленях Гиласа и жреца, который с унылым видом взирал на сцену. После первых минут восхищения, в которые соединенные души любовников, казалось, дышали единою любовию, объясняются сомнения, согласуются происшествия, исчезают страхи, и верховный жрец соединяет Гиласа с Исменидою.

Прелестная чета сия после сего жила во храме; жрец усыновил их; с сего времени она занималась только утешением несчастных, которые прибегали искать исцеления болезням своим в бездне Левкадской: они научили их очищать пламень любви, и с тех пор зараза смертоубийства в Греции прекратилась.



ПРИМЕЧАНИЯ

В первом томе Собрания сочинений помещены прозаические произведения И. А. Крылова — его журнальные сатирические статьи и повести, рецензии, переводы, редакционные предисловия и заметки, относящиеся в основном к концу 80-х и началу 90-х годов XVIII века.

Журнальная сатира Крылова занимает большое и важное место в творческом наследии писателя и принадлежит к наиболее замечательным образцам русской прозы конца XVIII века. Возникнув на основе традиций русской передовой общественной мысли и сатирической журналистики 60—80-х годов XVIII века, сатирическая проза Крылова во многом предвещала и подготовляла его позднейшую деятельность баснописца. Целый ряд сатирических мотивов журнальной прозы Крылова перешел впоследствии в его басни.

Начало журнальной деятельности Крылова относится к 1786 году, когда в декабрьском номере журнала Ф. Туманского «Лекарство от скуки и забот» была помещена за подписью «И. Кр.» эпиграмма, являвшаяся первым печатным выступлением начинающего писателя. Гораздо значительнее участие Крылова в журнале И. Рахманинова «Утренние часы», выходившего в 1788—1789 годах. Помимо оды «Утро», помещенной за полной подписью Крылова, им были напечатаны здесь анонимно первые басни (авторство Крылова установлено благодаря находке редакционного экземпляра двух первых частей журнала; см. Ф. Витберг, Первые басни Крылова, СПБ., 1900). Есть основания приписать Крылову также и авторство сатирических очерков «Роднябар», «Письмо Смиреннолюбова», «Модные торговки», помещенных, как и все прозаические статьи, в этом журнале без подписи.

С начала 1789 года Крылов, при содействии И. Рахманинова, издает «Почту духов», задуманную как ежемесячный журнал. Однако «Почта духов» существовала лишь восемь месяцев, и в том же 1789 году издание ее прекратилось.

В декабре 1791 года Крылов совместно с И. Дмитревским, П. Плавильщиковым и А. Клушиным заводит типографию «Г. Крылов с товарищи». Типография являлась не коммерческим предприятием, а скорее издательской базой для облегчения издания произведений членов этого товарищеского объединения (см. «Законы, на которых основано заведение типографии и книжной лавки» — Полное собрание сочинений И. А. Крылова под ред. В. В. Каллаша, 1904, т. I, стр. XXXIX—XL).

С 1792 года во вновь открывшейся типографии стал издаваться журнал «Зритель», редакторами и авторами которого были Крылов, Плавильщиков и Клушин. Помимо них в журнале сотрудничали кн. Горчаков, кн. Хованский, Варакин и др. Направление журнала в основном определялось требованием национальной самобытности русской культуры, наиболее полно выраженном в программной статье «Нечто о врожденном свойстве душ российских», помещенной в первом номере журнала и принадлежавшей П. Плавильщикову.

Наиболее активными сотрудниками являлись Крылов и Клушин, регулярно помещавшие свои произведения в каждой книжке журнала. Крыловым в «Зрителе» были напечатаны наиболее блестящие прозаические произведения: повесть «Ночи», «Речь, говоренная повесою в собрании дураков», «Рассуждение о дружестве», «Мысли философа по моде», «Похвальная речь в память моему дедушке», сатирическая повесть «Каиб». Вполне возможно, что, помимо этих произведений, напечатанных за подписью Крылова, ему принадлежит помещенная анонимпо сатирическая статья «Покаяние Крадуна». Однако расширять круг произведений, принадлежащих Крылову, у нас нет достаточных оснований. Лишь недавно была сделана неудачная попытка такой аттрибуции якобы принадлежащих Крылову произведений. В сборник «Русская сатирическая журналистика XVIII в.» включены были как крыловские два произведения, напечатанные в «Зрителе» без подписи — «Сон» и «Без названия». Оба эти произведения принадлежат П. Плавильщикову и были включены в его сочинения (см. Сочинения Петра Плавильщикова, ч. IV, СПБ., 1816, «Прогулки», стр. 144—154, «Сон», стр. 154—164).

Обличительная резкость сатиры, демократизм всей идейной позиции «Зрителя» навлекли на издателей недовольство и подозрение властей. В мае 1792 года в типографии «Крылова с товарищи» был устроен обыск. Полиция искала не дошедшее до нас сочинение Крылова «Мои горячки» и заодно проверила деятельность издателей «Зрителя». Согласно донесению петербургского губернатора Коновницына гр. П. А. Зубову при осмотре полицией типографии были отобраны сочинения Крылова «Мои горячки» и поэма Клушина «Горлицы», а за «типографиею, тож Крыловым и Клушиным» было установлено «наблюдение», «не упуская из виду поведения подозрительных издателей» (см. документы, опубликованные Рождественским, — «Крылов и его товарищи по типографии и журналу в 1792 г.», М., 1899). Таким образом мы лишились, несомненно, значительного сатирического произведения Крылова. Вероятно, именно о нем вспоминал впоследствии Крылов, рассказывая Лобанову, что «одну из моих повестей, которую уже набирали в типографии, потребовала к себе императрица Екатерина; рукопись не возвратилась назад, да так и пропала» (М. Лобанов, Жизнь и сочинения И. А. Крылова, СПБ., 1847, стр. 4).

Злоключения, перенесенные издателями «Зрителя», сделали их осторожнее и осмотрительнее и, возможно, явились причиной прекращения «Зрителя» с конца того же 1792 года. Однако Крылов и Клушин в следующем 1793 году принялись за издание нового журнала — «С.-Петербургский Меркурий». Плавильщиков и Дмитревский, к этому времени, отошли от журнала, и главная роль в нем перешла к Крылову и Клушину. В «С.-Петербургском Меркурии» сатира приобретает более сдержанный и осторожный характер. Крылов помещает здесь всего лишь две сатирических статьи: «Похвальную речь науке убивать время» и «Похвальную речь Ермалафиду», а также две рецензии на пьесы Клушина «Смех и горе» и «Алхимист».

По сравнению с предшествующими журналами «Меркурий» пользовался бóльшим успехом — в столице и провинции подписались на 162 экземпляра. Однако, несмотря на осторожность издателей, Крылова и Клушина вновь постигают неприятности. В третьей части журнала была помещена рецензия А. Клушина, излагавшая содержание только что напечатанной трагедии Княжнина «Вадим», вызвавшей недовольство правительства. Видимо, это обстоятельство имело значение для судьбы журнала и его издателей. Четвертая часть «С.-Петербургского Меркурия» печа-

талась уже не в типографии «Крылова с товарищи», а в типографии Академии наук. Крылову и Клушину к концу года пришлось отказаться от издания журнала и даже на время оставить литературу и уехать из столицы.

За годы скитаний по провинции (1794—1800) Крылов почти выбывает из литературы. Лишь время от времени в журналах появляются отдельные незначительные и не характерные для него произведения.

Последний этап журнальной деятельности Крылова относится к 1808 году, когда Крылов по возвращении в Петербург принимает близкое участие в журнале «Драматический вестник», в котором наряду с баснями помещена была рецензия его на пьесу П. Сумарокова «Марфа-Посадница».

Прозаические сочинения Крылова помещаются в данном томе в двух разделах. В первый, основной, раздел включены: «Почта духов» и произведения Крылова, печатавшиеся за его подписью в «Зрителе» и «С.-Петербургском Меркурии», а также театральные рецензии. Во второй раздел отнесены редакционные предисловия, переводы и произведения, приписываемые Крылову.

Произведения Крылова печатаются по современной орфографии с сохранением основных особенностей его языка.

Сохраняются написания тех слов, которые отличны от современного нам литературного языка, вроде: аглинский, банкрут, ужасть, вить, сумневаться, обещавать, простолюдимы и т. д. Однако для приближения текста Крылова к современному читателю редакция отказалась от воспроизведения архаических особенностей орфографии и графики XVIII века (слова: «мущина», «щастье», «есть ли» и т. п. пишутся по современной орфографии: «мужчина», «счастье», «если»).

Точно так же не сохраняются прописные буквы в начале таких слов, как вельможа, господин, государь и т. д. Передавая основной характер пунктуации прижизненных крыловских изданий, редакция в ряде случаев приближает ее к общепринятым современным нормам.

В тех случаях, когда орфография слов колеблется в пределах одного и того же текста или издания, написание их унифицируется, причем принимается то, которое соответствует более поздним и общепринятым нормам. Так, вместо случайного и непоследовательного чередования в тексте «Почты духов»: «парукмахер» и «парикмахер», «маскерад» и «маскарад», «карахтер» и

«характер»— всюду принято написание: «парикмахер», «маскарад», «характер», как подтверждающееся более поздними публикациями крыловских текстов.

«ПОЧТА ДУХОВ»

«Почта духов» — журнал, издававшийся Крыловым в 1789 году под названием: «Почта духов, ежемесячное издание, или ученая, нравственная и критическая переписка арабского философа Маликульмулька с водяными, воздушными и подземными духами». Об издании журнала в «Московских ведомостях» было помещено объявление, во многом совпадающее с предисловием, предпосланным первому выпуску журнала и извещавшее, что «принимается подписка на выходящее вновь с генваря месяца сего 1789 года ежемесячное издание под заглавием «Почта духов». В предисловии к журналу, «извещении о сем издании», указывалось, что «имена подписавшихся будут припечатываемы при каждой части, которые состоять будут из четырех месяцев». Однако фактически вышли только две части — причем первая заключала выпуски с января по апрель месяцы, а вторая — с мая по август.

«Почта духов» выходила как ежемесячное издание, — «ежемесячно издаваемое секретарем арабского волшебника Маликульмулька,— то есть самим Крыловым,— собрание писем духов». В течение восьми месяцев издания журнала вышло восемь выпусков с указанием на титульном листе каждого выпуска названия месяца («Почта духов» ежемесячное издание. Месяц генварь»). В январский выпуск входили письма с I по V, в февральский—с VI по XII, в мартовский — с XIII по XVIII, в апрельский — с XIX по XXIV, в майский — с XXV по XXXII, в июньский — с XXXIII по XXXVIII, в июльский — с XXXIX по XLIII, в августовский — с XLIV по XLVIII.

В первом издании каждая часть включала четыре месяца, при общей пагинации всей части. Во втором издании деление на месяцы, утратившее свое значение, отпало, и письма разделены на четыре части, в двух книгах.

Издание «Почты духов» осталось незавершенным. Третья часть, которая должна была заключать четыре последних месяца, так и не вышла. Прекращение «Почты духов» едва ли было связано с недостаточным количеством подписчиков (всего их, судя по спискам «подписавшихся особ», было 79 человек). Рахманинов, как че-

ловек состоятельный, не был заинтересован в коммерческой стороне дела. Вероятнее всего прекращение «Почты духов» связано было с усилением правительственных репрессий, последовавших в связи с событиями французской революции. После прекращения журнала Крылов передал право на переиздание «Почты духов» Рахманинову, как владельцу типографии, на средства которого выходил журнал. В 1802 г. «Почта духов» была переиздана почти без изменений.

П. Плетнев, редактировавший первое собрание сочинений И. А. Крылова (1847), включил в него лишь восемнадцать писем и вступление (письма гномов Зора, Буристона и Вестодава); XII письмо гнома Зора Плетнев не напечатал, повидимому, из цензурных соображений (в нем обличаются сановные казнокрады). Ограничившись лишь бытовой сатирой, Плетнев ни одним словом не оговорил, почему именно эти письма он приписывал Крылову. По указанию В. Каллаша, Плетнев «при выборе материала для своего издания из журналов... не руководился указаниями самого Крылова, иначе он не приписал бы Крылову стихотворений Карабанова... не отверг бы произведений, безусловно ему принадлежащих...» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. II, стр. 307). Необоснованность отбора писем у Плетнева становится особенно очевидной, если учесть, что письма, принадлежащие гному Бореиду и ничем не отличающиеся от писем Зора и Вестодава, также не включены им. Исключение всех остальных «философических писем» «Почты духов», сделанное Плетневым, впоследствии пытались истолковать как свидетельство того, что в «Почте духов» писал не один Крылов. Особенно распространено было мнение об участии в «Почте духов» Радищева и принадлежности ему ряда «философических писем» Дальновида и Выспрепара. Источником этой точки зрения являлось упоминание в мемуарах Массона о Радищеве: «Il cultivoit les lettres et avoit déjà publié un ouvrage intitulé: «Potschta Doukow» (La Poste des esprits), la production périodique, la plus philosophique, et la plus piquante qu'on ait jamais osé publier en Russie» («Mémoires secrets sur la Russie», t. II, Paris (1800), p. 188). Это малодостоверное свидетельство Массона послужило основанием для мнения об участии в «Почте духов» Радищева и принадлежности ему «философических писем». Так, исходя из него, А. Н. Пыпин высказал предположение о принадлежности Радищеву «философических писем» «Почты духов», которые «больше заняты общими соображениями о недостатках общественной жизни, ее устройства

и обычаев и рассуждениями о предметах нравственности». Указывая на то, что в этих письмах видна начитанность, которую «трудно предположить у тогдашнего двадцатилетнего Крылова», Пыпин приписывал их Радищеву (А. Пыпин, Крылов и Радищев, «Вестник Европы», 1868, май, стр. 420—436). Мнение Пыпина было поддержано А. И. Лященко и др. «Некоторые задушевные мысли Радищева, — писал А. И. Лященко, — несомненно, можно прочесть и в журнале Крылова» (А. Лященко, Биография И. А. Крылова, «Исторический вестник», 1894, ноябрь, стр. 499). Л. Н. Майков склонен приписать Радищеву письма Дальновида и Выспрепара, «особливо 20-е, 22-е, 27-е, которые как по мысли, так и по своему тяжелому слогу напоминают «Путешествие из Петербурга в Москву» (Л. Майков, Историко-литературные очерки, СПБ., 1895, стр. 36).

Однако эта точка зрения вызвала тогда же возражения такого серьезного исследователя Крылова (и друга Плетнева), как Я. К. Грот, указавшего на целый ряд данных, позволяющих считать несомненным принадлежность Крылову всей «Почты духов»: «Читая «Почту духов», нельзя не признать, что... все ее письма составляют одну картину, в которой трудно отличить участие разных авторов: везде одни и те же приемы, один язык, один взгляд на мир и общество, частое повторение тех же образов и мыслей, — словом, общая связь и внутреннее единство содержания. Трудно представить себе, чтоб такие сатирические письма могли быть писаны несколькими лицами, но если и предположить это, то, спрашивается, где же явные признаки, по которым можно было отделить письма Крылова от остальных? Если б он сам, при жизни, указал на свою долю труда, то, вероятно, издатели не упустили бы опереться на такое важное свидетельство. Но так как нет ни таких признаков, ни такого свидетельства, между тем известно, что Крылов признавал «Почту духов» за свой труд и во всяком случае был главным ее редактором, то приходится включить всю ее в состав его сочинений. К внутренним доказательствам единства ее происхождения присоединяются еще следующие внешние, чрезвычайно важные... указания. В извещении об издании «Почты духов» Крылов называет себя секретарем ученого Маликульмулька, решившимся выдавать переписку этого волшебника с разными духами, и прибавляет, что, так как он сам не имеет достаточных средств для напечатания сих писем (ибо-де место секретаря у ученого человека очень бесприбыльно), то и просит публику подписываться на этот сборник. Извиняясь потом в несвоевременном выходе пер-

вой книжки, мнимый секретарь Маликульмулька заявляет себя «издателем сих листов», издание же их называет «своим предприятием» и ссылается на свою «непривычность», или, другими словами, неопытность. В таком же точно смысле написано общее «Вступление» к письмам, в котором опять идет речь об одном секретаре, то есть одном авторе или, по крайней мере, редакторе писем «Почты духов» (Я. К. Грот, Труды, т. III, СПБ., 1901, стр. 270). Кроме того, Грот указал на то, что Массон мог легко спутать фамилии Радищева и Рахманинова.

К точке зрения Я. К. Грота присоединился и редактор Полного собрания сочинений И. А. Крылова В. Каллаш, полностью включивший «Почту духов» в свое издание. «Эти соображения, — замечает В. Каллаш, приводя цитированные выше высказывания Грота, — и заставили нас перепечатать не отдельные письма, а весь журнал» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. II, стр. 313).

Наконец П. Е. Щеголев, в дополнение к доводам Я. К. Грота, в статье «Из истории журнальной деятельности Радищева» указывал, что, «перечитывая теперь «Почту духов» — ряд писем, которыми обмениваются духи и которые рисуют картину общественных пороков, — трудно допустить, что они писаны разными авторами; если же допустить это, то все-таки надо представить себе дело так, что все авторы действовали по указке одного, выработавшего форму изложения и наблюдавшего за применением правил и распределением тем. Но главным лицом в журнале был двадцатилетний Крылов. С трудом верится, что по его указанию действовал сорокалетний Радищев...» П. Е. Щеголев справедливо указал на то, что у Радищева своеобразный стиль (по словарю, эпитетам и синтаксису), легко отличимый, а «стиль «Почты духов» совсем не похож на радищевский» (П. Е. Щеголев, Исторические этюды, СПБ., 1913, стр. 31). Это бесспорное указание П. Е. Щеголева пытался оспаривать З. Чучмарев, приводя несколько общих для Радищева и «философических писем» «Почты духов» образов и идиом (З. Чучмарев, Наукові записки науково-дослідчої катедры історіі европейськоі культури, т. II, Укргиз, 1927, стр. 95—123). Однако доводы Чучмарева не выдерживают серьезной критики, так как приводимые им «общие» образы, исторические имена и идиомы общи, в сущности, всей литературе конца XVIII века.

В отличие от сатирических журналов XVIII века, включавших разнородный жанровый материал, «Почта духов» является единым целым. В ней нет разнообразия жанров и самостоятельных

произведений (в этом отношении она близка к «Адской почте» Ф. Эмина и к не осуществившемуся журналу Д. Фонвизина «Стародум, или друг честных людей»). В «Почте духов» переплетаются письма бытового, сатирического порядка и письма философско-нравоучительные, трактующие вопросы морали и социальные проблемы. Два плана — сатирически-бытовой и морально-философический — не распадаются, а взаимно дополняют друг друга. Единство подчеркивается как тем, что ряд сюжетных мотивов проходит через всю «Почту духов» (история петиметра Припрыжкина и его женитьбы, события в подземном царстве Плутона и т. д.), так и общностью идейной направленности. Общие положения философических и моральных писем как бы иллюстрируются сатирическими, бытовыми эпизодами и сценами.

Принадлежность Крылову «философических писем» «Почты духов» доказывается и близостью их к аналогичным высказываниям его в других сатирических произведениях. Так, все высказывания в письмах Дальновида о дворянстве, его непросвещенности и тунеядстве в дальнейшем повторены Крыловым в «Ночах», «Каибе», «Похвальном слове моему дедушке», «Мыслях философа по моде» и т. д. Например, основная мысль XX письма Дальновида, которое неоднократно приписывали Радищеву, выражена и в «Каибе» и в «Ночах». В разговоре Каиба с тенью «любочестивого» завоевателя высказано то же осуждение войн, насильственных завоеваний и «любочестия» государей, что и в письме Дальновида. В «Ночах» Крылов также говорит о кратковременности «мнимых героев», о значении мудрецов-философов и добродетели.

Тщательный анализ содержания и стиля «философических писем» «Почты духов» приводит к выводу о несомненном единоличном авторстве Крылова во всем издании. К этому выводу пришел комментатор и исследователь Радищева Г. А. Гуковский, решительно отвергнувший предположение об участии Радищева в «Почте духов». В комментариях ко второму тому Полного собрания сочинений Радищева Г. А. Гуковский указывает: «Никаких данных, — кроме сомнительного и во всяком случае неточного указания Массона, — об участии Радищева в этом журнале нет; все данные анализа языка и стиля «философических писем» «Почты духов» противоречат гипотезе об участии Радищева в этом журнале; в письмах Дальновида заключены мысли, невозможные для Радищева; следовательно, Радищев в «Почте духов» как сотрудник не участвовал. Есть все основания полагать, что автором всех писем «Почты духов» был сам

Крылов» (Собр. соч. А. Н. Радищева, т. II, изд. Академии наук СССР, 1941, стр. 428). Однако отказ от предположения о сотрудничестве Радищева в «Почте духов» не лишает значения и интереса сближения Крылова-сатирика с этим замечательным писателем-революционером. Оно свидетельствует об идейной их близости и восприятии творчества молодого Крылова в плане радищевских традиций и влияний.

Следует так же указать и на роль в издании журнала И. Рахманинова. «Почта духов» издавалась в типографии Рахманинова (на обороте титула была проставлена его монограмма) и, несомненно, на его средства. Это последнее обстоятельство подтверждается сохранением за ним оригиналов и прав на переиздание. Но участие Рахманинова не ограничивалось лишь технической и материальной помощью. По свидетельству И. Быстрова, И. Крылов впоследствии сам ему рассказывал, что «в 1789 году издавал он еженедельный журнал под названием «Почта духов». «Товарищем ему был Рахманов (то есть И. Рахманинов. — *Н. С.*), которого Иван Андреевич любил за остроту его ума, за откровенность и веселый нрав. «Помнится, мой милый, что раз поссорились мы с Рахмановым за то, какое название дать журналу... Ну, Рахманов хорошо был учен: знал языки, историю, философию... Он давал нам материалы...» («Северная пчела», 1845, № 203). В «Записках» Жихарева приводится характеристика Рахманинова, данная Крыловым: «Он был очень начитан, очень много переводил и мог называться по тому времени очень хорошим литератором... Вольтер и современные ему философы были его божествами» (Жихарев, Записки, М, 1871, стр. 296—297). И. Г. Рахманинов, переводчик Вольтера, Мерсье и ряда французских и английских философов и писателей, был человеком широко образованным. Можно найти ряд перекличек между морально-этическими положениями писем Дальновида, Световида, Эмпедокла и др. в «Почте духов» и «Утренними часами» Рахманинова, в которых, главным образом, обсуждались отвлеченно-этические и моральные вопросы. Однако, судя по характеру литературной деятельности Рахманинова, он сам не выходил за пределы переводов и компиляций французских, преимущественно, оригиналов (переводы его точно установлены для «Утренних часов» в упоминавшейся уже работе Ф. Витберга). Поэтому нет оснований предполагать, чтобы Рахманинов, выступавший исключительно как переводчик, сотрудничал в «Почте духов» в качестве соавтора; кроме того, до марта 1789 года он занят был изданием своего журнала «Утренние часы».

Вполне возможно, что Рахманинов, как широко и философски образованный человек, «давал материалы», то есть указывал источники и принимал участие в обсуждении крыловских писем.

Итак, следует признать бесспорным единоличное авторство Крылова в «Почте духов». Помимо доводов, выдвинутых в свое время Я. К. Гротом, П. Е. Щеголевым, В. В. Каллашом и др., нужно учесть следующее: «Почта духов» является единым целым, выражающим идейный и художественный замысел одного автора.

Крылов сам признавал «Почту духов» своим произведением. Несомненно, лишь с его ведома и согласия могло появиться объявление на изданиях, выпускаемых Свешниковым (например, при «Стихотворениях» Карабанова, М., 1812), о том, что «Почта духов», соч. критическое Ив. Крылова». Авторство Крылова косвенно подтверждается и в «Опыте российской библиографии» В. Сопикова (СПБ., 1813), где указывается «Почта духов» на 1789 год как издание И. Крылова.

В 1802 году «Почта духов» была переиздана книгопродавцем Свешниковым в Петербурге в четырех книгах, в основном воспроизводя издание 1789 года.

Дошедшие до нас документы рисуют историю переиздания «Почты духов» следующим образом. В 1791 году Рахманинов вышел в отставку уехал из Петербурга в свое тамбовское поместье Казанку и перевез типографию, которая продолжала там работать до ее закрытия правительством в 1793 году. В ноябре 1801 года Рахманинов заключил контракт с московскими книгоиздателями Ахоковым и Козыревым «о продаже книжных изданий». По этому контракту Рахманинов передал Ахокову и Козыреву «принадлежащие ему оригиналы» и право на их переиздание. В условии с Ахоковым в числе оригиналов, передаваемых книгоиздателям, наряду с «Утренними часами» и прочими книгами, изданными Рахманиновым, значились и «ежемесячные издания «Почты духов» в двух книгах» (см. «Известия Тамбовск. ученой архивной комиссии», вып. XVIII, Тамбов, 1888, стр. 87—88). Однако переиздание «Почты духов» было осуществлено не Ахоковым и Козыревым, а петербургским книгоиздателем Свешниковым, которому, повидимому, Ахоков переуступил или перепродал право на переиздание. Рахманинов к переизданию «Почты духов» не имел никакого отношения, так как он даже не знал о том, что это переиздание осуществлено не Ахоковым.

Хотя «Почта духов» вышла в издании Свешникова, можно полагать, что печаталась она именно с тех «оригиналов», которые предоставлены были Рахманиновым. Поэтому и правка текста для второго издания могла быть сделана Рахманиновым.

Подавляющую часть разночтений второго издания «Почты духов», несомненно, следует отнести к механическим искажениям и изменениям текста при наборе, что нередко для изданий, лишенных наблюдения самого автора. Так перестановки отдельных слов, как, например, «был полезен» — на «полезен был», «я взираю» — на «взираю я», «читал я»— на «я читал» и т. п., объясняются перепечаткой текста. Вполне возможно, что и такие изменения, которые сводились к подновлению языка, также сделаны издателями или типографией: «прелюбезный дитя» заменяется на «прелюбезное дитя», «обещеваю» — на «обещаю», «докуда» — на «пока», «пропадший» — на «пропащий», «найтить» — на «найти», «продрался» — на «добрался», «ежели» — на «если» и др. Характерна и замена грубоватого просторечия «бреханье» на «лаянье», в отдельных случаях заменяются и архаичные «оное» на «это», «златой» на «золотой» и т. п.

Хотя количество разночтений относительно незначительно, но сохранение языковых особенностей первого издания дает представление о эволюции языка Крылова. Во втором издании подверглось изменению и предуведомление от издателя, которое было сокращено в части, касавшейся периодичности издания (начиная со слов: «Повторять здесь известие...» и кончая словами: «нужною для сведения переменою»). Далее отброшен весь конец первоначального текста, начиная со слов: «чтобы желающий читать и получать ежемесячно издаваемое им собрание сих писем...») и заменен следующим указанием: «чтобы желающие иметь и читать оные благоволили присылать деньги за все четыре части 5 руб. в папке в книжную лавку Свешникова, под № 3 у Католической церкви».

Помимо изменения предисловия и отказа от разделения на ежемесячные выпуски, во втором издании подверглось сокращению оглавление. Сокращения в нем были сделаны весьма небрежно, видимо, ради экономии места.

Многочисленные искажения и дефекты текста второго издания, пропуски слов и даже самый характер подновления языка заставляют предполагать с наибольшей вероятностью, что правка текста сделана без участия Крылова издателем или типографией. Вместе с тем имеется одно место, изменение которого не может быть

отнесено к этой категории типографской правки. В XX письме сильфа Дальновида, содержащем «рассуждение о некоторых государях и министрах, кои поступками своими причиняли великий вред людям», заменен целый абзац (вариант второго издания приводится здесь в сноске к тексту).

Вполне вероятно предположение, что это место имелось уже в «оригиналах», предоставленных Рахманиновым, и было заменено еще в период издания «Почты духов» в 1789 году. Следует отметить также и замену имен Бесстыды и Всемрады (первого издания) на простые бытовые — Параша и Даша в XIX письме.

В. В. Каллаш в своем предисловии к публикуемым им текстам «Почты духов» писал, что второе издание печаталось «без перемен», высказывая при этом предположение об участии в нем Крылова: «Можно думать, что в нем принимал участие сам Крылов» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. II, стр. 310).

Однако участие Крылова в переиздании «Почты духов» не подтверждается никакими точными и документальными данными. Хотя Крылов и был, повидимому, в Петербурге в ноябре 1801 года, получив там назначение в Ригу секретарем генерал-губернатора С. Ф. Голицына, но следующий 1802 г. он проводит на службе в Риге. Характер изменений, внесенных в текст второго издания, также не дает достаточных данных для установления причастности Крылова к его осуществлению.

В настоящем Собрании сочинений «Почта духов» печатается по тексту первого издания 1789 года, осуществленного бесспорно при непосредственном участии самого Крылова и потому наиболее достоверному.

ВСТУПЛЕНИЕ

Парасоли — зонтики (с франц.).

Харибда — олицетворение водоворота в Сицилийском проливе.

Один из... философов... вступил в мою службу управителем дома под Этною — Эмпедокл, греческий философ, живший в V веке до н. э., обладал обширными познаниями в философии, медицине и физике. По преданию, бросился в кратер Этны, желая скрыть причину своей смерти, с тем чтобы его признали богом. Однако одна из его медных сандалий была выброшена во время извержения вулкана и выдала его тайну. Этот анекдот о смерти Эмпедокла и упоминается в дальнейшем.

Перипатетизм — философское учение Аристотеля и его последователей. Здесь употреблено в смысле скептических философских учений вообще.

Все богатство Креза не могло уверить Солона, что Крез был богат. — Солон сказал Крезу, что, несмотря на все его богатство, не может считать его счастливым, так как завистливые к человеческому счастью боги могут его погубить.

ПИСЬМО I

Юлианский ли, или древнеримский календарь. Юлианский календарь установлен был Юлием Цезарем, в отличие от древнеримского, делившего год на 10 месяцев.

Прозерпина — богиня подземного царства и жена Плутона (миф.).

Аглинские прогулки — танец.

Цицерон (106—43 до н. э.) — римский общественный деятель и оратор, выступавший в своих «филиппических речах» против триумвира Антония. После захвата последним власти был, по его приказанию, изгнан, а затем и умерщвлен.

Тарквиний (534—510 до н. э.) — вероятно, последний царь древнего Рима. Против него было поднято Луцием Брутом народное восстание.

Опера буффо — жанр комической оперы, распространенный в конце XVIII века.

Тупей — прическа, накладка на голове из волос.

Алакроше — боковой локон, накладная букля.

Радамант, Эак и *Минос* — трое судей подземного царства (миф.).

Фуро — модное дамское платье.

ПИСЬМО II

Сенека, быть может, один, а Эпиктетов найдется две тысячи. Сенека и Эпиктет — философы-стоики, проповедывавшие отречение от жизненных наслаждений. Сенека, автор ряда трагедий и философских трактатов, был знатен и богат, Эпиктет же был беден.

ПИСЬМО III

Семь греческих мудрецов — под этим названием известны семь мудрецов древней Греции VII—VI веков до н. э., отличавшихся житейской мудростью, высокими нравственными принципами (Биас, Хейлом, Клеобул, Периандр, Питтак, Солон и Фалес).

Семирамида — легендарная царица Ниневии, которой приписывались многочисленные любовные похождения.

Стыдливая Лукреция — добродетельная римлянка. Оскорбленная сыном Тарквиния Гордого, покончила с собой.

Виргиния — дочь Луция Виргиния, заколотая отцом с целью избавления ее от насилия развратного децемвира Аппия Клавдия.

За нею машет — то есть ухаживает, на жаргоне светских щеголих.

Тантал и *Иксион* — осужденные на вечную муку в аду. Тантал находился по горло в воде, но не мог утолить жажды. Иксион привязан был к огненному колесу, вращавшемуся вместе с ним (миф.).

Гераклид и *Демокрит* — древнегреческие философы, слывшие — Гераклит «плачущим философом», за пессимистический тон его отдельных высказываний, а Демокрит — «смеющимся философом», противоположностью Гераклиту.

Титы и Лудовики XIV — здесь в смысле государей, покровительствовавших искусству.

Диоген — основатель цинической школы в древнегреческой философии, провозгласивший отказ от жизненных благ и удовольствий.

ПИСЬМО IV

Глупая голова петиметра. Петиметр — щеголь — обычный объект обличений и насмешек сатириков XVIII века.

Мизантроп Молиеров более сделал добра Франции, нежели проповеди Бурдаловы. Мизантроп Молиеров — комедия Мольера «Мизантроп». Проповеди Бурдаловы — проповеди французского проповедника Бурдалу (1632 — 1704).

Бешеный афинянин — Тимон Афинский (V век до н. э.), известный афинский мизантроп. Он резко нападал на соотечественников за упадок нравственности и избегал всяких сношений с людьми, живя в уединении.

Алцибиад (451—404 до н. э.) — Алкивиад, афинский государственный деятель и полководец. Слова Тимона Афинского о его приверженности к Алкивиаду взяты из жизнеописания Алкивиада у Плутарха. Тимон, встретив Алкивиада, сказал ему: «Ты хорошо делаешь, что преуспеваешь, сын мой, ибо в тебе растет большое зло для всех этих людей».

ПИСЬМО V

Великий Агриппа — Агриппа Ноттесгеймский (1466—1535), средневековый врач и астролог, занимавшийся магией.

Оды, сонеты, мадригалы и баллады, которые сочинил я в похвалу многих знатных особ. Крылов осмеял подношение од и других произведений меценатам и вельможам в комедии «Сочинитель в прихожей» (1786).

Скалигер — вероятно, Ж. Ж. Скалигер (1540—1609), французский ученый, филолог и критик XVI в.

ПИСЬМО VI

Приятности и красота в нынешнее время... при некоторых случаях, как сказывают, производят великие чудеса — несомненный намек на фаворитов Екатерины II, занимавших наиболее ответственные места в государстве.

Беспримерная женщина — ироническое использование слов из жаргона щеголих XVIII века.

ПИСЬМО X

Вержет — коротко остриженные (щеткой) волосы (франц.)

Эйлер — знаменитый математик XVIII века, член Академии наук в Петербурге.

ПИСЬМО XI

Morbleu! — чорт возьми! (франц.).

J'enrage! — я взбешен! (франц.).

Импертинансы — дерзости (с франц.).

Мои картины... всеми были здесь одобряемы — возможно, что имеется в виду художник и гравер Г. И. Скородумов, живший в Англии с 1773 по 1782 год. Умер в 1792 году.

ПИСЬМО XII

Фемиса — богиня правосудия.

Рассерженный человек, державший в руках своих бумагу, — сатирическая выходка, направленная против писателя Я. Княжнина. Все упоминания о Рифмокраде в «Почте духов» являются продолжением той резкой полемики, которую вел Крылов с Княжниным, начиная с комедии «Проказники», написанной за год или за два до «Почты духов». В «Проказниках» Княжнин изображен под именем Рифмокрада, а его жена (дочь писателя А. Сумарокова) — под именем Тараторы. Рифмокрад — драматург-компилятор, самовлюбленный дурак, которого обманывает его жена, делая его рогоносцем. Комедия «Проказники» в силу непомерной резкости и оскорбительности своей вызвала громкий скандал, рассоривший Крылова с Княжниным и театральным начальством во главе с Сой-

моновым. В результате этой ссоры Крылов должен был порвать с театром, и комедии его не были поставлены на сцене.

В комедии «Проказники» и в журнальных сатирах дан, однако, не только памфлет на Княжнина, но и выражено принципиально враждебное отношение Крылова как к подражательности русской литературы, так и к самому типу писателя-аристократа.

«Судей собрание почтенно» — Л. Майков объясняет эту сатиру следующим образом: «Намек на Княжнина тут совершенно ясен. Крылов перелагает в стихи свое столкновение с ним из-за «Проказников». И эти стихи подтверждают... предположение, что Княжнин, проведав о комедии, сочиненной на него Крыловым, принимал меры к тому, чтобы она не была играна на сцене, и, вероятно, настроил в этом смысле Соймонова» (Л. Майков, Историко-литературные очерки, СПБ., 1895, стр. 40).

ПИСЬМО XIII

Басни Бокасовы — то есть Боккаччио, автора «Декамерона». *Гимен* — бог брака (миф.).

ПИСЬМО XVI

Я знаю человека и в моем промысле — вероятно, намек на И. А. Дмитревского, одного из первых русских актеров, пользовавшегося широкой известностью. С И. А. Дмитревским Крылов находился в дружеских отношениях.

Трагедия была сочинена по вкусу островитян в 8 действиях 12-стопными стихами — подразумевается трагедия Я. Княжнина «Росслав». Далее идет пародийное изложение содержания «Росслава». Насмешливое сравнение героя трагедии Росслава с Дон-Кихотом очень точно и верно. Росслав у Княжнина — идеальный характер, человек, живущий возвышенными идеями и чувствами. На протяжении всей пьесы Росслав неоднократно произносит длинные монологи и предается грустным раздумьям. В частности, в четвертом действии, Росслав, находясь в тюрьме, произносит смелые речи. *Царская дочь* — влюбленная в Росслава Зафира. *Третье лицо... злодея* — полководец Кедар.

ПИСЬМО XVII

Парирую тебя — отвечаю, бьюсь об заклад.

ПИСЬМО XVIII

Акциденция — взятка.

ПИСЬМО XX

Много было таких государей, коим хотя потомство приписывает великие похвалы, однако ж они не менее других вреда людям причинили. — Это место, как и все XX письмо, восходит к рассуждению «о царствовании и варварстве» С. Мерсье в его «Философических снах» (русский перевод 1781 г.). Мерсье, говоря о Геркулесе, писал: «Сей полубог древних, заступник рода человеческого, проходил земной шар не для того, чтобы в оном истребить совершенно свирепых зверей, ибо свирепство лютых тигров и самых хищных зверей ничего не значит перед мерзостным злоупотреблением данного уполномочия и власти, но он путешествовал для истребления тиранов, на престоле сидящих, для убиения сих коронованных извергов, кои... заставляют сетовать тысячи людей...» («Философические сны», М., 1787, ч. I, стр. 186).

Близость к Мерсье сказалась и в целом ряде других положений и высказываний Крылова, неоднократно восходящих к «Философическим снам». Так, например, говоря об Александре Македонском, Мерсье писал: «Ты полонил грады и мои попалял законы, ты принудил трепетно смертных водрузить тебе престол... Твои победы польстили множество государей, кои, последуя тебе, и сами учинились неправосудными» (там же, ч. II, стр. 31).

Мудрый и человеколюбивый государь — здесь Петр I.

ПИСЬМО XXI

Марс, думая подслужиться дядюшке своей любовницы.—Марс— бог войны; его «любовница»—Венера, богиня любви, а ее «дядюшка» — Плутон, бог подземного царства (миф.).

Гален, Эскулапий, Иппократ — знаменитые медики древности.

Эвмениды — богини мщения (миф.).

Сантансы — мнения (с франц.).

Меркурий — в качестве вестника богов сообщал им новости.

Стикс, Ахерон, Коцит — название рек в подземном царстве Плутона (миф.).

ПИСЬМО XXII

Корнелий — Корнель (1606—1684), знаменитый французский драматург.

Деспро — Депрео-Буало (1636—1711), поэт и теоретик французского классицизма.

ПИСЬМО XXIII

Арахна (Арахнея) — возгордившаяся тонкостью своего тканья Арахна была превращена Афиною в паука (миф.).

Риваль — соперник (с франц.).

Вапёры — недомогания (с франц.).

Продепансировал — израсходовал (с франц.). Здесь Крылов высмеивает модный французский жаргон щеголей и щеголих XVIII века.

Горбура — имя влюбчивой старухи-бабушки в комедии Крылова «Бешеная семья».

ПИСЬМО XXIV

Честный человек. — По содержанию это письмо близко к статье «Честь» в «Утренних часах» Рахманинова. В ней иронически указывалось, что в государственных делах «честным» может быть «подлейший придворный», «ласкатель и одобритель» гибельных предприятий государя, а также судья, знающий «все законы своего отечества» и в то же время оправдывающий виновных» («Утренние часы», 1789, ч. IV, стр. 59).

ПИСЬМО XXV

Каббалистика иудейская — древнееврейское мистическое учение.

ПИСЬМО XXVI

Платоновы сочинения о должностях — имеются в виду сочинения Платона: «Законы», «Политика» и «Государство». В русском переводе в конце XVIII века были изданы «Творения велемудрого Платона» в четырех книгах, СПБ., 1780—1785.

Юстиевы рассуждения — имеются в виду юридические труды ученого XVIII века Юстия, видного знатока государственного права и политической экономии.

Примечания Ришелье.—Вероятно, речь идет о «Политическом завещании» кардинала Ришелье французскому королю Людовику XIII.

ПИСЬМО XXX

«Бабушкины выдумки» — вероятно, «Сказки бабушки» С. Друковцова (М., 1778, 2-е изд., 1781).

Бредящий мещанин — ироническое название журнала «Беседующий гражданин», выходившего в Петербурге в 1789 году, осмеиваемого Крыловым. «Беседующий гражданин»—журнал масонского направления, выходивший под редакцией Антоновского. В. П. Семенников в своей статье «Литературно-общественный круг Радищева» следующим образом характеризует полемику «Почты духов» с журналом Антоновского: «Несмотря на то, что оба журнала могли бы сожительствовать мирно, «Почта духов» проявила явно враждебное отношение к «Беседующему гражданину», а последний, кажется, еще до выпадов против него крыловского журнала, в отдельных статьях высказал резко отрицательное отношение к сатире вообще, повидимому, имея при этом в виду «Почту духов». Это высказано было еще в первой части журнала, в статьях: «Бредни праздного педанта», «Рассуждение о том, сколько здравое рассуждение (критика) споспешествует природным дарованиям и сколько осмеивание (сатира) вредит оным», «Отрывок повести школьного педанта о себе самом».

Но помимо этого враждебного отношения к сатире вообще у руководящей группы «Беседующего гражданина» была и другая причина для неприязни к «Почте духов». «Почта духов» по самому своему названию и по характеру журнала представляла собою нечто чуждое, нечто неприемлемое для религиозно настроенных руководителей «Беседующего гражданина» (сб. «Радищев. Материалы и исследования», Л., 1936, стр. 264—265).

Сочинения Рифмокрада. — «Изданные в четверку сочинения Рифмокрада, — указывает Л. Майков, — это собрание сочинений Якова Княжнина, роскошно напечатанное в 1787 г.... По всей вероятности, должно считать не вымышленным обстоятельством и то, что сообщалось в вышеприведенной сцене об искусственном подготовлении успеха пьес Рифмокрада. У Княжнина было два сына, и один из них, Александр, писал для сцены...» («Историко-литературные очерки», стр. 41).

Эту трагедию больше делал Расин — речь идет, вероятно, о трагедии Я. Княжнина «Владимир и Ярополк» (трагедия в пяти действиях в стихах, первое издание в 1772 году), во многом близкой к трагедии Расина «Андромаха».

ПИСЬМО XXXIII

Еространн — Герострат. Для того, чтобы обратить на себя внимание и прославиться, сжег знаменитый храм Дианы Эфесской.

ПИСЬМО XXXIV

Алектона — одна из трех адских фурий (миф).

ПИСЬМО XXXVI

Животная книга — то есть книга живота, книга жизни, в которую записываются людские грехи и добродетели.

ПИСЬМО XXXVII

Великий Могол — титул тюркских султанов Индии.

Царь Пегуский. — Пегу — небольшое малайское государство.

ПИСЬМО XXXIX

Цитерская богиня — Венера, богиня любви.

Орден на плече — клеймо преступника.

Отвели в смирительный дом — во Франции за распутное поведение заключали в исправительную тюрьму.

ПИСЬМО XL

Картезий — французский философ Декарт (1596—1650), основоположник философского рационализма.

Лукиян справедливо насмехался столь ложному Аристотелеву умозаключению — имеется в виду диалог между Диогеном и Александром (Македонским) в «Разговорах в царстве мертвых» Лукиана. В нем на замечание Диогена об уроках Аристотеля, бывшего воспитателем Александра, Александр замечает, что «Аристотель доказывал, что богатство — тоже благо, чтоб ему, таким образом, не было стыдно принимать подарки».

Он... не упускал случая... оскорблять самого Платона... — по распространенной в древности легенде, Аристотель якобы выступал против Платона, учеником которого он являлся первоначально. Вообще здесь и далее передаются недостоверные анекдоты и вымыслы о безнравственности Аристотеля, связанные с отношением к нему как к родоначальнику скептицизма в философии.

Паскаль (1623—1662) — знаменитый французский ученый и философ-моралист, стремившийся примирить рационалистические начала с христианским учением.

Св. Августин (354—439) — богослов, писавший на религиозно-нравственные темы.

Св. Бернард (1091—1153) — Бернард Клервоский, один из популярнейших святых и богословов католической церкви.

ПИСЬМО XLI

Фетида — морская богиня (миф.).

Плавающий город, который перестреливается с другим. — Повидимому, имеется в виду вторая русско-турецкая война (1787—1791).

ПИСЬМО XLII

Певец Брелляр — горлан (с франц.).

Стрелец Фанфарон — хвастун (с франц.).

Танцмейстер Бук — козел (с франц.).

ПИСЬМО XLIV

Письмо направлено против П. А. Соймонова, заведывавшего тогда театрами. Крылов осмеивает выбираемые им к постановке пьесы. Конфликт с Соймоновым, вызванный отказом последнего от постановки «Проказников» и других пьес Крылова, нашел свое отражение в письме, которое было по этому поводу написано Крыловым и, так же как письмо к Княжнину, пущено, повидимому, по рукам.

Что в древни времена был Рим... — это стихотворение относится к деятельности Екатерины II. В нем говорится об успехах и процветании государства, достигнутых при ее правлении. Возможно, что появление этого панегирического стихотворения на страницах «Почты духов» было вызвано желанием успокоить правительственные круги, несомненно неодобрительно относившиеся к радикальной сатире крыловского журнала. Под Минервой подразумевалась Екатерина II.

Мышцы льва ослаблены — речь идет об успехах русских войск в войне со Швецией (1788—1790).

Ломятся рога луны — имеются в виду победы русских войск в русско-турецкой войне (1787—1791).

Кто с резвой Талиею стрелы... — имеются в виду комедии самой Екатерины II.

Новое зрелище — имеется, повидимому, в виду комическая опера «Две невесты», которая ставилась в Петербурге в 1789—1790 годах (см. указания В. Каллаша в Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. III, стр. 151). Далее пародийно передается содержание этой оперы. Опера не была напечатана и автор текста неизвестен (см. также «Архив дирекции имп. театров», вып. I, отд. VI, стр. 155).

Разговоры Лукияновы. — В конце XVIII века широко распространены были переводы морально-сатирических «Разговоров» Лукиана (см. «Разговоры между мертвыми, выбраны из Лукияна Самосатского», перевод с латинского, М., 1773, 2-е изд., 1788).

Я знаю двух моих знакомых, которых сочинения года с три уже в театре — Крылов имеет здесь в виду свои непоставленные на сцене комедии «Бешеная семья», «Сочинитель в прихожей», «Проказники».

Комедия, написанная на какой-нибудь порок, почитается здесь личностию — Крылов имеет в виду свою комедию «Проказники».

ПИСЬМО XLV

Это письмо о явлении писателя к юному властителю во многом напоминает мысли, высказанные Радищевым в его «Сне» в главе «Спасская полесть» из «Путешествия из Петербурга в Москву». У Радищева говорится: «Если из среды народной возникнет муж, проницающий дела свои, ведай, что это и есть твой друг искренний. Чуждый надежды мзды, чуждый рабского трепета, он твердым гласом возвестит тебе. Блюдись и не дерзай его казнити, яко общего возмутителя, призови и угости его, яко странника». Однако это сходство, может быть, объясняется общностью источника — «Философическими снами» Мерсье, в которых мудрец обращается к князю со следующими словами: «Князь! — отвечал я ему: — сидящему тебе на престоле не будет уже времени слушать и познавать сию истину, которой ты ныне взыскиваешь; она скроется под одеждою красноречия... Что значит мой слабый глас?.. Увы, когда доходит до тебя вопль народа, с прилежанием рассматривающего на лице твоем некие предзнаменования будущие его судьбины, то примечай тогда жадные взоры, отовсюду на тебя обращенные; они тебе говорят громогласно, красноречиво и вопиют к тебе сим образом: о ты! в руках которого сохраняться будет наше благополучие, ах, потщись познать твои должности к совершенному исполнению оных...»

Возможно, что под писателем, пришедшим возвестить истину царю, Крылов имел в виду самого Радищева, к этому времени закончившего свое «Путешествие» (напечатанное в мае 1790 г.), а под покровительствующим писателю вельможей-«придверником» можно предположить гр. Р. Воронцова, покровительствовавшего Радищеву.

Вистну — то есть Вишну, главное божество индусов.

ПИСЬМО XLVI

Нововышедшая в свет книга — видимо, трагедия Я. Княжнина «Владисан», вышедшая вторым изданием в 1789 году.

ПИСЬМО XLVII

Один из ваших героев — Юлий Цезарь.

Десятословие — десять заповедей Моисея.

НОЧИ

Впервые напечатано в журнале «Зритель», 1792, ч. I, стр. 70—80, 140—160, 228—250, ч. II, стр. 95—116, за подписью «Иван Крылов» (подпись отсутствует под последним разделом статьи, но она указана в оглавлении). Повесть «Ночи», повидимому, была не закончена Крыловым или прекращена печатанием, судя по тому, что действие в ней обрывается.

«Ночи» принадлежат к числу наиболее значительных прозаических произведений молодого Крылова. Здесь Крылов, отчасти повторяя сатирические мотивы «Почты духов», дает широкую картину нравов своего времени.

Сочинитель «Новой Элоизы» — Ж.-Ж. Руссо.

Меркурий — у древних римлян был богом торговли и одновременно покровителем воров (миф.).

Какой-нибудь Амфитрион переломал ему руки и ноги — пародийный намек на миф о греческом царе Амфитрионе, жену которого Алкмену обольстил Зевс, принявший его облик. Посредником Зевса служил Меркурий, посланец богов.

Плутус — бог богатства и денег (миф.).

Момус — бог насмешки и иронии (миф.).

Немного старее Венеры. — Венера, согласно античной мифологии, родилась из пены морской позднее большинства богов.

Кадуцея — жезл с крыльями.

Каллиопа — муза эпической поэзии; *Мельпомена* — муза трагедии; *Талия* — муза комедии; *Клио* — муза истории (миф.).

Тут Юпитер засвистал песенку из новой оперы — в этом разговоре Юноны, Юпитера и других богов заключены намеки на их многочисленные супружеские измены и неверность. Юнона ревнует Юпитера, часто ей изменявшего, Венера изменяла своему мужу Вулкану с Марсом.

Стадия — мера длины, около 180 метров.

Земский — исправник, член земского суда.

Церера — богиня жатвы (миф.).

Минерва — богиня мудрости (миф.).

Человек родится и умирает моим рабом — Момус произносит ироническую речь в честь людской глупости, напоминающую «Похвалу глупости» Эразма Роттердамского.

Прекрасным убором, какой некогда подрадел он Мидасу — Аполлон-Феб наделил царя Мидаса ослиными ушами за то, что тот предпочел его игре игру бога реки Марсия.

Антирихардсон — Крылов называет этим именем, повидимому, сентиментального писателя П. Ю. Львова (1770—1825), подражавшего Ричардсону.

Мнимый Детуш — повидимому, драматург В. И. Лукин (1737—1794), переводчик французских комедий и, в частности, комедий Детуша.

Баснобредов — Трудно сказать, кого подразумевал здесь Крылов. Скорее это собирательный образ для ряда незадачливых поэтов и баснописцев вроде Карабанова.

Убедительнее Руссо доказываете мне вредность наук — намек на сочинение Ж.-Ж. Руссо «О влиянии наук на нравы».

Куда... девать вашу Елену — Елена, жена Менелая, была похищена Парисом (см. «Илиаду»).

Созий — герой комедий Менандра и Мольера «Амфитрион». Созий подменяет мужа и пользуется благосклонностью его жены.

РЕЧЬ, ГОВОРЕННАЯ ПОВЕСОЮ В СОБРАНИИ ДУРАКОВ

Напечатана в «Зрителе», 1792, ч. II, стр. 42—57. Авторство Крылова указано в оглавлении (соч. И. Крылова).

Предисловий Т...... — В. Каллаш считает, что это «намеки на плохих писателей того времени — Лукина, любившего длинные предисловия, и Ф. Львова. Т...... — может быть, Ф. Туманский» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. III, стр. 258, примечание).

Сочинитель «Клариссы» — Ричардсон, автор известного сентиментально-нравоописательного романа «Кларисса Гарлоу».

Прадон и Котин (Котень)–литературные противники Буало.

Тарантул — видимо, Я. Княжнин.

Бомаршев Базиль — герой комедии Бомарше «Севильский цырюльник».

Генлей (1692 — 1756) — известный английский проповедник.

РАССУЖДЕНИЕ О ДРУЖЕСТВЕ

Напечатано в «Зрителе», 1792, ч. II, стр. 236—245, за подписью «Иван Крылов».

МЫСЛИ ФИЛОСОФА ПО МОДЕ

Напечатано в «Зрителе», 1792, ч. II, стр. 279—295. Авторство Крылова указано в оглавлении (соч. И. Крылова).

Брейтегам и Гек — повидимому, какие-то иностранные ремесленники или фабриканты.

Виск — видимо, вист, карточная игра.

Славная Ле-Саж и Делпи — театральные знаменитости XVIII века; Дельпи в 80-х годах XVIII века выступал в Петербурге.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ В ПАМЯТЬ МОЕМУ ДЕДУШКЕ

Напечатано в «Зрителе», 1792, ч. III, стр. 63—80, авторство Крылова указано в оглавлении (соч. И. Крылова).

Как Юлий, не бежал он от своего несчастия — Юлий Цезарь, согласно его жизнеописанию у Плутарха, имел вещие знамения, предупреждавшие его о близящемся несчастьи, однако, несмотря на них и на ряд предостережений, он пошел в сенат, где был заколот Брутом.

КАИБ

Напечатано в «Зрителе», 1792, ч. III, стр. 90—108, 257—306, за подписью «Иван Крылов». По своей восточной манере эта повесть Крылова напоминает сатирические «восточные повести» Вольтера («Белый бык», «Принцесса Вавилонская»), а также «Персидские письма» Монтескье, пользовавшихся условно-восточным колоритом для прикрытия резкости своей сатиры, направленной на современное общество. В описаниях Каибова государства, вельмож, отношений Каиба к ученым и писателям рассеян, несомненно, ряд намеков на екатерининское царствование.

Шемела — святочная игра, бег взапуски на корточках с пением песни о шемеле (метле).

Скоропостижные вирши — экспромты.

Диван — государственный совет у восточных властителей.

Аристотель... говорит — речь идет о «Поэтике» Аристотеля.

Калиф искал ручейка — это место пародирует сентиментально-идиллическое описание крестьян у Карамзина и его последователей.

Календере — нищенствующий дервиш.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ НАУКЕ УБИВАТЬ ВРЕМЯ

Напечатано в «С.-Петербургском Меркурии», 1743, ч. I, стр. 32—52, за подписью «И. Крылов».

Анкрошет — модная прическа того времени (с франц.).

Мидас — легендарный фригийский царь, обладавший даром превращать в золото все, чего он касался; здесь в смысле богача.

ПОХВАЛЬНАЯ РЕЧЬ ЕРМАЛАФИДУ

Напечатано в «С.-Петербургском Меркурии», ч. II, стр. 26—55, за подписью «И. Крылов».

«Похвальная речь» является в значителькой мере сатирическим памфлетом Крылова, направленным против Н. Карамзина. Я. К. Грот указывал, что «Похвальная речь Ермалафиду» явно содержит в себе многие черты, которые могут относиться только к Карамзину. Главное достоинство Ермалафида, выставляемое здесь на посмеяние, состоит в том, что он не следует никаким правилам и не подражает красотам прежних «писателей» (см. Я. Грот, Филологические розыскания, т. I, 1896, стр. 124). Однако сатирическое содержание этой «речи» гораздо сложнее и шире. Если в отдельных полемических выпадах Крылов имел в виду Карамзина (в частности, преувеличенно метафорический стиль карамзинистов), то в других случаях, например в оценках драматических произведений, он повторяет свои прежние положения о театре, имея в виду ряд современных ему авторов. Резкость выпадов против Карамзина вызвана, возможно, соперничеством между «С.-Петербургским Меркурием» и «Московским журналом» Карамзина. В кругу карамзинистов в свою очередь крыловские журналы встречены были отрицательно. Так, в 1792 году Карамзин писал И. Дмитриеву по поводу «Зрителя»: «Что принадлежит до Зрителей, мой друг, то я столько уважаю себя, что не войду с ними ни в какой бой. Пусть они уничтожают примечания на «Кадма и Гармонию» (роман Хераскова.—*Н. С.*) и все, все, что им угодно!.. Впрочем, я думаю, что Коклюшкин (то есть Клушин. — *Н. С.*) не есть петербургская публика».

Ермалафия — многословная болтовня, чепуха, дребедень.

Юнговы нощи — «Ночные думы» английского поэта Э. Юнга (1681—1765), одного из основоположников европейского сентиментализма.

Non plus ultra (лат.) — высшая степень, высшая точка.

Ergo (лат.) — итак, следовательно.

Выставлены на сцену бородатые актёры — здесь Крылов, видимо, имеет в виду предромантическую драматургию Лессинга (в частности, его пьесу «Эмилия Галотти»), отказавшегося от канонов и принципов классицизма.

Начал журнал — видимо, «Московский журнал» Н. Карамзина, начавший выходить с 1791 года.

С какою непринужденною смелостию бранил он Мольера, Расина, Боало — здесь Крылов, видимо, полемизирует с отзывами о французском классическом театре в «Московском журнале» Н. Карамзина.

ПРИМЕЧАНИЯ НА КОМЕДИЮ «СМЕХ И ГОРЕ»

Напечатано в «С.-Петербургском Меркурии», 1793, ч. I, стр. 104—130, за подписью «И. Крылов». Рецензия на постановку комедии А. Клушина в Малом театре в январе 1793 года. Комедия была напечатана в «Российском феатре», в одном выпуске (XL), вместе с комедией Крылова «Проказники», со следующими указаниями: «Смех и горе», комедия в пяти действиях в стихах Александра Клушина. Представлена в первый раз российскими придворными актерами на Малом театре, генваря 20 дня 1793 года» («Российский феатр», ч. XL, СПБ., 1829, стр. 1).

Автор комедии А. И. Клушин — сотоварищ Крылова, издававший совместно с ним журналы «Зритель» и «С.-Петербургский Меркурий». А. И. Клушин—писатель, во многом близкий Крылову, плодовитый в те годы поэт, прозаик и драматург. Помимо комедий «Смех и горе» и «Алхимист», по поводу которых Крылов написал одобрительные отзывы, Клушину принадлежат переводные комедии: «Рассудительный дурак или англичанин» (перевод комедии в одном действии Патра, М., 1790), «Услужливый» (комедия в трех действиях, подражание де Ласелю, СПБ., 1796), а также переделка комической оперы Крылова «Американцы» (СПБ., 1800).

Клушину принадлежит и сентиментальная повесть «Несчастный М-в», напечатанная в «С.-Петербургском Меркурии» и выделяющаяся своим протестующим, демократическим пафосом (о Клушине см. биографию в «Русском биографическом словаре»; Л. Майков, Очерки из истории русской литературы XVII и XVIII вв., СПБ., 1899).

Сочувственный отзыв Крылова на пьесу Клушина объясняется не только их дружескими отношениями, но и близостью литературных позиций. Вопросы театра особенно сильно занимали

в эти годы Крылова, выступившего с целым рядом драматических произведений и высказываний о театре (в письме к Соймонову, в письмах «Почты духов»). В них он обнаружил широкое знание театра и требовал превращения комедии из развлекательной пьесы в социальную сатиру.

Прадон (1632—1698) — бездарный французский поэт, враг Буало, автор трагедии «Федра и Ипполит». Прадон был предметом общих насмешек и эпиграмм.

Мольер в своей комедии — «Скупой», главное действующее лицо в этой комедии — скупец Гарпагон.

РЕЦЕНЗИЯ НА ПЬЕСУ А. КЛУШИНА «АЛХИМИСТ»

Напечатано в «С.-Петербургском Меркурии», 1793, ч. II, стр. 213—222, за подписью «И. Крылов», под заголовком «Театр». «Алхимист», комедия в одном действии А. Клушина, поставленная 13 июня 1793 года, напечатана, повидимому, не была.

«МАРФА-ПОСАДНИЦА, ИЛИ ПОКОРЕНИЕ НОВАГРАДА»

Напечатано в журнале «Драматический вестник», 1808, ч. I, стр. 57—60, подписана буквою «К». «Драматический вестник» — театральный журнал, издававшийся в 1808 году в Петербурге кн. А. А. Шаховским и А. Писаревым при деятельном участии Крылова, систематически помещавшего в нем свои новые басни. На близость Крылова к этому журналу указывал И. Жихарев в своих «Записках» (М., 1891, стр. 430), а также Ф. Булгарин («Северная пчела», 1845, № 8) и позже М. Лонгинов («Русский архив», 1864, стр. 871—872). Свои басни, помещаемые в этом журнале, Крылов также подписывал буквою «К». Но наиболее бесспорным свидетельством авторства Крылова является указание М. Лобанова, перепечатавшего эту рецензию в своей книжке «Жизнь и сочинения И. А. Крылова» (СПБ., 1847, стр. 21—23) со следующим примечанием: «В журналах, в издании которых Крылов участвовал в своей ранней молодости, помещал он критические разборы, или не подписывая их, или ставя под ними букву «К». Вот один из разборов, за который можем ручаться, что он написан Иваном Андреевичем». Драма в трех действиях Павла Сумарокова «Марфа-Посадница или покорение Новагорода» вышла отдельным изданием (СПБ., 1807). Помимо нелепого мелодраматического содержания, зло высмеиваемого Крыловым, и неестественности характеров, драма Сумарокова написана была приподнято-сентиментальным слогом.

Павел Сумароков (ум. в 1846 г.) — писатель, сенатор, автор ряда комедий («Зеленый корсет», 1805, «Модник», 1806), а также прозаических вещей («Прогулка за границу», 1821, «Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1789 г.» и др.).

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗДАНИИ «ПОЧТЫ ДУХОВ»

Помещено было в «Московских ведомостях» за 1789 год, стр. 233. Принадлежность этого объявления Крылову доказывается близким совпадением этого «извещения» с предисловием от издателя при первом издании «Почты духов», в котором указывалось: «Повторять здесь известие, выданное о сем издании, было бы излишним, если бы... подобные листки большею частию бывают утрачиваемы...»

ВВЕДЕНИЕ К «ЗРИТЕЛЮ»

Это «Введение», являющееся программным предисловием к журналу «Зритель», было напечатано в первой книге журнала (1792, ч. I, стр. 3—4) без подписей. Вероятнее всего, оно составлено сообща всеми издателями журнала (Крыловым, Дмитриевским, Плавильщиковым и Клушиным), на что и намекают начальные слова «Введения».

НЫНЕ ВЫСОКОС...

Напечатано в «Зрителе», 1792, ч. I, стр. 8. Этой небольшой журнальной заметкой, оправдывавшей запоздание выхода журнала, открывалась его первая книжка.

РЕДАКЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ «ИЗДАТЕЛИ ПОКОРНЕЙШЕ БЛАГОДАРЯТ...»

Помещено во II ч. «Зрителя», 1792, стр. 33, по поводу статьи «г. Неизвестного», написанной в форме письма к издателям «Зрителя» и посвященной сатирическому описанию игры в рулетку. Хотя статья эта помещена в журнале как присланная со стороны, однако, вероятнее всего, она написана кем-либо из издателей. Этим издатели стремились показать более широкий круг сотрудников журнала, чем это было в действительности.

ПРЕДИСЛОВИЕ К «С.-ПЕТЕРБУРГСКОМУ МЕРКУРИЮ»

Напечатано при I ч. журнала «С.-Петербургский Меркурий», издававшегося И. Крыловым и А. Клушиным. Пред словие, имеющее особую римскую пагинацию (с I по IV страницы) подписано обоими редакторами: «И. Крылов. А. Клушин».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕКРАЩЕНИИ «С.-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕРКУРИЯ»

Заключительная заметка, написанная в связи с завершением издания «С.-Петербургского Меркурия», помещена в IV ч. журнала (стр. 257—258) за подписями «А. Клушин. И. Крылов». «С.-Петербургский Меркурий» прекратился на первом же году издания. Сравнительно с предшествующими журнальными начинаниями Крылова «С.-Петербургский Меркурий» пользовался значительным успехом и имел 162 подписчика. Причиной закрытия было неодобрительное отношение правительственных кругов к литературной деятельности Крылова и Клушина и, в частности, шум, вызванный помещением рецензии Клушина на трагедию Я. Княжнина «Вадим», запрещенную правительством. Крылов и Клушин вынуждены были уехать из Петербурга и прекратить на время свою литературную деятельность. Видимо, к концу года, с переходом печатания «С.-Петербургского Меркурия» в типографию Академии наук, Крылов и Клушин принимали меньшее участие в редактировании журнала, перешедшего частично в руки более благонамеренного редактора, И. Мартынова, который в своих воспоминаниях сообщал: «Около половины сего года (1793) Клушин по желанию его уволен в чужие краи... А Крылов также уехал к какому-то помещику в деревню. Таким образом издание «Меркурия» легло на меня...» («Заря», 1871, № 6, стр. 89). Однако это свидетельство Мартынова не вполне точно. Самый факт помещения послесловия за подписями Крылова и Клушина показывает, что они довели издание журнала до конца года.

НЕСЧАСТНЫЙ МЕНОС

Напечатано с подзаголовком «Перевод с италиянского» в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», 1797, ч. XIII, стр. 359—362, за подписью «Нави Волырк» (то есть, в обратном чтении, Иван Крылов). Наряду с приписываемыми Крылову, видимо также переводными, произведениями «Добросердечный разбойник» и «Гилас и Исменида» этот перевод принадлежит к числу многочисленных сентиментально-моралистических произведений, которыми заполнялись в это время журналы. Трудно сказать, чем вызвано было обращение Крылова к столь чуждому для него жанру сентиментальной повести. Уже то обстоятельство, что он прячет свое имя, подписываясь «навыворот» или инициалами, свидетельствует о том, что такие произведения не считались

им самим существенными для его творчества. Может быть, желание сохранить связи с литературными кругами или какие-либо другие не известные нам обстоятельства вызвали появление таких вещей, как «Несчастный Менос». Источник этого перевода не обнаружен.

РЕЧЬ, В КОТОРОЙ ЖАЛУЕТСЯ САПОЖНИК НА ЖЕНУ СВОЮ...

Напечатано впервые в «Журнале древней и новой словесности» за 1819 год, январь, стр. 46—49, с подписью NN. Авторство Крылова устанавливается черновым автографом, сохранившимся среди оленинских бумаг, поступивших в Публичную библиотеку (ныне им. Салтыкова-Щедрина) от Н. И. Стояновского. Этот черновой текст был опубликован В. В. Каллашом в «Известиях отд. рус. яз. и словесности Академии наук», 1904, т. IX, кн. 2, стр. 283—285 («Из неизданных произведений И. А. Крылова»).

Автограф Крылова представляет два черновых наброска начала статьи, не вполне совпадающих друг с другом. Кроме того, в черновом тексте отсутствуют названия риторических фигур и оставлены для них пустые места в скобках. В. В. Каллаш считал, что «перед нами не столько перевод, сколько переделка какой-то французской статьи» («Известия ОРЯС», т. XI, кн. 1, стр. 173). Однако эта «Речь» является точным переводом рассказа из специально подобранных примеров риторических фигур французского писателя конца XVIII в. — Мармонтеля. Мармонтель, первоначально печатавший свои заметки по теории литературы в Энциклопедии, впоследствии объединил их в работе «Elements de Littérature», где данная «Речь» и помещена под рубрикой «Figures» (см. «Oeuvres complètes de Marmontele», tome XIII, Paris 1818, p. p. 483—485).

Этот же популярный пример риторических фигур приведен и у Н. Остолопова в «Словаре древней и новой поэзии», т. III, СПБ, 1821, стр: 451—453. Довольно трудно определить происхождение и назначение этой статьи. Возможно, что первоначально она написана была Крыловым с учебной целью для кого-либо из Олениных, а затем была передана, может быть, без участия в этом самого Крылова, в журнал, где и напечатана анонимно.

РОДНЯБАР

Напечатано в журнале И. Рахманинова «Утренние часы», 1788, ч. III, стр. 60—61, без подписи. По своим сатирическим мотивам примыкает к «Почте духов» и сатирическим очеркам Крылова.

ПИСЬМО СМИРЕННОЛЮБОВА

Напечатано в журнале И. Рахманинова «Утренние часы», 1788, ч. III, стр. 170—176, без подписи. Принадлежность этого «Письма» И. А. Крылову, впервые указанная Л. Майковым, весьма вероятна. Л. Майков указывал, что «некоторые сатирические очерки «Утренних часов» не только по теме, но и по манере изложения напоминают крыловские письма гномов в «Почте духов»; в частности, он называет сатирические очерки «Письмо Смиреннолюбова» и «Модные торговки» («Историко-литературные очерки», СПБ., 1895, стр. 37).

Поскольку Крылов вообще принимал участие в «Утренних часах», то догадка Л. Майкова представляется убедительной, тем более, что в этом журнале весь материал печатался анонимно.

МОДНЫЕ ТОРГОВКИ

Напечатано в журнале И. Рахманинова «Утренние часы», 1789, ч. IV, стр. 37—48, без подписи. На принадлежность этого очерка Крылову указал Л. Майков (см. предыдущее примечание). Тема и мотивы «Модных торговок» переходят непосредственно в «Почту духов», а затем и в комедию Крылова «Модная лавка».

ПОКАЯНИЕ СОЧИНИТЕЛЯ КРАДУНА

Напечатано в журнале «Зритель», 1792, ч. II, стр. 64—84, без подписи. Принадлежность этой сатиры Крылову весьма вероятна, поскольку она направлена против ненавистного Крылову типа писателя-плагиатора. Это тема комедии Крылова «Проказники», неоднократно повторенная им в «Почте духов» и эпиграммах, направленных против Я. Княжнина, которого Крылов называл Рифмокрадом. Помещение этой статьи без подписи может объясняться незадолго перед этим последовавшей (в 1791 году) смертью Я. Княжнина.

ДОБРОСЕРДЕЧНЫЙ РАЗБОЙНИК

Напечатано в журнале «Приятное и полезное препровождение времени», 1795, ч. X, стр. 184—191, за подписью «И. К.», которая, по мнению В. В. Каллаша, приписывающего эту повесть Крылову, «из всех сотрудников этого журнала могла относиться только к Крылову» (Полн. собр. соч. И. А. Крылова, т. III, стр. VI). Хотя в пользу этого утверждения Каллаша говорит помещение в том же журнале сентиментальной переводной повести

«Несчастный Менос», принадлежащей бесспорно Крылову, но достаточных оснований для категорического утверждения его авторства все же нет. «Добросердечный разбойник», повидимому, перевод какой-то сентиментальной повести.

ГИЛАС И ИСМЕНИДА

Напечатано в журнале «Полезное и приятное препровождение времени», 1796, ч. XII, стр. 209—217, с указанием и подписью: «с французского К-в». Крылову приписано В. В. Каллашом (см. предыдущее примечание). В основе повести лежат реминисценции античной мифологии, пересказанные в сентиментальном духе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

* Текст оглавления «Почты духов» дается здесь по первому изданию 1789 года. *(Ред.)*

Часть II

ЖУРНАЛЬНАЯ ПРОЗА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ РЕЦЕНЗИИ

РЕДАКЦИОННЫЕ ПРЕДИСЛОВИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ И ПР. ПЕРЕВОДЫ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРИПИСЫВАЕМЫЕ КРЫЛОВУ

Переплет работы художника Н. В. Ильина.

*

Редакторы: А. К. Котов и А. Н. Фарих.

Подписано к печати 3/XI — 1944 г. А-7944. Тираж 25.000 экз. (2 завод 1201—26200 экз.) $30^1/_2$ печ. л. 24,5 уч.-авт. л. Заказ № 2417. Цена 12 р.

1-я Образцовая тип. треста «Полиграфкнига» Огиза при СНК РСФСР. Москва, Валовая, 28.

